

Николай Верево́чкин

ЧЕЛОВЕК
БЕЗ
ИМЕНИ

Николай Верево́чкин



*и другие истории
о счастливых
неудачниках*

Повести



«АЛАШ»
БАСПАСЫ
Алматы
2015

УДК 821(574)
ББК 84(5 Каз-рус)-44
В 31

*Выпущено по программе
«Издание социально-важных видов литературы»
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан*

554862

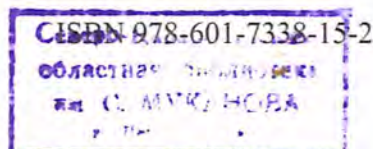
Веровочкин Н.Н.
В 31 «Человек без имени» и другие истории о счастливых неудачниках: Повести / Николай Веровочкин. – Алматы: «Алаш» баспасы», 2015. – 480 с.

ISBN 978-601-7338-15-2

В книге рассказывается о судьбах людей, живших в эпоху перемен. В них много юмора, элементов фантастики, которые лишь усиливают реализм, они парадоксальны, порой ироничны, почти всегда остросюжетны, но при этом в каждой вещи скрывается философский смысл. Все живое на нашей планете прочно вплетено в единую ткань природы: в кого бы ты ни стрелял, ты стреляешь в самого себя, кого бы ни предавал – предаешь самого себя. Только милосердие и любовь делают людей бессмертными...

Автор – лауреат многих литературных премий, произведения которого часто появляются на страницах литературных журналов России и Казахстана.

УДК 821(574)
ББК 84(5 Каз-рус)-44



© Веровочкин Н.Н., 2015
© «Алаш» баспасы», 2015



ЧЕЛОВЕК БЕЗ ИМЕНИ

— Вот ты спрашиваешь, Митек, трудно ли оторвать голубю голову? — задушевно обратился смердящий помойкой бомж к бродяжке-псу и, погрузившись, признался: — Зависит от того, сильно ли хочешь есть. Если бы кушать не хотелось, зачем бы я им головы отрывал.

Подхалим Митек преданно глядел в глаза хозяину и, во всем с ним соглашаясь, с усердием постукивал грязным хвостом о землю.

Это не был мраморный дог. Внешность животного была настолько своеобразна, что его вообще нелегко было отнести к какой бы то ни было собачьей породе. С собаками это не известное науке существо роднила лишь необъяснимая преданность человеку.

Для голодного Митька не существовало моральной проблемы — отрывать или не отрывать голубю голову. Пес, похожий на выброшенную по ветхости да вдруг ожившую пыжиковую шапку, с вождением поглядывал на добычу и жалобно скулил, прося ускорить события. В великом нетерпении вставал он на задние лапы, обнаруживая остатки домашнего воспитания.



Бомж между тем любовался божьей тварью: гладил жирного сизаря, раскрывал крылья и, в восхищении цокая языком, разглядывал их на просвет. «Грешно, Митек, жрать такую красоту, грешно», – бормотал он в умилении, чувствуя под ладонью горло воркующего голубя.

Несогласный с ним пес тявкал в крайнем возмущении.

Очарованный нежной дрожью, доверием бессловесного, безобидного существа, долго сидел человек на сгнившем изнутри стволе карагача, покачиваясь в такт едва слышным звукам, убаюканный ими.

Дерево было сломлено и свалено прошлогодним снегопадом под красногранитную стену мемориала. Разорванные, разможенные волокна древесины на месте излома ствола оставляли впечатление взрыва. В просеке кленов, образованной падением векового дерева, светился храм. Над зелеными куполами таяло в синеве золото крестов. Снежные окоемы окон холодно врезались в стены цвета опавшей листвы.

Гипнотическое оцепенение исходило от храма. В некотором удивлении увидел в нем бомж межзвездный корабль.

Космический пришелец из далеких миров, застрявший на одной из затерянных в мироздании планет. То ли топливо кончилось, то ли экипаж вымер.

То ли нет смысла куда-то лететь.

С тех пор, как из храма выселили галерею современной живописи, очищенное от мирской скверны строение обрело тоскующую душу неземного существа, потерявшего надежду вырваться из земного плена.

Печально загудели колокола.

Словно жаловались небесам.

В светлой слезе бездомного человека преломился храм и оторвался от земли.

Бомж вытер глаза голубиным крылом, ругая себя в бесполезном раскаянии душегубом.

К служебным вратам храма, нежно шурша шинами, подкатил черный «Мерседес». Из иномарки с трудом выкарабкался дородный батюшка в черном, с челом, полным скорби и заботы. Оглядевшись, проверил, включено ли противоугонное устройство, и взошел на



крыльцо. Взошедши, оглянулся в тревоге: не угнали ли машину?

– Как ты думаешь, Митек, – снова обратился бомж к животному, наблюдая за батюшкой, – почему Бог вместо Адама не создал сразу Христа?

Митек смутился и в смущении стал суетливо подметать хвостом опавшую листву.

– Вот и я этого не понимаю, – почесывая сквозь дыру в подошве пятку, задумался человек.

Но думал недолго. Скучно стало думать.

– Не наше это с тобой дело, Митек. Ему, конечно, видней сверху. Одно я знаю: человек должен стремиться стать Богом. Иначе у него нет шансов остаться человеком. Вот ты, Митек, никогда не станешь человеком, – пожалел бомж собаку, – потому что и понятия не имеешь, что такое Бог.

С этими словами он вставил шею голубя между средним и указательным пальцами, сжал кисть в кулак и резко ударил им о колено.

Кто знает, сколько убийств было совершено в эту секунду, сколько жизней было буднично похищено у земных тварей.

Поднявши с окровавленной листвы обезглавленную птицу, бомж подержал конвульсирующую тушку навесу, оттесняя ногой нетерпеливого Митька. Пес проглотил оторванную голову и теперь посягал на все остальное.

Ошипывать перья бомж не стал.

* * *

Это был один из тех жалких, затравленных созданий, что живыми привидениями бродят по большим городам, собирая по урнам и канавам пустые бутылки и конкурируя у мусорных баков с бездомными кошками.

Жил безымянный человек в парке Героев Великой Войны. В самом глухом его, неухоженном углу. Там, где под вонзившимися в землю сучьями надломленного сырым снегом великана-карагача скрывался забытый коммунальными службами города Ненуженска люк канализационного колодца.

Еще недавно он жил вообще, как барин, в обществен-



ном туалете возле дубовой аллеи. Но приватизировавшие эту недвижимость предприниматели переоборудовали туалет в кафе, окрестив заведение благоуханным именем «Жасмин». Бомж был изгнан из рая, но сожалел о теплом лежбище недолго. Колодец теплотрассы из-за своей уединенности понравился ему даже больше туалета. Здесь он сразу почувствовал себя на месте, хозяином крохотного клочка планеты. Одиравший после перестройки парк стал его домом. И проснулся в нем собственник. Как черный дрозд или полевая мышка, бомж никому не мозолил глаза. Избегал встреч с обремененными частной собственностью горожанами, а пуще того – с подобными себе неимущими существами, которых в этом теплом городе было превеликое множество. Ветер перемен ближе к осени срывал этот человеческий мусор с холодных равнин и забивал им живописные предгорья Ненуженска. Столкнувшись близ логова с одетым в лохмотья, дурно пахнущим, заросшим и вшивым созданием, парковский бомж безжалостно изгонял его за границы своей территории. Он ни с кем не собирался делиться жизненным пространством. Все здесь принадлежало только ему: ресторан в западной части с летней верандой и прилегающей помойкой, вечный огонь мемориала, площадь перед церковью, где бабушки пасли внучат, а внучата откармливали для него стаи жирных голубей. Впрочем, от щедрот человеческих кормились и вороны, не столь доверчивые, но много прожорливее.

На бордюре у главного входа, подложив под себя куски картона, сидели нищие с умиленно смиренными лицами и жалобно просили у Бога здоровья для прохожих. Нищие не любили бомжа и, когда он входил в зону их интересов, злобно шикали на него, прогоняя прочь. Особенно не любила его попрошайка с признаками вечного похмельного синдрома. Она стояла чуть в стороне от основной массы просящих подаяния и зорко наблюдала за мальцом лет восьми, на коленях у которого сидела трехлетняя девочка. Пацан в драной фуфайке с чужого плеча был не по годам угрюм и печален, девочка – в равной степени чумаза и прелестна. Обнимая за шею братика, она пугливо косилась по сторонам, не поднимая глаз



выше колен прохожих. Опытный нарколог мог бы заметить на лицах детей признаки токсикомании. Даже люди с каменными сердцами не могли безучастно пройти мимо. Руки сами тянулись к кошелькам. Те же, у кого они были пусты, и кому нечем было откупиться от душераздирающей картины, сопереживали особенно искренне, пытаясь принять участие в судьбе детей. Синелица мамаша, издали щурилась глаза в попытке определить достоинство жертвуемых купюр, вмешивалась в крайних случаях, когда добросердечие и любознательность ненуженцев выходили за границы дозволенного.

Бомж и не собирался конкурировать с попрошайками, тем более что это было небезопасно: многие из них были вооружены костылями. Его интересовали исключительно голуби. Избалованные пенсионерами, были они совершенно домашними.

Ближе к обеду, когда старушки развозили нагулявших детей на кормежку, бомж робко присаживался на самый краешек самой крайней скамейки и смиренно спрашивал соседей: «Который час?». С неудовольствием ловя чуткими, изнеженными носами плесневелый запах лохмотьев, благополучные граждане испуганно косились на него, смотрели на часы и вдруг, вспоминая о неотложных делах, поспешно уходили в дремучесть дубовых аллей, будто скрываясь от неизбежного будущего. Последние, самые неугомонные и непослушные ребятишки, растопырив руки, бегали по площадке, поднимая голубиную вьюгу, не обращая внимания на страшные бабушкины угрозы. Эти суматошные предобеденные минуты были самым подходящим временем для охоты.

– Цып-цып-цып, – подзывал ласково бомж голубей, делая вид, что крошит хлеб. Вскормленные от щедрот человеческих, птицы стремительно откликались на зов и, окружив мецената, с недоумением разглядывали пустоту у его ног. Миг – и самый доверчивый голубь оказывался за пазухой у бомжа. Остальные, хлопая крыльями, разлетались живым взрывом.

Не каждый день выходил бомж на охоту. Не всякая охота была удачной. Случалось, что в свой скрад возвращался он без добычи, а порой и с разбитым лицом. Однако



дно канализационного люка было устлано довольно толстым слоем перьев.

Обезглавив, ошипав и выпотрошив жертву, бездомный человек дожидался сумерек.

С наступлением темноты улицы Ненуженска вымирали. Жуткими провалами чернели микрорайоны, подвергнутые плановому отключению. На перекрестках пустынных улиц мигали редкие исправные светофоры.

Перед памятникам воинам-освободителям трепетал чахлый язычок вечного огня.

Бомж присаживался на корточки перед этим уютным костерком в центре города и поджаривал нанизанную на арматуру тушку птицы. Приятно пахло палеными перьями, ароматом свежего, скворчащего сала.

Отсветы огня метались по бронзовым лицам воинов, чередуясь с глубокими насыщенными тенями. С некоторым удивлением и гримасой разочарования глядели они с высоты пьедестала на своего потомка. Они заблуждались, думая, что умирают за светлое будущее. Будущее наступило. И оно не было светлым. От будущего исходил мерзкий запах предательства и нищеты. Для наступившего будущего они были лишь тенями заброшенного, не охраняемого мемориала. Ни жизни, ни подвиги, ни смерти их не были нужны этому будущему.

Да и вечный огонь не был вечным.

И он, как обычная газовая плита, затухал, когда за неплату братья из суверенной страны перекрывали соседям нитку газопровода.

Общая страна была расколота, как тарелка в домашней ссоре. Бездомный человек был лишь одним из миллионов крошечных осколков, до которых никому не было дела.

Бронзовые солдаты были убиты посмертно. Инфаркт разорвал их бронзовые сердца.

С поджаренным голубем бомж уходил во мрак парка, к своему логову. Усевшись на ствол карагача, урча от наслаждения, он впивался гнилыми зубами в нежное, хотя местами и сыроватое, мясо.

– А тебе нельзя, – дразнил он Митька, – трубчатые кости собакам вредны.

Митек о таких тонкостях не подозревал.



Впрочем, трубчатые кости вредны только для домашних псов, а таким бродяжкам, как Митек, они очень даже полезны.

После не сытного, но вкусного ужина бомж и пес шли по аллее с разбитыми фонарями к поливочным фонтанчикам утолить жажду и полить лишней влагой дичающие за неуходом розы.

Вернувшись к поваленному карагачу, они долго смотрели в просветы деревьев на звезды и философствовали. Человека в лохмотьях утешала мысль о сиротской доле его планеты. Земля, если разобраться, тоже бомж в этом сияющем холодными огнями мегаполисе космоса.

Побеседовав на эту тему с Митьком, человек шел спать. Открыв люк, он всякий раз приглашал пса. Но тот – то ли боялся замкнутого пространства, то ли темноты, то ли не позволяла собачья гордость – в колодец не лез.

Дождавшись, пока человек закроет изнутри свою теплую могилу, пес с важным видом ложился на люк.

Он занимался своим делом, выполнял свой собачий долг – охранял жилище хозяина.

* * *

Каждый раз бомж засыпал с надеждой никогда не проснуться.

Вначале его смущала мысль о собственном разлагающемся теле.

Но что такое для мертвого человека год, век, тысячелетие? Для мертвого человека и секунда, и вечность равнозначны – ничего не значащие понятия. Смерть – побег за пределы времени. Переход от кратковременного живого в вечное мертвое.

Свернувшись в позе зародыша на дне колодца, человек ощущал себя космонавтом в переходной камере перед выходом из хрупкой, потерявшей управление станции в открытый космос.

Лежащий на люке бездомный пес скулил во сне. Его мучили собачьи кошмары. У него не было спасительных мыслей о вечности и робких надежд на Бога. На свободное, ничем не обусловленное существование.

В смрадном отрепье, в сыром склепе, дыша спертым



воздухом, бомж думал о смерти, как о чем-то прекрасном. Она представлялась ему чистым пламенем, в котором сгорает тело и освобождается душа. Нет, не хорошо умирать на дне канализационного колодца. Не годится. Когда он почувствует, что пришло время, надо уйти высоко в горы. Лечь на чистый снег, который никто никогда не топтал, и смотреть в близкое небо, пока не сольешься с ним.

– Ты спишь? – спросил бомж пса замогильным голосом.

В ответ Митек усердно забарабанил хвостом о люк: точка, тире, точка... Мол, слышу и, хотя имею свое мнение, заранее согласен со всем, что ты скажешь, хозяин.

– Ответь мне, Митек, только честно: на фига мы с тобой живем?

– Тук-тук-тук, – заволновался пес.

– Вот и мне кажется, что это дело кто-то пустил на самотек. Никому до тебя нет дела. Сдохнешь – у природы еще много собак.

– Тук-тук, – обиделся пес.

– Я – другое дело. Я думаю. Ах, тебе кажется, что мысли исчезают, как дым из трубы. Вряд ли. Должно быть, ТАМ их сортируют: грязные – в помойную яму, чистые – в шкатулку.

– Тук-тук-тук, – возразил пес.

– Это ты зря. Слова, молитвы – это лишь влияние хвостом. Мысли – не слова. В мыслях нет лжи. Мысли – они и есть душа. А душа постепенно источается. Переходит в другой мир. Я тебе больше скажу: нас здесь фильтруют. Пустая порода отсеивается, остается золото. Уж нас-то с тобой точно уже отсеяли.

* * *

Он был человеком не только без определенного места жительства, но и без имени. Время от времени бомж пытался вспомнить, откуда он, но всякий раз память, словно в бетонную плотину, утыкалась в день, когда раскатами первого грома над ним грянул духовой оркестр.

Человек проснулся в страхе. Сырость и темнота окружали его. Не хватало воздуха. Останавливалось, зашкаливая, сердце. Он сплошь состоял из маленьких и боль-



ших болей, старых, плохо заживших, и свежих, саднящих ран, вывихов, ушибов, растяжений. Во всем теле гудело и покалывало, как в руке, которую отлежал во сне.

Отчего все болит? Где он? Кто он?

А между тем музыкальная гроза набирала силу. Балбесом ухал барабан. Звенели и рассыпались медью назойливые тарелки. Опоздавшими паровозами гудели трубы. Звуки были такими мощными, что создавали легкое землетрясение.

Головная боль вызвала приступ тошноты. Судорожный озноб прокатился по телу. Кольнуло сердце. Оно с натугой сократилось – выплеснуло холодную кровь и пошло стучать-поскрипывать старыми ходиками с проржавевшими колесиками.

Над головой перетапывались и переговаривались. Сбоку шумело море.

Зашуршав бумагами, человек приподнялся на локоть и подполз к светящейся щели. Приник к ней полузаплывшим глазом и зажмурился. Его ослепило многоцветье нарядных праздничных ног: мужских, женских и детских – в отглаженных брюках и потертых джинсах, в ярких платьях и шортиках, гольфиках и носочках. Ноги весело переступали на месте, общались друг с другом, становились на цыпочки, переминались, а самые маленькие в крайнем нетерпении подпрыгивали.

То, что он принял за шум моря, было смешением тысяч женских и мужских голосов, в которое криками чаек вплетался детский восторг.

На расстоянии вытянутой руки от щели в туфлях на немыслимо тонких и высоких каблуках томились породистые ноги, обтянутые узорными чулками. Каблуки выглядели настолько хрупкими, что казалось, будто полные женственно-мощные ноги парят над землей. Вокруг этих неотразимо привлекательных ног кружились в обожании светлые брюки и соперничающие с ними джинсы. Иногда поле зрения перекрывали букеты живых и бумажных цветов, оранжевые и голубые шары, которые мгновенно взлетали в недосыгаемую взору зону.

Все без исключения ноги были приятные, праздничные. Лишь однажды смутили не помнящего себя человека



начищенные до блеска сапоги казенного вида, упруго прошагавшие мимо по какой-то служебной надобности. И только они исчезли, как музыка резко оборвалась, и морской шум обернулся ровным рокотом множества голосов с всплесками женского смеха и детских выкриков. Громкий шепот наверху перекрыл разноголосицу: «Чего они там вошкаются? Готово, нет? Подключили? Можно начинать?» И тот же голос, но уже в полную силу легких сердито обратился к присмирившим ногам: «Др-р-рузья! Бр-р-р-ратья и сестр-р-ры!» Напористый, рычащий голос нарастал горным обвалом, дробно рассыпал горох непривычных уху слов: «Пер-р-р-рестр-р-ройка... демокр-р-р-ратия... пар-р-ртокр-р-р-ратия...» Изящно-пышные, залитые солнцем ноги незнакомки вместе с другими, но уже менее прекрасными ногами, почтительно внимали Голосу. Это был яркий, но чужой мир, в котором не было места смотрящему из темноты.

Так ничего и не вспомнив относительно себя, человек отполз от щели, лег на спину и смиренно уставился на поскрипывающий потолок. Много их там и все, поди, речи будут говорить. В горле нестерпимо зашекотало. Уткнувшись ртом в изгиб локтя, человек закашлялся, содрогаясь всем телом и обливаясь холодным потом: вдруг они там, наверху, услышат его. Но тигриный, наводящий ужас рык глушил все звуки. «Пр-р-р-риор-р-ритет... сувер-р-ринитет...» – зычно рычал оратор, возбуждаясь и возбуждая.

Кашель стих. Человек, переводя дух, похлопал себя по груди. Хлопал, хлопал и нахлопал в нагрудном кармане коробку спичек и сигарету. То есть не совсем сигарету. Бычок. Но едва-едва надкуренный. Размял окурочку у уха. Определил по хрусту – сыроват. Понюхал. Аромат перебивала гарь, но высшим сортом все-таки пахло. Привыкшие к темноте глаза разглядели черный фильтр с золотистым ободком. В коробке оказалась всего одна спичка. Он долго тер ее о волосы. Сдерживая дыхание и дрожь в руке, чиркнул об обжигку. Закурил. От первой глубокой затяжки на мгновение потерял сознание, поплыл в обморочной невесомости. Разогнал слабой рукой дым. Затянулся снова. Задержал дым в легких и



медленно выпустил через нос. Распрямил ноющие в суставах ноги.

Напрасно морщил он лоб. Не то чтобы имени, но даже собственного лица не мог вспомнить. «Я сплю, – утешил он себя, – проснусь и все вспомню». Мысль эта успокоила и расслабила. Человек без имени закрыл глаза.

Рука с тлеющей сигаретой медленно опустилась на ворох бумаг с гербовыми печатями и грозно предупреждающими грифами: «Для служебного пользования», «Секретно», «Совершенно секретно», «Государственная тайна».

Через секунду он стоял в шумной, пропахшей мочой и вяленой рыбой пивнушке. Стиснутый со всех сторон широкими спинами в промасленных фуфайках, с вождением смотрел на чужую кружку с недопитым пивом. Цвет у пива был холодно-золотистый и блик-паучок шевелил лапками в его густом нутре. Хозяин кружки, повернувшись к ней спиной, хрипел сорванным голосом, декламируя стихи собственного сочинения. Он энергично жестикулировал и время от времени забрасывал на плечо непослушный шарф. Был он снежно-белый с четким отпечатком подошвы кирзового сапога. Шарф вновь и вновь сползал, раздражая и сердя хозяина. Пивнушка одобрительно гудела, поощряя поэта.

– В мор-р-рге светят зубы золотые...

Убедившись, что любителям поэзии нет до него дела, человек слил остатки пива из четырех кружек в пятую и подобрал со стола набухший в лужице соленый каралик. Предвкушая мгновение, когда холодный ливень хлынет в пересохшую пустыню желудка, поднес кружку ко рту.

Но из кружки полился горящий бензин.

...Из всех щелей дощатой трибуны повалил едкий, густой дым и площадь потряс вопль.

Трибуна вопияла к небесам.

Докладчик, между тем, демонстрируя выдержку и непреклонность, разгонял шляпой дым, стелющийся над текстом доклада, и мужественно продолжал восхищаться захватывающими перспективами перестройки.

Микрофон не выдержал идиотизма ситуации и зафонил.

Людская лужа, запрудившая площадь, всколыхнулась



и заштормила. Бурунами заходили транспаранты, несколько шаров самопроизвольно взлетели вверх. Передние ряды отхлынули от горящей трибуны, в то время как задние наоборот, любопытствуя, устремились к ней.

Стоящие на трибуне, щурясь от дыма, смотрели на докладчика, ожидая от него правильного решения. Оратор дочитал скороговоркой текст, подравнял листы, постучав ими о трибуну, согнул доклад вдвое и упрятал во внутренний карман. После этого подал знак. Руководители и наиболее демократично настроенные люди города Ненуженска организованно покинули обреченную трибуну.

* * *

Пытаясь вспомнить себя, бомж не мог четко разделить свои кошмары от своей жизни. Это его всякий раз и сбивало.

Вот он осенним разбухшим листом опускается на дно озера. Руки и ноги расслаблены и невесомы. Водоросли сгибаются под тяжестью тела и лениво распрямляются, освободившись. Опустился спиной на холодный ил. Поднялась муть и осела.

Разве можно лежать на дне несколько лет и не умереть? А между тем он ясно помнит, как медленно прорастали из-под него водоросли, как днем в поверхность воды впечатывалось золотое сито солнца, просеивая зеленоватый свет, а ночью сквозь сито луны струилось голубое серебро. Когда воду сковывало льдом, его открытым глазам еще долго мерещились тела летних купальщиков, проплывших над ним когда-то, и медно-красные блесны, просверкавшие у лица. Однажды блесну схватила щука и метнулась в сторону, а натянувшаяся лесса оставила пенную полосу, похожую на инверсионный след реактивного самолета.

Зимой солнце едва угадывалось сквозь лед.

Часто подплывал зеленый окунь с порванной губой. Невиданно большой и горбатый. Он зависал над переносицей и подолгу смотрел немигающими глазами в лицо утопленника.

Однажды сине-зеленый с шариками застывшего воздуха лед процарапали коньки. Этот режущий звук был



знакомым и незнакомым, словно любимая мелодия, исполненная на неизвестном инструменте.

Много видели вечно открытые глаза утопленника, полные безмятежного холода.

Стылым, сумрачным утром человек без имени услышал звонкие, сочные удары. Долбили прорубь. С каждым ударом острого железа, с каждым новым сколом, изломом менялись очертания кристалла над головой. С удаляющимся звоном трещины, расколовшей озерный лед, в пробитую пешней дыру хлынул солнечный свет. Красная рука не спеша вычерпала пляшущие в воде осколки льда.

За ночь горло проруби смерзлось, но по утрам, поскрипывая снегом, приходил человек с пешней и разбивал лед. Каждый день в прорубь опускались серебряные ведра. Зачерпнув тяжелую синь воды, они блекло блистали ленивыми язями. Однажды, когда края проруби отсвечивали огнем морозного заката, над лункой склонились два юных лица. Юноша и девушка пили воду, как ее пьют мучимые жаждой после долгого бега красивые животные. Напившись, они долго целовались над ледяной амбразурой. Медленно смерзалась прорубь, все меньше звезд вмещалось в нее.

...И настал вечер необъяснимого беспокойства.

Человек без имени медленно всплыл. Вода в проруби с тяжким всплеском разомкнулась над его головой.

Он увидел забытый, чужой мир.

Отражение звезд во льду ярче самих звезд. Деревушка на обрывистом берегу. Дымы над печными трубами тянутся столбами до высоты облаков. Шарообразные скелеты деревьев за высокими плетнями.

Был теплый вечер накануне большого инея.

Человек без имени медленно шел по скользкому льду к деревне. В его обнаженном обледеневшем теле отражались звезды и печальные, затерянные во вселенной огни деревенских окон. В нем не было ни мыслей, ни желаний. Только тоска и нечто мимолетное, смутное, как пар от дыхания: в подтаявшей памяти обнажилось деревомолния, проросшая на зеленом облаке, знакомое окно с незнакомым силуэтом, морщинистое лицо пустыни.



Заблудившаяся корова испугалась голого человека, заскользила и упала на лед. Отчаянные попытки подняться приводили лишь к новым падениям. В лунном свете шерсть у коровы была призрачного голубого цвета.

Человек вскарабкался по крутому берегу. Он шел без тропы по только что упавшему с неба снегу, искрящимся свежим блеском, мимо яблоневых деревьев, таящих в себе будущие плоды, замороженные до определенного дня запаха.

Тихий звон услышал зимний сад. Это оттаивало тело человека без имени. В сердце, как в замороженной почке, больно и гулко кольнула первая искорка тепла. Механически правильные движения становились неуверенными и неловкими.

Стояла глухонемая, бездонная, безмятежная ночь. Ночь, которая случается лишь в глухоты, да и то изредка. Все было осыпано лунной пылью. В светлых домах с остывающими печами, как проруби, чернели окна. Мир наслаждался собственным безмолвием. Он только что был сотворен, и создатель размышлял, стоит ли приводить его в движение.

Свежий, как снег, пахнувший снегом страх охлаждал просыпающееся сердце. Оглушительно, на все мироздание скрипел снег под босыми ступнями. Тело было крепко связано, скручено тенями ветвей.

По светлому саду, по чистому снегу навстречу шла девочка. Белые валенки, белый пуховой платок — одуванчик, по рассеянности попавший в зиму. На ней была короткая беличья шубка. Коленки у нее мерзли, и время от времени она растирала их вязаными рукавичками.

К груди она прижимала белые туфельки.

Парализованный страхом, человек без имени стоял на ее пути, страшный и беззащитный.

Ужас внезапного падения в пропасть исказил ее черты.

Он медленно возвращался к проруби.

Гасли звезды. Просыпались в домах хозяйки. Покрывались инеем яблоневые деревья и провода. Билась на льду корова. Падали с безоблачного неба редкие слепые



снежинки. Лежала в яблоневом саду девочка, умершая от страха.

Человек без имени протиснулся в прорубь по шее. Ему хотелось дожидаться восхода солнца. Он ждал долго, пока горло не стянуло льдом. Вмороженный в прорубь, он смотрел немигающими пустыми глазами на обжигающе холодный огонь зимнего светила, встающего над чужой деревней.

Пришел старик в засаленной шубе, волоча за собой на веревочке пешню. Он постоял над вмороженной в лед незнакомой головой, сняв было по обычаю рыжую шапчонку, но, боясь застудить лысину, вновь нахлобучил ее. Теплой, согретой в волчьей варежке, ладонью оттаял сосульки с усов. Не спеша свернул и закурил сигарку. И, пока курил, со старческим равнодушием смотрел на торчащую из льда голову чужого человека, опоганившего прорубь. Пришли женщины с ведрами и флягами на санках, заохали, зачмокали губами, жалея и незнакомца, и опоганенную им прорубь. Пацаны побежали в деревню оповестить мужиков.

Старик молча докурил сигарку и, не дожидаясь участкового, крикнув, с силой ударил острым наконечником пешни в лед возле горла мертвеца.

* * *

Лежащий на дне канализационного колодца бомж погружался в ненадежную память, как в бездонные воды, пока не достигал беспросветной черноты. Это была предельная, пугающая глубина сумасшествия, после которой едва-едва хватало сил и воздуха всплыть в настоящее. Он тяжело дышал, содрогаясь от внутреннего холода. Но бездна манила к себе.

И в эту ночь он не нашел себя в прошлом, но вспомнил тяжелое чувство вины. Он не знал, в чем она заключается, но с этой виной нельзя было жить. Если бы вспомнилась эта вина, вспомнилось бы все. Но именно на этой дороге был поставлен шлагбаум.

Но что ему в этом прошлом? Не пожалеет ли он о спасительном забвении, вспомнив свое имя и обстоятельства прежней жизни? Есть ли на свете человек, способный

областная библиотека

им. С. МУХАНОВА

г. Пенза, 1977



ответить, кто он? Так ли важно прошлое? Если нет прошлого, его можно придумать. В придуманном прошлом не будет вины, непосильная тяжесть которой раздробила его память.

Но ему не нужна была придуманная жизнь. Черный провал памяти властно звал к новому мучительному погружению. Ему нужно было найти себя.

– Ты спишь, Митек? – окликнул бомж пса и, дождавшись ответного стука, спросил. – Как ты думаешь, если человека нет в прошлом, может быть, он в будущем? Может быть, там его поискать?

На такие глупости Митек не считал нужным отвечать. Он только вздохнул мудро – надоел ты мне со своими заморочками, отвяжись.

Прерывистые сны-воспоминания делали ночь бесконечной. Прошлое было полно запретов и соблазнов. Преодолев страх, человек возвращался в свою память, где царило вечное затмение.

Смутный ангел склонился над ним. Легкий сквознячок от взмаха крыла похолодил глазные яблоки.

Прозрачными пальцами ангел открыл рот человеку без имени и принялся чистить ему зубы.

Голос за спиной ангела торжественно и невнятно произнес слова на небесном языке, и ангел ответил:

– А что ему сделается? Доброго человека давно бы за Три карты отвезли. От доброго человека одни бы угольки остались. А этот еще нас с вами переживет.

Человек попытался приподнять голову, чтобы лучше разглядеть сердитого ангела.

Гул и треск охваченной жадным пламенем резины заглушил его крик.

Он был прикручен раскаленной добела проволокой к бетонному пасынку столба. Конец проволоки через ноздрю пронизывал его насквозь. Ноги горели, потрескивая и разбрызгивая скудные капли жира. Легкие были забиты горькой копотью черных хлопьев. Когда ветер на секунду пробивал брешь в густой завесе дыма, человек видел скачущиеся с крутой сопки горящие шины. Подпрыгивая, перегоняя друг друга и сталкиваясь, огненные колеса падали на дно ущелья-свалки, к подножью бетонного



столба. Табуны автомобильных шин с гулом проносились рядом, врезались в столб, взрываясь снопами искр, кистевали между другими шинами, догорающими, истекающими никотиновыми ручьями.

А кто-то громогласно хохочущий на вершине сопки, все скатывал и скатывал вниз горящие колеса.

– У него нет вен, – сказал ангел.

– Поищи – должны быть.

В локтевой изгиб по самую шляпку вколотили расплавленный гвоздь.

И пошел снег. Крупными, спасительно-холодными хлопьями.

Снегопад загасил горящую свалку. Все стало белым, мертвым, безголосым. Человек без имени лежал на пушистом сугробе. Он не открывал век, боясь, что холодное сияние выжжет глаза. Тысячи морозных игл покалывали обугленное тело. Человек-головешка медленно протаяивал сугроб жаром собственного мяса. Белый сруб снежного колодца высоко вверху голубел пятном неба. В отверстии, сияя кокардой, заглянула казенная фуражка.

– Кажется, очнулся, – неуверенно сказала фуражка. От нее пахло, как от пепельницы, забитой окурками. – Ишь как забинтовали, что твой фараон. Глаза-то не пожег? Побрить бы его надо.

– Тогда от него вообще ничего не останется, – сказал строгий ангел. – Слаб он еще для допросов.

– Слаб-то слаб, а вот возьмет и выпрыгнет в окно. Кто знает, какой за ним след тянется. Вот и удостоверь личность – ни документов, ни родственников, лицо подпалил, пальчики сжег.

– Не похож он на преступника. Наколот нет. Так, бродяжка безобидная. А сбежать не сбежит. Разве что на тот свет. Это уже сгоревшая спичка.

Щелкнул выключатель, и человек-головешка потух, отключившись.

Потом он беседовал с Богом, и Бог сказал, протирая очки клочком облака:

– Интересный случай: сознание, вывернутое наизнанку, переверот памяти – то, что когда-то привиделось в бреду, в кошмаре, во сне, представляется ему реальностью, а то,



что было действительностью, воспринимается сном. А сны, естественно, забываются.

– Не такое уж это редкое явление, – ответила тень Бога, – вся наша жизнь сегодня вывернута наизнанку. То, что казалось бредом, стало реальностью.

– Или наоборот.

– Какая разница. Неприятно, когда тебя выворачивают наизнанку. Мерзкое это ощущение. Впрочем, боюсь, что наш разговор снова переходит в плоскость политики.

И Бог, беседуя с собственной тенью, удалился.

* * *

Луна фрагментарно освещала замкнутое пространство реанимационной палаты. На соседней койке строгая медсестра и веселый допризывник, помещенный в больницу для выявления пригодности к воинской службе, изнурительно занимались любовью. Человек без имени, укрытый тенью, отрешенно созерцал яростное взаимотерзание серебряно-янтарных тел. Ночь пахла лекарством и любовным потом, сочной земляникой на кладбище.

– Он нас не слышит? – прошептал допризывник.

– Не слышит, – успокоила его медсестра.

– Долго лежит?

– Почти месяц.

– А он не того?

– Пусть – посмотрю.

– Да ладно. Страшно рядом с покойником?

– Он еще не покойник.

– Ну, почти покойник.

– Все мы почти покойники.

– Умрет, где похоронят?

– Где всех – в земле.

– А на могиле что напишут?

– Какая разница.

– Может быть, у него родня есть. Может быть, ищут.

– Может быть.

– А может быть, не ищут.

– Может быть.

– А на нашей койке кто-нибудь умирал?

– Здесь на всех койках кто-нибудь умирал.

Возбужденные мыслью, что любят на ложе мертвецов, они возобновили сладостную взаимопытку.

С этой ночи память человека без имени была чиста. Сон и явь не переплетались в его воспоминаниях. С этого момента начиналась его новая жизнь.

Он помнил, как хорошо ворковали на следующее утро голуби на больничной крыше. Слабый ветерок, проникая через приоткрытую форточку, наполнял палату запахом свежескошенной травы.

Хорошо и спокойно. Как на том свете.

Он лежал и думал: замечательно, должно быть, избавиться от мерзости собственного тела, сбросить его, как непосильный груз с плеч, стать частью этого ветерка, раствориться в нем запахом свежего сена, и невидимым плыть над землей в чистые, безлюдные края.

Он не мог сбросить с себя полусгоревшую, истерзанную болями оболочку, но сама мысль об избавлении от самого себя пьянила небывалой свободой.

Свою слабую, обремененную мерзкими привычками и прихотями плоть он воспринимал как врага. Все в этом отвратительном существе было ненавистно. Особенно раздражало желание курить. Со злорадством наблюдал он мучения своего развращенного тела и думал мстительно: «А вот посмотрим, кто здесь хозяин». Он презирал собственное тело и испытывал мстительное наслаждение от его мучений. Он не нашел себя в прошлом, и это давало право не узнавать себя в этом избитом, потрепанном существе, которому с этой минуты была объявлена война. Надо было подчинить себе чужое тело и заставить его делать то, что хочет он. И человек с высокомерием небожителя приказал своей жалкой плоти отказаться от сигарет.

Помогая себе руками, он сел в кровати. Спустил ноги на пол.

Кружилась голова.

Человек без имени управлял непослушным телом, как незнакомой машиной.

Из окна он увидел внутренний дворик, выложенный булыжниками. Женщина развешивала на бельевой веревке застиранную одежду. Платья. Детские гамаши. Страшный, как утопленник, мужской костюм.



И ни одной собаки во дворе..

Человек поднял глаза — и над латанными жестяными крышами домов на темном грозовом небе с впечатанным в невесомость снежным осколком горы увидел высокую двойную радугу. В эти небесные врата с веселым гулом врывается только что рожденный в ледниках ветер. Волновалось, клубясь, море древесной листвы, в центре которого, под вершиной большой радуги, плыл, высвеченный единственным солнечным лучом, золотой корабль храма. Так свежо, так хорошо было в мире, что оросила душу безымянного человека легкая слеза. Это было то самое долгожданное место, где одинаково благостно и жить, и умереть.

И только он подумал об этом, как ближе к затуманенным горам вспыхнула еще одна, третья, радуга.

* * *

Галерея современного искусства заняла павильон возле храма, где раньше был клуб шахматистов. Вытесненные постоянно действующей выставкой-продажей картин шахматисты задумчивыми стайками расселись на скамейках в тени деревьев. Павильон был маленький, а голодных художников много. Все полотна в помещение не вмещались и днем их развешивали на дубах или ставили прямо на зеленый газон, прислонив к стволам.

В помещение бомж заходить стеснялся, зато возле картин под открытым небом кружил дни напролет. Как муха вокруг подваливаемой рыбы.

Он не вспомнил, а смутно почувствовал, что в прошлой жизни имел какое-то отношение ко всему этому.

Его притягивали пейзажи, написанные чистыми красками.

— Нравится? — спросил его однажды незнакомец с красивой плешью и кошачьими глазами.

Бомж вздрогнул, кивнул поспешно и на всякий случай отступил от понравившейся картины.

— Жизнь — одно несовпадение, — вздохнул плешивый, — тебе нравится, да денег нет, а у кого денег полно, вместо глаз — пуговицы от кальсон. Тоже авангард с андеграундом не любишь? Хотя, казалось бы... Посмотри на это. Чувствуешь, как густо несет фальшью и похвалбой?



Посмотрите, какой я на вас непохожий, какой я особенный и непонятный! Просто стыдно за мужика. Все нас с тобой надуть пытается дешевым фокусом с черным квадратом. На снобов рассчитывает. Торговец... С этим нельзя жить. Чувствуешь, какая дурная энергия прет. Если бы человек, с таким упоением эстетизирующий помойку и дерьмо, пожил бы на свалке, он не писал бы ничего, кроме звездного неба да чистых гор.

«Удищев» – прочитал бомж авторскую подпись на не понравившейся плешивому картине и подумал, что Удищев, должно быть, родился и всю жизнь прожил в этом красивом городе. И эти горы, этот храм, эти вековые деревья настолько приелись ему, настолько набили оскомины, что он уже не понимает, что красиво, а что – дерьмо.

Родиться надо в пустыне.

И полюбить пустыню.

А потом поселиться в бескрайней степи. Тосковать по пустыне и влюбляться в степь.

И когда полюбишь степь, переехать в лес. Дремучий, как мысли идиота.

Красоту нужно постигать постепенно. Пить маленькими глотками.

Человек, полюбивший и понявший пустыню, полюбит и степь, и лес, и горы, и море, и свалку, если на то пошло.

Но если человек родится в раю, и этот рай ему надоест, он никогда не поймет ни красоты пустыни, ни саму красоту.

Это не художник, а свинья, вскормленная тортами. Он всю жизнь будет рисовать помойки и дерьмо.

Вечером картины собирали, как грибы, и уносили на ночь в павильон, а бомж, наполнив душу до краев разнотравьем, шел к своему скраду, ложился на хрустящую, золотую ржавчину осени и до головокружения всматривался в синий клочок неба, исчерканный ветвями и веточками. В этом хаосе линий скрывалось бесчисленное количество набросков, все, что уже нарисовано, рисуется и когда-нибудь будет нарисовано. Человек без имени шурил уставшие глаза, выискивая в живых, колышущихся изломах и пересечениях рисунок за рисунком.



– Вот скажи, Митек, сколько в Ненуженске голых стен, – делился он с псом своими соображениями, когда небо и ветки сливались в один черный квадрат, – отчего бы их не разрисовать? По всему фасаду спичечной фабрики – цветы луговые, а? Зима наступит, снег повалит. А они цветут. А по всей Малоавгустовской улице, по всем хрущобам – скачущих лошадей. Сами – красные, горы – сине-белые. Едешь в трамвае, а навстречу – лошади, лошади... Только тебя в трамвай не пустят. Да и меня тоже. В трамвае ездят чистые люди. Нам там без намордника делать нечего.

* * *

Между тем, теплая сухая осень заканчивалась.

Картины уже не выставляли под деревья.

Не столько из-за непогоды, сколько из-за отсутствия покупателей.

Площадку, где бабушки с внучатами кормили голубей, оккупировали стремительно размножившиеся нищие и убогие, а самую крайнюю скамью занял человек-оркестр. Он сразу невзлюбил бомжа, разгадав его плотоядные помыслы, и при робких попытках приблизиться к стае делал страшные глаза.

Скучно стало жить.

– Хорошо бы, Митек, – мечтал человек без имени, – если бы есть не надо было. Сунул два пальца в розетку – и подзарядился. Тебе хорошо. Ни пальто не надо, ни ботинок, – завидовал он псу, – а тут сиди и жди, когда на мусорку ветошь выбросят.

Зарядили тоскливые ночные дожди.

Митек убегал спать под навес церковного крыльца, а голодный бомж сидел в своей сырой могиле и судорожно водил перед собой рукою – рисовал тройную радугу, увиденную однажды из больничного окна.

Небо над горами мрачно-синее. До черноты, до дрожи. А между тем, не видимое из-за туч солнце параллельными земле лучами ярко и резко высвечивало холм с иглой телевышки, белоснежный осколок пика, повисший в невесомости грозового неба, тревожную зелень старого парка с золотыми куполами церкви. А над всем этим контрастным,



одновременно холодным и теплым, вселяющим надежду и тоску, просвеченным до травинки, до листочка пространством горела крутая, высокая радуга. Под мысленными ударами кисти она становилась все насыщеннее, все сочнее. Она рождалась в сиянии куполов и уходила за горы. И вдруг сама собой на полотне появлялась еще одна радуга поменьше, но такая же крутая и сочная, потом – еще одна. Эти три арки были, как врата в небо, и очень хотелось и было страшно идти по этой дороге.

– И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою, – шептал человек без имени странные и прекрасные слова, всплывшие из непроглядных глубин памяти.

По грязному лицу его текли чистые слезы.

Нарисованная несуществующими кистями тройная радуга часто снилась ему. Проснувшись, он думал: какая разница – нарисовал я ее в воздухе или на холсте? Настоящую картину можно повесить на стену. Но пройдет сто, тысяча, сто тысяч лет – и она рассыплется в прах, исчезнет. Потому что все исчезает.

Исчезает все, кроме картины, написанной несуществующими кистями на несуществующем холсте. Она не исчезнет никогда.

Он сжимался в комок, кутался в рваные лохмотья, пытаясь сохранить чахлае тепло простуженного тела, все более убеждаясь в этой странной мысли. Нет красок ярче, чем краски воображаемые.

Человек без имени натягивал на подрамник холст, брал кисти и палитру. Не открывая глаз, задыхаясь в хриплом кашле, приступал к очередному шедевру.

* * *

Мирофан Удищев не был Леонардо да Винчи, но выглядел так, что любой, даже очень далекий от искусства человек, сразу определил бы в нем художника.

Основную площадь лица Мирофана занимала тщательно неухоженная борода. Была в ней завершенность и некая божественная надменность небожителя. Волосоюной покров дополняла гривообразная, дико свободная прическа. Из густошерстного, косматого клубка выглядывало то,



что, собственно, и составляло лицо – мясистый, угреватый нос и глубоко посаженные, пронзительно-подозрительные глаза неопределенного цвета.

О носе что-либо лестное сказать трудно. Нос как нос. Такие носы часто встречаются и у нетворческой интеллигенции, и даже вовсе не у интеллигенции. А вот глаза... Глаза были нехорошими. Кошачьи глаза. Не вписывались они в портрет. Будто кто-то чужой, чего-то высматривающий поглядывал из скафандра тела на враждебный мир.

Мирофан Удишев вез жену на центральный базар Ненуженска сделать осенние закупки: мешка два картофеля, мешок лука, морковь, чеснок. Ну и все остальное по мелочам. Несмотря на чисто хозяйственные, в чем-то даже низменные заботы, Удишев весь был погружен в высокий мир творчества: последними словами ругал эту бездарь – Пентюхаева, возмнившего о себе черт знает что. Мирофана до глубины души возмутил факт появления статьи в любимой народом газете «Дребездень» о творчестве его учителя и нежно любимого друга. В сердцах бил он короткопалыми руками по рулю, скорбно мотал художественно заросшей головой и в голос ругал и Пентюхаева, и, попутно, соучастников дорожного движения.

– Козел! – кричал он не вовремя тронувшемуся на «зеленый» «Запорожцу», но это оскорбление могло относиться и к тому же Пентюхаеву, поскольку, обернувшись к жене, Удишев в гневе взревел на ни в чем не повинную женщину: – Колорит?! Какой к черту колорит! Он же не чувствует цвет. Он же дальтоник! Месит грязь по холсту, а они – колорит, колорит...

На что жена резонно отвечала:

– Мит, умоляю, смотри за дорогой.

Да, как и большинство художников, поэтов и актеров, Мирофан Удишев был нетерпим к чужой славе, ревнив к успехам друзей, завистлив и раздражителен.

Надо сказать, что это было странное, фантастическое время, когда талант вдруг сделался не нужен и даже вреден. Мерилом успеха считались исключительно деньги. Но в стране, где ничего не строилось, ничего не создавалось, деньги можно было добыть лишь одним способом – отняв их у других. Быть невостребованным талантом



считалось непрестижным. Добиться успеха мог лишь человек, лишенный каких-либо способностей или, в крайнем случае, скрывающий их, как постыдный порок. Настало великое время прожорливых бездарей. Хотя быть просто бездарью было недостаточно. Нужно было быть бездарью хамоватой и пробивной. Талантом считалась подлость, готовность продать друга, отсутствие совести. Короче, чтобы преуспеть, нужно было быть вором, способным ограбить стариков, детей и больных. Неплохо также жили ближайшие родственники воров и люди, на воров работающие. Люди талантливые, а тем более совестливые, считались никчемными и презирались. Правительство всемерно поддерживало людей, занимающихся первоначальным накоплением капитала. В эту эпоху тотального лицемерия с особой тщательностью подбирались синонимы к слову «грабеж».

Впрочем, в эти тяжелые для членов Союза художников времена, когда внезапно иссякли родники госзаказов, прекратилось строительство дворцов культуры и дворцов бракосочетания, а обнищавшие эстеты не могли позволить себе растратиться на пейзаж. Мирофан Удищев был одним из немногих живописцев, кто процветал. В материальном смысле, конечно.

Он процветал, создавая портреты новой элиты, народившейся из ничего, как плесень в забытой на кухне кастрюле со вчерашним борщом.

– Нет времени позировать? – входил в положение клиента Удищев, скорострельности которого мог бы позавидовать автомат Калашникова, – Так я тебя понимаю. Фотография есть? Давай сюда фотографию. Да и рассчитаемся за одним. Предоплата – святое дело. Ты умеешь деньги из воздуха делать, а я из дерьма шедевры. По рукам?

В отличие от Удищева, тихая жена его, к счастью, не была обременена талантами. Простая и светлая – в прямом и переносном смысле – работала она воспитательницей детского садика и привыкла общаться не только с мужем, но и со всем остальным человечеством, как с неразумными детьми – ласково и строго. Впрочем, с тех пор как помещение детсада приватизировала (вот еще один прекрасный синоним к ограблению с дозволения



правления) какая-то фирма и переоборудовала его в казино. Светлана Петровна сосредоточилась исключительно на домашнем хозяйстве и детях. Родилась и выросла она в шумном Ненуженске, но была в ней, вопреки городскому воспитанию, душевная деревенская доброта. Не то, чтобы Светлана Петровна приняла сторону Пентюхаева, однако же попыталась оправдать его:

– Цвет у него, конечно, хромает, – сказала она рассудительно, – цвет с твоим не сравнишь. Но, ты заметил, в последнее время он пишет чище. Гораздо чище. Быть может, похвала пойдет ему на пользу.

Робкая попытка заступиться «за эту бездарь» окончательно вывела Мирофана Удищева из себя.

– Что ты понимаешь в цвете! – взревел он смертельно раненым вепрем. – Нет у него никакого цвета! Одна грязь!

Как всякая умная жена, Светлана Петровна в конце концов согласилась с мужем и лишь печально кивала головой, поддакивая ужасным обвинениям: да, да, по большому счету, этот противный Пентюхаев, конечно же, дальтоник и плагиатор. Да, да, он украл у Мирофана цвет. Просто взял и бессовестно украл. Ну, украл и украл. Бог с ним.

Может быть, Пентюхаев и украл цвет у Удищева. Хотя как можно украсть цвет у человека, который принципиально не смешивает краски? Но, не при Светлане Петровне будет сказано, и Удищев не без греха. Как-то подарил ему тот же Пентюхаев одну вещичку. Пейзажик. По пьянке, наверное. А может быть, Мирофан ее в карты выиграл. И что же с этой забавной вещицей сделал Удищев? Он ее, зараза, четырежды скопировал и, назвав «Времена года», продал очарованному его искусством англичанину. Иностранец сказал: «О, это есть большое искусство. Таможня будет иметь возражения». «Это не есть проблема», – успокоил клиента живописец. И действительно: в Союзе художников милая старушка за небольшое вознаграждение с удовольствием проштамповала «Времена года» печатью «Художественной ценности не имеет» – и полотна улетели за границу.

Еще дважды повторил эту операцию Удищев, загнав



один комплект миссионеру из Южной Кореи, а другой – туристу из Австралии.

На такие случаи была у Мирофана хорошая теория: «Они меня за быдло считают, – объяснял он ситуацию всепонимающей жене, – они думают, что за штуку баксов могут купить произведение искусства. А я себя быдлом не считаю и думаю, что за штуку баксов с них достаточно раскрашенной фотографии из «Огонька». А вот для души, для творчества...»

Но тут начиналась другая теория.

Светлана Петровна не без некоторых сомнений соглашалась: действительно, чего ради надрывать душу за бесценок. Рынок есть рынок. И выходило, что украсть фотографию из «Огонька», это вовсе не плагиат, а самая настоящая рыночная идеология.

А ведь каким бескорыстным был Мирофан до перестройки! Оформил как-то аллею молодых героев производства. Адский труд, адский! Полсотни портретов. Большинство по фотографиям. Озолотиться мог. Но оплаты он не потребовал. Так и сказал: «Я за работу копейки не возьму. Сделайте меня лауреатом премии Ленинского комсомола». Но кому теперь нужны прошлые заслуги и награды? Кто оценит это бескорыстие?

...Итак, художник Удищев вез в новом «Мерседесе» на базар супругу. Художник Пентюхаев икал в своей мастерской, теряясь в догадках, кто это его вспоминает добрым словом. Шел дождь, и дорога скворчала под шинами грязных авто, как сковородка на плите.

– Я бы ему забор красить не доверил, а он в церковь вцепился. Крестик купил и поверх свитера носит, – между тем, как в просвете аллей, лучами, расходящимися от центра парка Героев, появлялся и прятался за деревьями храм, с новым пылом набросился Удищев на своего учителя. – Большой мастер заказы перехватывать. Помнишь, дворец молодежи у Дрындопопуло с руками оторвал. А Дворец пионеров? Полуоборот его оформил, а этот гномик белобородый на худсовете цистерну с дегтем на него вылил: кич, бездуховность, воспитание подрастающего поколения. Отобрал и все черной краской замазал. Как катком прошелся. Ладно бы чего путного накресил.



Редкий пионер после его мыслеобразов заикой не стал. Теперь вот на храм ручонки тянет. На каждый столб крестится. Тут в Бога поверишь: заказ тысяч на пятьдесят баксов, не меньше. Есть где кистью помахать. Кстати, на обратном пути надо заехать – крестик купить. Интересно, любит здешний поп в бане париться? Отхлестать бы батюшку березовым веничком, холодной водочкой под зернистую икру угостить.

Погода была мерзкая, слякотная. «Дворники» со скрипом стирали с лобового стекла мелкие капли дождя и разбухшие лохмотья осенней листвы. Светофоры радужными столбами отражались в мокром асфальте. Хмурые пешеходы на цыпочках переходили вброд бесконечные лужи, укрывшись от непогоды и всего мира траурными щитами зонтов.

У входа в парк Героев, украшенном приспущенными гранитными знаменами и противотанковыми пушками, Удищев особенно сильно разволновался по поводу композиционного бессилия Пентюхаева. И надо же было так совпасть, что именно в это время на проезжую часть выскочил бомж с целлофановым пакетом, полным пустых бутылок. Визг тормозов, глухой удар мертвого о живое, вскрик жены слились в один жуткий звук аварии. Бродяга, падая, взмахнул руками, как ворон крыльями, и по «зебре», звеня и разбиваясь, раскатилась стеклотара.

Художник Удищев побледнел и в отчаянии хлопнул двумя руками по рулю.

– Твою мать! – сказал он с чувством. – Этого мне только не хватало! Откуда выскочила эта рвань подзаборная?!

Не будем вдаваться в подробности, кто в этой ситуации был прав, кто виноват. В любом случае давить пешеходов нехорошо. Особенно плохо, когда это случается на пешеходных переходах. Конечно, если бы не было свидетелей, если бы не сердобольная жена, Мирофан Удищев, как натура тонкая, одаренная, оттащил бы бродяжку на обочину и продолжил свой путь. Однако относительно пустынная улица внезапно наполнилась зеваками, а жена уже склонилась над пострадавшим.



Мирофана напугало неухоженное лицо бродяги, полное покоя и умиротворения. Такие лица бывают у спящих детей и покойников.

– Дышит, но без сознания, – успокоила его Светлана Петровна. – Кажется, перелом. Надо срочно отвезти его в больницу.

– Он же мне всю машину перепачкает, – проворчал Удищев.

Но проворчал тихо.

* * *

– Нет у нас свободных коек, – развел руками худой хирург с впалыми глазами и нервным тиком щеки. – И гипса нет. И марли нет. И шприцов нет.

– А что у вас есть? – весело возмутился Удищев.

– Ничего у нас нет. Кроме профессионального долга, конечно.

– Хорошее дело! – удивился Удищев. – Доперестраивались!

– Дело хорошее, – согласился врач, – время хреновое. Так что чем смогли – помогли. Забирайте своего больного.

– А может быть, где-нибудь в коридоре, на раскладушке... – торговался Мирофан.

– Даже на потолке все занято, – сухо отрезал хирург. – Больница переполнена. Мы даже с черепно-мозговыми травмами не всех госпитализируем. Да вы не волнуйтесь. Ничего страшного с вашим больным не произошло. Ссадины, ушибы, сотрясение. Недельку-другую отлежится – будет как новенький.

– Куда я его дену? – вслух подумал Удищев.

– Это ваши проблемы, – отстраненно пожал плечами врач, поднимаясь с ветхого стула.

Шепча под нос обидные для здравоохранения и в целом для правительства слова, Мирофан Удищев вышел вон из кабинета, с силой хлопнув обитой дерматином дверью, на которой была приклеена пластырем табличка: «Врачи цветами не питаются».

– Ну, что сказал доктор? – спросила жена.

– И почему я такой невезучий? Не зря говорят: кого



Бог любит, того и наказывает, – пожаловался на судьбу Удищев. – Мест у них, видишь ли, нету. Тоже мне больница. Хуже гостиницы.

Взяв супругу за локоть, он решительно повлек ее к выходу, разъясняя ситуацию:

– Все, что от нас зависело, мы сделали. Пусть теперь сами с ним разбираются. Не выбросят же они его на улицу. А выбросят – это их проблемы.

– Что ты говоришь, Мит! Как можно? – пожурила мужа Светлана Петровна, освобождая локоть. – Нельзя бросать человека в беде.

– Святая ты баба, Светка. Тебе бы только монастырем заведовать, – расстроился Удищев. – Куда мы его денем?

– Отвезем его не виллу.

– Ты думаешь, что говоришь? Первого попавшего под колеса бродягу – на виллу? Там, между прочим, произведения искусства. Не говоря уже о японском телевизоре, финских холодильниках и немецком гарнитуре. И где ты увидела человека? Посмотри на его лохмотья. У него, поди, вшей, как независимости в стране.

– Как хочешь, Мит, но мы не можем бросить человека, пострадавшего по нашей вине.

– Вот детсад! – яростно удивился скромной непрклонности жены Мирофан.

Так вместо картошки и лука художник Удищев привез в загородный дом неизвестного бродяжку.

* * *

Безымянный бомж проснулся в белом, мягком облаке и подумал, что он в раю.

Рай был оклеен обоями в мелкую клеточку и увешен картинами в тяжелых рамах.

Рай раскачивался и гудел надтреснутым колоколом. Гул был ровным, нескончаемым. И странно было видеть абсолютную неподвижность висящих на раскачивающихся стенах картин.

Бомж с трудом сел и с удивлением уставился на собственные ноги, выглядывающие из облака. Худые, в меру волосатые, с расплюсненными тесной обувью пальцами. Ноги как ноги. Просто он давно не видел их такими



чистыми. Они показались ему несоразмерно большими и чужими. К тому же и непослушными.

Человек без имени попытался вспомнить, как он попал в это великолепие.

Ничего не вспоминалось. Думать было больно.

Преодолев головокружение, он спустил ноги с кровати. На полу стояли новенькие, в такую же клеточку, как и обои, тапочки, но человек постеснялся их обуть.

Держась за стенку, он дошел до двери и осторожно открыл ее. Дверь вела в пустой холл. Зеленый, как стриженный газон, палас. Диван и кресла, покрытые белыми в черных пятнах шкурами. Пятирусовая хрустальная люстра. Книжные шкафы. Телевизор с таким большим экраном, что вначале божж принял его за затемненное окно.

Портрет красивой женщины в полный рост на фоне заиндевевших деревьев. От деревьев, дорогой шубы веяло холодом, и только глаза женщины излучали тепло.

Женщина смотрела на человека без имени с состраданием и нежностью. Он застеснялся и отвел глаза.

Окно. Почти во всю стену. И в этом окне, как бы обрамленная мареной рамой, дорогой картиной смотрелась величественная гора, увенчанная белоснежным пиком.

Она была похожа на морщинистого старца в газетной пилотке.

Потрясенный живым пейзажем, человек без имени долго рассматривал массив, борясь с головокружением и дивясь гениальности природы. В мире не было художника, который мог бы передать впечатление этой мощи и предгрозового покоя. К тому же настроение горы менялось с каждой минутой, никогда не повторяясь. Стоило на секунду отвлечься, как появлялись новые краски, освещение. Гора менялась, оставаясь неизменной. У нее был миллион лиц. Утренняя, вечерняя, ночная. В дождь, туман и снег. На нее можно было смотреть, не отрываясь, всю жизнь – с рождения до смерти. Этот пейзаж никогда не мог надоесть.

Из холла человек вышел на лестничный пролет. Ступени, покрытые ковровой дорожкой, вели вверх и вниз. Он поднялся по ним и попал в спортзал. Силовые тренажеры, боксерские груши и теннисный стол не заинтересовали его.



Бомж торкнулся в ближайшую дверь, и перед ним разверзлась пропасть.

Винтовая лестница уходила резко вниз и там, на дне пропасти, зиял прокопченной пастью камин. На круговой галерее с тонкими металлическими перилами было расставлено множество натянутых на подрамники холстов. Посредине этой вызывающей головокружение трехуровневой комнаты стоял мольберт со свежезагрунтованным холстом. На деревянном кресле, прочно сколоченном столе, массивных подоконниках высоких окон рассыпаны в беспорядке кисти и тюбики красок, подшивки журналов и тяжелые, как кирпичи, книги, в одной из которых вместо закладки торчал мастихин.

Над ателье не было крыши. Вместо нее светилося огромное окно, установленное по-тепличному наискосок.

На дрожащих ногах бомж спустился вниз. Он не мог преодолеть искушения живописным станком, красками и кистями.

Необыкновенно гудящая тишина, ровный свет, запахи мастерской – все убеждало его: он спит.

Спит и видит сон.

Самый невероятный сон, когда-либо веденный им.

Долго стоял он, очарованный прочностью мольберта, загипнотизированный чистотой холста, сдерживая нарастающее желание. Но это было выше его сил. Он взял из вазы кисти и, перекатывая их в руке, слушал, улыбаясь, приятный перестук сухого дерева. Придвинул поближе палитру из оргстекла с выдавленным из тюбиков фрагментом радуги.

Ему знаком был этот сон.

Яркие, сочные краски резали глаза. Порой, не справившись с головокружением, бомж опускался в деревянное кресло, моля Бога, чтобы сон не кончился.

Бог шел ему навстречу.

Радуга на холсте наливалась цветом, темнело небо. От незавершенного пейзажа веяло свежим ветром, запахом далекого снега.

Безымянного художника бил озноб, лоб покрылся холодной испариной, в уголках губ выступила и запеклась



пена. Он тяжело дышал и был почти при смерти, но глаза его горели неземным наслаждением.

* * *

Осенним пасмурным утром, зевая и почесываясь, Удищев вошел в свою мастерскую и едва не взорвался от бешенства.

Перед ЕГО мольбертом стоял замотанный бинтами, как сбегавшая из гробницы мумия фараона, босой бомж и ЕГО кистями пачкал ЕГО холст.

Как серпом по вдохновению, резанула эта отвратительная сцена впечатлительного художника.

Такое же негодование испытал Удищев в прошлом году, когда забредший на виллу бычок сожрал флоксы и вытоптал грядку редиски. Ослепленный гневом художник застрелил тупую скотину.

Вряд ли бы и бомж миновал подобной участи, если бы Мирофан вовремя не увидел, ЧТО появилось на холсте.

Балясина, прихваченная сгоряча для разговора, с глухим стуком упала на пол. Бомж даже не оглянулся на произведенный ею шум. То ли оглох после аварии, то ли весь ушел в работу.

Долго стоял за спиной бомжа потрясенный Удищев. Он молчал. Но, между тем как кисти бешено плясали по холсту и палитре, лицо его вопияло: крайнее изумление сменилось жгучей завистью, а та в свою очередь постепенно трансформировалась в глубокую задумчивость делового человека.

Когда же неизвестный художник, почувствовав за спиной напряженный взгляд, оглянулся, Удищев похлопал его по плечу и сказал нежно: «Крась, Шурик, крась».

Почему Шурик? Потому что в хорошем настроении Удищев всех называл Шуриками, включая и тещу.

Человек без имени и на секунду не задержал взгляд на хозяйне мастерской, боясь, что эта досадная, невесть откуда взявшаяся помеха прервет его занятие, неземной кайф, сон, ради которого, не задумываясь, можно отдать жизнь.

Топчи сейчас стадо бычков клумбы и грядки, сядь на фруктовый сад летающая тарелка, ошеломленный пейзажем



Удищев не обратил бы на эти события никакого внимания. Никто из знакомых художников, включая великого Пентюхая, и близко не подошел к безымянному бродяжке – ни по цвету, ни по композиции, ни по настроению. Мирофан пожирал глазами судорожно трепещущую кисть и в злом изумлении теребил бороду. Он видел процесс, но не понимал как из этой банальности, из пустяка получается нечто, вызывающее у него завистливое восхищение. Дело не в школе, не в красках, не в мазке, а в чем-то недоступном его пониманию. Этого нельзя было повторить.

«Эту вещь на аукционе «Сотби» оторвут с руками», – подумал он.

Неожиданно бомж отшатнулся от холста и рухнул на пол. Глаза закатились под лоб, лицо – белее бинтов, на губах пена.

Это не был припадок. Просто его изломанное, немощное тело не выдержало чудовишного наслаждения.

Удищев поднял бродягу, как дар божий, на руки. Если бы не гипс и бинты, он бы вообще ничего не весил. Почти бестелесен. Как ангел.

Мирофан отнес едва не умершего от вдохновения бомжа в постель. Заботливо укрыл одеялом. Открыл форточку. Отхлопал, приводя в чувство, неизвестного живописца по щекам. И, когда тот открыл глаза, сказал почти с материнской нежностью:

– Живой? Есть хочешь? Хочешь не хочешь, а есть надо. В мастерскую не ходи. Навернешься с лестницы – последние ребра переломашь. Я тебе мольбертик сюда принесу. Крась на здоровье. Что кончал?

И долго расспрашивал Мирофан Удищев странного бродягу, поражаясь нелепости его ответов, и все более укрепляясь в мысли, что само провидение послало под колеса его «Мерседеса» это существо без имени, утверждающее будто бы никогда не обучалось ремеслу живописца.

Вернувшись в мастерскую, Удищев поднял с пола кисти и палитру. Постоял, прищурившись, перед холстом. Хотел сделать мазок, но удержался. Сердце отстукивало победный марш по барабанным перепонкам.

Пейзаж производил впечатление гениального экспромта.



Полотно было завершено. Его можно было испортить одним лишним мазком.

Мирофан приблизился к холсту и, прикусив от усердия язык, вывел в правом нижнем углу «М. Удищев».

«Пентюхай увидит, – подумал он, ликуя, – потрескается от зависти».

* * *

В городской квартире художник Удищев бывал редко. Жена не обижалась. Она понимала: для творчества нужно уединение. Гений и лапша несовместимы.

Избавленный Светланой Петровной от пеленок и прочих домашних хлопот, Мирофан неделями жил на вилле. Каждый приезд его домой становился праздником. На стол подавались чудеса кулинарии. Отключался телефон. В квартире воцарялся великий, торжественный покой. Едва шум в детской превышал дозволенный уровень, как в дверной щели появлялась голова Светланы Петровны. «Т-с-с-с, – шептала она, делая строгие глаза, – папа отдыхает».

– Я тут подумал, – сказал Удищев за ужином, – зима скоро. Пусть этот бродяжка на вилле поживет. Снег с дорожек поотгребает, посторожит.

– Мит, – ласково прошептала жена, обронив в лапшу слезу умиления, – я всегда знала, что за показной грубостью, ты скрываешь нежное, доброе сердце. Не надо стесняться этого.

Удищев, не поднимая головы от тарелки, с долей осуждения посмотрел на супругу, но, не заметив в лице ее и тени иронии, скромно пожал плечами. Он мысленно примерил образ доброго грубияна.

Как на него сшитый.

Жена время от времени удивляла его краткостью и точностью характеристик и неожиданными для него познаниями. Мирофан отчего-то всякий раз пугался, когда его погрязшая в домашнем хозяйстве жена при случае довольно точно подмечала особенности творчества Брейгеля, Гойи, Эль Греко, Веласкеса, Дали, Пентюхаева. Разгадка была чрезвычайно проста. Светлана Петровна любила живопись. Это обстоятельство в немалой степени предопределило



выбор мужа. В первые годы и само свое замужество она рассматривала как жертвенное служение искусству, чему в немалой степени способствовал невыносимый характер супруга. Но чего не простишь человеку ради его таланта. Светлана Петровна за долгие годы собрала для Удищева прекрасную библиотеку по искусству, но, поскольку книги не были востребованы супругом, при малейшей возможности с увлечением штудировала их сама.

– Станный он какой-то. Просветленный. Есть в нем что-то от святого, отшельника.

– Ты это о ком? – не понял жену Мирофан.

– О том, кого мы сбили.

– Ну уж и святой. Таких святых в наше время под каждым забором с дюжину.

– Отчего же ты думаешь, что святой должен быть непременно благообразным служителем церкви? Ранние христиане были именно такими гонимыми, всеми презираемыми бездомными бродягами. А кем был сам Христос, если не человеком без определенного места жительства? Именно в такие смутные времена безверия, как наше, и появляются святые. Как надежда на будущее. А надежда зарождается от отчаяния. Нельзя стать святым, не пройдя испытания дном, падением, нищетой, болезнью. Иначе святых можно было бы назначать, как участковых. Нет, нет, определенно в нем есть что-то такое, что заставляет предположить не совсем обычного человека. Ты художник, портретист, ты должен это почувствовать. От человека с таким лицом ожидаешь чуда.

Пораженный пронизательностью жены, Удишев промышал нечто неопределенное, как кляпом, закрыв рот куриной ножкой.

* * *

Гугор Базилович Грозный работал в «конторе» до обеда.

После двух, что бы ни случилось, он уходил домой, кушал от души, отключал телефон и спал до прихода жены, что совпадало с выпуском теленовостей.

Гугор Базилович был в том возрасте, когда начинаешь понимать: в этой жизни нет ничего важнее здоровья.



Очень не любил Грозный, когда его тревожили в послеобеденное время.

Теща, чтобы ненароком не нашуметь, уходила на базар.

Сучка Бяка забивалась под диван и закрывала нос лапой.

Как и всякий бывший алкоголик...

Да, да, всеми уважаемый и страшный Гутор Базилович лучшую часть своей бурной жизни проехал на кочерге.

Это не такой уж большой секрет. Разглашение его не подорвет, а скорее, напротив, укрепит и без того устойчивый авторитет заместителя главного редактора популярной «Дребездени». Да он и сам в присутствии души в нем не чающих работников секретариата частенько предается воспоминаниям о золотом времени молодости, когда случалось до утра проспать в осенней, подернутой ледком луже – и хоть бы хны. Пьянство – грех для талантливых, но так и не пробившихся в большую журналистику газетчиков, простительный. К тому же алкоголик, сумевший взяться за ум, а точнее за то, что от него осталось, фигура не только трагическая, но и героическая. Пьющие поймут, о чем речь.

Как бы там ни было, звание «бывший алкоголик» Гутор Базилович носил с гордостью.

Немногочисленные его завистники пошептывали: никакой он ни алкоголик, выдумал биографию, чтобы хоть чем-то можно было хвастаться.

Действительно, большую часть времени, остающуюся от садистского потрошения материалов и разносов, Грозный рассказывал, где, когда, с кем и сколько чего выпил, и что из этого вышло. Как жаль, что не нашлось среди его слушателей человека, который бы записал эту исповедь алкоголика – занимательная повесть могла бы получиться. Между делом Гутор Базилович имел обыкновение комкать листы просматриваемых рукописей и бросать эти бумажные мячи через весь кабинет в самый дальний угол, куда специально и была поставлена корзина для мусора. Попав, бурно радовался. Промазав, приходил в дурное расположение духа. Случались черные дни, когда корзина торчала печной трубой из сугроба бумажных комьев. Опытные дребезденцы в такие дни к замку не



заглядывали. Порой Гугор Базилович предлагал посоревноваться с ним в точности бросков. И горе тому новичку, кто оказывался удачливее его.

Когда шестью абзацами выше автор заикнулся: «как и всякий бывший алкоголик...», он, собственно, не имея в виду ничего дурного, как раз и собирался сказать, что Гугор Базилович был человеком чрезвычайно нервным.

Впрочем, беспричинная вспыльчивость и гневливость Гугра с лихвой компенсировалась необычайной его душевностью. Очень любил он коллективные застолья. Блеклые, как у мороженой рыбы, глаза его теплели, в них появлялась ностальгическая синева. И всегда свой наполненный до краев стакан он, как переходящий кубок, вручал молодому сотруднику, к которому в данное время чувствовал особое расположение. Подперев рукой голову, с умилением слушал он хмельной треп, время от времени комментируя тосты. Реплики его были обидны, но остроумны.

Но бог с ними, с застольями.

Итак, заместитель главного редактора «Дребездени» любил после обеда поспать.

Вот и в тот день прилег он на диван, положив ногу на ногу и укрывши лицо свое шалашом «Неподкупной газеты». Придумать такое название для газеты – это надо иметь фантазию. Все равно что «Живой труп», «Свободный арестант» или «Девственица-проститутка». Впрочем, к названию этой газеты Гугор Грозный отношения не имел.

И только известный дребезденец погрузился в сладкую истому, едва-едва вывел на флейте ноздрей первую музыкальную фразу, от которой мелко завибрировал шалаш демократического органа, как в дверь позвонили.

В доме, кроме Гугра и сучки Бяки, никого не было. Бяка, уверенная, что мироздание так устроено, что все живое должно замереть и притаиться, а весь мир погрузиться в покой и тишину, когда хозяин укрывается газетой, сильно удивилась и засомневалась – тявкать или нет?

В начале Гугор пытался не обращать внимания. Однако звонок был непристойно долгов и мог вывести из себя



человека и с более крепкими нервами. Крайне раздраженный, поднялся Гугор Базилович с яростным желанием разорвать звонившего голыми руками, а куски его тела разбросать по лестничной площадке. Бесцеремонное прерывание сна по своим симптомам напоминало тяжелое похмелье со всеми вытекающими последствиями. Пошатываясь, Грозный прошагал к двери с таким страшным выражением лица, которое могло бы быть только у человека, решившегося на умышленное убийство с особой жестокостью.

Не посмотревши в глазок, Гугор Базилович рывком открыл дверь, и телом своим закрыв вход в жилище, с гневом посмотрел на радушно улыбающегося незнакомца. Мелко рассыпаясь в поклонах, он делал суетливые, но безуспешные попытки проскользнуть мимо хозяина в квартиру.

– Ну?! – свирепо поинтересовался причиной визита Грозный.

– Вам просили передать...

– Передавай.

– ...просили передать, что Вы – натуральная свинья.

– Какая свинья?

– Натуральная.

– Кто сказал?

– Все говорят.

Незнакомец, все так же улыбаясь и раскланиваясь, отступал, пятясь задом по лестнице. При этом он разводил руки и делал круглые глаза, мол, не велено говорить – кто.

В сердцах захлопнул Гугор Базилович сейфообразную дверь из нержавеющей металла и так раскатисто облегчил душу бранью, что Бяка заскулила и запросилась на улицу.

Направляясь к вожделенному дивану, Грозный мимоходом взглянул в зеркало.

Надо сказать, что Гугор Базилович, в отличие от всего остального человечества, был доволен своей внешностью и частенько рассматривал себя любимого, поворачиваясь в фас и профиль, хмуря при этом брови и придавая лицу благородство и некоторую надменность. В такие минуты он воображал себя известным диссидентом,



нажившим за кухонными разговорами геморрой. Хорош был бы этот профиль на мемориальной доске: «Здесь жил и работал...» Действительно, утомленное пороками лицо хорошо пожившего старого вурдулака не было лишено шарма. А недостаток нескольких передних зубов не портил, а, напротив того, усиливал впечатление, придавал оригинальность. Да, Гугор Базилович, как это кому-то не покажется странным, был доволен своей внешностью и своим вкусом. Нельзя было доставить ему большей радости, чем, встретив по утру, искренне восхититься: «Ах, у Вас новый галстук! Как он гармонирует с Вашими носками! Где покупали? Не может быть!» Когда же галстук оставался незамеченным, Грозный мрачнел и распекал первого встречного дребезденца, не особенно выбирая выражения.

...Так вот, проходя мимо старинного, отливающего желтизной зеркала, Гугор Базилович по привычке заглянул в него и увидел седовласую, тощую свинью интеллигентного вида с аккуратной щетинкой усов и бородешки.

Естественно, он сделал то, что на его месте сделал бы любой.

Ущипнул себя за ягодицу.

Но это легкое увечье ничего не изменило в его облике. Все также из зеркала смотрела на него с изумлением пожилая заспанная свинья.

Сослуживцы, возможно, и не удивились бы. Для них Гугор Грозный всегда был свиньей. В переносном смысле, конечно. Хотя бы потому, что рассматривал современную журналистику, как разновидность псовой охоты. «Как ты действительно относишься к человеку, что ты действительно о нем думаешь – это твое дело, – наставлял он молодых, – но, когда я скажу «фас!» и укажу на него пальцем, твоя задача и профессиональный долг разорвать его в клочья». Конечно, некрасиво, конечно, цинично. Но, по крайней мере, честно, без всех этих соплей о демократии и независимой прессе. А не нравится такая журналистика – пошел вон. Может быть, и найдешь работу, где платят за красивые глаза.

Быть свиньей в переносном смысле не так заметно.



Но из зеркала смотрела именно натуральная свинья, седая и мерзкая. Глупые пороссячьи глаза. Уши лопухами. Нос пятаком. Как есть свинья. Разве что в очках.

Долго стоял заместитель главного редактора «Дребездени» перед зеркалом, в растерянности ощупывая физиономию и не зная, что предпринять – звонить ли жене или сразу в больницу. Вот только в какую? Но тут в голову ему пришла спасительная мысль: все это ему мерещится с недосыпу.

Он лег на диван и укрылся любимой газетой. Свинья не свинья, а сон по расписанию. Здоровье дороже.

Скоро стекла в окнах и хрусталь в немецкой стенке нежно завибрировали от мирного храпа.

Сучка Бяка успокоилась. Забралась под диван и прикрыла нос лапой. Мир вернулся в свои берега.

Вернувшаяся к вечеру с работы жена принесла с собой брызги осенней слякоти и дразги производственной ссоры. Гугор, осклабясь, демонстрировал физиономию – что она о ней скажет. Но Матриада скользнула усталым и равнодушным взглядом по его рылу и на хорошо раскрашенном лице ее не промелькнуло и тени сомнения или удивления. Она с молодости знала, что супруг ее – большая, самовлюбленная свинья, так чему тут удивляться?

Однако Грозный впервые в этот вечер серьезно задумался о надвигающейся старости. Мысли эти были тягостны, печальны и касались они, главным образом, материальной стороны.

* * *

С утра Гугор Базилович поставил себе целью объясниться наконец с Дусторхановым.

Он давно проигрывал диалог про себя и каждый раз закипал в гневе: даже воображаемый Дусторханов отличался крайним снобизмом и надменностью, был оскорбительно невнимателен и фамильярен, вальяжно крутился в громадном, как трон Тутанхамона, кресле и, не извиняясь, без особой надобности звонил ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫМ делам.

Воображаемый диалог заканчивался тем, что Грозный



с криком: «Ты будешь меня слушать?!» – швырял в Дусторханова настольными часами, вмонтированными в настоящий человеческий череп.

О чем Грозный хотел поговорить с шефом? О своеволии директора компьютерного цеха. О необходимости раз и навсегда отрегулировать взаимоотношения с типографией. О странной закрытости коммерческого центра, проедающего рекламные деньги на приобретение ненужных вещей и не собирающегося делиться прибылью с пишущей братией. О десятках нервирующих мелочей, решение которых зависит исключительно от обладателя права подписи – Дусторханова.

На самом-то деле Гугру страстно хотелось лишь одного – вцепиться в лацканы карденовского пиджака юного шефа и проорать, выпучив глаза, в младенчески румяную рожу: «Ты собираешься делиться со мной, сопляк!»

После таких мысленных подвигов Грозный едва не терял сознание и долго не мог отдышаться, растирая грудную клетку трясушейся рукой.

Еще недавно Дусторханов был всего-навсего литсотрудником в отделе сельского хозяйства, личностью хотя и амбициозной, но в творческом плане совершенно бездарной, годной лишь для того, чтобы вывозить навоз на первую полосу. Кому лучше это знать, как не Грозному, ведь именно он курировал этот отдел. Прошло каких-то пять лет, перевернувших мир кверху дном, и сейчас Дусторханов – президент газетной корпорации. Он возглавляет три газеты, два журнала, информационное агентство, два акционерных общества, какую-то подозрительную ассоциацию. И при этом, ни с кем не делясь властью, никому не уступая право первой подписи, как права первой ночи. Заслужив почетный титул трехчлена, а потом и многочислена. При обилии руководящих должностей, Дусторханов не выглядел утомленным. Напротив того, отличался румянолицостью и благодушием человека, глубоко не вникающего в производственные заморочки. Грозный все более и более убеждался, что в этом гипертрофированном стремлении к абсолютной власти в газетной империи просматривается меркантильный интерес. Все эти газеты, ассоциации и акционерные



общества, снующие по коридорам с важным видом людишки были лишь ширмой для финансовых фокусов.

Густо пахло деньгами. Не то возмущало, что Дусторханов ворует. И много ворует. Обидно было, что с ним, Грозным, при этом не делится. Более того, его, коренника, впряженного в тяжелый воз неуклюжей, громоздкой «Дребездени», не просто недокармливали, а попросту обворовывали вместе со всеми. Он был такой же ширмой, как и вся газетная шелуха. Ширмой, за которой общие деньги Дусторханов превращал в свой частный капитал.

Надо сказать, что «Дребездень» была газетой бюджетной, нищей, как старуха у церкви. Для того, чтобы сотрудники не разбежались к конкурентам, при ней был создан коммерческий центр. Как и все в газетной империи, центр самолично возглавлял Дусторханов. А вот заместителем у него стал некто Сусликов – человек, повадками и внешностью похожий на свою фамилию. Весь его капитал ко времени прихода в «Дребездень» составляла кепка с накладными ушами и большим козырьком. Был он робок, косноязычен и заискивающе улыбочив.

По наивности своей Грозный полагал, что громадный штат коммерсантов, влившийся в «Дребездень», будет раскручивать рекламные деньги и на том навариваться ко всеобщему удовольствию. Но по мере того, как Сусликов, теряя улыбочивость и робость, на глазах жирел, приобрел квартиру, дачу, машину, часто выезжал за границу и хамел, хамел, хамел, приходило прозрение: ничем, кроме разворовывания средств, выручаемых за рекламу, центр и не думает заниматься.

Очень быстро Сусликов расстался с кепкой и приобрел вид иноземного бизнесмена, надменного и хамоватого. Старый пижон Гугор Базилович, знающий толк в тряпках, был уязвлен и растоптан, когда увидел, в чем вернулся из Франции этот колхозный учетчик. Правда, весь этот шик сидел на нем, как на огородном пугале, но тряпки были подобраны со вкусом. Вскоре Сусликов развелся со старой женой и в его «Форде» цвета мокрого асфальта появилась смазливая молодая мордашка. Он обвенчался с ней в Иерусалиме и перестал первым здороваться с Грозным.



Именно с этого дня Гугор Базилович принял решение внедрить в коммерческий центр верного человека – Шумару Ахайловну, и завел особую папку. Эту папку, следуя заветам Великого Комбинатора, он надеялся со временем обменять у Дусторханова на свою долю прибылей коммерческого центра.

Поначалу впечатлительная Шумара, выпучив глаза и порывисто дыша, едва ли не ежедневно рвала пышной грудью финишную ленточку в кабинете Грозного. «Какие новости?» – по обыкновению всех газетчиков с жадным интересом спрашивал ее Гугор, будто не узнай он свежих новостей – сразу же и помрет.

Грозный догадывался по внешнему виду Дусторханова и Сусликова: ребята воруют по-крупному, но таких масштабов даже он не предполагал. За нишей, штопаной-перештопаной ширмой «Дребездени» скрывался золотосный рудник, где делались СОСТОЯНИЯ. Папка вот-вот должна была разбухнуть копиями незарегистрированных доверенностей, по которым через коммерческий центр составами-невидимками прошли неоприходованные товарно-материальные ценности на суммы, от которых кружилась голова. И вдруг однажды Шумара задумчиво спросила Грозного: «Как думаешь, Гуга, куда лучше вложить деньги – в дачу или в машину?»

Госпожа Шумара, как большинство журналисток, специализировавшихся до перестройки на моральной теме, была совершенно аморальным существом и поступками своими едва ли не каждодневно опровергала собственные статьи-проповеди, написанные, нужно отдать ей должное, страстно и ярко. Призванная Грозным под знамена справедливости, она тут же переметнулась в стан противника, как только поняла, что это материально выгодно. Большинство людей борются с негодьями именно до этого предела. Госпожа Шумара – вся в золоте и сплетнях – все также навещала Грозного в его давно не отремонтированном кабинете, но дышала ровно, а разведенные касались, в основном, интимных сторон жизни коллектива. Уходя, она извлекала из дамской сумки пачку дорогих сигарет или баночку кофе и одаривала от щедрот своих мрачного Гутра Базиловича. Такие изящные и в то



же время вместительные сумки пользовались большой любовью валютных проституток: в них можно было запихнуть весь арсенал интимного дамского туалета, будучи внезапно мобилизованной. В отличие от этой сумки папка для документов, призванных изобличить преступную деятельность коммерческого центра, оставалась тощей, как бездомная сука.

Слушая легковесный треп неверной Шумары, Грозный мрачно раскуривал дареную сигарету. Длинными, густыми струями выпускал он дым из носу и делался похожим на давно кипящий, забытый на плите чайник.

* * *

Человек может скрывать в себе негодование очень долго. Но однажды наступает секунда, когда гнев, словно пар, взрывает его изнутри. И никому еще не удавалось удержать под контролем этот взрыв собственных эмоций.

Гугор Грозный взорвался после обеда. Вулкан Кракатау показался бы детской игрушкой в сравнении с этим стихийным бедствием. Неукротимо, как сошедший на повороте с рельсов трамвай, Гугор ринулся в кабинет Дусторханова. Бесстрашная секретарша с отчаянным криком: «Он занят!» закрыла собственным телом двойную дубовую дверь, но была сметена, как осенняя паутина, и лишь проводила нарушителя табу осуждающим взглядом.

Кабинет был пуст.

Это было вместительное, как банкетный зал, угловое помещение. Выходящие на улицу стены состояли из окон – от пола до потолка – с хрупкими перилами ограждения, подчеркивающими самоубийственные фантазии архитектора. В узких простенках, имеющих вид колонн, висели картины авангардного толка. Внушительно громоздкая мебель, особенно внушительная без людей, мерцала тускло и угрюмо. На массивном и обширном, как двуспальная кровать, Дусторхановском столе терялись компьютер, телевизор, настоящий человеческий череп с врезанными в лоб часами, и крокодил средних размеров, подавившийся глобусом. Кресло-трон, очертаниями своими повторяющее фигуру Дусторханова, ПОСМОТРЕЛО на непрошеного посетителя надменно и холодно.



Если бы не хамский вид этого кресла, Грозный, возможно, и не решился бы войти в святая святых – комнату отдыха босса. Впрочем, вряд ли в голову сошедшего с рельсов трамвая приходят мысли о приличии. Решительно открыл Гугор Базилович бесшумную дверь запретной комнаты, собираясь проорать: «Паша, так дела не делаются!» Да так и застыл свежемороженым судаком.

Двери, господин Грозный, для того и созданы, чтобы в них стучаться.

Полненький Дусторханов полусидел, полулежал на мягком, как майское облако, диване, откинув голову и закатив глаза. На длинноворсном ковре между его коротеньких, пухлых ножек породистой домашней собакой пристроилась госпожа Шумара. Она скосила глаза на шум, произведенный вторжением, но ничего не сказала, поскольку была занята и прекращать занятие посчитала невежливым.

Грозному ничего не оставалось, как по обыкновению вытаращить глаза и церемонно кивнуть головой Шумаре – поздороваться с предательницей.

В легком замешательстве и глубокой задумчивости покинул он кабинет, строго наказав оскорбленной его непослушанием секретарше: «Никого не пускайте: Дусторханов занят».

* * *

Завтрак Грозный съедал сам, обед делил с сучкой Бякой, ужин отдавал Сусликову, но счастлив не был. Все бывало, солнце к нему задом поворачивалось, все рылом хрен приходилось рыть да сено для чужих собак косить.

И задумался он: отчего так?

Думал, думал и решил – это от его излишней принципиальности. Все он за правду да справедливость на амбразуры бросается. Сам себя харакирит.

А на фига, спрашивается, попу «Калашников»?

По дыре – заплата, по делам – зарплата. Нечего на начальство глазками сверкать. Не любит оно, когда подчиненные глазками сверкают.



Глазки надо за зубы спрятать.

Зная, что «Дребездень» – всего лишь ширма, глупо рассчитывать на особую щедрость Дусторханова. Средства вкладываются в огород, а не в плетень.

Тысячу раз права эта подлая Шумара. На многое открыла она ему глаза.

Чтобы чего-то добиться, к Дусторханову нужно не со скандалом, а с делом идти. С умным, прибыльным проектом. Вложить копейку, получить рубль. И без всякого криминала. Пусть этот недоумок Сусликов амбарной крысой работает, зерно из общих сусеков приворочивает. А Грозный покажет, как можно сделать капитал в чистых перчатках и при этом меценатом прослыть.

Закурив, он уставился в окно на смог, живописно укутанный город.

Обдумав во всех деталях проект, давно крутившийся в голове, Гугор Базилович обратил внимание на пирамиду окурков, выросшую во время обдумывания в пепельнице. Интересно, если сложить все сигареты, выкуренные им за долгую жизнь, что это будет за сигарета? Вопрос его крайне заинтриговал. Щелкнув авторучкой, Грозный погрузился в подсчеты. Измерив строкомером длину одной сигареты, перемножил полученные сантиметры на количество сигарет в пачке. Переведя сантиметры в метры, помножил на два, ибо в среднем выкуривал в день две пачки. Количество метров, выкуренных за год, заставило его присвистнуть. Когда же он умножил эту цифру на полный стаж курильщика, то долго не мог поверить собственным расчетам. Пересчитал еще раз – все верно. Без малого сто километров.

Сигаретка, однако!

Вернувшись к размышлениям о доходном проекте, Грозный подумал, что без надежного помощника ему не обойтись. Мысленно просмотрев дребезденцев, он набрал номер Шумары и рявкнул: «Зайди!» – и бросил трубку на рычажки.

Хмурый, как пепельница, Грозный, не ответив на приветствие неверной, порывисто закрыл за ней дверь на ключ. Молча швырнул Шумару лицом вниз на приставной, заваленный рукописями стол и, пристроившись сзади,



широко расставил подагрические ноги. После чего сделал страшные глаза и зарычал.

Рычал он минуты две и, с яростным стоном излив гнев, опустился во вращающееся кресло.

– Садись, – пригласил он официально, но довольно миролюбиво, – разговор есть.

Изящно отряхнувшись, Шумара придала лицу рабочее выражение. Раскрыв еженедельник, который не выпускала из рук во время бурной любовной сцены, она вся обратилась во внимание.

Шумара Ахайловна Кукуева – одинокая женщина зрелого, предгрозового возраста – ежедневно содрогалась в родовых муках.

Она порождала Хаос.

Скверно выполняя свое дело, энергичная женщина деятельно вмешивалась в чужие обязанности. Все смешав, перепутав и переплеть, всех перессорив и доведя до стресса, несчастная закатывала истерику и, зареванная, бегала по кабинетам в поисках сочувствия и таблетки от головной боли. «Ну, почему, почему я должна за все отвечать?!» – в отчаянии спрашивала она.

И все недоумевали вместе с ней: и правда, с чего эта вздорная баба сует свой нос в чужие дела и подставляет-ся?

Но у начальства отчего-то сложилось мнение, что без Шумары Кукуевой все в «Дребездени» замрет, захиреет и покроется плесенью.

Вот и Гугор Базилович решил именно ее привлечь к осуществлению проекта. Во-первых, потому что Шумара была женщиной энергичной, знакомой с коммерцией, во-вторых, несмотря на частые измены, на нее все-таки можно было положиться, в-третьих, лучшего буфера между ним и Дусторхановым трудно было найти.

С удовольствием затянувшись дареной сигаретой, Гугор Базилович в свойственной ему манере старого интригана обратился к Шумаре:

– Есть ли у тебя знакомые художники?

– Спроси лучше, есть ли у меня незнакомые художники, – ответила Шумара с достоинством и уточнила, – тебе кто нужен – гений или делец?



...По безлюдной дорожке, наискось пересекающей парк, звонко цокала каблучками стройная женщина.

На золотых полянах между черных дубовых стволов паслись мясистые вороны. Они расшвыривали клювами листья, что-то выискивая под ними.

Погруженная в суетные мысли, женщина не замечала золотую ржавчину осени, хлопотливых ворон и предзимнего неба, запутавшегося в кронах облысевших деревьев. Она с таким достоинством покачивала бедрами, словно круп ее был отлит Роденом из чистого золота.

Увидевши ее со спины, два шаловливых курсанта пограничного училища ускорили чеканный шаг, вперея замороженные взгляды в это чудо. Они долго маршировали чуть позади дамы, изошряясь в комплиментах, но поравнявшись и взглянув ей в лицо, смутились и поспешно отстали. Причем один из курсантов так резко шарахнулся в сторону, что едва не врезался в вековой дуб, переполюшив мирно пасущихся ворон.

То, что увидели будущие защитники рубежей родины, можно было сравнить разве что с блином. Причем, именно первым.

В отличие от неопытных, далеких от искусства курсантов художник Удишев впервые увидел Шумару Кукую с фронта и был, напротив, совершенно очарован великолепным безобразием. Не в том смысле, что его восхитило некрасивое лицо, но именно лицо, в котором не было образа. Его восхитила пугающая модильяниевская пустота в глазах. К тому же, как и все коллеги, он просто обязан был видеть мир по-своему. Хорош бы он был, если бы видел, как все. «Я так вижу!» – говаривал он с превосходством и надменностью, одним тоном осаживая профанов, пытающихся судить о его творческой манере.

Когда же случилось Удишеву увидеть Шумару со спины, он вскричал с неподдельной страстью:

– Ах, какое лицо! Вы обязательно, обязательно должны мне позировать!

И хотя речь шла именно о портрете, закончилось все обнаженной натурой.



После того темпераментного сеанса Шумара одарила Удищева комплиментом, который редко кто слышал.

– Удищев, – сказала она, – ты великий художник, но как любовник ты гениален.

Недаром монументалист Дрындопопуло говаривал с грубоватой образностью: «Мирофан, ты видишь натуру удом. Привяжи к уду кисть – и станешь великим».

Портрет Шумары, правда, так и остался недописанным.

Но зато как они любили друг друга! На белой простыне среди бескрайней полупустыни, расцветшей алыми маками. Кроватью им служила планета, страсть была космических масштабов.

В перерывах любви они беседовали о высоком искусстве.

– Не знаешь ты себе цену, Удищев, – хорошо начинала Шумара и тут же толкала польщенного художника в ледяную прорубь реальности. – Ты – ходовой товар, Удищев.

– Находят же люди слова, способные вдохновить, – ворчал Мирофан.

– Да, да! – настаивала Шумара. – Художник – это тот же товар. То же мыло, та же зубная паста, прокладки с крылышками, наконец. Художник, который не распродается, не художник. Посмотри на Полуоборота. Заперся в своей развалюхе и творит, видите ли, бессмертное.

– Козел! – охотно согласился Удищев.

– А кто ему сказал, что он творит бессмертное? Рано или поздно только рынок, только цены рассудят, кто талантлив, а кто бездарен. Нет, пока художник не продан – он не художник, – настаивала Шумара.

– Да кто позарится на мазню Полуоборота, – вспыхнул ревнивый Удищев.

– Ерунда! – возразила Шумара. – При хорошей рекламе сбыть можно все что угодно – и черный квадрат, и белый квадрат, и кучку собачьего дерьма впридачу. Представляешь, если профессор Мутантов скажет о кучке дерьма: изумительная вещь, но только для посвященных. На следующий день это дерьмо можно продавать тоннами. И пусть кто-нибудь осмелится возразить, его же в ключья разорвут.



– Профессор Мутантов о дерьме так и скажет: дерьмо, – с некоторым унынием вздохнул Удищев.

– Профессор всего-навсего мужик. Хорошо попросить – не откажет, – при этих словах ветренная любовница задержала всем телом.

Плохо подавив позывы ревности, помрачневший Мирофан уточнил:

– И кто же его попросит?

– Какая разница, – продолжая кокетничать, уклонилась от прямого ответа Шумара. Впрочем, телодвижениями, мимикой полностью подтвердив подозрения Удищева.

«А ведь права, стерва, – подумал он. – Права, права... Ишь, ждет мольбы о помощи. Не дождешься. Сказала «а» – говори весь алфавит».

Шумара, раздосадованная равнодушием Удищева, не оценившего ее жертвенности, из последних сил держала паузу. Однако, по своей женской природе, не выдержала. Перемолчал ее Мирофан.

– Так свести тебя с Мутантовым? – сердито спросила она.

– Занятный старикашка, – сказал Удищев, зевая.

Нравилось ему, когда кто-то водил перед его носом крючком с насадкой, но в конце концов сам же эту наживку и заглатывал.

– Я вас сведу, – грубея от собственной оплошности, пообещала Шумара.

Выходило, что она навязывалась со своим предложением, и это ее злило.

– Реклама – вещь дорогая, – добавила Шумара деловым тоном, – поговорим о моих процентах.

– Не рано ли?

– Я тебя, Удищев, знаю. С тобой никогда не рано. С тобой всегда поздно. Как только сведу тебя с Мутантовым, ты же меня за спину и задвинешь.

– На проценты я тебя любить буду до гроба, могу и расписку дать, – пошутил Мирофан.

– До чьего гроба?

Этот странный разговор о шкуре неубитого медведя можно было прекратить одним способом. Удищев им и



воспользовался. Причем настолько удачно, что Шумара не возобновила беседу о бессмертном искусстве.

«Действительно, хрен ли в том «Черном квадрате», а кто его не знает, – между тем зло размышлял Удищев. – Главное не в том, что и как накрасишь. Главное, чтобы о тебе на всех углах трубили: Удищев, Удищев, Удищев... Кто что знает о Малевиче? Никто и ничего. А спроси любого, о, скажут, «Черный квадрат»! Как же, скажут, гений!»

Давно это было. Они были молоды и жили высоким искусством.

...Как и условились по телефону, Удищев поджидал Шумару у Старых ворот. Он открыл перед ней дверцу и, не выходя из машины, спросил хмуро:

– Что случилось?

Бедная женщина, спешащая обрадовать любимого человека выгодным предложением, вздрогнула всем телом, резко повернулась и пошла прочь, захлебнувшись слезами.

– Ой, эти мне бабские штучки! – возмутился Удищев, выскакивая на проезжую часть дороги и громко хлопая дверцей. – Человека я сбил, понимаешь? Не до хороших манер.

Услышав эту страшную новость, сердобольная Шумара так же резко развернулась и бросилась утешать Удищева.

– Жив он, жив, – поморщился, отстраняясь от нее, Удищев. – Фару, подлец, разбил. Говори, чего надо.

– Ничего мне от тебя не надо, – с трудом проговорила прыгающими от обиды губами Кукуева. – Это тебе от меня надо. Хотела свести тебя с Дусторхановым, пригласить в дело. Только в этом деле и без тебя обойтись можно.

Удищев резво полуобнял попытавшуюся вновь уйти женщину и ласково спросил:

– Что за дело?

И пока Шумара сомневалась, вырваться ли из объятий или посвятить грубияна в проект, Мирофан, шекоча густой бородой опухшее от слез лицо опостылевшей, постаревшей любовницы, с хамоватой нежностью впихнул ее в машину.



Не выдержав ласк, Кукуева быстро сдалась.

Суть дела заключалась в следующем. Одно из министерств за услуги, характер которых Удишеву знать не обязательно, на зиму предоставляет в распоряжение коллектива «Дребездени» свой санаторий-профилакторий. Места там красивые – горы, озеро. Приличное питание. Вот и предложил мудрый Гугор Базилович Грозный использовать этот щедрый дар для организации пленэра, нужно отобрать художников – очень талантливых и очень голодных.

– Я сказала, что отбором мог бы заняться ты, – с горьким укором прошептала Шумара и отвернулась, кусая губы.

– Что хотят иметь организаторы? – спросил, призадумавшись, Удишев.

– Как обычно: одно полотно выбираем мы, другое дарит художник.

– Что потом?

– Выставка-продажа.

– Дохлый номер, – разочаровался художник, – на искусстве сейчас деньги не сделаешь.

Шумара посмотрела на него искоса – с иронией и превосходством. Хмыкнула и отвернулась.

– Или я чего-то не понимаю? – допрашивал ее Миропфан, насторожившись.

– Выставка для особо важных персон. Но эта сторона дела тебя уже не касается. Дипломатический корпус, представители крупного бизнеса. Рекламная кампания в течение месяца: средства, вырученные от продажи картин, передаются в фонд Гласности.

– Что за фонд?

– Фонд как фонд. Какая разница. Это уже не по твоей части.

– А что буду иметь я?

– Ты будешь иметь бесплатную рекламу в «Дребездени» на время пленэра и Дусторханова. Это человек с большими связями. Если ему понравишься, можешь выйти на очень состоятельных заказчиков. Могу сказать, что пленэр – только первая и не самая главная часть проекта.

– Вот что, – сказал Удишев, с минуту подумав, – сведи



меня с самим Дусторхановым, чтобы никаких заговоров-перезагов под ногами не путалось. Ты мое правило знаешь: люблю иметь дела напрямую. Без посредников.

– Не думаешь ли ты, что на планете живет всего один художник? – в третий раз обиделась Шумара, и на этот раз обиделась серьезно, без сладких дамских слез, поделовому обиделась, ведь в число посредников входила и она. – Прощай, Удишев.

Такую обиду словами не загладишь.

Спинка кресла под Шумарой внезапно откинулась, и Мирофан Удишев, не словом, а делом доказывая глубину своих чувств, бурным медведем навалился на делового партнера. Он нежно рычал и шекотался бородою, преодолевая слабое сопротивление, что-то шептал в розовое ухо ожившей любовницы.

Озябший пенсионер, сбывающий «Дребездень» владельцам проезжающих иномарок, подкрался к «Мерседесу». Но, заглянув в затемненное окно салона, чтобы предложить чтиво, минуты на две застыл с открытым ртом. В глубоком изумлении на цыпочках попятился дед вон от машины. И только перейдя улицу, закрыл рот.

В ту же секунду с низкого неба крупными хлопьями сыпал снег, делая мир черно-белой гравюрой. Сырые, в отдельности практически невесомые снежинки облепляли ветки деревьев, не успевших сбросить листву. Снег все падал и падал. И когда масса его достигала критической отметки, деревья с треском ломались. Рядом со стоящим на обочине автомобилем разорвало пополам клен, и ствол его обрушился на чугунную ограду, запорошив «Мерседес» и едва не разбив лобовое стекло.

Но засыпанные снегом любовники не видели этого сказочного кошмара, не слышали стопа и треска, ломаемых деревьев.

* * *

Словно взорванная изнутри паром, растворилась дверь сауны, и в пушечных клубах из нее вылетели раскаленные мужики, облепленные зелеными листьями. Весело матерясь и постанывая, они устремились на улицу.

– Дверь! Дверь! – страшно зарычал бородатый хозяин,



в сердцах хлопнув банкой импортного пива о стол. – Пару на вас не напасешься!

После адской жары сауны на улице было волшебным. Серебряным долларом манила на небо полная луна, обливая своим сиянием пирамидальную вершину горы. Неземной чистоты, первобытный, без единого следа снег обильно сверкал сокровищами.

– Ух! – дымящейся головешкой нырнул в сугроб смуглый атлет.

Следом попрыгали остальные. Коллективный стон наслаждения нарушил бездонную, девственную тишину космоса.

– Додон Додоныч, осторожно – розы!

Но было поздно.

Душераздирающий вопль потряс окрестность и где-то высоко в горах спровоцировал лавину.

Человек, севший на куст роз, изумленно ругаясь, пытался через плечо рассмотреть собственные ягодицы и рассуждал:

– Скажу жене: сел на куст роз. Разве поверит?

– А Вы скажите – кошка поцарапала, – подсказал кто-то веселый из сугроба.

Но барахтающийся рядом в снегу засомневался:

– Это что надо сделать с кошкой, чтобы она так осерчала?

Выскочивший на шум хозяин, быстро разобрался в ситуации.

– Идемте в бассейн, Додон Додоныч, – взял он пострадавшего под руку, – смажем царапины одеколоном.

– Что же ты, Мирофан, не предупредил? Предупреждать надо, – выговорил пострадавший хозяину.

– Не вы первый на этот куст сели. Сам Долболобов изволил осчастливить, – утешил исцарапанного Удишев.

Когда в бане собираются художники и немного выпивают, это не значит, что они непременно начнут беседовать о высоком искусстве.

Говорят обычно о женщинах, машинах, капусте. Об охоте и рыбалке. Но меньше. То есть обо всем том, что и любые другие голые мужики в бане.

Если порой речь и заходит о творчестве, то лишь



о бездарности отсутствующих на данный момент собратьев по кисти и холсту. Каждый при этом мучается подозрением: отлучись он на минуту по какой-либо надобности, не будет ли и он причислен к бездарям? Есть одно правило в общении с людьми высокого искусства: нагибаясь за упавшим мылом, не поворачивайтесь к ним спиной. Все художники знают это правило и после первой рюмки крепятся. Не говорят о высоком искусстве. Но за первой рюмкой неизбежно следует вторая, третья. Приблизительно на пятой кто-то не выдерживает и говорит как бы в пространство, как бы ни к кому конкретно не обращаясь: «Пентюхаев в Германию по приглашению съездил. Картинок на месте накарсил – воз. В среднем по штуке зарядил. Вернулся на «Мерсе» и зелени привез, хоть соли».

И обязательно кто-нибудь эдак вскользь заметит в том плане, что лично он за всю мазню Пентюхаева и рваного рубля бы не дал.

После этого справедливого замечания на отсутствующего Пентюхаева набрасываются всей стаей, рвут на клочки, а клочки разбрасывают по предбаннику.

Но на этот раз среди художников выпивал и закусывал известный меценат – севший на куст удищевских роз редактор «Дребездени» и президент каких-то ассоциаций и корпораций – Додон Додонович Дусторханов, жаждущий в общении с живописцами поразмышлять о природе вдохновения и вообще блеснуть эрудицией. И вот в нарушение всех традиций после первой же рюмки он раскрыл варежку и высказал странную мысль.

– Бездарность, – сказал он, морщась от саднящих царапин, окропленных едким одеколоном, – не беда, а вина.

Удищев, на вилле которого расслаблялась компания художников, отобранных им для пленэра, поперхнулся орденоносным напитком, занюхал впечатление огурцом и выразил недоумение:

– Не понял.

Он-то в глубине души думал как раз наоборот: к бездарям нужно относиться как к инвалидам, матерям-одиночкам и алкоголикам. Не помогать, но сочувствовать. Да и остальным мысль Додона Додоныча не показалась столь уж очевидной.



– Я больше скажу: бездарность – преступление, – неожиданно поддержал Дусторханова профессор Мутантов, издавна вхожий в баню Удищева.

– Ну, это уже слишком, – отчего-то с обидой возразил хозяин.

– Ничуть! – загоревшись очами, профессор забросил за плечо угол простыни, на которой чем-то несмываемым было тиснуто «Гостиница «Восход». – Ничуть! Бездарь всегда занимает чужое место, тем самым совершает акт агрессии по отношению к таланту. По его милости одаренные люди прозябают на обочине, в глуши, неизвестности. Спиваются, стреляются, вешаются. Да, и бездарю приходится не сладко. Самая интересная работа для него – тяжкий крест. Что же прикажете жалеть его? Скажите об этом больному, которого зарезал бездарный хирург, удаляя банальный аппендицит. По вине бездарных учителей множится быдло. По вине бездарных писателей, музыкантов, художников деградируют вкусы, мельчают души. Из-за бездарных политиков мир потрясают разрушительные войны. В основании любой экологической катастрофы лежит чья-то бездарность. Бездарность – преступление против человечества!

Редактор «Дребездени» выпил и, искажив гримасой холеное лицо баловня судьбы, подвел итог страстному выступлению профессора:

– За бездарность, друзья мои, надо отрывать яйца. Без суда и следствия. Бездарность не выгодна экономически.

Художники, вальяжно развалившиеся на деревянных диванах в позах древнеримской знати, как по команде сдвинули ноги.

– Всем не поотрываешь, – примирительно сказал художник Дрындопопуло, рассматривая складки простыни, в которую было искусно задрапировано его смуглое поджарое тело, и попытался перевести разговор на более приятную тему. – Слышали, у Пентюхаева «Мерседес» угнали...

Но распоясавшийся Дусторханов намерен был говорить только о высоком и чистом искусстве.

– Весь мир, – обвел он слабой женственной рукой предбанник, – акт творения, произведение гениального



художника. Деревья, люди, козы, куры – живые скульптуры, предметы искусства. И когда одна из живых скульптур создает мертвую скульптуру – это лишь младенческий инстинкт подражания. Подсознательное желание стать Богом. Не так ли? Быть художником – в этом есть что-то трагическое и святотатственное. Это все равно что быть Богом.

Если бы художников насильно накормили лимонами, вряд ли бы у них были более кислые лица. Чего они терпеть не могли, так это разговоров дилетантов об их ремесле. Случись это в другом месте при других обстоятельствах, завистник и провокатор давно бы получил отпор. Но все понимали: Удищев случайных людей в свою баню не зазывал. Здесь парились только влиятельные, богатые, нужные люди. Болтуна-мецената никто не перебивал, никто не ставил на место. Скуксившись и тускло переглядываясь, художники с вежливым недоумением слушали севшего на куст роз, налегая на дармовую огненную воду.

– Хватит, хватит, – запротестовал Полуоборотов, самый худой и молчаливый из них, прикрывая ладонью стакан.

– А ты легенду о непьющем художнике знаешь? – сурово спросил художник Вломидзе, отстраняя доньшком бутылки его робкую руку.

– А разве бывают непьющие художники? – удивился Полуоборотов.

– Бывают, – с тяжелым сожалением вздохнул Вломидзе, разливая коньяк, – Бесталдыкина кто помнит? Сначала думали – ну, не пьет и не пьет. Больной, может быть. А потом стали замечать: как посмотрит на какую картину – тут ей и финиш. Не идет. От нее, как от чумы, шарахаются. Причем у этого Бесталдыкина тонкий вкус был. Самые сочные картины примечал. Остановится, бывало, перед полотном и смотрит, смотрит. Глаза желтыми становятся, кошачьими, злобными. Сколько картин, подлец, перепортил, сколько талантов загубил...

– Сглаз что ли? – испугался Полуоборотов смутных взглядов коллег и поспешно выпил свой коньяк, не дожидаясь остальных. Выпил и сразу же налил.



– А хрен его знает, сглаз не сглаз. Только стоило ему посмотреть на картину – и все: краски блекнут, осыпаются, и такой тощицей от нее веет, хоть стреляйся.

А хуже всего, если этот непьющий Бесталдыкин к кому-то в мастерскую заглядывал. У хозяина сразу все опускалось и талант пропадал. Как и не было. Человек вдруг задумывался: чем это я занимаюсь, кому нужна эта мазня и что это за профессия такая – художник? Ну и – кто в запой, кто в петлю.

– Так это не легенда? – уточнил Дусторханов, нежно поглаживая израненные ягодичы.

– Быль, быль, – мрачно заверил его Вломидзе. – Жил в Ненуженске такой Бесталдыкин. Только дело не в Бесталдыкине. Жил он себе, жил, да и помер на радость всем. Не к ночи покойник будет помянут. А Непьющий художник никогда не умирает. Бессмертен он. С тех пор живет, когда первый наскальный рисунок был сделан. Рядом, сволочь, стоял. Попробовал – не получилось. Вот он и приревновал к таланту, в зависти и злобе тюкнул по башке первохудожника каменным топором. Соплеменники, должно быть, осерчали – удушили гада. Возможно, и скушали на поминках. С тех пор он и кочует по душам. Зависть не убьешь. Это, понимаешь, как злой дух. Он же, гад, – перейдя на шепот, обвел коллег Вломидзе жгучим, подозревающим взглядом, – в любого из нас может вселиться.

Этот Бесталдыкин в молодости славным парнем был. Картины направо-налево раздаривал. А если у кого что-то стоящее получалось, радовался, как своему.

Но случилось ему однажды пейзажик один увидеть. Лучший его дружок нарисовал. Вместе на пленэре были. Этюдники рядом стояли. Один и тот же вид писали. И на тебе... Долго смотрел Бесталдыкин на этот пейзажик. Все пытался понять, что в нем. И мазок видит, и манеру, а чувствует – не понимает, как это сделано. Недоступно это ему. Под крыльями носа, вот здесь, складочка у него появилась. Завистливая такая складочка. Глаза помутнели. Раньше чистые были, прозрачные. И вдруг без выражения стали. Совсем пустые.

Вскоре он и пить бросил.

В мастерской закрылся. Полгода не выходил. Чего он



там делал – никто не знает. Только, спустя полгода, все холсты изрезал, рамы переломал, а на стенах масляными красками нехорошие слова написал.

С тех пор кисти забросил. Стал, сволочь, по выставкам и мастерским ходить. Как увидит что-нибудь стоящее, так и уставится своими рысьими глазами. Час стоит, два, а потом злорадно так улыбнется одной стороной рта и молча прочь уходит, не прощаясь. Черный, желчный, брезгливый. Всю душу зависть ему спалила. Черной завистью он картины и портил.

Заразная вещь, скажу я вам, эта зависть. Вот сидим мы за столом, выпиваем, а того и не знаем, что в кого-то из нас уже вселился Непьющий художник.

Все с тревожным интересом посмотрели на Полуоборотова. Бедняга вжал голову в плечи, сильно засмутился, хихикнул, и, побледнев, судорожно схватил бутылку, попытавшись опорожнить ее из горла. Совместными усилиями отняв напиток, художники потеряли интерес к Полуоборотову и обратили хмельные взоры на Вло-мидзе.

– Но главное не в том, что Непьющий художник хорошие картины портит. Хороших картин, слава Богу, не так уж много. Беда в другом: стоит ему на какую-нибудь дрянь посмотреть – все от нее в восторг приходят. Картина в драку идет. По баснословной цене. Он же, сука, не отдельную картину, а настоящее искусство ставит целью загубить. Для этого нет лучше способа, чем дерьмо шедевром считать. Стоит себе в сторонке и ехидно так улыбается.

Вот и выходит, что очень многие не то что не боятся Непьющего художника, но всячески приваживают его, заманивают на выставки и в мастерские. Многим не прославиться без того, чтобы он их мазню не одобрил завистливым глазом.

Художники перестали жевать, потупили глаза и задумались.

На ледниково-голубых волнах круглого, отделанного мрамором бассейна, дико деформируясь, плясали их укутанные простынями отражения, потолок, дыбились и опадали, змеясь, отделанные деревом и ракушечником



стены, прыгали, дробясь, огоньки светильников. Странные утробные звуки засасываемого вместе с водой воздуха тревожили тишину.

Редактор «Дребездени» по-детски всхрипнул и сказал с душевным злорадством:

– Да, друзья мои, искусство вступает в эпоху глобального деграданса. Его путь – эскалация извращений.

Профессор Мутантов густо покраснел: камешки летели в его огород.

– Человек – Великий мастурбатор, – сказал он с томной иронией изнуренного долгими размышлениями ученого. – Под мастурбацией, в отличие от известного сюрреалиста, я имею в виду любое искусственно вызванное наслаждение: вино, сигареты, наркотики, виртуальную реальность, все виды развлечения и искусства. Стремление к легко достижимому кайфу превращает человека в мерзкую лабораторную крысу, озабоченную лишь возбуждением центров наслаждения. Особый вид душевной мастурбации – непомерное потребление дешевого суррогата искусства. Целые страны, континенты в урочный час оргазмируют над мыльными операми. Ничего более страшного, постыдного, пошлого я не знаю.

Мы превратились в планету мастурбаторов.

Чтобы воспринять настоящее искусство, требуется какое-то усилие, поскольку его сфера – неизведанное. Конечно, все, что непонятно, можно назвать извращением...

– Только не надо говорить, что «Черный квадрат» – великое произведение искусства. Здесь нет снобов, – вскипел горячий Вломидзе, неизвестно на что обидевшийся. – Про «Черный квадрат» вы внучке расскажите. Она поверит.

Профессор Мутантов смиренно и желчно улыбнулся, готовясь к долгому поединку. Но в это время Удищев, забываясь о впечатлении, которое должны произвести отобранные для пленэра художники на Дусторханова, решительно предотвратил словесное мордобитие.

– Хрен с ним, с квадратом, – подвел он черту дискуссии. – Хотел бы я знать, мужики, ваше мнение об одной



картинке. Забавная, на мой взгляд, получилась картинка. Правда, смотреть ее надо при дневном свете. Но где его возьмешь ночью – дневной свет? Надеюсь, среди нас нет Непьющего художника?

Художники с недоверием покосились на Мутантова и потянулись библейской вереницей по лабиринтам удищевской виллы вслед за хозяином.

* * *

В мастерской было непривычно пусто и прибрано. Все эскизы, готовые полотна и натянутые на подрамники холсты повернуты к стенам. Ничто не отвлекало внимания от единственной картины на мольберте.

Тройная радуга над горами и храмом.

Как окно, прорубленное из затхлого замкнутого пространства в светлый мир.

Сильное, очень сильное впечатление.

Почти шок.

Впечатление первой грозы.

Впечатление первого снега.

Внезапного прозрения.

Удищев покосился на протрезвевшие лица онемевших коллег. Сквозь легкую растерянность он увидел чувство, которое невозможно скрыть в первые секунды, – зависть.

Выражение лиц удовлетворило хозяина. Он мог бы и не слушать слова. Но, справившись с первым впечатлением и приведя в порядок лица, художники заговорили.

– Ты ли это намазал, Уда? – восхитился до оскорбления Дрындопопуло.

– Прячь от Непьющего художника. Испортит. От нее за версту озоном несет. Чистой. В Бога хочется верить. Интересно, кому-то перед «Черным квадратом» хотелось в Бога верить? – попытался возобновить дискуссию Вломидзе.

Но никто не поднял брошенной перчатки.

– Хорошо, очень хорошо, – волновался Полуоборотов, судорожно растирая виски, – по впечатлению – Рерих. Но не Рерих. Очень свое. Я такого не видел.

Мутантов был необычно краток. Он сказал просто:



– Взгляд ребенка и рука мастера. Удивительно, удивительно...

– Сам не знаю, откуда это из меня поперло, – заскромничал, приосанившись, Удищев.

Повисла легкая и приятная, как осенняя паутина, пауза.

Молчание прервал Дусторханов.

– А сколько бы это могло стоить? – спросил он и выпятил губы.

Мутантов посмотрел на него, как на человека выругавшегося в храме во время молитвы, и ответил, нахмурившись:

– Сейчас ее можно купить за бесценок, но со временем она будет стоить все дороже и дороже. Вспомните ван-гоговские «Подсолнухи».

Дусторханов подошел ближе к картине. Его чуткие, не испорченные никотином ноздри уловили густой запах валюты.

* * *

Дусторханову понравилась баня Удищева. Вместе с исполнительным директором Сусликовым и Шумарой он частенько навещал его виллу. Что особенно нравилось хозяину – с хорошим вином и своей закуской.

И уж совсем замечательно – с богатыми клиентами, большей частью иностранцами. Никогда еще Удищев так выгодно не распродался. Приходилось, конечно, отстегивать Сусликову и тратиться на девочек для клиентов, но редко кто из них покидал гостеприимную виллу без картины под мышкой.

Многие присматривались к «Тройной радуге», но всякий раз Удищев преодолевал искушение и отвечал с холодным достоинством: «Это не продается».

Парная была его кузней, где он без усталки ковал доллары, используя вместо молота березовый веник.

После первой же попарки Мирофан переходил с клиентом на ты и начинал осторожно хамить. Это был рискованный, но ускоренный способ делать из важных незнакомцев друзей. Такая у Мирофана была манера, и очень он ею гордился.



– Я в жизни никому не лизал задницы, – хвастался он по этому поводу.

На что ехидный Дрындопопуло, случись ему оказать-ся поблизости, неизменно возражал:

– Не надо на себя наговаривать.

– Скажи где и кому? – мрачнел Удищев.

– Всегда и всем. Только язык у тебя шершавый, и делаешь ты это с чувством собственного достоинства. Клиентам нравится.

Дребезденцы были гораздо деликатнее.

Все чаще подумывал Мирофан об изгнании художников из парной. Но бесцеремонные собраты заявлялись без приглашения и буравили голодными глазами бомжей чужих клиентов.

Сплавив их на пленэр в министерский санаторий, Удищев вздохнул с облегчением.

* * *

Дусторханов был человеком скользким и говорил намеками. Покрытый кучерявой шерстью Сусликов был простым парнем и называл вещи своими именами.

При первой встрече взглянули Сусликов и Удищев друг на друга – каждый словно собственное отражение увидел. «Вор и плут, – подумали они одновременно, – с таким можно делать дела». Частенько, оставив шумную компанию в предбаннике, уединялись они в большом зале и шептались в полумраке, выпивая и закусывая.

– Хевроныч, – задушевно говорил Удищев с дальним намеком, – картина – это тебе не «Мерседес».

Сусликов, смешивая в большой чашке красную икру с черной, косил хитрым глазом и подгонял:

– Ну?

– Хорошая картина в хорошей раме – это тебе не японский телевизор.

– Ну? – чавкая и стуча зубами, жадно пожирал фирменное блюдо Сусликов.

– Картина – не компьютер и не итальянская мебель...

Выстраивая этот сравнительный ряд, Удищев как бы говорил, что лучший способ нажиться за счет бюджетных средств – это большой ремонт учреждения, плавно



перетекающий в юбилейное торжество. Праздник, подарки, тосты, ликования. Очень трудно с похмелья выяснить, куда ушли деньги, но он, Удищев, выяснил. Так что не надо перед ним приbedняться.

Снизу доносился волнообразный оргийный гул. Там хохотали, взвизгивали и спорили.

– Ну, – согласился Сусликов, вылизывая из карманов между щеками и зубами застрявшие крупинки.

– Картина, – посветлев очами молвил Удищев со значением, – это произведение искусства. Вот висит она на стене и ни одна падла не придерется к цене. Не мешок с картошкой – высокохудожественная ценность! Висит себе, висит и все дорожает, дорожает. И прятать ее не надо.

– Ну.

– Купил бы ты у меня эту картинку, – кивнул Миропфан на «Тройную радугу».

– На фига она мне?

– Я же тебе объяснял: чтобы на стенке висеть. Висит – дорожает, висит – дорожает...

– Сколько?

– Пятьдесят штук, – просто сказал Удищев.

– Пятьдесят тысяч? Баксов? – вскричал изумленный Сусликов в негодовании и закашлялся, подавившись икринками.

В зал по крутой лестнице поднялся не спеша кот Филимон. Весь черный, с белой бабочкой на груди, как черт в смокинге. Сел напротив полотна и, не мигая, уставился на него, то ли замороженный силой искусства, то ли потрясенный ценой.

– Скотина, а понимает, – одобрил его поведение Удищев и сказал с легкостью необыкновенной, – с меня и сорока пяти довольно будет, а пять штук я тебе тут же и отстегну.

– Пятьдесят тысяч баксов! – все никак не мог успокоиться и откашляться Сусликов.

– Да ты не бойся. Это я иностранцу могу всякое фуфло подсунуть. Это – настоящее искусство. Через десять – двадцать лет ей вообще цены не будет. «Подсолнухи» просто тьфу рядом с ней, шелуха от семечек. У меня



сейчас, Хевроныч, пруха пошла. Второе дыхание открылось. Бог рукой водит. Накрасишь и удивляешься – я ли это накрасил?

– Между нами, – сказал Сусликов, промокая испарину на лысине, – Дусторханов ждет, что ты эту картину ему за просто так подаришь.

– За просто так! – вспыхнул Мирофан. – За просто так пусть он с Шумарой парится. За просто так!

Кот Филимон насторожился, прислушиваясь к звукам на лестнице, и черной молнией от греха подальше шмыгнул под диван, покрытый шкурой снежного барса.

Два пьяных, закутанных в простыни привидения поднимались в зал. На каждой ступеньке они останавливались и замирали в долгом страстном поцелуе. Привидение маленькое, румяное, с большим и нежным, как женская грудь, животом источало легкий запах парного мяса и свежего навоза. Не прерывая поцелуй, оно сыто икало и коротенькими пальчиками пыталось сорвать простыню с высокого, рыжего, грудастого и задастого привидения, которое томно оборонялось, не позволяя себя разоблачить. Чтобы дотянуться до пухлых губ, маленькому приходилось всякий раз вскарабкиваться ступенькой выше.

– Эй, любовнички, вы мне все перила переломаете, – приструнил их Удишев. – Отринь от балясин!

Парочка откачнулась от перил и влипла в стенку. Одна из картин, висящих в лестничном пролете, с грохотом свалилась на ковровую дорожку. Происшествие это развеселило подгулявших и распаренных привидений.

– Люсьен, – торжественно объявил коротышка, возвращая на гвоздь поверженную картину, – сейчас я буду приобщать тебя к искусству. Удишев, тебе никто не говорил, что ты круче Леонардо да Винче? Вот и правильно.

Опознав в толстячке самого Дусторханова, Удишев стерпел погром и хамство.

На картине, криво водруженной на дюбель, была изображена девица с лицом, занавешенным густыми каштановыми волосами. Девица гордо выпятила острые, как заточенные карандаши, груди.

– Ой, – не поверила рыжая Люся, – таких грудей не бывает. Такие груди только у коз бывают.



– А мы сейчас сравним, – деловито сопя, Дусторханов стянул с Люси простыню.

Люсина грудь, действительно, была совсем другой – пышной, каплевидной, овальной. Однако различие это не смутило главного дребезденца.

– Художник передал груди с фотографической точностью, – защитил он Мирофана. – Точно такие груди были напечатаны в «Дребездени» за ноябрь месяц.

– Шли бы вы в баню, ценители искусства, – холодно посоветовал Удишев.

– Нам бы где отдохнуть, – подмигнул ему Дусторханов и задергал ручку ЗАПРЕТНОЙ комнаты.

...За запертой дверью, в темноте, сидел в углу, поджав под себя ноги, бомж и судорожно водил перед собой рукой. Невидимой кистью он мысленно писал новый пейзаж.

Человек без имени не любил шумные банные вечера. Перед приездом гостей хозяин велел выключать свет и ничем себя не обнаруживать. Хорошо кошкам – они могут видеть в темноте. Бомж завидовал Филимону и мечтал поменаться с ним глазами.

Впрочем, какая разница – писать красками по холсту или пустой рукой по воздуху. Ничем по ничему даже лучше – всегда получается то, что хотел. То, что он видел, никогда полностью не совпадало с тем, что в конце концов появлялось на холсте. Всякий раз, закончив картину, он испытывал разочарование, одиночество и бессилие.словно его замуровали в колодце, о чугунную крышку которого стучит нудный нескончаемый осенний дождь.

Жалкая клякса из красок была совсем не похожа на тот мир, который ему представлялся.

Мухой, бьющейся о стекло, – вот как он себя чувствовал, пытаясь предать цвета этого мира.

Для того, чтобы передать то, что он видел, мало было написать, нужно было создать этот мир. Перед каждой новой картиной он испытывал восторг и ужас бездны, в которую нужно было броситься. Ему предстояло создать новый мир, стать Богом. Бренное, слабое тело его не выдерживало вселенской тоски бездействия. Он не мог не создавать эти миры...



– Наверх, наверх, голуби, – направил Удищев воркующую парочку на третий этаж и, разлив по фужерам «Белую лошадь», спросил Сусликова:

– Говорят, ты с попом в хороших отношениях?

– Пели однажды дуэтом про разбойника Худияра, – скромно подтвердил слухи Хевроныч. – Хорошо поет. Под «Мадеру». Густым басом.

– Церковь хочу расписать, – поделился заветной мечтой Удищев. – Выгодный заказ. Затащил бы как-нибудь попа в баньку.

– В баньку, – передразнил его Сусликов. – Не дьячок, понимать надо. Чтобы заказ получить, нужно в конкурсе участвовать.

– Выгорит – отстегну.

– Не в том дело.

– Хорошо отстегну.

– Храм все-таки – святое дело.

– Я и попу отстегну.

– Все-таки лицо духовное...

– Рот у этого лица есть?

– Поговорить поговорю, – уломался Сусликов, – но стопудово не обещаю.

– Говорить как раз и не надо, – строго наставил его Мирофан. – Ты нас только сведи. А уж мы разберемся.

* * *

В тени высотных домов еще пряталась зима, но в погожие дни на солнечную сторону улиц Ненуженска уже заглядывала весна.

Дворники с удовольствием сбрасывали снег с крыш на головы прохожим и гортанными голосами небожителей весело материли зазевавшихся. Карнизы домов, с которых не сбрасывали снег, обрастали увесистыми, сверкающими, как янтарь, соплями сосулек. Время от времени кто-то из особо невезучих и рассеянных ненуженцев, привыкших смотреть исключительно себе под ноги, был внезапно уби-ваем куском сорвавшегося с высоты льда. Те же, кто не имел привычки смотреть под ноги, а также пожилые граждане десятками на дню ломали на скользких тротуарах конечности. Лихие бизнесмены в сияющих иномарках ока-



тывали пешеходов с ног до головы жидкой грязью. В автобусах чихали и сморкались. Инфицированный туман испарений большого города расплзался по закоулкам, оседая по утрам на деревьях сероватым инеем.

В это прекрасное время надежд, предчувствия нового возрождения Удищев изгнал из предбанника братьев по палитре.

Случилось это так.

Внезапно нагрянувшие после пленэра художники были хмуры и задумчивы. Пили молча и мрачно. Хотя и помногу. И даже пивной, а также настоянный на горных травах пар не смягчил их души.

Шумара, приход которой случайно совпал с приездом художников, по своему обыкновению путалась под ногами и вмешивалась не в свои дела. Может быть, в тот вечер дело и не дошло бы до разрыва, а ограничилось легкой сварой, не внеси она в предбанник журнал со статьей Мутантова. Статья называлась «Феномен художника Удищева». Размышления профессора подкреплялись цветной иллюстрацией «Тройной радуги» и портретом Мирофана. В некотором недоумении Мутантов извещал читателей о загадке внезапного превращения гадкого серого утенка в белого лебедя. Разгадка, по мнению автора, заключалась в том, что ничем не примечательный, склонный к подражанию художник, пройдя долгий и нудный, как горная тропа, путь ремесла, попытался взглянуть на приевшийся мир чистыми глазами ребенка. И это, как ни удивительно, ему удалось. Причем, вернувшись в детство, особо подчеркивал Мутантов, Мирофан Удищев счастливо избежал тупика примитивизма. Напротив, в искусстве его появилась пугающая философская глубина. Казалось бы откуда?

Похвалив Удищева, профессор, естественно, не мог обойтись без того, чтобы не обругать его коллег. Критика его выходила за рамки приличия и временами напоминала увесистые пощечины. Обидными, уничижительными эпитетами он награждал тех, кто, маскируя творческую импотенцию, подделывается под авангард и впадает в старческий маразм упрощенчества. Нет никакого авангарда, в полемическом угаре, восклицал искусствовед, есть лишь искусство и неискусство. Между ними —



пропасть. Искусство – это постоянное стремление к совершенству. Но, помилуйте, как можно совершенствоваться в примитивизме?! Авангард выдумали снобы и навязали миру. Сравнивая развитие современного искусства с историей половых извращений, профессор приходил к неутешительным выводам: то, что вчера было стыдным и мерзким, сегодня стало нормой; то, что сегодня считается недопустимым, завтра неизбежно будет восприниматься как норма. В какой то безумной точке амбиций прогресс перетекает в деградацию. Искусство самоуничтожается, превращаясь в антиискусство. Мир сходит с ума, погружаясь в глобальную шизофрению. И только внезапное озарение чистотой может указать настоящий путь. На этот мир нужно взглянуть глазами художника Удищева.

В восторге пересказывала Шумара статью, зачитывая из нее огромные куски, комментируя неясные места, и надоела всем хуже рекламы «Орбита» без сахара.

Художники все более мрачнели и отводили туманные взоры.

Ну, разве нельзя сказать о ком-нибудь что-то хорошее без того, чтобы всех остальных не облить помоями?

– Удищев! Почему Удищев? Кто такой Удищев?! – внезапно вскричал маленький, как гномик, Пентюхаев. Курицей с отрубленной головой выпорхнул из его брезгливых рук журнал и полетел, шурша страницами, в пластмассовую емкость с использованными простынями. Глаза Пентюхаева горели завистью и обидой, седа несоразмерно большая башка тряслась. Он пытался что-то сказать, но переполнявшие душу чувства не находили соответствующих им слов.

– Ты же мой учитель, – смиренно укорил буяна Миропфан, – ты должен мной гордиться...

– Я должен тобой гордиться? – гневно удивился Пентюхаев. – Да ты – стыд мой! Барышник! От художника в тебе – только борода. Про чистые глаза ребенка ты Мутантову рассказывай. Не мог ты «Тройную радугу» написать!

Такими страшными обвинениями просто так не бросаются.



– В чем дело, мужики? – обвел ледяным взглядом одобрительно молчащих живописцев Мирофан. – Почему я должен выслушивать в моем доме, за моим столом эти бредни? Ты завидуешь, Пентюхай, я тебя понимаю. Но базар шлифуй...

– Завидую? Я? Тебе?! – завизжал Пентюхаев, темнея лицом и задыхаясь.

– Ты, Уда, говори да не заговаривайся, – дрожащими, как у путчиста, руками Дрындопопуло шелкал зажигалкой, безуспешно пытаясь не с того конца раскурить сигарету. – Никто тебе не завидует. Мы на тебя сердимся. Ты наш заказ украл.

– Украл ваш заказ? – преувеличенно удивился Удищев, с веселой наглостью выкатив глаза. – Как это я мог украсть ваш заказ?

– А так, – стараясь быть сдержанным, но все сильнее дрожа руками объяснил Дрындопопуло. – В конкурсе эскизов на оформление храма ты не участвовал, а заказ получил. Как это понимать?

– Конкурсы, эскизы, – не сдержав злорадства, с иронией протянул Удищев. – Да я вам, мужики, и колхозный клуб не доверил бы расписать. Вот вы – великие художники – лапу будете сосать, а я – бездарь – храм буду расписывать...

– Он будет храм расписывать! – задохнулся в сарказме Пентюхаев, хватаясь за сердце. – Ты попа в бане парить будешь да деньги считать, бухгалтер! А храм Полуоборот расписывать будет...

– Полуоборот, а ты что молчишь? – потревожил Удищев скромного напарника. Тот посмотрел на него глазами побитой собаки и пожал плечами. Не дождавшись ответа, Мирофан повернулся к Пентюхаеву: – От вас – великих художников – ему кости со стола доставались, а у меня – бухгалтера – он деньги получит.

– Пойду собак покормлю, – пролепетал Полуоборотов, побледнев и нервно сметая со стола объедки в чашку.

– Сиди, не дергайся, – осадил его Удищев. – Послушай, как радуются за тебя друзья.

– Не понимаю владыку. Уж он-то должен разбираться в человеческих душах? – в глубоком недоумении развел



руками Вломидзе. – Ты же безбожник, Уда. Ты же пере-
креститься правильно не можешь. Тебе и в туалете гвоз-
диком царапать – святотатство, а тут – храм...

– Ошибаешься. И крещен, и исповедован третьего
дня...

– И аванс получил, – закончил за Удищева Дрындопо-
пуло. – за такие деньги ты не только окрестишься, но и
душу продашь. Тебе что Маркса малевать, что Николая
Угодника – один хрен.

– Я вас, мужики, понимаю, – со злорадным снисхож-
дением сказал Удищев, – храм – не клуб. Храм – это на
века. Расписать храм – почти бессмертие. Такой случай
раз в жизни выпадает. Вам обломилось. Вот вы и дергае-
те себя за нос. На вашем месте я бы тоже чужие ворота
дерьмом мазал.

Окаменевшая от внезапно разразившейся безобразной
ссоры Шумара пришла в себя и, запихнув в простыню
тугую грудь, взмолилась:

– Ребята, прекратите! Ну что вы, право слово? Давай-
те лучше выпьем. У всех налито?

– Выпьют они в забегаловке, – жестко прервал ее Уди-
щев.

Вломидзе вскочил и, направляясь к раздевалке, бро-
сил:

– Ты для меня умер, Уда.

– Простыню оставь. Простыня денег стоит, – спокой-
но сказал Удищев, не меняя ни позы, ни выражения лица.

Гордые художники срывали с себя простыни и, как
вражеские штандарты, швыряли их под ноги хозяину. Го-
лые, твердой поступью покидали они предбанник, неза-
висимо подрагивая детородными членами.

– А ты чего сидишь? – спросил Удищев Шумару. –
Ступай, пока есть оказия.

– Ты прогоняешь меня? – не поверила своим ушам
бедная женщина. И так как Удищев молчал, она, с напол-
ненной до краев рюмочкой в руках и слезами в глазах,
повернулась к Полуоборотову, как бы спрашивая: не
ослышалась ли?

– Пойду собак покормлю, – в смятении пробормотал
Полуоборотов и выскочил вон, забыв прихватить обедки.



– За что, Удищев? – прошептала Шумара в трагической тишине опустевшего предбанника. – За то, что я сделала тебя членом Союза художников? За то, что свела с Мутантовым, Дусторхановым? За то, что не осталось ни одной газеты, где бы я ни писала какой ты талантливый? За то, что я сделала тебе имя? Или за то, что любила тебя? За что, Удищев?

Так и не дождавшись ответа, она поставила рюмочку на стол, сорвала с себя простыню с казенным штампом, скомкала и швырнула в морду Мирофану.

Глядя на ее удаляющийся восхитительный зад, Удищев почувствовал нечто, похожее на угрызения совести. С этим божественным задом было связано многое. Молодость. Мечты. Искусство. Штурм вершин.

Но Шумара испортила ностальгические мгновения прощания с романтическим прошлым. Обернувшись в дверях, она прокаркала голосом автобусной контролерши:

– Я никогда не прошу тебе этого. Запомни: я знаю столько, что могу уничтожить тебя десять раз подряд.

– Как планету ядерными зарядами, – ехидно поддакнул ей Мирофан.

Удищев потянулся и надолго застыл в нелепой позе, наслаждаясь тишиной и одиночеством. Он чувствовал себя альпинистом, взошедшим на Эверест в одиночку и без кислорода. Там, внизу, его ждали известность, признание, слава. Новая, полная удовольствий жизнь. И когда на улице сердито протарахтел и стих мотор старенького «Москвича», он сжал кулаки и заорал что было сил: «А-а-а-а-а!» Не выкричи Мирофан эту радость, счастье, переполнявшее его, разорвало бы грудную клетку.

Об одном он жалел: не успел сообщить этим бомжам от искусства, этим жалким бездарям, ничтожествам, что его «Тройная радуга» ушла на «Сотби». Этой радости они бы не вынесли!

Время отсчитывало самые счастливые секунды в его жизни.

Секунды ожидания мировой славы.

Вошел продрогший Полуоборотов и сказал скучным голосом:



– Все уехали. Люди какие-то в ворота стучат. На джипе. В камуфляжке. С оружием. Карабины с оптическими прицелами. У одного – «Калашников». Козочку подстрелили.

– Открой, – приказал Удищев, зевнув, – это оторвановские с охоты возвращаются. Сейчас они нам шашлык организуют. Дров в топку подкинь. Замерзли, поди, в парную полезут.

– То-то я и смотрю – рожи у них бандитские, – с грустным осуждением сказал Полуоборотов. – Дело не мое, Мирофан, но последнее время ты со всякой сволочью водишься. А с ребятами нехорошо получилось...

– И свежие веники для парной прихвати, – оборвал его Удищев.

* * *

Бомж и Удищев вступили в светлую полосу жизни.

Каждый занимался своим делом и никто им не мешал.

После массового изгнания из загородного дома НЕ-НУЖНЫХ людей Удищев устраивал бани не чаще двух раз в неделю.

Все остальное время на вилле царил великий покой.

Бомж жил сразу тремя жизнями.

Той самой скучноватой, обременительной жизнью тела с редкими и утомительными удовольствиями, которую большинство считает единственной и настоящей.

Вторая жизнь протекала параллельно первой. Это была восторженная, изнурительная, обреченная на вечное начало и неудачу жизнь создателя новых миров. Днями стоял он у мольберта на гудящих ногах, перенося на холст то, что виделось ему долгими холодными ночами на дне канализационного колодца. Эта жизнь была похожа на карнавальное сумасшествие, на пестрый вихрь красок, запахов, звуков. Он не писал картины, он просто кружился в этом вихре, барахтался в этой лавине впечатлений. Он не в силах был сопротивляться – его срывало и несло.

А когда, истощенный и разочарованный очередной неудавшейся попыткой построить из мертвых красок живой, звучащий мир, он забывался, почти умирал, к нему возвращалась главная жизнь. Это была жизнь без тела,



без оков. Она не требовала никаких усилий. Нужно было лишь переживать грустное, щемящее счастье.

Невозможность соединить разорванную на три части жизнь в одну рождало пугающую тоску.

В его третьей жизни была сказочно прекрасная однокомнатная, просторная, как мир, квартира в многоэтажном доме на краю незнакомого города. С утра и до заката в три ее окна светило солнце. Дом, как лодка в берег, был врезан в лес. Через распахнутые окна невидимой рекой ветра проносились запахи трав, деревьев, грибов и ягод, невесомые парашютики одуванчиков. Лесной шум всегда сопровождался этими запахами. Птицы, сокращая путь, пролетали через комнату. Молодая женщина в пахнувших солнцем и ветром чистых одеждах не обращала на них внимания. Вечно занятая домашними хлопотами, мурлыкала песенку без слов. Она любила свою квартиру и простые домашние дела. И так уютно вплетался в лесной шум стрекот швейной машинки, потрескивание жарящихся грибов, ее мягкие шаги.

Ничего в этом мире нет прекраснее этой простой, такой доступной и такой невозвратной жизни, звуков, красок и запахов этой квартиры.

Маленькой квартиры, в которую вмещалась вселенная.

Где этот город и что случилось с той квартирой, он не знал. Лишь порой оттуда, из прошлого, доносился смутный звук лопающегося на множество осколков зеркала.

Его тревожил этот звон, но он не мог управлять памятью и видел то, что видел.

Вот в месяц созревшей земляники под океанским шумом старой березовой роши на заветной поляне они собирают ягоду.

Губы и колени молодой женщины пахнут земляникой.

Поскрипывают колеса невидимой телеги. Фыркает невидимая лошадь. В просветах белых стволов за высоким разнотравьем видна лишь плывущая копна зеленого сена.

Звероликий, хитроглазый дед. Борода одуванчиком. Не доверяет он летней жаре. На ногах – самокатные пимы, на голове – облезлая шапка, фуфайка застегнута до последней пуговицы. Изо рта торчит трубка, из ноздрей сизыми



боровыми голубями разлетается по роще дым. Лошаденка с репьями в гриве, морда грустная, глаза умные.

– Ишь, сколько напластали, – шепелявит дед, – до дому донесете ли?

Скрипят колеса перелетными журавлями, хорошо ехать по лесной, звенящей изобилием жизни дороге на зеленой копне.

Хорошо проснуться от тишины и прохлады. А вокруг облака. Сверху белые, а снизу подкрашены румяным золотом то ли восхода, то ли заката.

Летит зеленый стожок над землей, отражается в круглом зеркале степного озера с желтым окоемом песка, полужаросшего камышом. В окнах – рыбаки на резиновых лодках. Не видят они зеленое облако: есть ли что важнее рыбалки? «Клюет?» Оторвал старый рыбак взгляд от поплавок из гусяного перышка, посмотрел вверх: «Как в колодце», – и снова на поплавок уставился. Эко чудо – глас с небес. Ты мне карася на пять килограммов покажи – это чудо.

Протарахтел мимо четырехкрылый, толстенький, как кузнечик, самолетик. Увлеч за собой клочок сена. В иллюминаторе – прикрытые от солнца ладошками разноцветные глаза пассажиров.

Летит стожок навстречу солнцу. Леса, речка, озерца, грузовичок по дороге пылит, деревеньки. Петухи орут. Коровы мычат. Пастух кнутом шелкает. «Эй, люди! С добрым утром!» «И вам доброго здоровьичка», – отвечают.

Над большим городом копна в шпиль телевышки уткнулась. Оттолкнулись от ржавого железа голуби над крышами. Много людей на улицах, но никто стог не видит: все под ноги смотрят.

С соседнего облака дождь льет. Струи занавесили полпланеты. А когда дождевые шторы раздёрнулись, синь неба слилась с синью океана. Глазу не за что зацепиться, а дух захватывает от красоты.

...Стоило закрыть глаза – и он прилетал, этот зеленый стог. Час за часом, день за днем божь вспоминал время, когда у него было имя. Это не значило, что в его жизни был летающий стог. Он вспоминал давние переживания, чувства, запахи, голоса. Его прошлое было слишком



счастливо и безмятежно, чтобы в него поверить. Запах сена и голос молодой женщины открывали двери в забытый мир...

Внезапный порыв ветра разрывает стог. Они не успели сцепить руки. Была секунда, когда нужно было решиться на прыжок, но он ее упустил. Медленно-медленно растет пропасть между ними. И вот он уже не различает черты лица молодой женщины, не слышит ее голос. Смерть – расстояние, пространство, незаполненное голосом любимого человека. Тает маленькая точка в небе, мир заполняет тоска. Как шатко, как хрупко и случайно устроена жизнь, если она теряет смысл, когда расстояние крадет всего одно живое существо.

Падает снег, укрывает зеленый стог и человека в летних одеждах. Спасительное оцепенение.

Он просыпается в своей маленькой, как вселенная, квартире. Стог заполнил комнату до подоконников. Стрекочет кузнечик, пахнет июньским лугом. На окнах – морозные узоры. Из кухни доносится голос женщины, знакомая песенка без слов, скворчание жарящихся грибов. Невыразимое счастье новогодней ночи.

...Случилось ли это с ним, пережито ли в выдуманной истории, приснилось ли – какая разница? И реальные события, и мечта, и сон – все одинаково прошло, а как воспоминания они равноценны, перемешаны, как запах первого снега и свежескошенной травы. В его прошлом, как и в прошлом любого человека, лето перемешалось с зимой, детство и юность со зрелостью, сны с жизнью. Одновременность разрозненных, несовместимых событий – это и была настоящая жизнь, наивная и желанная, сказочно простая, печальная и светлая. На складах прошлого все свалено в кучу, спрессовано в одно мгновение. Больная память, бессильная рассортировать этот милый хлам, восстановить пошаговую цепь событий, сочиняла странную биографию. Какая разница – было или не было, если душа так тоскует по выдуманному дому, и вымысел дороже жизни. Скорее всего эта странная жизнь была сказкой, рассказываемой перед сном кем-то из талантливых взрослых. Возможно, это была бабушка, возможно, мама, от которых в его памяти не осталось ничего, кроме красивой и грустной



сказки. Прошлое всегда сказочно в большей или меньшей мере. Его прошлое было сказочно абсолютно. Но он верил в него, как другие верят в Бога, и тосковал по людям, которых, вероятно, никогда не существовало...

Гулкая, наполненная нездешним эхом весна. Над городом – дикие гуси и зеленое облако.

– Хорошая примета – богатым будет сенокос, – пордовалась старушка, выгуливающая старого пса. Такого старого, что его не интересовали даже кошки.

В тревоге бегут они домой.

Стог сбежал. Растревожженный зовом перелетных птиц, травинка за травинкой вылетел он в приоткрытую форточку. В квартире остался только запах июня и зеленый кузнечик, неутомимо пытающийся разбить головой оконное стекло.

И почувствовали они бескрылость, и скука поселилась в доме.

В ягодный месяц он скошил траву на заветной поляне и сметал большой и косматый, как мамонт, стог. Они устроили в нем уютную пещеру и жили в ней, питаясь земляникой и грибами.

Приближался сезон перелетных трав. Однажды белый теленок с коричневым пятном на лбу, отобедавший свежим сеном, подняв антенной хвост и жалобно мыча, воздушным шариком взлетел над лесом. Он поднимался все выше и выше, пока не затерялся в облаках. Вечером следующего дня, трубно мыча и звеня боталами, над поляной пролетело стадо коров, уносимое ветром в неизвестность, прочь от родных лугов.

Земляничной поляной высыпал галактический срез Млечного пути. Ночь открыла двери в бесконечность. Спелые звезды падали в серебряные ведра стариц.

Проснувшись утром, он увидел всю ту же поляну и тревогу на лице женщины. Покусывая травинку, она смотрела в себя, и глаза у нее были чужие.

– Вон там, – показала она рукой, – был пенек. Вчера я перебирала на нем ягоду.

На месте пенька росла молодая береза.

Протоптанная ими тропинка заросла травой.

Поляна все также была усеяна земляникой, но она еще



не созрела. Он перевел взгляд на ведро, стоящее в травяной пещере. Оно доверху было наполнено спелой вчерашней ягодой.

Еще вчера заброшенная дорога едва угадывалась под травой и пропадала, уткнувшись в овраг. Сегодня над провалом стоял бревенчатый мост со свежими следами топора.

Их подобрала «полуторка» – машина, которую можно встретить только в музеях. В кузове, держась за борта, стояли женщины в длиннополых ситцевых платьях. Они пели о кудрявой рябине и хитро переглядывались, смущенные странной одеждой чужаков.

– Мама, мама, посмотри – тетенька в штанах, – теребила за подол одну из женщин девочка с необыкновенно длинной и толстой косой.

Мать зашикала на нее и, как бы извиняясь за детскую непосредственность, спросила:

– Вы, поди, из города?

– Да, из Заозерска.

– Это где же такой город?

Удивление на их лицах она истолковала по-своему:

– Да мы деревенские, кто его знает, где тот город.

«Вот же он, за поворотом», – хотел сказать он и осекся. За стеной леса открылось знакомое озеро. Но вместо многоэтажек на его берегу светились чистотой свежепобеленные мазанки, крытые дерном. Озеро переполнилось обильными дождями. Еще ливень – и выльется из берегов. Неделию тому назад они купались в нем и долго шли к воде по пологому песчаному берегу, а потом, взявшись за руки, минут пять брели по мели. Сейчас же волны подмывали задние плетни огородов, а мальчишки, как зимородки, ныряли с ветвей деревьев.

Деревенская улица, заросшая травой-муравой. Гуси купаются в лужах. Тихо, лишь где-то далеко-далеко тахтит одинокий трактор. Навстречу идет странно знакомая женщина. Еще молодое лицо с едва наметившимися морщинками светится умиротворением. В брезентовой хозяйственной сумке – комковой сахар, на локте – связка бубликов.

– Здравствуйте, – не удивившись, ответила она на



приветствие незнакомки и пошла дальше своей дорогой, к своим заботам.

– Она не узнала меня...

– Ты ее знаешь? Может быть, обозналась?

– Это она. Только очень молодая.

– Кто она?

– Мама.

Так вот куда занес их стог. Никуда не уезжая, они почувствовали себя на чужой планете. Для путешествия во времени не надо преодолевать пространство. Он понял, что его беспокоило. Отсутствие на крышах домов телеантенн.

... У человека без имени тревожно колотилось сердце. Он наконец-то проник в прошлое. Возможно, это было не его прошлое, но то, что это было реальное прошлое, не было сомнения. Это смутное, ускользающее прошлое требовало документального подтверждения. И он утверждал его на полотне, пытаясь превратить миф в действительность. На радость Удищеву его кисть, словно волшебная палочка, рождала шемящие душу пейзажи и портреты людей, излучающих доброту. Станный, ностальгический мир утраченного. Может быть, заниматься искусством – это пытаться вернуться в прошлое?..

Из свежесрубленного дома еще не выветрился лесной запах. Ему еще предстояло быть политым осенними дождями, иссушенным июльской жарой, замороженным студеными январскими морозами. Впереди были чистые апрельские слезы и майские черемуховые сны. Во дворе лаяла дворняжка, слышался веселый говор, стук топора, плесканье – звуки воскресных хлопот.

Они долго в нерешительности стояли у калитки.

Калитка отворилась сама по себе, и маленькая, смешная собачка неожиданно громко зарычала.

– На место! – строго прикрикнул на нее молодой отец, разводящий топориком зубья пилы.

– Ты что, Пушок, не узнал? – укорила собачку гостя из завтра. Ей было обидно до слез.

Дворняжка застеснялась, смешно передернула черным носиком и в смятении закрутила хвостом, не зная, что делать.



В глазах молодой, красивой мамы вспыхнул и погас тревожный огонек узнавания. Искося посмотрела на незнакомку беловолосая девочка. Она купала в алюминиевом тазике куклу, и по лицу ее бегали солнечные зайчики. Он перевел взгляд с жены на девочку, и сердце его покрылось инеем. Никогда он еще не испытывал такой пронзительной, такой печальной нежности. Еще никогда он не осознавал с такой ясностью, что человек умирает и рождается каждую секунду. Это очень больно – каждый день хоронить себя и любимых.

– Что ты делаешь? – спросила она чужим голосом себя маленькую.

– Купаю куклу, – ответила девочка, потупившись.

– Ее зовут Настей?

– Откуда Вы знаете?

– Я многое знаю. Знаю, куда ты прячешь свою жвачку. Знаю, что за клуней живет лиса без хвоста, и ты ее боишься. Я даже знаю, что ее там нет.

Чудоковатых горожан пригласили в дом.

Это было время, когда деревня не знала замка.

Вот – Стол, вот – Окно, вот – Хлеб. Единственные. Первозданные. У каждой деревни свое Солнце и своя Луна. Грустный, сказочный свет керосиновой лампы. Непонятная тревога от ночного вкрадчивого шелеста листьев по стеклу. Забытые запахи детства. Там все звучало и выглядело по-другому. Мир прошлого – сказочный мир, потому что увиден и услышан он ребенком. В каждом темном углу – сказочные страхи, тени забытых снов. Ночные звуки озера – плеск и прохладный шелест волн, крик неведомой птицы. Неожиданный скрип колодезного ворота.

Нет печальнее счастья, чем вернуться в прошлое.

Она большая и она маленькая неразлучны. Они никогда не подпускают к себе, кроме мамы. О чем они смеются, расстилая на шелковистой траве у болотца свежестиранные дорожки? О чем грустят, идя вдоль долгого прибоа косых волн? О чем шепчутся у куста дикой вишни, пересаженной из лесу в палисадник? О чем молчат в древней игре кто кого переглядит? Между ею большою и ею маленькою было то, чего нет даже между самыми



близкими людьми одновременно: понимание. По-настоящему ревновать человека можно только к ему самому. Но если бы это полное понимание было возможно между заклятыми врагами, они с удивлением и раскаянием обнаружили бы в ненавистном человеке себя самого, а в себе – чужого. Ты – это весь мир, смертная частичка бессмертного мироздания. Умирая, ты остаешься жить, не зная об этом. Ты раздроблен непониманием на бесконечное число жизней, а границы этого непонимания непреодолимы.

Эту великую тайну открыл ему стог июньского разнотравья, полетевший против течения времени и разорвавший невидимую завесу прошлого. Это была добрая и страшная тайна. Страшная потому, что миру нужна вражда частиц одной раздробленной души. Мир не мог выжить без непонимания, самоубийственного и самопожирającego.

Печален мир для человека, знающего эту тайну.

– Отец, – спросила однажды вечером мама, – это не нам привезли сено?

В переулке у плетня стоял аккуратный, словно причесанный, стог. На вершине его сверкало серебром ведро, полное спелой земляники.

Ночью стог сгорел.

Наивная, мог ли сгореть стог из еще не выросших трав?

Он неумоимо преследовал беглецов, неожиданно появляясь то на берегу озера, то у старой кузни, то на песчаном острове. По несколько раз в день проплывал он в кузовах машин, в телегах мимо Дома с неизменным ведром на макушке. И когда кто-нибудь из домашних говорил с восторгом: «Посмотрите, какое красивое зеленое облако зависло над клуней!» – дезертиры из будущего вздрагивали: в закатном зареве золотого иконостаса облаков зеленел их стог.

Он требовал вернуться, ибо прореха во времени затягивалась.

Однажды к дому подъехала полуторка, груженная травой, и знакомый кузнечик прыгнул на плечо молодой женщины. Забытые запахи из завтра закружили голову.

– Вы стали для нас как родные, – сказала за ужином мама в печальном предчувствии.



Молодая женщина прижала к себе белобрысую девочку и положила голову на плечо маме. Никогда ей не было так хорошо и так грустно. Когда глаза застилают слезы разлуки, человек начинает видеть сердцем.

– Сегодня теплая ночь, – сказал он, – давайте все вместе спать на сене. Будем рассказывать страшные истории и считать спутники.

– А что такое спутники? – спросила девочка.

Из дому вынесли одеяла, и вся семья улеглась на душистых травах под открытым небом. Он видел, как она прихватила с собой старую куклу. В эту звездную ночь они задумали обмануть время.

...Ветер из прошлого шумел в вершинах деревьев. Так вот в чем дело, подумал человек без имени, воспроизводя на холсте зеленое облако. Ему никогда не вспомнить прошлого, потому что он из него и не возвращался...

* * *

Пока вольная птица прекрасного бреда уносила неизвестного художника в наивный мир хороших людей, пока он безуспешно пытался красками оживить этот забытый мир, Удищев, освободившийся от изнурительного и бесплодного стояния у мольберта, занимался сбытом бомжовских картин, неутомимо охотясь на богатых клиентов. По всему Ненуженску расставил он свои сети, и как только в них попадалась достаточно жирная добыча, стремглав бросался на нее, вталкивал трепетавшую в «Мерседес» и увозил в свою нору.

Оглушенная неведомым радушием, опоенная вином, обкормленная красной и черной икрой, немилосердно избитая березовым веником, жертва вырывалась от него с пустыми карманами, растерянной улыбкой на отпаренном лице и с полотном под мышкой. С некоторым недоумением разглядывал клиент странно привлекательный пейзаж, спрашивая внутреннее чутье: действительно ли эта картина – выгодное вложение капитала? правда ли что со временем за ней будут гоняться все музеи и коллекционеры мира? что он там говорил про «Подсолнухи»?

Молчало чутье. Но четко выведенная подпись «М. Удищев» утешала и успокаивала, как автограф на долларе.



Подпись, чего далеко не всегда можно было сказать о пейзаже, действительно принадлежала Мирофану.

Он с блеском реализовал идею Шумары, превратив виллу в постоянно действующую выставку-продажу картин. От прочих вернисажей она выгодно отличалась наличием сауны.

После изгнания художников Удишев произвел жесткий отбор **НУЖНЫХ** людей, очистив ряды парящихся от бесперспективных и до конца использованных. Разовый посредник, единственная задача которого состояла в том, чтобы свести Мирофана с конкретным клиентом, после ее выполнения, естественно, тут же изымался из парной, как старый веник. Впрочем, знаменитый живописец изредка перезванивался с ним. Если временно исключенный из близкого круга выходил на толстосума или сам становился таковым, он тут же приглашался в баню. Возвращался в лоно большого искусства.

Перспективный клиент или человек со множеством полезных связей поился, кормился и парился систематически. По надобностям и возможностям да воздастся. Эти люди из разряда хороших знакомых срочно переводились в закадычные друзья.

Вдохновенно, без усталости хлестал Удишев березовым веником рыхлые задницы депутатов и отечественных бизнесменов, поджарые ягодички заезжих иностранцев и местных бандитов, изяшные розовые попки валютных проституток и искусствоведов. Это была не парная, а жаркая кузница. На этих благополучных седалищах ковалась известность художника Удишева, а зелень листьев превращалась в твердую валюту. В поте лица своего зарабатывал Мирофан славу и богатство.

Рассматривая очередной пейзаж человека без имени, он уже давно не испытывал удивления и жгучей зависти, совершенно искренне считая это своей вещью, и лишь опытным глазом определял цену. Если сказать о таком странно избирательном чувстве, как совесть, то, подписывая своим именем чужую картину, Удишев ничего похожего на ее угрызения не испытывал. Наоборот, чувствовал он себя благодетелем и спасителем почти беско-



рыстным. Просто подмастерье, ученик, из жалости подобранный им на улице, выполнял свою урочную работу. Талант – это тот же товар. Прозябавший на помойке бомж многим обязан ему, Удищеву. Да что значит многим? Всем. Жизнью. И потом – какая разница, кто поставит подпись на произведении. Главное – оно появилось. Если бы не он, Удищев, этим странным пейзажам никогда бы не материализоваться, не вырваться из небытия. О чем вы говорите, какая совесть? Обычная сделка. И, как в каждой сделке, – своя коммерческая тайна. В конце концов каждый должен отрабатывать свою пищу и свой кров.

Среди удостоенных высшего титула «друг» особо почитаем Мирофаном был Дусторханов. Близко знакомый по роду занятий с ненуженским бомондом, он легко общался к банным оргиям людей из самых верхов. Через эту парную, этот ледяной бассейн, обильный стол, как сквозь огонь, воду и медные трубы, провел он многих знатных горожан и гостей Ненуженска. И Дусторханов, и Сусликов были заинтересованы в том, чтобы эти люди покидали гостеприимный дом не только с отстеганными задницами, но и с удищевскими пейзажами. Но дело, конечно, не в корысти, а в истинной дружбе, в совместном служении вечному, высокому искусству.

Все чаще в самых верхах стало произноситься: «Удищев». Считалось престижным иметь в офисе рядом с самурайским мечом или другой экзотической безделушкой картину известного художника, не говоря о возможности попариться в его бане. Здесь было самое интимное роение ненуженского бомонда. Но проникнуть в это золотозадое общество стало не так-то просто. Особенно для однажды изгнанных. Отверженных.

* * *

Была пора последних снегопадов.

Они шли ночью, а днем превращались в дожди и смывали сами себя. Зима пряталась в ночи, как тать. Ее можно было увидеть только ранним утром, с краткой зарей предгорий. В этот час неправдоподобно красив был старый парк. Не только ветви, но и сами стволы деревьев



облеплены чистым снегом. Он как бы клубится, светясь и сияя. И храм стоит, словно на облаке.

Отверженная Шумара, задумавшись, шла привычной аллеей. Она смотрела под ноги и не видела этого хрупкого великолепия. Как и многие книжные дамы, посвященные в большое искусство, она не чувствовала и не любила ни природы, ни животных. К тому же было не до этого. Даже снег не мог излечить ее от тоски. Только месть, одна только месть, жестокая и беспощадная, могла вернуть ей душевный покой.

Изо всех сил она старалась не вспоминать подлеца Удищева, но обида властно брала ее за холку и безжалостно тыкала носом в эту мерзость.

Душа ее жаждала мести сладкой, как оргазм.

Она растопчет его, как искуренную сигарету. А когда он, жалкий и ничтожный, запросит пощады, только рассмеется ему в лицо. Вот он хватается слабыми пальцами за край обрыва и умоляет подать руку, но она только смеется в ответ и дробит острым каблуком окровавленные фаланги. И они хрустят, как чипсы. Как приятен этот хруст, этот жалобный вой, эти напрасные мольбы о прощении. Какое наслаждение месть, если так волнуют даже мысли о ней.

Шумара, возбужденная садистскими мечтами, подняла голову и помертвела: на скамейке сидела обнаженная женщина, и тело ее было покрыто инеем.

Через секунду она поняла, что женщина вылеплена из снега. Но за эту секунду можно было умереть от разрыва сердца.

Шалун, вылепивший скульптуру, был не без таланта.

Какой-то кретин из ранних прохожих оторвал бедняжке голову и положил ей на колени, а чтобы было еще смешнее, вставил в холодные губы окурок.

Эхо испуга еще металось по темным закоулкам Шумариной души, и сердце дрожало надтреснутым колоколом. Она опустила на скамейку рядом с обезглавленной женщиной. Дурные предчувствия тревожили мнительную Шумару.

По аллее абсолютно белого парка в абсолютной тишине шла абсолютно черная ворона и дергала головой, как сбежавшая с циферблата стрелка секундомера.



Мир только что был сотворен, и первый человек вылеплен из снега.

Шумара подумала, прислушиваясь к сердцебиению, — у нее и этой обнаженной снегурочки много общего. Их обеих коснулась рука антипигмалиона, надменного существа, превращающего живых, полнокровных женщин в ледышки. Над ними обеими коварно надругались и выставили на всеобщее посмешище.

Выдернув из ледяных губ окурков и подышав на излом шеи, она утвердила голову на место. Погладила женщину из снега по плечу и улыбнулась.

Отверженная Шумара не просто хотела отомстить.

Она знала, как отомстить.

* * *

По мере того, как гондола удачи, надутая горячим баным паром, стремительно возносила Удищева в заоблачные выси ненуженского общества, бомж постепенно осваивал территорию загородного дома.

Все чаще его выпускали из запретной комнаты и великодушно разрешали подмести дорожки. Домашние хлопоты по ощущениям ничем не отличались от работы художника. Даже напротив — приносили ему больше удовольствия, дополняясь запахами земли, звуками, материальностью. Вдохновенно, словно циклопической кистью, шуршал он метлой по асфальту, становясь частью картины, создавая новый мир и живя в нем одновременно. В этих трудах не было разочарования.

Бомж наловчился пилить двуручной пилой в одиночку. Золотой пряный дождь опилок из-под острых зубьев доставлял ему невыносимое наслаждение. Его волновал и цвет, и тонкий запах, и шуршание древесных хлопьев. Не выдержав искушения, он порой, набрав в ладони опилки, утыкался в них лицом. Искрошенная в золотую пыль древесина впитывала его беспричинные слезы. Он в странном томлении подолгу гладил шершавый срез бревна, водил кончиками пальцев по годовым кольцам, считывая запахи, звуки, события отмерших лет. Расколов кряж, человек без имени нюхал разорванные волокна, пытаясь вспомнить породу дерева.



Больше всего другого его тревожили запахи земли. В них была тайна творения, тонкая смесь разлагающихся трупов и вишневого цветения. Пропалывая грядки, он вдруг поднимал срезанный острым железом сорняк и разглядывал его, изумляясь совершенству, продуманности и гадая о предназначении ненужного человеку растения. Он смотрел на сорняки глазами заблудившегося муравья, поражаясь неземным пейзажам травяного леса.

Опьяненный впечатлениями, бомж ложился в травы и, нюхая землю, пытался вспомнить время, когда сам был землей и сорняком, растущим из земли.

В этом земном раю ему не надо было ежеминутно думать о сохранении жизни. Жестокий, холодный мир внезапно раскрылся перед ним и был он прекрасен и добр.

Обнаружив в приживале призвание дворника, Удищев даже в банные дни не запрещал ему хлопотать по хозяйству, проверяя лишь, заперта ли запретная комната.

Выскочившие из парной на обдув нужные люди, спрашивали Удищева: кто этот странный человек? Инок пресветлый, сбежавший с нестеровских полотен? Отшельник тишайший? И Мирофан в своей грубоватой манере рассказывал о собственном благородстве. О том, как однажды под колеса его машины бросился отчаявшийся бомж, как взглянул Удищев в глаза умирающему и увидел в них самого себя. В лохмотьях, грязи и крови разглядел не спившуюся подзаборную рвань, а истерзанную человеческую душу. И потратил он большие деньги на лечение безымянного бродяги, а вылечив, уже не смог отправить на свалку. Привязался, должно быть.

И так убедительно грубоват был рассказ, что даже хорошо знавшие Мирофана испытывали приятное душевное волнение. Ты посмотри, думали они с некоторым сентиментальным трепетом, ведь, казалось бы, дерьмо дерьмом, а какая нежная, в сущности, душа...

И, смахнув слезу умиления, сказал кинодокументалист Пупузик:

— Это непременно надо перенести на пленку. Это то, чего не хватало в сценарии. Теперь я знаю, как сделать фильм. Представьте: прекрасные полотна. Вереница чудных удищевских пейзажей. А на их фоне развивается эта



трогательная история. Взаимоотношения великого художника и человека с самых низов, самого дна. И зритель понимает: эти прекрасные картины – отражение прекрасной души художника. Красота спасает падшую душу...

– Что за привычка все мазать сладкими соплями! – жестко оборвал восторги расчувствовавшегося кинодеятеля Мирофан. – То ты меня костер заставляешь на клумбе жечь, то подрамники ломать. Какой дурак костер на клумбах жжет? Да и подрамники денег стоят. Не надо никаких сопливых историй!

– Нет, какая скромность, – пробормотал Пупузик, смущенный и даже слегка напуганный неожиданной реакцией своего героя.

Несправедливые, дилетантские, да что там говорить, оскорбительные обвинения обидели его. При всем своем благородстве большая-таки свинья этот Удищев.

Но спорить с ним тактичный Пупузик не стал: фильм финансировался самим Мирофаном. Однако было бы грешно и недостойно настоящего художника отказаться от блистательной идеи раскрыть удищевскую душу через поступок. И не надо обсуждать с этим грубияном каждый сюжетный поворот. Это просто гениально – раскрыть художника через бомжа, глазами бомжа. Так будет деликатнее и убедительнее. Отснятый материал скажет сам за себя.

* * *

Человек без имени не любил банные дни, ему больше нравились редкие приезды на виллу Светланы Петровны с детьми, тишайшими и воспитаннейшими девочками-близнецами.

Невыразимо приятно было видеть эту женщину. В отличие от других людей, бывавших на даче, она была проста и понятна, как люди из его придуманного прошлого. Встречаясь с ней, сколько бы раз на дню это ни случилось, он всегда улыбался ей, и она отвечала ему такой же улыбкой. Как-то незаметно она прокралась в его смутные воспоминания, и ее черты слились с чертами лица молодой женщины, жившей когда-то в его маленькой квартире



на границы леса. От нее так же пахло уютом. Все чаще обнаруживал Удищев в запретной комнате портреты жены и, подписывая их, удивлялся не столько зрительной памяти бомжа, сколько совершенно непонятному проникновению в характер Светланы. Даже для него многое из того, что он видел на портретах, было откровением. На портретах бомжа она вся светилась добротой и жертвенностью. В ее мягкости была надежность и в строгости — нежность.

Светлана Петровна, радостно переживавшая творческий взлет мужа, восприняла серию своих портретов как второе дыхание их давно выдохшейся любви, признание этого грубого и сильного сердца, но была удивлена и разочарована полнейшим равнодушием. Естественно, она тут же нашла оправдание Мирофану. Весь его пыл, думала она, все его горение, все чувства сублимируются в творчестве, которое не оставляет места ничему другому. И это надо принимать не просто с пониманием, но с радостью. Может ли женщине выпасть доля счастливее, чем заботиться о гениальном мужчине, оберегать его покой, вдохновлять. И если для этого требуется жертвовать близостью с этим человеком, ну что ж, она готова на эту жертву.

Не это беспокоило ее.

Со Светланой Петровной случилось нечто невыразимо ужасное. Нечто такое, в чем она пугалась признаться себе самой. Этого не должно было случиться с ней. Ей было страшно, стыдно и весело. Давно, очень давно она не испытывала ничего подобного. Ее неотвратимо тянуло к мужчине. И этот мужчина не был ее мужем.

Время от времени уставший парить клиентов Удищев устраивал на вилле семейные дни, вывозя жену с детьми из загазованного, отравленного смогом города в проветриваемые долинными ветрами предгорья. И с некоторых пор она вдруг поняла, что ждет этих дней с большим нетерпением, чем прежде, а когда запланированные выезды вдруг срываются, расстраивается сильнее, чем это того заслуживает.

Светлана Петровна часто думала о человеке без имени и не видела в этом ничего странного. Как все женщи-



ны она была любопытна, и ее занимала загадка бродяги с лицом святого. Несомненно, это был человек необычный. Кем он был в забытой им жизни, чем занимался, кто окружал его? Помимо воли она сочиняла ему биографию. В ее фантазиях он был летчиком полярной авиации, архитектором, инженером, врачом. Но многовариантные судьбы его были едины в одном – ему изменила жена. Причем сделала это так вызывающе оскорбительно, что предательство сломало сильного человека, и сама судьба спасла его от сумасшествия, лишив памяти.

От прошлой жизни осталась в нем осанка свободного, знающего себе цену человека, умный, хотя и несколько затравленный взгляд, красивые руки, сдержанные манеры. Светлана Петровна, натура романтическая и сострадательная, подмечая эти детали, мечтала найти способ вернуть ему память. Хотя кто знает, какой ужас может скрываться в его прошлом.

Когда много думаешь о человеке, рано или поздно он приснится тебе. А на этой территории ты не защищена благоразумием. Там ты поступаешь не так, как надо, а так, как хочется. Однажды она проснулась в давно не испытываемой неге. Во сне человек без имени ласкал ее, и ей это нравилось. Во сне он был ее первым мужчиной, и каждое его прикосновение вызывало невыразимо сладкое томление и било нежным током. Она должна была испытать стыд. Все-таки это была измена, хотя и во сне. Но ничего не испытала, кроме желания как можно быстрее вернуться в сон. Ей отчего-то казалось, что в эти мгновения человек без имени видит то же самое и так же безуспешно пытается заснуть.

Обнаружив в себе смятение чувств, Светлана Петровна испугалась себя. В редкие выезды в загородный дом вела себя с человеком без имени подчеркнуто сдержанно и даже холодно. Мало ли кто может нравиться замужней женщине. Этот неизвестный человек привлекателен именно своей неизвестностью. Это делает его книжным героем, которого додумываешь и делаешь лучше, чем он может быть. К нему и нужно относиться как к человеку придуманному, не существующему. Тем более, что это,



принимая во внимание его беспамятство, так и есть. К тому же Светлана Петровна ясно видела недостатки человека без имени. Он совершенно был лишен агрессивных качеств, необходимых мужчине. Святых невозможно любить.

Между тем, она внимательно приглядывалась к Мирофану и находила в нем очень много некрасивых черт, которые раньше не замечала. Например, оттопыренные уши. Или манера есть. Нависая над чашкой, ограждая ее руками, будто кто собирается отобрать у него пищу. Совершенно по-собачьи. Она стыдилась этих мыслей, но ничего не могла с собой поделать.

Человек без имени не был ни строен, ни высок, ни красив. Он был больше, чем красив. Он был светел.

В один из приездов она решила прибраться в его комнате, и была удивлена беспричинным гневом Удищева, запретившим ей это в довольно грубой форме. Вспыльчивость мужа смутила ее, и она подумала, что его тонко организованная душа художника почувствовала перемену в их отношениях и угадала на подсознательном уровне соперника. Но потом ей пришло в голову, что причина странного поведения Мирофана кроется в самой комнате.

К многочисленным тайнам, окружающим человека без имени, прибавилась загадка запретной комнаты.

Войти в нее Светлану Петровну уговорил неугомонный Пупузик. Воспользовавшись внезапным отъездом хозяина, волнуясь и заикаясь, он поделился замыслом своей картины о красоте, спасающей мир и отдельного человека, о великом художнике и бомже. Кстати, где он? Как заперт? Ах, должно быть закрылся изнутри... Понимаю. Станный, нелюдимый характер, который постепенно раскрепощается, добреет, раскрывается навстречу спасшим его людям. Я просто вижу это уже на экране. Прелестно, прелестно! А разве у вас нет ключей от его комнаты? А Удищеву мы ничего не скажем. Поразительной силы талант! И при этом такая удивительная скромность...

Приятно, когда хвалят твоего мужа, даже если у него некрасивые уши.



Они нарушили запрет и вошли в комнату бомжа.

Он, как всегда, стоял у мольберта.

Взглянув на то, что он пишет, она не поверила собственным глазам, но стоящие у стен готовые полотна кричали: да, да, это правда! Тихий звон услышала потрясенная женщина. Это звенела, разбиваясь, ее хрупкая, хрустальная душа и рушился внутренний мир, такой надежный, такой устойчивый. Вот и объяснилось странное для мужа человеколюбие, его неожиданный творческий взлет.

– Я прошу Вас, не надо это снимать, – сказала она тихо.

– Да, да, конечно, – в смущении засуетился Пупузик, снимая с плеча камеру, как гранатомет, и отводя глаза. Маленький, толстый, красный от стыда человек.

Светлана Петровна впервые за долгие годы думала о муже как посторонний человек. Сотни прощенных обид, нанесенных ей Удишевым, вспомнились одновременно. Они были свежи и кололи больнее, чем прежде. Все это время она жила с чудовищем, спала с чудовищем, заботилась о чудовище, жертвовала собой ради чудовища.

Зачем она открыла эту дверь? С какой бы радостью вернулась она на несколько минут назад, в спасительный самообман.

Боже мой, этот человек с камерой...

– Светлана Петровна, не говорите Удишеву о нашем визите, – взмолился робкий Пупузик, – он меня убьет.

...Женщина, над портретом которой работал человек без имени, легким вздохом отделилась от холста и материализовалась. Он наконец-то вырвал ее из прошлого. Она подошла к нему, живая, пахнущая Домом и детьми, с глазами печальными, как воспоминания об ушедшем, и поцеловала в щеку.

Он многое хотел ей сказать, но знал: ничего говорить не нужно. Она уходила, и он чувствовал – навсегда. Человек не пытался удержать ее, потому что даже у нарисованной им женщины своя жизнь.

В замочной скважине захрустел ключ.

Это навсегда запирались двери в прошлое.



Гугор Базилович Грозный, взявши Шумару за локоть, повел ее по мрачному длинному коридору в паутинный закуток. В этом пыльном месте было рождено столько сплетен и интриг, что паук, забившийся в угол, чувствовал себя жалким дилетантом.

– Статья – фонтан! – похвалил, сверкая глазами, старый заговорщик. – Печатать не будем.

– Почему? – выкатила Шумара и без того выпученные очи.

– Не надо, – дружелюбно объяснил Гугор.

– Я отдам ее в «Таракан», – решительно пригрозила обиженная Шумара, – в «Таракане» ее с руками оторвут.

Заместитель главного редактора «Дребездени» не любил, когда сотрудники печатались в «Таракане». Это делало его вспыльчивым и грубым.

– Отдашь – дурой будешь, – поморщился он.

– Но почему? – продолжала пучить глаза Шумара.

Гугор выдержал долгую паузу. Глубоко затянулся сигаретой, выпустил густую струю дыма в центр паутины и, насладившись паникой паука, прогундосил:

– Потому что «Тройная радуга» выставляется на «Сот-би».

По крутым бедрам Шумары морозной волной прокатилась нервная оргазмическая дрожь. Да, да, да! Гугор прав: надо выждать и выстрелить вовремя. И тогда маленький провинциальный скандалчик делается вселенским позорищем. Перед тем, как все газеты перепечатают ее статью, пусть это ничтожество насладится мировой известностью. Пусть расслабится и понежится. Как больно, как мерзко, должно быть, из великого художника в одно мгновение превратиться в великого прохвоста, вора, рабовладельца и сутенера от искусства. Да, да, да! Какое счастье крикнуть первой: «А король-то голый! Король-то – шут гороховый!»

Ах, как приятно трещит хитиновый панцирь этого членистоногого под ее каблуком!

– Ничего не замечаешь? – спрашивает Гугор, выжидательно ослабившись.

– Чудный галстук, – льстит она наугад.

Гугор мрачнеет:



– Не замечаешь, как шепелявлю? Клык у меня выпал. Хочешь посмотреть?

Прокуренный, подгнивший клык омерзителен, но Грозный смотрит на него с нежностью и грустью.

Он размышляет о странном совпадении: зуб выпал в тот час, когда он окончательно решил уйти из «Дребездени». Что кроется за этой приметой? И именно в этот день принесла свою бомбу Шумара. Ему будет чем хлопнуть на прощание. То-то удивится Дусторханов, прочитав в своей газете эту статью! Хватит задвигать его за спины и вытирать о него ноги. У него не осталось никаких сомнений. Он правильно сделал, дав предварительное согласие стать редактором «Таракана». Этой статьей он красиво сожжет за собой мосты. Он не будет перебежчиком, он заставит Дусторханова сделать из Грозного изгнанника, пострадавшего за принципиальность.

Шумаре жалко этого постаревшего вурдулака. Взаимное разглядывание выпавшего зуба настраивает ее на интимный лад.

– Хочешь кофе? – спрашивает она томно.

– Да, уж давненько не пили мы кофе, – отвечает капризно Гугор и алчно смотрит на божественный круп Шумары.

Обычно хмурый, нервный, срывающийся по любому пустяку, Грозный пребывал в прекрасном настроении. Даже выпавший зуб не мог испортить ему предвкушение великого скандала. После исцеления от алкоголизма только в скандале находил он смысл жизни. Когда ему хотелось ругаться, он без труда находил повод для ссоры. Можно было, например, оскорбиться чужим мнением. Не потому что с ним не согласен. Его оскорбляла уже сама наглость иметь мнение. «Как!? – взрывался он. – Бурдюков самобытный писатель?! Дерьмо он, а не писатель!» Хотя ни строчки Бурдюкова не читал и принципиально читать не собирался. Грозе никогда не было стыдно за скандалы и ссоры, за ругань и крик. Выпучив глаза, он шел напролом, как в пьяной драке. Ему не важно было кому-то что-то доказать. Он просто получал удовольствие от самого процесса скандала. В предыдущей жизни, скорее всего, он был бойцовым петушком.



Грядущий скандал с художником Удищевым, плагиатором и владельцем творческого раба, другом надменного Дусторханова и хамоватого Сусликова, благодаря космическим масштабам и толики мести его особенно вдохновлял.

– Как думаешь, подаст Удищев на газету в суд? – потер он в предвкушении костлявые руки.

– У меня есть то, отчего ему не отмазаться – видеокассета, на которой в течение нескольких минут заснят человек у мольберта. Любой эксперт по характеру мазка докажет, что кисти именно этого человека принадлежит «Тройная радуга». Но этот человек не Удищев.

– И как ты добыла кассету? – ревниво вспыхнул очами Грозный.

– Идем пить кофе, – миролюбиво ответила Шумара.

* * *

Следующая глава безжалостно вырвана из рукописи, сожжена в пепельнице, а пепел ее развеян в ночи над неосвещенной улицей. Болезненная, но необходимая операция. Если бы этого не сделал автор, совестливый читатель, бранясь и отплевываясь, выбросил бы всю книгу. Пораженную гангреной конечность нужно как можно скорее отсечь.

Да, в смутные времена всплывает то, что обычно принято смывать. Но, увы, как известно, ни времена, ни героев не выбирают. Вырванная глава пропитана крайним цинизмом и окончательно подрывает репутацию человека как вида. Поэтому, сжегши ее, автор решил ограничиться сухим телеграфным сообщением: Грозный и Удищев встретились в парной и к взаимному удовольствию отхлестали друг друга березовым веником. Точка.

* * *

С некоторых пор Светлана Петровна со страхом ожидала каждый новый номер «Дребездени».

Вот и на этот раз, прочитав свежее интервью, она в очередной раз испугалась.

– Мит, это правда, что с каждой проданной картины



ты отчисляешь деньги на содержание детского дома? – спросила она строгим голосом воспитательницы детсада.

– Кто тебе сказал? – удивился Удищев. – Я что – похож на психа?

С тревогой посмотрела Светлана Петровна на своего знаменитого мужа и сказала с безнадежной печалью:

– Ты сказал, Мит.

– Я? – еще сильнее удивился Мирофан и выхватил газету из опущенных в отчаянии рук жены.

Найдя растревожившие Светлану Петровну строчки, успокоил ее:

– Переверали. Я сказал: хочу. Понимаешь – только хочу. А «хочу», наверное, выпало. Ты же знаешь этих журналюг.

– Переверали? А по телевизору ты что говорил? – с грустной укоризной потребовала объяснений Светлана.

– А что я говорил по телевизору? – нахмурился Удищев. Не нравился ему этот разговор.

– Ты сказал, что двадцать пять инвалидов на твои деньги съездили на Олимпийские игры. Наташка со второго этажа говорит: не муж у тебя, а дед Мороз какой-то...

Светлана Петровна пощадила мужа и не передала то, что сказала соседка потом. А она заявила буквально следующее: «То же мне спонсор нашелся. Да он у тебя за бакс удавится. Лапшегон!»

– Мит, ведь это неправда, – в сильном замешательстве Светлана Петровна по-деревенски всплеснула руками, как это делают в крайнем изумлении старушки.

– Занесло, – мрачно пожирая яблоко, повинился Удищев. – Как сунут микрофон под нос, так меня и несет. От волнения, должно быть. Да и не важно, что я несу. Важен имидж, понимаешь. Этого Пупузика не поймешь – что для ящика, что для фильма... А ты, извини, с кем попало водишься. Наташка со второго этажа... Нашла подругу.

– Прошу тебя, Мит, не давай больше интервью. В очень неловкое положение можно попасть, – взмолилась, мягко воспитывая Мирофана, жена. – А вдруг им захочется встретиться с инвалидами, что на твои деньги на Олимпиаду ездили?



– Кончай базар! – рассердился Удищев. – Да кто этих трепачей, кроме тебя, смотрит. Если не догоняешь – помолчи!

И швырнул газету в экран телевизора.

– Ты представляешь, пустили слух, будто не я написал «Тройную радугу», – пожаловался он после напряженной паузы, пытаясь сгладить впечатление от собственной грубости.

– Не ты? А кто? – вздрогнула Светлана, ожидая услышать правду от самого Удищева, готовая все понять, все простить и поверить любому оправданию. Она щадила самолюбие мужа, попавшего в безвыходное положение, жалела его и была полна решимости разделить с ним позор.

Но Мирофан не счел нужным довериться ей:

– У людей от зависти крыша вообще в аут уезжает. Ты будешь смеяться: «Тройную радугу», оказывается, написал бомж, которого мы подобрали на улице. Представляешь?

Но Светлана Петровна смеяться не стала. Напротив того, еще сильнее испугалась и надолго замолчала.

Она не была жестокосердной. Она просто была женщиной, хранительницей домашнего очага. Да, ей было до слез жаль тихого, безобидного бродяжку с туманным прошлым и лицом отшельника. Но она обязана была, прежде всего, заботиться о репутации мужа, каким бы негодяем и лжецом он ни был. Можно и нужно жалеть котенка с перебитой лапой, но лишь до тех пор, пока его существование не угрожает здоровью и благополучию семьи.

– Мит, зачем ты поставил в его комнате мольберт? – дала она мужу последний шанс открыться.

Но он не воспользовался им и буркнул раздраженно:

– Что ты этим хочешь сказать? Куда-то я его должен был поставить.

И тогда она сказала:

– А не загостился ли он у нас?

Да, подумал Удищев с облегчением, пожалуй, это самое простое и верное решение. Светка – мудрая баба. Дело даже не в том, кто и что говорит. Пусть говорят. Дело в том, что уже давно бомж ничего, кроме портретов



жены Удишева, не пишет. Его просто заклинило на этом. Только холст переводит. Конечно, авторская копия – тоже товар. Но когда их больше, чем тираж у «Дребездени», товар трудно сбыть по хорошей цене. Загостился. Конечно, загостился.

Удишев переключил канал. На экране появилась голова профессора Мутантова и, пристально глядя в глаза Мирофану, сказала с презрением:

– Что делать – провинция не любит своих гениев. Появление рядом с собой талантливого человека провинциал воспринимает как личное оскорбление. Если бы художник такого дарования появился не у нас, а где-то там, на обратной стороне планеты, я не сомневаюсь: в Ненуженске не было бы недостатка в его поклонниках и подражателях. Но на свою беду он родился в этом городе – и десятки мосек, озлобленные собственной неполноценностью, набросились в ярости на этого слона. В ход идут все средства, вплоть до самых нелепых и оскорбительных слухов. Я не понимаю, почему, если на наших жалких шести сотках появляется нечто экзотическое, мы безжалостно, как сорняк, вырываем это!? Мне не до конца понятна природа гениальности, но я хорошо понимаю природу этой травли. Я больше чем уверен: стоит этому художнику перебраться туда, на обратную сторону планеты, и его многочисленные недоброжелатели тут же начнут гордиться своим знаменитым земляком, хвастать знакомством с ним...

– Прямо как про тебя, – усмехнулась Светлана.

– А про кого же еще? – удивился ее сомнению Удишев и вздохнул озабоченно. – Начинается канитель. Пожалуй, ты права: загостился он у нас.

– Ведь его можно пристроить в какой-нибудь приют, да?

– Можно, – ответил Удишев, поражаясь наивности жены. Какие к черту приюты, когда людям по году зарплату не платят.

* * *

Наступило короткое, странное время межсезонья, время неопределенности, когда, пошатываясь от похмельного анабиоза, выползают из берлог отошавшие медведи.



После затяжной, холодной зимы внезапно потеплело. На улице было почти жарко, но ненуженцы по инерции изнывали в тяжелых одеждах. Тоскливо оскалившись, уныло брели они, преля, по надоевшим делам, не понимая, отчего не радуется долгожданное тепло, отчего так тяжело. Недомогание и одышку они списывали на перепады атмосферного давления, магнитные бури, авитаминоз, но никогда – на собственное неумение правильно одеваться, есть и жить.

В этот странный день, когда перемешались все сезоны, Удишев посадил бомжа в «Мерседес» и вывез его за двести километров от Ненуженска, в пустыню.

Ни гор, ни облаков – ничего не было здесь. Одна пустыня. Планета выглядела, как серый холст, натянутый на подрамник.

Год назад Удишев вывез сюда запаршивевшего котенка со сломанной ножкой.

Ему до сих пор было жаль его.

– Иди, Вася, погуляй, – сказал Удишев, открывая дверцу.

Почему Вася, а не Шурик? Потому что васями Мирофан называл всех, включая и жену, когда был не в духе. Думаете так это просто – оставить в пустыне котенка или бомжа? Особенно, если у вас нежное ранимое сердце художника.

– Иди, иди, – махнул рукой Мирофан Удишев в сторону плоского горизонта, в край без примет.

Залив бензин из канистры в бак, Удишев сел за руль и некоторое время смотрел в спину удаляющегося бомжа. «Хороший пейзаж, – думал он, – пустота, бесприютность, ничего лишнего и одинокий человек, уходящий прочь. Так и назвать: «Прочь!»

Хлопнула дверца.

Человек без имени оглянулся на редкий для безлюдья звук.

Он долго смотрел вслед уезжающей машине, не понимая, происходит ли это с ним в прошлом, во сне или в созданном им и ожившем мире. Когда машина исчезла, человек сел на землю, спрятав кисти рук под мышками и запрокинул голову в небо.

Он был один на чужой планете.



В следующую ночь Удишеву приснилось, будто он – большая вислоухая свинья, спящая в теплой луже собственного навоза.

Проснувшись, маэстро некоторое время пребывал в сомнении: Удишев ли он, которому снилось, что он свинья; или свинья, которой снится, что она – Удишев?

Рядом, спиной к нему лежало тело.

Оно храпело.

Храп был особенно неприятен оттого, что тело было красиво.

Мирофан зачмокал губами, успокаивая храпунью.

«Кто бы это мог быть? И где это я?» – подумал он.

Пошарив под подушкой и нащупав ствол газового пистолета, успокоился: он у себя, на вилле. Что же касается спящей рядом, ничего путного в голову не приходило. Он несколько раз перебрал бывших накануне в бане. По всему выходило – рядом лежало и храпело тело госпожи Дусторхановой.

«Однако, накушались», – усмехнулся Удишев, смежая очи.

Совесть его не мучила.

Совесть его, как и большинство преуспевающих в любых ситуациях людей, никогда не мучила.

Сны снятся всем. Даже бездомным. Сны уравнивают всех.

Человеку без имени снилось, будто он идет сквозь огонь. На нем горит одежда, волосы, плоть. Обувь его из огня. Он идет сквозь оглушительно ревящее пламя к тому, что это пламя скрывает.

Человек выходит из огня без единого ожога, потому что все, что могло гореть в нем, сгорело.

Осталось только то, что не горит.

Душа.

Человек выходит из очистительного огня, но то, что он видит, ввергает его в тоску.

Он видит серую пустоту.

Человек без имени просыпается и видит пустоту. Сон переходит в явь, как серая равнина в мглу серого неба. Он поднимается и идет туда, где едва-едва, как предчувствие,



угадывается солнце. Он идет навстречу небесному огню, к теплу, мечтая навсегда раствориться в нем.

* * *

В день, когда на «Сотби» была продана «Тройная радуга», Шумару жестоко избили.

Металлическим прутом по лицу.

Поздним вечером она, как обычно, возвращалась с работы через парк. Ее схватили в темной аллее и, залепив рот и глаза скотчем, куда-то потащили.

– Я тебе побрыкаюсь, сучка! – весело прохрипел один из бандитов. В ту же секунду от удара по сухожилиям у нее подогнулись ноги, и она рухнула на колени.

Ее держали за руки и волосы, а кто-то, постанывая от удовольствия, бил по лицу тонкой арматурой.

– Смотри куда лупишь! Больно же – по пальцам-то! – прохрипел все тот же голос, но уже не так весело.

Перед тем, как потерять сознание, Шумара услышала, как разговорчивый хрипун сказал почти ласково:

– Это тебе гонорар, сучка. Если мало, жди еще перевод.

В сознание она пришла спустя три дня, в больнице. С трудом разомкнув сросшуюся коростой рану рта, попросила зеркало.

Зеркало ей долго не давали.

Она настояла.

Увидев свое лицо, потеряла сознание.

Сильно болела голова. Казалось, что ее мозг был полон толченого стекла. Острые осколки кололи изнутри глаза.

Приходил следователь. Но что она могла сказать ему, кроме того, что у одного из нападающих был хриплый голос?

Ее навестили Дусторханов, Грозный, Сусликов. Забили тумбочку фруктами. Охали, ахали и обещали покарать неведомых врагов «Дребездени».

– Бить журналистов, покушаться на четвертую власть – это им с рук не сойдет! – возмущался и грозил пальцем Дусторханов. – Мы подключим все, что можно подключить!



Гугор из-за спины босса корчил печальную рожу и показывал сжатый кулак: держись, мол, товарищ, но пасаран!

Сусликов поднимал удивленные брови на предельную высоту и неумолимо любопытствовал: чем били, как били и только ли били?

Шумара попросила принести газеты за последние дни. Газеты передали через водителя.

Передравшаяся между собой ненуженская пресса дружно негодовала: «Журналистов бьют, не разбирая пола», «Ее сделали инвалидом за правду», «Мафия не любит гласность», «Всех не перебьешь!» Комментаторы туманно намекали на некий мафиозный клан, чьи темные делишки стали известны Шумаре, за что честная журналистка-правдоискательница и пострадала.

Однако новостью номер один был триумф Удищева на «Сотби».

К своему удивлению и в «Дребездени» ничего, кроме восхищений по этому поводу, Шумара не обнаружила.

Как же так!? Может быть, Гугру не понравился заголовок и он заменил его? Хотя что можно придумать лучше, чем «Гений плагиата»? Превозмогая головную боль и нарастающее раздражение, Шумара просмотрела все анонсы, выносы и врезки. Не было и намека на ее статью.

«Трусливый негодяй!» – подумала она о Грозном.

Трус... Трус? Конечно, трус! Это было ключевое, все объяснившее слово. Конечно же ее избили именно из-за статьи об Удищеве. Удищев знал о статье...

«Шлюхи!» – подумала Шумара о Грозном, Дусторханове и Удищеве.

И так яростно подумала, что потеряла сознание.

В чувство ее привел аромат роз.

В хрустальной вазе на обшарпанной больничной тумбочке стояли две желтых и одна черно-багровая розы.

Из-за букета появилось искаженное гримасой сострадания лицо Удищева.

– Лежи и молчи, – сказал старый лицемер голосом, в котором и намека не было на сочувствие. – Тебе трудно говорить. Я понимаю.



Испепеляющий взгляд Шумары отразился от сдержанно циничных глаз Мирофана, как солнечные лучи от снега.

– Какие скоты, – сказал Удишев без эмоций и выражения, – бить женщину. По лицу. Арматурой. Эти подонки на все способны. Могли и убить.

«Откуда он знает про арматуру? – подумала Шумара. – Он нарочно сказал об арматуре...»

– Запросто могут убить, – продолжал утешать посетитель. – Видимо, заказ был такой – только попугать. Им, скотам, все равно – попугать или убить. Лишь бы баксы заплатили.

Он и не скрывал своего наслаждения страданиями осмелившейся бросить ему вызов, смаковал ее боль, бесильную ненависть и страх, получая изысканное удовольствие от созерцания разбитого лица взбунтовавшейся и наказанной экс-любовницы.

Шумара закрыла глаза, чтобы не видеть эту мерзкую самодовольную рожу.

– Не понимаю, – продолжал равнодушно возмущаться торжествующий Мирофан, – как можно бить женщину. Ну – изнасилуй. Ну – пригрози. Зачем же по лицу. Железным прутом. И главное – за что? Непонятно.

Чем больше он возмущался, тем страшнее становилось Шумаре. Ненависть и страх разрывали ее подвешенное на ниточку сердце. Слезы бессильной ярости ручьями боли стекали по вывернутому наизнанку лицу, губы тряслись, и трескалась засыхающая на них короста. Внутри у нее все дрожало.

Но этих мук Удишеву показалось мало. Он решил растоптать поверженную, доиздеваться до конца.

– Слышала: на «Сотби» за МОЮ «Тройную радугу» кучу баксов отвалили, – поделился он радостью. – Я знаю, ты этому искренне рада. Пентюхай, говорят, так обрадовался – на «скорой» увезли. Едва откачали. Да дело даже не в баксах, сама понимаешь. Главное – признание. Я теперь самый дорогой художник в СНГ. Но твой портрет напишу бесплатно. Очень мне нравится твое лицо. Очень. Господи, как они тебя отделали. Не связывалась бы ты с ними. Убьют.



И, пригрозивши, вышел из палаты.

Только за Удишевым закрылась дверь, едва стихли в коридоре его самоуверенные шаги, как Шумара дала волю чувствам.

Смахнула с тумбочки вазу с цветами и захохотала.

Преданная и брошенная всеми, избитая и растоптанная, она смеялась. Большая беда – не напечатали ее в провинциальной «Дребездени»! Статью вместе с кассетой она передаст Майклу. А то, что опубликуют там, здесь перепечатают все. Пусть Удишев пошлет своих дебилов с арматурой в Англию...

Распахнулась дверь. На пороге стоял веселый Удишев. Он посмотрел на осколки вазы, на розы в луже и сказал печально:

– Совсем забыл. Представляешь: Пупурика избили. Зверски. Видеокамеру – вдребезги. Ни одной кассеты не оставили. Какое варварство. Какая дикость. Говорят, и твою квартиру бомбили. Что-то, должно быть, искали. Наверное, нашли. Если бы не нашли, все бы к черту сожгли. Вот подонки. Вот скоты. Ну, поправляйся. Кстати, знаешь какой номер у твоей палаты? Не поверишь: палата номер шесть.

* * *

По безлюдному бестропью горного склона карабкались человек и собака.

У человека не было ни рюкзака, ни панамы, ни ледоруба или лыжной палки. Вместо альпинистских ботинок был он обут в растоптанные «плетенки» на босу ногу. Весь его гардероб состоял из застиранной футболки и рваных джинсов, на которых было больше заплат, чем первичной материи.

Странен был его наряд в высокогорье.

Будто вышел человек на минуту из дому за булкой хлеба.

Впрочем, у человека с таким количеством заплат вряд ли был дом.

Собаке прогулка не нравилась. Время от времени умное животное поднимало морду и вопросительно скулило. Но собачья преданность была сильнее инстинкта самосохранения. Пес оглядывался на любезную его сердцу



задымленную равнину, печально вздыхал и понуро плелся за человеком в небо.

Хозяин и не держал его. Напротив – уговаривал вернуться.

– Зачем ты увязался за мной, Митек? – увещевал он пса. – Понимаешь ты, глупый, что я ухожу навсегда? Ничего ты не понимаешь. Не способен ты охватить своим собачьим умом, что такое «навсегда». Ступай домой. Хотя тут ты, собачья душа, прав – некуда нам возвращаться. Нет у нас с тобой дома. Кроме этой истоптанной планетки.

Человек остановился и, глядя на кружение синих ворон, наполняющих сырой и разряженный воздух красных скал криками, полными печального недоумения, спросил своего старого блошистого друга:

– Как думаешь, Митек, горные вороны выклеивают глаза мертвым альпинистам?

Пришурив уставшие от горного солнца глаза, он внимательно взгляделся в оставленный внизу большой, грязный город.

Только в горах чувствуешь, что живешь на планете. Маленькой, круглой планете, покрытой коростой гор, ссадинами пашни, лишайником лесов, язвами городов. Чувствуешь себя существом с остывшего осколка звезды. Там, наверху – нетоптанные снега и небо, которое даже в полдень отливает чернотой космоса, ослепительное, сжигающее солнце и чистый холод.

– Я – существо с остывшего осколка звезды – иду растворить свои бесчисленные миры в белых снегах Безымянного пика, – объявил человек собаке. – Я лягу в снег и буду смотреть в близкое небо, как в самого себя, пока кровь в моих венах не станет красным льдом. Тебе это надо, Митек? Ступай вниз.

Человек сел на вздыбленную, покатуую землю, решив до конца растолковать смысл своего поступка верному псу.

Выделенный курсивом текст – всего лишь бред умирающего от горной болезни человека. Читателям, следящим за развитием сюжета, автор советует пропустить его.

– В прошлую ночь, Митек, – сказал он, разглядывая



крошечный синий цветок, — я не спустился в колодец. Лежал под открытым небом и смотрел на звезды.

И мне открылось строение мира. Сразу. Во всей своей полноте и завершенности. Оно поразило меня своей стройностью, невозможностью и красотой.

Система была настолько красива, что я сразу убедился в ее истинности, хотя не осталось ни одного земного закона, который не был бы нарушен.

С точки зрения землянина и твоей собачьей логики она просто нелепа.

Но красота убеждает сильнее законов.

Закон всегда ограничен рамками среды, красота же — совершенство. Она выше маленькой временной истины, потому что совершенство не имеет границ.

Очень жаль, Митек, но словами невозможно передать также мгновенно и полно картину мира, которая открылась мне с внезапностью и яркостью молнии. А при последовательном пересказе она многое теряет.

Но наберись терпения.

Я увидел не только звезды, которые горели надо мной, но и звезды, горящие во мне.

Никогда я не чувствовал такого полного покоя, величия и родства с мирозданием. Внутри меня повторялись эти бесконечные звездные миры. На одной из галактик во мне, на одной из планет возле небольшой звезды лежало разумное существо. Оно смотрело в свое небо и переживало, как и я, потрясение внезапно открывшейся истины.

Слезы текли по моим и его щекам. В них, в этих соленых капельках, вращались бесконечные миры, вспыхивали и гасли солнца, зарождалась и деградировала жизнь, возникали и бесследно исчезали цивилизации, сотрясаемые всемирными войнами, великими революциями, глобальными катастрофами.

В его и моих слезах.

Но одновременно с бесконечно уменьшающимися мирами внутри меня, я видел, что наша галактика — лишь ничтожно малая, приближающаяся к нулю частица в структуре разумного существа, организованного из бесконечно увеличивающихся космосов.



И это, по земным меркам непредставимо громадное существо, тоже смотрело на звезды, и ему так же открылась моя истина.

Я лежал посредине между бесконечно большим и бесконечно малым. Впрочем, какую бы точку этой шкалы ни взять, она всегда будет посредине.

Изумление и величие в моей душе внезапно сменились космической тоской. Тоска, Митек, – это космическое чувство. Это ужас разума перед бесконечностью, точнее перед суммой завернутых друг в друга бесконечностей, затерянностью в лабиринте миров.

Тоска росла, становилась невыносимой, достигла болевого шока, и я едва не умер.

Система мира – комбинация бесчисленных матрешек. Но это не линейная одновариантная структура. Каждый ее уровень, каждая составляющая, сколь бы малой она ни была, дробится на бесконечное множество миров, которые в свою очередь...

Да, Митек, роковая разобщенность одноуровневых, разноступенчатых миров – вот причина необъяснимой вселенской печати.

Не понимаешь? Это надо увидеть, чтобы понять. Но увидеть это собачьими глазами нельзя.

Модель мира – дробная бесконечность. Бесконечность, состоящая из бесконечного количества бесконечностей, в бесконечном дроблении уровней и вариантов.

Нет, Митек, ты не сошел с ума. Просто с нашей собачьечеловеческой точки зрения такое устройство мира абсурдно.

Я видел систему, которую невозможно представить. Потому что нельзя одновременно смотреть в бесконечное количество телескопов и микроскопов с запредельной разрешающей способностью. Таких сверхмощных инструментов нет на нашей планете, и вряд ли они когда-нибудь появятся.

Я видел одновременно дробящуюся мозаику множества бесконечно увеличивающихся и бесконечно уменьшающихся миров. И это было даже не ничтожно малая часть мира, это было ничто.

Невозможно представить себе микроскоп такой



мощности, чтобы в него можно было разглядеть ничто, ноль.

Но я видел эти миры. Ничто раскрывалось бесконечной вселенной. Мне открывались ничтожно малые пылинки планет. И когда я сосредоточивал взгляд на одной из этих случайных пылинок, она раскрывалась новым космосом. Я видел вселенную, наполненную незнакомыми звездами. Но любая пылинка на этой планете таила в себе новые вселенные. И так без конца.

Чем меньше был уровень, чем ничтожнее пылинка, тем сильнее захватывало дух от безбрежности и величия нового мира, раскрывающегося из очередного ничто.

Но в то же время сверхмощный телескоп уводил меня ступень за ступенью в большие миры. И при каждом проникновении в больший уровень бесконечный мир предыдущего космоса сворачивался в ноль. Смыкался, скручивался, коллапсировал в ничто.

Да, да, Митек. И не надо на меня так смотреть. И не надо барабанить хвостом. Ты не веришь, что в конечном заключено бесконечное, а бесконечное прячется в ноль?

Ты полагаешь, что я несу чушь, что все это бред.

Так знай, пес: истина всегда абсурдна.

Не та промежуточная истина одной из бесчисленных вселенных, а истина надсистемная, не подчиняющаяся законам конкретной среды, одного из миров-матрешек.

Как бы объяснить тебе, Митек. У червя – свои законы, у рыбы – свои, у птицы – свои. Если бы среди червей объявился доктор философии, он бы назвал законы птичьей среды абсурдными. И был бы прав. Со своей точки зрения.

Я говорю не о земной истине, человеческой или психической, а о истине настоящей, истине строения мира как вселенных-матрешек. Но мы-то с тобой – часть конкретной вселенной, конкретной планеты и поэтому не можем не воспринимать сверхистину как абсурд.

Но тебе на это наплевать.

Не наплевать?

Понимаю: тебя оскорбило предположение, что сам ты – ноль, ничто. Как же так, спрашиваешь ты, какой же я ноль, если могу стучать хвостом о землю?



Когда я говорил, что в тебе заключена бесконечность, ты не возражал, тщеславный пес.

Что ты так радуешься? Тебе кажется, что никто никогда не говорил ничего более противоречивого?

Между тем, предполагая в тебе ноль и бесконечность, я говорю одно и то же.

Посмотрел бы ты на себя с бесконечно большого расстояния. Я понимаю: даже если мы объединим мозги, нам не вообразить это расстояние. Но главное не в расстоянии, а в том, что ты увидишь. Ты не увидишь ничего из того, что видишь сейчас. Ни нашу планету, ни нашу галактику, ни бесконечную череду матрешек-вселенных бесконечнократно выше уровня нашего мира. Ты не увидишь даже пылинки, в которой наша галактика – ничтожно малая часть. Я уже не говорю о маленьком беспородном псе, который, возмнив себя альпинистом, ищет у себя блох на высоте трех с половиной тысяч метров над уровнем моря.

Если ты поймешь, что любая величина, сколько бы огромной она ни была, при переходе на новый более высокий уровень неизбежно коллапсирует в ноль, тебе станет ясным строение мира..

Ноль – бесконечность, как бы не было трудно в это поверить.

В этом причина роковой, трагической разделенности единого мира на бесконечную дробность миров.

Пространство, бесконечное пространство смыкается и исчезает. В него уже не проникнуть.

Но есть еще один непреодолимый барьер между разноразмерными вселенными.

В этом матрешечном мире многостойно время.

Даже если бы у нас с тобой был этот в принципе невозможный микроскоп, с помощью которого мы, как консервную банку, вскрыли бы бесконечный мир ноля, что бы мы увидели?

Мы бы ничего не успели увидеть.

За секунды, пока по щеке скатилась и высохла слезинка, в бесконечных мирах, ее составляющих, прошли миллиарды и миллиарды лет.

Прошла вечность.



Что ты опять крутишь хвостом? Ты полагаешь, что вечность не может пройти, иначе она не вечность?

Ты прав, Митек.

С точки зрения землян, людей и псов.

Но истина, которая кажется нам абсурдной, в том, что точно так же как бесконечное пространство коллапсирует в ноль, в этот же ноль прячется и вечность.

Наша секунда, ничтожная малость, которую мы не ценим, с проникновением во все меньшие миры дробится на миллиарды и миллиарды лет, приближаясь к вечности.

То, что для маленьких миров внутри нас почти бесконечность и почти вечность, для нашего мира – ноль. Ничто.

То же самое можно сказать и о нас, если посмотреть на нашу вселенную из большего мира. Нас для него нет, мы – ноль.

Вывернутое наизнанку пространство, противотечение времени. В нашей секунде прячется вечность, наш миллиард световых лет, сама наша вечность – ноль. Мы никогда не сможем вступить в контакт с разумными существами из миров выше нас уровнем (для них мы – ноль) и ниже нас уровнем (для нас они – ноль). Так устроен этот матрешечный мир.

Представим невозможное: путешествие из бесконечно малого мира в следующий по уровню бесконечно большой мир. В момент проникновения время и пространство малого свернутся в ноль. Исчезнут.

Чтобы представить это, нужно сойти с ума.

Или стать бессмертным.

Это путешествие можно совершить только мысленно. Протыкая мироздание, матрешку за матрешкой, всякий раз бесконечно увеличиваясь, обретая новое пространство и новое время. Только мысленно, только мысленно. Невозможно преодолеть притяжение малого и отторжение большого.

Бесконечное разнообразие разновеликих, разновременных миров так и останется неизвестным друг другу. Мы никогда не сможем проникнуть не только в разновеликие миры, но и ни в один из бесконечно раздробленных миров нашего уровня.



Ты не понимаешь, о чем я говорю?

Представь себе соразмерные галактики в моем мозгу, в твоих глазах, в этом цветке. Представь разумные существа этих вселенных одного уровня, где время течет одинаково. Представь миры двух пылинок на разных полюсах одной планеты. Представь две пылинки в двух разных галактиках.

Каждый день, Митек, каждую секунду без скафандров и звездолетов мы с тобой совершаем беспримерные космические путешествия, просто проходя мимо миров, составляющих прохожих, деревья, насекомых, травы, дома, сам воздух. Представь прекрасные миры, составляющие лепестки белой розы, хрусталик глаза ребенка, каплю вина.

Даже проходя мимо мусорных баков, мы соприкасаемся с множеством прекрасных вселенных, планеты которых населены великими философами, поэтами, изобретателями, музыкантами и художниками.

Конечно, печально даже предположить, что наша галактика, наш мир, наша планета с ее чудесными рассветами и закатами – всего лишь ничтожная составная часть мусорного бака, но исключить такую возможность полностью нельзя.

В конце концов все рано или поздно становится содержанием мусорного бака.

Мир печален.

Нельзя не испытывать тоску, зная, что в швейной игле заключена бесконечность. Что изменится, если мы узнаем: наша Земля вместе с галактикой заключена в швейную иглу?

Вот мы философствуем, спорим о духовных ценностях... Хорошо, хорошо, ты не споришь. Я говорю вообще, не впуская благородных собак и бездомных дворняжек. Только о человеках. О ночном небе, которое вдохновляет на создание бессмертных симфоний, полотен и книг, новых религий и философских систем. Представляешь, Митек, есть существа, которые убивают друг друга за убеждения и во имя высоких идеалов совершают жертвенные подвиги. А между тем, все это происходит в куче никому не нужного гниющего хлама, от которого



не чают как избавиться. Все эти планеты, все эти звезды, весь этот потрясающий воображение величественный мир – всего лишь, извини, Митек, кучка собачьего дерьма.

В этом грустном мире лучше родиться бездомным псом, чем гением.

Возможно, все не так мрачно. Возможно, наш космос составляет прекрасный луговой цветок. Который собирает сжевать корова. Или гриб. Хорошо бы поганку, чтобы его оставили в покое. Может быть, наш мир заключен в маленькую мышку, стрекозу, однодневного мотылька, бродяжку, который лежит на своей планете и думает свою медленную думу. Сколько пройдет наших миллиардов световых лет, прежде чем он ее додумает?

Единство несоединимого, реальность невозможного...

Самое достойное, самое серьезное занятие для разумного существа в этом мире – быть бродягой и клоуном.

Если бы ты умел говорить, Митек, в этом месте непременно бы спросил меня с отчаяньем последней надежды: а есть ли в этом бесконечно дробном мире миров, прячущихся в нолі, единый Бог?

Это страшный вопрос. Но ответ еще страшнее.

Есть ли первоначало в мире, где все начала надежно упрятаны в нолі? В этом мире величия и ничтожества, где любой предмет – вселенная и ноль одновременно. Миры-матрешки, неразрывно связанные и непреодолимо разобитые. Проникнуть в ноль, как и вырваться из нолі, одинаково невозможно. ЭТО ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЕ СТРОЕНИЕ ВЕЧНОСТИ. Только в этом случае она неуничтожима. Хотя бы единичное проникновение из одного мира-матрешки в другой, ниже или выше уровнем, было бы катастрофой для всего мироздания. Такой эксперимент непозволителен никому. Даже Богу. Раз случившееся проникновение приведет к неоправданной деформации пространства и времени, путанице бесконечного числа измерений. Нельзя даже предположить, что произойдет, если будет нарушен закон разделения миров.

Бог не вписывается в строение мира.



Ты понимаешь, я не имею в виду Бога землян или Бога какой-то другой планеты, другой вселенной. Я имею в виду действительно единого Бога бесконечного числа drobных миров.

Бог для этой абсурдной системы – смысл. А смысл для нее – уничтожение.

Можно предположить бесконечное число богов. Бог для миров этого цветка – цветок, бог для вселенных, составляющих тебя, Митек, – ты. Бог – это только структура, временная структура, и ничего более.

Это очень, очень печально.

Поговорим лучше о созвездьях твоей какашки, о бесконечных мирах, заключенных в ней, о планетах, населенных разумными существами, и гениальных открытиях, совершенных ими.

Что ты так смотришь на нее? Да, несомненно, там, вокруг гаснущих звезд вращаются остывающие планеты. На некоторых из них живут мыслящие существа, в том числе и гении. Там бушуют шекспировские страсти, и мудрецы ломают голову над смыслом жизни. А какие там потрясающие пейзажи! Радуга над горами, росные поля на туманном рассвете... Города, должно быть, изысканной архитектуры. Герои, бросающие вызов богам...

Нет, Митек, я не смею над твоей чудесной какашкой. Я восхищаюсь ее величием. Кто знает, если бы нам удалось взглянуть на оболочку нашего большого мира, не увидели бы мы зеркальное отражение твоей какашки? Маленькую кучку навоза в безводной пустыне, оставленной случайно забредшим существом.

Какие шутки, что ты!

Только вот не надо особенно задаваться. Не думай, что ты единственный в мироздании создатель вселенных.

Удивительный, удивительный мир неразделимой общенности, где ноль скрывает в себе бесконечность, бесконечность скручивается в ноль, там, где кончается время, начинается вечность, а любая бездомная собака...

Молчу, Митек, молчу.

Скажем так: мир, в котором галактика не перевесит слезинку.



Он не может быть иным, этот абсурдно-прекрасный мир. В этой невозможной реальности – его неуничтожимость. Если бы он был устроен разумно, и ноль, ничто, было бы просто нолем, его просто бы не было.

Мир устроен с гениальностью сумасшедшего: сжатое до нуля пространство – бесконечность, сжатое до нуля время – вечность. Ноль – лишь момент перехода, момент, когда пространство выворачивается наизнанку и время начинает течь вспять. Ноль – непреодолимый барьер между мирами. Все обречено на свою нишу в этом глобально разобитом мире нолей – вселенных, не подозревающих о существовании друг друга.

Да, Митек, меня расстраивает эта красивая, всеобъясняющая система строения мира. Она ввергает меня в тоску одиночества. Я не могу заглянуть даже в свои собственные миры, в это бешеное вращение личных звезд и планет, из которых состоит моя плоть. Вот мы задумчиво беседуем с тобой, но ни твои, ни мои миры никогда не узнают друг о друге, замкнутые в нолех-вселенных. При этом я могу погладить твою глупую башку, а ты – полизать мою руку. Печально.

Если бы ты только мог представить бесконечную дробность миров, составляющих тебя, черноту космосов, полных звезд и планет.

Скажи любому: ноль – бесконечность, бесконечность – ноль, и тебя непременно пнут ногой. Даже псу непозволительно говорить такие глупости.

У разума один бог – смысл, цель.

Но смысл и цель – это для каждой, отдельно взятой вселенной.

Для большого мира, мира как совокупности вселенных, нет и не может быть цели и смысла.

Нет сочувствия и сострадания.

Кому какое дело, что творится в одном из лабиринтов, в одной из ячеек, в одной из ниш, в одной из вселенных, скрученных в ноль и изолированных от остального мира.

Эта вселенная – ноль, ничто.

Кому какое дело, что за трагедии и катаклизмы сотрясают вселенные, составляющие кучу навоза.



Ты считаешь это неправильным, несправедливым?

Мне кажется это разумным.

Никто и ничто не может выйти за пределы своей ниши и повлиять на мир в целом.

Но меня мучит боязнь замкнутой вселенной.

Для чего все это – мертвоживая и живомертвая материя, книги, картины, музыка, неукротимая жажда разумных существ?

С точки зрения выживаемости всей системы – совершенно странный вопрос. ЕСЛИ БЫ БЫЛО ДЛЯ ЧЕГО, СИСТЕМА БЫЛА БЫ САМОУНИЧТОЖИМА. Бессмысленность и бесцельность системы – ее самая сильная сторона. Это основные признаки вечности.

Вот почему настоящих мудрецов нужно искать среди клоунов и бездомных псов, Митек. Тебя волнуют все эти судороги и конвульсии человеческого общества – перестройки, революции, войны? И правильно. Умно ли волноваться по поводу того, справедливо или несправедливо устроен мир, составляющий кучу навоза.

Ты понял, мудрый пес, что природу бессмертия мира можно объяснить только одним: пространство и время по мере расширения коллапсируют в ноль, а по мере уменьшения ноль взрывается бесконечностью и вечностью. В этом мире, состоящем из бесконечного числа вселенных, нет однолинейности. Бесконечность – это сумма замкнутых бесконечностей, которым нет числа.

Из этого абсурдного, но единственно возможного строения мира вытекает поразительный вывод: в каждой пылинке, в каждом смертном существе заключено бессмертие, и смерть – главный признак вечности. Живое состоит из мертвого, в мертвом обязательно присутствует живое.

Нет ничего, что бы ни могло быть объяснено этим строением мира. Величайший смысл этой системы – неуничтожимость бессмыслия и бесцельности. Любое развитие изначально тупиково, как и все, что происходит в отдельно взятой вселенной, заключенной в ноль. У вечности и бессмертия не может быть таких категорий, как цель и смысл.

Цель и смысл – привилегия смертного, конечного.



У большого матрешечного мира миров, как, впрочем у отдельных вселенных, его составляющих, нет и в принципе не может быть глобальной цели. Вопрос о смысле здесь не имеет смысла.

Но вернемся в нашу сиротскую галактику. Существование человеческой цивилизации на Земле, как и любой формы жизни вообще, в этом контексте, как ты понимаешь, естественно, бессмысленно. Любое зарождение и развитие мыслящей материи – лишь средство самоуничтожения структуры изолированного космоса, что, видимо, крайне необходимо для процесса дробления и самообновления.

Разумное существо – часовой механизм мины, которая должна сработать в нужное время. Поколение за поколением горит этот фитиль. Гуманоиды накапливают знания. Открытие за открытием приближает их к совершенству. Но на самом пороге бессмертия при рядовом эксперименте материя детонирует. Взрыв – и начинается новый цикл, который, вполне возможно, до мельчайших деталей повторяет предыдущий.

Мы с тобой, Митек, уже лежали на этом склоне у Безымянного пика бесконечное число раз и столько же будем лежать, обсуждая строение мироздания. А в промежутках между нашими беседами – лишь вихрь звездной пыли, сгусток туманности, похожей на заиндевеющую ветвь.

Клоуном и только клоуном хотел бы я быть. Нет занятия мужественнее. Да, я повторяюсь, Митек. Но и ты пойми мое изумление этой системой. Она объясняет все, ничего не объясняя.

Несем ли мы с тобой ответственность за бесчисленные миры внутри нас, например? Не те поэтические миры фантазии, а самые настоящие – из звезд и планет, населенных разумными существами. Кто мы для них – боги или структура? Или структура – бог? Почему мы не чувствуем себя богами? Предопределено ли мое решение, или каждый волен по своему усмотрению уничтожить вселенные, заключенные в нем?

Вот лежит в могиле покойник. Он пропитан трупным ядом. Он разлагается. А, между тем, внутри него



все также горят звезды. Вращаются вокруг них планеты. Разумные существа, обитающие на них, влюбляются, размножаются, пишут картины, сочиняют стихи и философские трактаты, мечтают о светлом, справедливом обществе...

Что происходит, когда труп, как полено в печи, сжигают в крематории?

Возможно, поколения и поколения существ, живущих во вселенных мертвеца, ничего и не замечают. За те несколько минут, когда плоть превращается в пепел, там проходят миллиарды лет. И тамошние ученые, поди, говорят: так и надо, все по науке, так устроен мир – солнце гаснет, планеты постепенно остывают, галактики то расширяются, то сжимаются.

Но, возможно, разрушение, разложение, смерть большого существа для миров его составляющих ничего не значат. Они там и не догадываются, что их вселенная была частью живого существа, превратившегося в космос разлагающегося трупа. Звезды и планеты по мере того, как плоть становится землей, а из земли вырастет травинка, переходят в космос земли и травинки. Вселенные благополучно путешествуют по желудочно-кишечному тракту травоядного существа и частью остаются в нем, а частью выпадают в навоз.

Пес внимательно слушал хозяина. С чем-то соглашался, с чем-то нет. Время от времени он яростно грыз блох. И его не смущало, что при этом он, возможно, рушит вселенные.

Подождав пока его друг закончит войну с блохами, человек продолжал свое откровение:

– Они и не догадываются, что происходит в большем мире с их структурой-богом. Для них он настолько большой, что попросту не существует. Невидим и непознаваем.

Бесконечно большое и бесконечно малое – одно и то же.

Мы с тобой тоже не можем выглянуть из своего мира-матрешки и узнать, что представляет существо или вещество, которое составляют наши одноуровневые вселенные. Тем более, что для этого, скорее всего,



нужно преодолеть десятки, сотни, тысячи уровней-матрешек.

Мы не можем ни спуститься на ступень ниже, ни подняться на ступень выше. На нашу долю достался только наш замкнутый, бесконечный мир.

К этой мысли нужно привыкать постепенно, с детства. Когда же она открывается тебе внезапно и вся сразу, будто разверзается бездна, — невозможно избавиться от тоски. Это тоска особенная. Непереносимая. Это ужасно, ужасно — знать, что бесконечный мир вокруг тебя — ноль, ничто, из которого нет выхода. Отчаянье мое, Митек, безгранично. Бесконечность вызывает у меня страх замкнутого пространства. Есть лишь одна надежда. Слабая надежда на смерть. Впрочем, если посмотреть из далекого, бесконечно далекого будущего, или из миров другого уровня, нас, Митек, как и нашей вселенной, не то что нет, но никогда и не было.

Сказавши это, человек встал и медленно пошел вверх на холодный свет Безымянного пика.

Псу не понравилась странная философия. Он остался на месте и смотрел вслед хозяину. Скулил и в скорбном недоумении молотил хвостом о землю. Противоречивые чувства разрывали верное собачье сердце. Он чувствовал, что выше подниматься нельзя, но ему жаль было расставаться с единственным другом. Вселенская, непереносимая тоска заполняла это маленькое существо.

* * *

Неизвестный художник лежал в чистых снегах на вершине Безымянного пика и немигающими глазами смотрел в близкое зеркало Луны.

Великая тишина ночных гор окружала его душу. Тишина, полная божественной музыки, ибо божественная, совершенная музыка и есть тишина.

Холод заморозил желания и страхи. От человека остались только жадные, ненасытные глаза, без усталости пожирающие невыразимо печальную, прекрасную пустоту мироздания.

Он не испытывал от созерцания ни радости, ни горя, ничего, кроме безмятежного покоя, потому что глаза



принадлежали уже не ему, страннику из других миров. Они стали частью самой природы, которая с удивлением вглядывалась в самое себя: для чего, во имя чего существует она? Зачем эти тщетные хлопоты и страдания обреченного мира, нескончаемая война всех против всех, если нет ничего лучше покоя, который дарит совершенная, абсолютная свобода – смерть? Но если это верно, отчего так привлекателен, так красив этот ад?

Человек без имени знал, что нет Бога и нет ответа на этот вопрос. Он молился Богу.

* * *

Между тем, как человек без имени обретал вечную свободу в снегах Безымянного пика, далеко внизу, у подножья гор знаменитый художник Удишев истязал березовым веником отца Анания.

Парное облако благоухало запахами целебных альпийских трав.

Румянотелый, пышновласый и рыхлобрюхий батюшка, исходя под жестоким веником янтарным потом, гулко стонал и божественно кряхтел. Когда же, телесно распаренного и душевно раздобревшего, вывел его Мирофан под цветущую урючину на обдув горного ветерка, не вынес отец Ананий красоты ночных вершин, ослепительно парящих в звездном небе, и прослезился. А прослезившись, запел гулким голосом песнь о Данияре – разбойнике, раскаявшемся в чудовишных преступлениях. Горное эхо подхватило этот страстный гул и унесло в близкий космос.

И как только смолкла песнь, нарушил Удишев потрясенную тишину голосом, полным очарования и умеренной лести:

– Не голос, а вечерний звон. Колокол, чистый колокол! Просьба есть, отец Ананий.

– Спрашивай, – разрешил батюшка с некоторой угрюмостью, промокая глаза не знавшими мозолей ладонями.

– Портрет Ваш хочу написать.

– За какое вознаграждение? – поинтересовался практичный служитель культа.

– Для меня лик Ваш запечатлеть – уж и то награда, – запустил леща живописец. – Редко в наше время встре-



тишь лик, подобный Вашему. Навечно хочу запечатлеть его на церковных стенах.

– Грех, великий грех, – испугался святой отец и мягко пожурил художника. – Храм – не место для светской живописи. Дьявол искушает тебя.

– Уж больно одухотворен лик Ваш, – льстиво сверкнув очами, повинился Удищев.

Одинокая, заблудшая тучка затмила луну.

Помрачнели горы и помыслы.

– Жалуются на тебя, – не по теме загудел батюшка, – будто бы сквернословил в храме, будто бы договорная цена тебя не устраивает.

– Завидуют – вот и клеветуют, – молвил живописец со смирением. – Храм расписать – имя свое обессмертить. А чужую славу труднее своей беды перенести. Вот и ябедничают завистники, козлы смердящие! А цена... Что цена? Для меня деньги – сор. Но так устроено Богом – всяк человек чего-то стоит. А я, отец Ананий, дорогой художник. Всемирно известный. Не от жадности, не от гордыни, а по справедливости свое требую. Сколько стоит человек – столько в нем и достоинства. Не по-божески человеческое достоинство попирает. Не зря любезных сердцу людей дорогими называют. Не слушали бы Вы, отец Ананий, отца Лаврентия. Невзлюбил он меня беспричинно, вот и хулит напрасно: «Изыди, хам, из храма!» А вчерашнего дня сильно пьян был и по матушке нас с Вами ругал... Беспричинно.

Раззанавесилась луна и воссияла, спасая божественный мир от дьявольской темноты. Но, если быть научно точным, светила же, конечно, не луна. Это солнце напоминало отчаявшимся о своем существовании. Несказанно приятен был свет солнца в ночи.

– Благодать! – поворачиваясь разными сторонами дородного тела к свежему ветерку, вздохнул отец Ананий. – Благодать!

И это было единственно верное слово, способное наиболее полно передать состояние мира в сию минуту.

Горы были величественны. Ветерок нежно снежен и чист. Барбарисовая наливка сладка. Маринованные масла божественны. Золотой пар пробирал до костей.



Благодать!

Слаб духом и податлив после парной всяк человек во хмелю. Сатанинские байки Мирофана, искушавшего вампирской затеей подзарядиться энергетикой гор, не смутили отца. Подзарядившись, он неожиданно для себя запел светские песни. Закружило батюшку греховное колесо райского блаженства.

Из пряного пара объявились вдруг юные, но весьма пышнотелые девы, при взгляде на которых даже бронзовый бюст сказал бы: «...и ничто человеческое мне не чуждо», – с грустью посмотрев при этом на постамент с табличкой, замещающий жизненно важные части тела. Как-то так по неуклюжести получилось, что одна из румяноликих дев присела на батюшкины колени и, развеселясь, принялась поить и кормить его с рук, аки голубя.

Батюшка пил, кушал и ворковал.

* * *

В храме стояла такая тишина, какая могла быть только в храме. Тишина только что сотворенного мира. Ее не нарушал, а лишь подчеркивал неизвестно откуда залетевший стрекот швейной машинки, ровный и нешумный. Очищенное от светской мерзости помещение дышало умиротворением и покоем, как существо, чудесным образом избавившееся от неизлечимой болезни. Трудно было поверить в то, что еще совсем недавно здесь ругали Бога и славляли богохульников, устраивали по бесовским праздникам коллективные застолья, а по темным закоулкам и любовные интрижки, сквернословили и справляли нужду в туалете. За пихтовыми, рубленными без единого гвоздя стенами бушевала дьявольская, изгнанная из храма жизнь. Но ничего из человеческих страстей не проникало в это надежное убежище, где даже неверующий вдруг обнаруживал у себя душу. И душа эта была светла.

Господин Удищев, по-хозяйски широко расставив ноги, стоял в центре благостного покоя и, задравши голову, смотрел в сводчатый потолок. Там, на опасной высоте, примостившись голубем на хрупких лесах, сидел на корточках оглохший от вдохновения тишайший художник Полуоборотов и, блаженно улыбаясь, прописывал лик.



Влажно шелестела кисть.

Дубовая дверь гулко растворилась, заставив стонать и вибрировать тишину. В просвет просунулось востроглазое личико господина Сусликова.

– Куда прешь через Царские врата, чудо некрещеное! – рыкнул на него Удищев.

– Чо такое? – испугался Сусликов.

– Чо... Через плечо! Обойти трудно?

Обиженный и оробевший Сусликов, оглядываясь и спотыкаясь, прокрался к Мирофану и после процедуры рукопожатия тоже запрокинул голову, любуясь работой Полуоборотова.

С кончика кисти сорвалась золотая капля и, просверкав в косых солнечных лучах, смачно разбилось о лысину коммерческого директора.

И сказал Сусликов то, что нельзя говорить в святом месте. А сказавши, совсем оробел и перекрестил богохульные уста. Перекрестившись, воскликнул, ткнув пальцем в роспись:

– Ну не хрена себе! Это же Дусторханов!

Долго в изумлении крутил головой, сверкая позолоченной лысиной, и, вдоволь нахмыкавшись, попросил по-свойски:

– Удищев, пририсовал бы ты портрет лица моего к этому волхву.

– Изыди, прелюбодей! – отверг его притязания великий Удищев. – Здесь светлые лики, а ты со своим пропитым фейсом суешься.

– Ну, я серьезно, нарисуй, – канючил Сусликов.

– Да на хрена тебе это?

– Дусторханова, поди, не спрашивал: на хрена? Поди, сам предложил? Тоже нашел светлый лик, – насупился Сусликов.

– Дусторханов – другое дело. Дусторханов – меценат.

– Меценат, – передразнил Сусликов. – Знаем мы таких меценатов. Хорошо быть меценатом за чужой счет.

– Это за чей же?

– Кто-то головой рискует, а кто-то меценат, – туманно разъяснил коммерческий директор «Дребездени». – Пририсовал бы ты меня к тому волхву, что из-за спины



Дусторханова выглядывает. Постой, постой... Да это же Гугор! А его за какие заслуги перед человечеством?

– У человека лицо выразительное. Много страдавшее.

– Лицо, значит, выразительное? Ну, ну. Да его рылом только молочай пропалывать. То-то он про тебя на первой полосе поет: Удишев то, Удишев се...

– Знаешь что, – рассердился легко ранимый художник, – не учи хромать хромого. И хреначься поменьше: не в сви-нарнике все-таки, в храме.

– Понятно, – вспыхнул Сусликов с новой силой, – и Попищева вставил. Значит я – прелюбодей? А Попищев третий раз в этом месяце женится – не прелюбодей? Так-так-так... Кто тут еще у нас светлоликий? Профессор Мутантов, козел старый... А этот бандит из Оторвановки что здесь делает? Среди святых только рэкети-ров не хватало... Да ты и себя не забыл! Приятно посмотреть – знакомые все лица. Всю тусовку изобразил. Одному Сусликову места не нашлось. Один Сусликов рылом не вышел. А не забыл ли ты, Удишев, кто тебя с попом свел? Ладно. Творческих успехов. Прощай.

– Куда же ты снова прешь через Царские-то врата! – рывкнул вслед уходящему Мирофан.

Но оскорбленному Сусликову было наплевать на такие пустяки и условности. Он обернулся и, дав волю мстительному злорадству, сказал:

– Я чего заходил – с кредитом у тебя большая проблема. Ничего не получается с кредитом. Просто полная засада.

– Куда ты, Хевроныч? Шуток что ли не понимаешь? – сделавши веселое лицо, развел в недоумении руками Удишев.

– Дела у меня, – закапризничал Сусликов, остановившись.

– Подождут твои дела. Не каждый день видимся. Ты что волхва без лика хочешь оставить?

– Так у него же лик светлым должен быть, – стал ломаться и кокетничать Сусликов.

– Ну, у тебя личико тоже – не кот наблевал.

– Да ты, вроде как все лики укомплектовал.

– Пристроим, – заверил Удишев. – В крайнем случае Гугра закрасим.



– Некогда мне, Удищев, некогда, – с достоинством от-
мел уговоры господин Сусликов. – Я тебе фотку с води-
телем передам. Шесть на девять. Пойдет?

Борода Удищева вскочилась от такого хамства. Но,
обуздав чувства, сказал он с легким укором:

– Через водителя... Типа новый русский?

– Ну вот и договорились.

– А чего там с кредитом-то?

Сусликов почесал золотую лысину, посвистал задум-
чиво и сказал сухо:

– Знаешь, ты за фоткой лучше сам как-нибудь заскочи
в мой офис. Посидим, порешаем проблему.

И исчез, довольный собой.

Удищеву показалось: исчезая, прищемил дверью
хвост. Но это был не хвост, а всего лишь хлястик от пла-
ща.

– Вот скотина! – с долей восхищения невнятно про-
бормотал Мирофан и, обратя взор на верхотуру, сказал
Полуоборотову. – Ты покрась, а я по делам летаю.

Поглощенный работой, Полуоборотов не слышал его.
Там, под куполом, из слов и звуков, доносящихся снизу,
странным образом исчезал смысл. Оставалась только му-
зыка. Великая, потрясающая музыка вдохновения.

* * *

С тех пор, как в белых снегах безымянной вершины
бесследно растворился неизвестный художник, предзна-
менования, одно зловещее другого, приводили горожан в
трепет.

В Ненуженске объявился говорящий пес.

Был он беспороден, премерзок, гиеноподобен, смердящ
и обширно плешив. Лишь на слюнявой морде да загривке
непрополотым сорняком торчали клочья грязно-зеленой
шерсти. Неожиданно появляясь на бракосочетаниях, пре-
зентациях и других торжественно пышных мероприятиях
ненуженской элиты, пес гнусно скулил, а, обратив на себя
всеобщее внимание, судорожно вибрируя горлом, грасси-
руя и повизгивая, произносил фразу. Смысл ее был до того
ужасен, а каждое слово настолько неприлично, что даже
нетрезвый сантехник, ударивший себя разводным ключом



по пальцу, стеснялся повторить сказанное им. Брошенные на поимку сквернословия силы санитарной очистки города днем и ночью устраивали облавы на бродячих собак, но говорящий пес был неуловим. Мир не видел более отвратительного и хитрого существа.

В разгар охоты на гнусное животное, Ненуженск потрясло ужасное событие: в только что отреставрированном и расписанном храме случился пожар.

И престранный.

Среди белого дня на глазах у пораженных прихожан воспламенились лики настенных росписей. Яркое пламя также внезапно погасло, как и вспыхнуло, а верующие в великой скорби узрели вместо ликов пресветлых закопченные свиные рожи с дьявольскими рожками.

Происшествие это сломило хрупкую психику тишайшего живописца Полуоборотова. Давши зарок никогда не брать в руки кисти и отказавшись от пищи, он заперся в мастерской, каялся мысленно в неведомом ему грехе и сжигал в буржуйке полотна, ибо считал дьявольским наущением само вдохновение, породившее их.

Художник Удищев, напротив, охотно давал пространственные интервью газетчикам и телевизионщикам. Успокаивая общественное мнение, он объяснял случившееся происками завистливых конкурентов. На вопрос же, отчего написанные им лики имели явное сходство с некоторыми известными горожанами, многие из которых, по слухам, связаны с криминальными кругами, отвечал не смутившись: «Если хорошенько присмотреться, и в сучке дубовом можно что-то увидеть».

Мирофан отвергал намеки на чудо, однако, при попытке отреставрировать попорченные огнем лики, свалился с лесов и пребольно ушиб копчик. При этом осквернил храм словами мерзкими, богохульными. Именно теми, что страшил город говорящий пес.

На следующий день Ненуженск покинули крысы.

Самки держали в зубах детенышей.

В ужасе оглядываясь на горы, грызуны толпами бежали в сторону пустыни, не смущаясь людей, не соблюдая правила дорожного движения. Проезжая часть улиц была устлана их раздавленными телами.



Вслед за крысами город стали покидать состоятельные граждане.

Обреченный Ненуженск замер в ожидании небывалых землетрясений, селевых потоков, холеры, чумы или какой-либо другой кары небесной.

Город ждал день, неделю, месяц, год.

Но ровным счетом ничего не происходило.

И это было самым страшным, потому что оставалось ожидание неотвратимой беды. Оно нависало над городом ядовито-табачным смогом, росло, принимало характер всеобщего зловещего предчувствия.

* * *

После странного пожара в церкви по Ненуженску со скоростью инфекции гриппа прошел слух. Как и каждая зараза, передаваясь от одного к другому, он мутировал и давал осложнения.

Смысл слуха был туманен. Вроде бы встречи с Удищевым оставляли тяжелое впечатление неловкости, досады на самого себя, опустошенности. У особо чувствительных это принимало формы болезни: человек мрачнел, замыкался, испытывал неудовлетворение, граничащее с неполноценностью, задумывался о самоубийстве.

Многих это чувство преследовало и раньше, но, оставаясь с ним один на один, ненуженцы не придавали ему особого значения и не связывали конкретно с Удищевым. Когда же храм был осквернен свинными рылами, знакомые Мирофана, естественно, обсуждали это событие, строили разного рода догадки. В этих-то разговорах и обнаружили общие для них признаки моральной болезни, обостряющейся всякий раз после посещения парной знаменитого художника.

Вяснилось нечто более зловещее и трудно объяснимое с точки зрения здравого смысла.

Оказалось, что после встреч с Мирофаном всем снился один и тот же сон.

Снился глаз Удищева.

Автономно существующий, переполненный мрачной завистью глаз с шевелящимися паучьими ножками вместо ресниц.



Ужаснее всего было увидеть в этом глазу самого себя. Такое это было тяжелое впечатление, что человек просыпался в смертной тоске и не мог успокоиться до рассвета.

Оставшийся после нехорошего чуда в полной изоляции Удищев решил заняться творчеством. Для этого у него было все – нажитое тяжелым трудом состояние, позволяющее не беспокоиться о завтрашнем дне. прекрасная мастерская, много свободного времени.

У него было все, но никогда не испытывал он такого отчаянного бессилия и злобы, как в эти дни изнурительного стояния перед станком. Что бы он ни начинал писать – пейзаж ли, портрет или натюрморт – на полотне появлялись прокопченные свиные рожи. Он бы и им был рад, но сделаны они были столь бездарно, что оставалось как можно скорее закрасить их.

Все раздражало Удищева. Свет. Холст. Краски. Кисти. Все.

Особенно кисти.

Нервировала и выводила из себя собственная неуклюжесть. У него были руки столетнего старца. Он чувствовал себя собственным зеркальным отражением. Его будто вывернули наизнанку, и правая рука стала неуправляема, как левая. Он пытался писать левой – получалось еще хуже.

Во всем он винил ушибленный копчик.

Но боль проходила, а навыки не возвращались.

В минуты отчаянья, он садился в машину и прочесывал город, его самые захламленные места, высматривая безымянного бомжа. Дважды он выезжал в пустыню. Печально хрустел под колесами спекшийся в керамические плитки такыр. Чужое небо без признаков жизни нависало над мертвой, морщинистой землей. И Удищев думал, оскорбляясь собственными мыслями, что только гениальному художнику под силу передать этот пейзаж. Только гений способен написать настроение.

Все чаще запирался Мирофан в запретной комнате. Ложился на пол и смотрел в потолок, ожидая момента, когда на него СНИЗОЙДЕТ. Ничто не отвлекало его от сумасшествия этой последней надежды.



Но однажды, изгнанные им из парной, обиженные на всю жизнь и давшие вечный зарок молчания художники вдруг заговорили.

Первым потревожил унылый покой Удищева Пентюхаев.

– Ты не смотрел выставку в галерее «Открытие»? – поинтересовался он, не представившись, пытаясь сдерживать злорадство, что ему плохо удавалось. – Зря. Обязательно посмотри.

И бросил трубку.

Спустя минуту, позвонил Дрындопопуло и, также не поздоровавшись, порадовался за Мирофана:

– Поздравляю с двойником!

– Не понял, – сказал Удищев в крайнем раздражении.

– Сходи на выставку молодых – поймешь.

Некоторую ясность внес Вломидзе.

– Слушай, – спросил он голосом кровного местника, только что зарезавшего ненавистного врага, – кто у кого украл: ты у молодого, или молодой у тебя?

На этот раз первым бросил трубку Удищев.

Телефон тут же завершал.

– Он жив! – ликовала Гумара. – И он подписывает свои картины своим именем!

Лавина неприятных новостей нарастала, как вдруг телефон надолго замолчал. Обескураженный Мирофан набрал номер Полуоборотова.

– Какой двойник? – пасмурным голосом переспросил тот. – Ничего не знаю. Я по выставкам не хожу. Я вообще никуда не хожу. Я в постриг ухожу.

– Куда ты уходишь?

– Тебе не понять, – и положил трубку.

Мутантов, к которому в конце концов обратился за разъяснением Удищев, был корректен и холоден:

– Понимаешь, старик, твоя «Тройная радуга» и двадцать полотен молодого художника – один к одному. Это надо видеть, чтобы понять – не может быть и речи о подражании. Они написаны одной рукой. В начале я подумал о грандиозной мистификации – это Удищев, который, не знаю уж для чего, спрятался за псевдоним. Но я своими глазами видел автора и разговаривал с ним.



Странно, все очень странно. Он утверждает, что впервые взялся за кисть год тому назад.

* * *

Большинство ненуженцев, живущих у подножия красивейших гор, никогда в этих горах не бывали.

Может быть, к счастью для гор.

Люди рождались, жили и умирали под сенью величественных хребтов, воспринимая их как облака, привычные и недостижимые. Порой они любовались ими, в период селевой опасности боялись, но им и в голову не приходило подняться чуть выше последней остановки автобуса. Более того, именно ненуженцы чаще других спрашивали альпинистов: а чего вы там потеряли?

Не ответишь же им: да потому, что вас там нет и некому задавать этот вопрос.

Это может показаться странным, но среди ненуженских художников не было ни одного, кто бы по-настоящему любил горы. Это не значит, что они их не писали. Как раз напротив, недостатка в горных пейзажах не было. Но это были горы без души, мертвые горы, одна анатомия.

То, что увидел Мирофан Удищев на персональной выставке доморощенного, как в неистребимом снобизме говорила и писала провинциальная пресса, художника Сермягина, потрясло, испугало и раздавило его. Именно в такой последовательности. Гримаса презрительного превосходства растаяла на лице Мирофана в первые же секунды, обнажив подо льдом снисходительности завистливый страх. Так можно завидовать мужеству человека, на твоих глазах перепрыгнувшего пропасть, зная, что тебе никогда не повторить его прыжок. Завидовать, стоя на подгибающихся ногах.

Шок был настолько силен, что случившиеся при том телевизионщики одного из местных каналов не смогли добиться от мировой знаменитости ни слова. Мирофан лишь морщился в досаде и отмахивался.

Это был талант избыточно мощный, поражающий и притягивающий, как горный массив с устрашающе неприступными пиками.



Двадцать неиспытанных ранее впечатлений, двадцать открытий мира обрушились на Удищева лавиной, камнепадом, селевым потоком и погребли под собой жалкого и ничтожного обитателя подножий. Он видел мир глазами человека, стоящего на вершине, небожителя. От пейзажей веяло чистым снегом, захватывающей дух высотой и тоской по совершенству. В этих полотнах жил Бог.

Несомненно, это был взгляд и рука безымянного бомжа, которого он, Удищев, вывез некогда, словно запаршившего котенка, в пустыню и оставил там на усмотрение природы.

— Как кто такой Сермягин? Вы не знаете Сермягина? — удивился и обиделся одновременно директор галереи. — Странно, очень странно. Весь мир знает, кто такой Сермягин, кроме его земляков. Вы не ходите в горы?

* * *

Несколько лет назад с сероглазым романтиком альпинизма, «снежным барсом», общительным, надежным парнем Сермягиным случился странный надлом. Представитель старой благородной школы восходителей — или погибнуть всем в одной связке, или вместе выжить и взойти на вершину — стал ходить в горы один. Раньше этого веселого человека не раздражали даже вопросы о смысле хождения в горы. Он отвечал с добродушной серьезностью: «Нам за это платят.» — «А много ли?» — «Рубль за шаг.» — «А как же эти шаги меряют?» — «Шагомером.» И вдруг он замкнулся, перестал улыбаться, а на все вопросы отвечал односложно: да, нет — и не более того. Ни с кем, кроме гор, по-настоящему не общался.

Поднимаясь практически без технических средств по маршрутам первопрохождения, одиночка никогда не оставлял на вершинных турах записки — свидетельства побед. Это обстоятельство отменяло подозрения в эгоизме и тщеславии, но добавляло вопросов.

Одни связывали уход Сермягина из коллективного альпинизма с распадом страны, тяжело пережитого им. Другие считали это простым совпадением и искали причину в гибели друга на совместном восхождении.



Одиночество великого альпиниста, по их утверждениям, это страх ответственности за чужую жизнь. И хотя это была не первая смерть друга в карьере альпиниста, многие соглашались с этой версией, видя в неоправданном риске одиночных восхождений зарождающееся безумие, акт покаяния, жертвоприношения, которое рано или поздно примут горы.

Вспоминали случай, рассказанный самим Сермягиным накануне его самоизоляции. Он гостил у француза, спасенного им в Гималаях. Как-то, бродя по Парижу, альпинист зашел в практически пустой католический храм. Верующим он не был. Просто привлекли звуки органа и возможность отдохнуть от суеты летнего города в покое и прохладе. В сумраке храма «снежный барс» сел на скамью, где до него молча молились десятки поколений парижан, и закрыл глаза. Он попал как бы в другое измерение, в странно резонирующее пространство, возносящееся ввысь. Органная музыка и покой, сковавший тело, напомнили ему настроение гор, настроение вершины. И тогда он впервые подумал, понял, что восхождение – это не пахота на результат, не спорт, а паломничество души, молитва без слов, путь к Богу.

Скорее всего, верны были все версии. Распад страны, гибель друга, чье-то предательство, на которое туманно намекали знакомые, и орган в парижской церкви составили нечто неразрывное. Наверное, так оно и было. С тех пор он никогда не подтверждал свои уникальные, фантастические восхождения, многодневные траверсы, никогда больше не видел перед собой ботинки впереди идущего, и не слышал за спиной чужое дыхание. Из своих отношений с вершинами он выбросил спортивное соперничество и поднимался в небо лишь для того, чтобы после нечеловеческого напряжения слиться с горами в единую душу.

Его восхождения и траверсы, о немногих из которых случайно узнавали бывшие партнеры по связке, были настолько сложны, что только безумец или самоубийца мог решиться на них. Профессиональные альпинисты определяли их сложность одним словом: «Невероятно!» Ко всему прочему Сермягин уходил в горы не только без



страховки, но и без пищи. Он словно нарочно ставил себя в такие условия, когда выжить было невозможно. Но горы, не прощающие и меньшие промахи, не оскорблялись вызовом и щадили его. Нечто похожее на взаимную любовь связывало их. Не случайно в его дневниках часто повторялась мысль о растворении в этой безмолвной красоте. Для него и смерть в горах была бы признанием, актом любви.

Он возвращался в город седым отшельником, забывшим свое имя, иссохшим, как мумия, с глазами, полными спокойного света вершин, и на следующее же утро из окон своей одинокой квартиры с тоской смотрел на горы.

В одно из таких возвращений он почувствовал необоримое желание заняться живописью. В тот год ему исполнилось сорок лет. Желание тем более странное, что он совершенно не умел рисовать.

И здесь начинается одна из легенд, на долгие годы сделавших Ненуженск притягательным для людей, живущих надеждой на чудо.

Прошел слух, что дар живописца Сермягин обрел после восхождения на Безымянный пик.

Для альпиниста его класса гора была несложной, и всякий раз от восхождения на нее отвлекали более трудные маршруты, но долгие годы она притягивала к себе непостижимой женской красотой. Он удивился, узнав, что до сих пор на ее вершине никто не был. Именно поэтому пик звался Безымянным. Но что имя? Все мы, люди и горы, рано или поздно будем безымянными.

Дело было не в том, что гора слишком проста для восходителей. Она ОТТАЛКИВАЛА от себя. Неожиданные камнепады, внезапные лавины, необъяснимые срывы стали причиной нескольких смертей, заставивших отказаться от восхождений. К тому же гора притягивала к себе грозовые разряды. По свидетельствам пытавшихся взойти на нее, молнии возникали из ничего, из чистого неба.

Это была гора-тайна. Гора, которая навсегда хотела остаться безымянной. Был ли в ее кажущейся доступности и красоте искус, кто знает. Во всяком случае, много



лет она хранила монашескую чистоту своих снегов. Легенда, к которой, конечно, следует относиться как и к любой легенде, открывала тайный путь к вершине: гора пропускала к себе одиночек, идущих инкогнито, без корысти и суетных мыслей, жаждущих ни славы и богатства, но единственно – душевного исцеления и прозрения. Она щедро одаривала своих гостей-паломников, умеющих хранить тайну собственного присутствия на пике Безымянном. Каждый волен верить или не верить мифу, но действительно время от времени в Ненуженске случалось чудо. Исцелился неизлечимо больной, на которого врачи давно махнули рукой. Как это произошло, никто не мог объяснить, известно лишь одно – человек пропал на неделю и вдруг объявился совершенно здоровый. Бухгалтер с сорокалетним стажем выпустил книгу стихов, которые стали откровением и культовой вещью для подростков. Обнаружился чиновник, не беруший взятки.

Профессиональных альпинистов раздражала странная избирательность Безымянного пика. При относительной простоте подходов гора была неприступна для асов и пропускала на вершину людей, если верить слухам, совершенно неподготовленных. Досаду эту можно понять. Денежные мешки со всего СНГ за большое вознаграждение искали гидов, способных затащить их на Безымянную. Но ни одна из этих экспедиций не увенчалась успехом. Напротив того, нередко бывало, что волокли наверх жизнерадостного пузана, а спускали вниз его унылый, роскошно экипированный труп.

Трагические эти происшествия не пугали паломников, тайными тропами пробирающихся к заветному пику. Как гора, таящая в себе рудное тело, притягивает молнии, Безымянная притягивала к себе людей, жаждущих таланта. Тяга эта была сильнее самой смерти.

* * *

С тех пор, как Удишев узнал тайну Безымянного пика, он боялся и ненавидел горы до тошноты, до омерзения. Все эти морены, ледники, вечные снега, дьявольский холод серых скал вызывали отвращение. После того как,



наняв профессионалов, он безуспешно попытался вскарабкаться на эту кучу щебня и снега, боязнь гор стала устойчивой фобией. Гора не просто не пустила его, но до смерти перепугала лавиной, сбросившей вниз одного из проводников и стершего его в кровавую пыль. На оставшихся в живых она наслала странный приступ горной болезни: в панике, забыв о безопасности клиента, бежали с ее склонов, не звавшие страха, асы.

Но страшнее этого животного ужаса была мука бездарности, поджидающая внизу. Он согласился бы быть кроликом перед пастью удава, чем Удищевым перед мольбертом, в бессилии и злобе сжимающем в трясущейся руке непослушную кисть. Нервы, истерзанные бесплодными попытками написать хоть что-то стоящее, сделали его совершенно невыносимым существом. Он срывался по малейшему пустяку и не помнил себя во гневе. Достаточно было не то что слова, но взгляда, случайного жеста, чтобы вызвать у него неуправляемую ярость. В такие минуты он становился похож на говорящего пса. Больше всех выслушала от него снисходительная к слабостям супруга Светлана Петровна, но и ее терпение было на исходе. Слишком оскорбительно и несправедливо было то, что выкрикивал в приступе ярости на собственную бездарность Мирофан. Он не был способен уже и на копии, и на плагиат. Светлана Петровна, кусая губы, уговаривала себя быть снисходительной, понимая, что у каждого художника может быть творческий кризис. Но однажды не выдержала и ответила на грязное оскорбление увесистой пощечиной. Получив оплеуху от тишайшей, все понимающей жены, Мирофан удивился. А потом, сделавши прежалостное лицо, сел на пол и закатил истерику. Бородатый сорокалетний мужик плакал, захлебываясь слезами и соплями, катался по полу, дрыгал ногами, визжал и, в конце концов, наревевшись, заснул невинным младенцем.

Но это не был катарсис. Это просто был край отчаянья.

Он проснулся, преисполненный решимости во что бы это ни стало вскарабкаться на проклятую гору.



Сеется посверкивающая мука и зависает в застывшем воздухе. Пасмурное небо цвета снега сливается с белым склоном в одно целое. Тоскливая тишина, безмолвие, безнадежная глушь, оцепенение. Чуть выше солнца – едва заметной протертости в белой мгле, – ни на что не опираясь, над головой одинокого человека-муравья нависают три серых глыбы. Кажется невероятным, что они не рушатся с неба, эти массивные скалы.

Полным ничтожеством чувствует себя Удищев в этом студеном, враждебном мире. Ноги его подкашиваются, и глаза закрываются не в силах видеть парящие над головой камни, каждый из которых, сорвавшись, мог бы истолочь Ненуженск.

С этого момента животный парализующий страх не позволял встать на ноги, но Мирофан, мокрый от пота и собственной мочи, воя от ужаса перед высотой, полз по глубокому снегу на четвереньках вверх. Он подползал к предвершию, как одно сплошное, объятые трепетом, трусливое сердце. Оно стучало в висках, в ушах, руках и глазах с силой взрыва и частотой пулеметной очереди. Каждый новый удар грозил разорвать в клочья рыхлое тело. Легкие с болью и хрипом втягивали воздух, но, казалось, воздуха на этой высоте не было, а был лишь холод. Череп гудел растрескавшимся, стылým колоколом, и каждый удар сердца вколачивал в глазные яблоки морозные гвозди. Повизгивая от боли, злобы и страха, смотрел Удищев на холодные, надменные в своей неприступности скалы, чувствуя свое бессилие и ненужность в этом заоблачном мире. Для него здесь не было Бога. Он видел лишь ад высоты, разверзшейся под ним пропастью, ад вертикали с нависшими над его хрупкой жизнью глыбами.

Прижавшись к скале, молясь и матерясь, переждал он близкий грохот камнепада. Ему хотелось вниз, в тепло, в парную. Ему не хотелось вверх. Слезы замерзали на ресницах. Это не был страх, это не был ужас. Это было нечто, что ему до сих пор не приходилось испытывать, чему он не знал названия, чего нельзя преодолеть. Но больше всего на свете ему не хотелось в бессилии и злобе стоять перед холстом, сжимая в руках непослушную кисть.



Удишев заскулил потерявшимся щенком и пополз вверх. Плоть его, изведавшая все наслаждения и порочные улады, мерзко дрожала.

Гора презгливо отталкивала визжащее, утопающее в собственном дерьме существо, не понятно как попавшее в чистый мир, где для пресветлых душ звучит божественная музыка тишины. Но мерзкая гадина медленно вползала в недоступную ему чистоту, еще более желанную своей запретностью и закрытостью. Мирофан жаждал гениальности. Он готов был достать ее любой ценой – кражей со взломом, убийством, предательством, растлением. Не было такой подлости, такой низости и такого подвига, на которые он не решился бы, чтобы однажды почувствовать нечто, недоступное пониманию и ремеслу, создать то, что никто и никогда не сможет повторить, что обесмертит его имя. Великие живописцы в бессильной тщете разведут руки и скажут, оправдывая собственную немощь: «Ну, это Удишев...»

«Это Удишев! Это Удишев! Это великий Мирофан Удишев!» – прошумела сошедшим с рельсов составом лавина вниз, возвращая претендента на гениальность к безнадежной действительности.

Узкую трещину, по которой карабкался Мирофан, закупорила глыба. Камень чудом держался на этой крутизне, и малейшего усилия, даже крика было достаточно, чтобы он сорвался вниз, круша все на своем пути. Это был не обломок скалы, это была сама смерть – холодная, серая, шершавая, неодолимая. Ее нельзя было обойти. Удишев посмотрел вниз и не поверил своим глазам. Как он, человек серьезный и состоятельный, взобрался на эту отвесную стену, что ему надо на этой проклятой скале? Пропасть притягивала магнитом. Проплывающие клочья облаков создавали иллюзию падения горы.

Гора падала вместе с судорожно вцепившимся в нее брюхатым пауком, медленно и неотвратно. «Да хрен бы с ней, с гениальностью, – в позднем отчаянном раскаянии думал паук, – что мне не хватало там, внизу? И что это за занятие – пачкать красками холст? Кому это нужно? Что занесло меня в этот ад, где ходят только сумасшедшие? Господи, помоги мне отсюда выбраться!»



Удишев плакал, и слезы его, смешиваясь с соплями, превратили бороду в тяжелую сосульку. Он сам медленно превращался в сосульку. Нерешительность и отчаяние парализовали застрявшего в холодной каменной трещине Мирофана. Над головой его, преграждая путь наверх нависла многотонная глыба, под ногами разверзлась бездна. Мороз проникал под одежду, сковывая тело. Его вырвало и блевотина тут же застыла на отвесной скале. Руки и ноги, все его существо противно дрожали от страха и холода.

– Эй! – окликнул его сверху божественный голос. – Держи веревку.

Удишев запрокинул тяжелую, наполненную раскалывающей болью голову и сквозь обморочные пятна увидел вверх человека без имени. На нем был серый пуховик, в черных очках отражались снег и небо. Ветер ерошил седые волосы, над которым светился золотой нимб. Темное от высотного солнца, спокойно суровое лицо небожителя соответствовало заснеженным скалам.

* * *

Мешком с мерзостями втащенный на вершину Безымянного пика, Удишев не почувствовал радости или облегчения. Его колотил пережитый страх. Он не верил в свое спасение. Сияющий мир ледников не трогал душу. Ему было не до впечатлений, не до красок, не до живописи, не до гениальности. Ему хотелось одного – вниз, в тепло. Он боялся подняться на ноги, потому что на вершине было мало места для двоих. Стоя на четвереньках, покоритель Безымянного пика, повизгивая, нечленораздельно умолял о чем-то. С трудом можно было разобрать отдельные слова, произносимые заледневшим ртом. Мирофан просил спустить его вниз.

Человек снял очки и Удишев узнал в нем Сермягина.

– Поднимайся, – сказал он спокойно, – идем.

– Я не смогу без веревки, – заволновался Мирофан, прижимаясь к вершине, – обвяжи меня веревкой.

– Сможешь, – уверил его «снежный барс», усмехнувшись, и указал рукой направление. – Спустимся по хребту, потом по южному склону. Здесь на автобусе можно захватить. Вставай.



Между широко расставленных ног альпиниста, обтянутых красными бахилами, Удищев увидел покатый спуск и удивился: как он не заметил этот простой путь снизу?

Сермягин, извинившись, перешагнул через лежащего Мирофана и, стоя на краю обрыва, сматывал веревку. Страшно было смотреть на этого человека, под ногами которого километровой вертикалью уходила вниз северная стена.

— Да, — сказал Удищев, — я могу спуститься и сам.

Он попытался подняться с четверенек, но так и не одолел страх. Тогда Мирофан лег на спину, подтянул колени и, что было сил, ударил ногами стоящего к нему спиной спасителя.

«Снежный барс» падал без крика.

Подползший к краю пропасти Удищев с замиранием смотрел на стремительно уменьшающееся тело.

Сермягин исчез, словно растворился в белом облаке. Удара от его столкновения с планетой Удищев не услышал.

«Несчастный случай, — объяснял он молчащим вершинам и ледникам, — несчастный случай. А два гения для Ненуженска — перебор».

И пополз на четвереньках вниз, к славе.

Никогда еще ни один подонок его уровня не поднимался так высоко в горы.

* * *

Есть вещи, о которых нельзя говорить без риска прослыть сумасшедшим, даже если это правда.

Кто поверит, если рассказать, что однажды апрельским утром от планеты в районе парка Героев Великой войны города Ненуженска оторвался пласт земли и вместе с соснами, голубями и златоглавым храмом медленно и бесшумно поднялся ввысь, растаяв в глубине неба? Долго провожали его глазами онемевшие от изумления случайные и редкие в этот ранний час свидетели события. Когда же вновь обратили взоры свои на землю, то к еще большему изумлению вместо пустоты и котлована увидели все тот же храм и все те же сосны. Правда, с тех пор из парка исчезли белые голуби.



Об этом никто и не рассказывает. Кроме бомжа, живущего в канализационном колодце рядом с мемориалом воинам-освободителям, в нескольких шагах от вечного огня.

Но что взять с полубезумца-бродяги, если он даже собственного имени не помнит.

Никто не подтверждает его бред, кроме двух стремительно деградирующих наркоманов. Но мало ли что привидится после дозы дури ранним утром.

Бездомный очевидец чуда неряшлив, густо бородат и имеет отдаленное сходство с пропавшим без вести художником Удищевым.

Но не Удищев.

Светлана Петровна, чуткая душа, узнала бы в этом жалком существе знаменитого мужа.

Во-первых, глаза.

У Мирофана Удищева они были жгуче темны и властны. Надменно и уверенно смотрел он на мир. В зрачках его горели никогда не затухающие искры салюта, сопутствующие баловню судьбы, победителю и повелителю. Порой в них неприятно было смотреть. По-кошачьи жестко всматривались они в натуру, как в добычу. Иногда сочились лютой завистью. Забыть такой взгляд невозможно.

У бомжа глаза затравленной собаки. Пепельно-серые, с безнадежной мутой, словно выжженные солнцем. Слезающиеся. С часто моргающими веками. Веки без ресниц. Никто не мог переглядеть Удищева, бомж не выдерживал взгляда даже только что прозревшего котенка.

Всем памятна густая, плотная, пружинистая шевелюра Мирофана, топырящаяся декоративным шаром, что позволяло ему в любое время года обходиться без головного убора. Многие из-за этой роскошной прически называли его Пуделем.

Бомж совершенно лыс. Череп его убог и невзрачен. Со скошенным лбом и приплюснутым затылком. Конечно, Мирофан не служил в армии, и никто никогда не видел его коротко подстриженным. Конечно, он мог и облысеть. Со многими это случается. Но не так быстро. Да и невозможно всю жизнь скрывать под пышной прической такое убожество.



Удищев был широк в кости, приятно толст, раскован в движениях, вальяжен.

Забывший свое имя бродяга худ, сутул, неуклюж, нескладен, робок. Просто ожившее чучело и ничего более.

И, наконец, Удищев, не однажды подозреваемый в плагиате, был, между нами, совершенно лишен фантазии.

Совсем другое дело бомж. Надо же такое выдумать — храм, представьте себе, поднялся в небо, никуда не поднимаясь. Душа, видите ли, от него отделилась, оставив одно строение. Возможно, конечно, дело не в воображении, не в метафорическом мышлении, обнаруживающем склонность к искусству, а в элементарном безумии. Живет себе человек в своем фантастическом мире еретических видений. И пусть живет. Хотя, если разобраться, нет ничего фантастичнее нашего мира. Надо лишь потрудиться взглянуть в него. На каких только химерах покоится наше благосостояние и благоразумие, на какие странности способны разумные люди, лишенные фантазии. Если вы, господа, не в состоянии сделать этот подлый мир лучше, не суйте свои снисходительно-праведные, скучные носы в миры чужие, пусть даже, на ваш взгляд, и бредовые. Так говорил профессор Мутантов.

Что же касается опознания, то единственное, что делало похожими полярно противоположные личности бомжа и Удищева, была борода.

Да и то бомжовская борода в отличие от удищевской была совершенно седа.

Светлана Петровна сличала и голоса.

Простуженный бомж хрипел, плевался, кашлял, заикался и нес полнейший вздор. И намек в его косноязычии не было на знакомые интонации, любимые фразы и обороты, своеобразный грубоватый юмор сгинувшего супруга.

В последней надежде Светлана Петровна показывала бродяге фотографии детей. Он смотрел на них с любопытством, но равнодушно.

Надо сказать, что во время скитаний своих человек



этот сильно пообморозился. На руках и ногах его недоставало многих пальцев. По этой ли причине или по лени, он не зашнуровывал ботинки, подобранные, по всему видно, на помойке. Задники их были стоптаны, носы задраны, а при ходьбе бомж не отрывал подошвы от земли, что делало шаркающую обувь похожей на лыжи. Тело бедняги было густо покрыто струпьями и шрамами, как одежда нищего заплатами. Нос же деформирован страшным ударом.

Будем до конца честны. Если бы даже сердобольная Светлана Петровна и обнаружила под этими жестокими отметинами бродячей жизни особые приметы Мирофана, что сделать было совершенно невозможно, кому нужен такой супруг?

Впрочем, кто знает женское сердце.

Ни раз и ни два приходила потерявшая мужа женщина в этот гиблый, запущенный уголок парка, приносила еду и, рискуя подцепить инфекцию, подолгу беседовала с сумасшедшим изгоем. В тщетной надежде пробудить профессиональные навыки, коли они имелись, она подарила бомжу альбом и цветные карандаши. Но и этот эксперимент не увенчался успехом. Долго вертел убогий человек в изуродованных руках эти предметы, не понимая, что от него требуется. Когда же терпеливая женщина втолковала ему их назначение, с недовольным видом, тяжело кряхтя, высунув от усердия язык, принялся выводить непослушными остатками пальцев какую-то абракадабру. Серая лысина его покрылась потом, глаза слезились. Сострадательная Светлана Петровна испереживалась, наблюдая нечеловеческие эти мучения. Через полчаса довольный бомж показал результаты своего творчества – нарисованный белым карандашом на белой бумаге корявый угол. Вершиной вверх. То ли крыша дома, то ли шалаш, то ли плавник акулы, то ли невидимый для радаров самолет-разведчик. Если бы Светлане Петровне довелось видеть пик Безымянный, она бы и секунды не сомневалась, что в действительности изобразил бомж. Но, как и большинство ненуженцев, она не ходила так далеко в горы.



Бродягу, убедившись, что он не Удишев, оставили в покое. В самом деле, не такая уж большая это редкость в наши дни — человек, потерявший дом и забывший свое имя. Никто им не интересовался, кроме плешивого, гие-ноподобного пса с клочками грязно-зеленой шерсти на морде и загривке. Отношения их были своеобразны. Бомж при каждом удобном случае норовил пнуть собаку в ребра и сердито ворчал, когда при этом с ноги слетал ботинок. Пес отвечал рычанием, переходившим в мерзкое сквернословие. Коварство бродяги не оставалось не отмщенным. Подкравшись, худой и бесшумный, как тень, пес желтыми клыками рвал на нем лохмотья, и досада обидчика была ему наградой.

А между тем, отверженные всеми, ненавидящие друг друга, они были друзьями. Казалось, сама грызня и ругань доставляли им взаимное удовольствие, а мелкие пакости были чем-то вроде выражения любви.

Однажды злопамятный пес истоптал и погрыз блокнот, подаренный Светланой Петровной. Бесплезная эта вещь бомжу была не нужна, однако, рассвирепев, он запустил в мерзкое животное ботинок. Обрадованный его яростью пес утащил это оружие возмездия и зарыл в укромном месте.

Вернувшийся после затяжной, но неудачной погони, человек без имени долго смотрел на отпечаток лапы бездомного пса, осквернившей белизну бумаги. Что-то взволновало его, встревожило. Если бы он мог связно объяснить странную бурю чувств, бомж, возможно, сказал бы об удивившей его гениальной простоте, с какой плешивая бездомная собака НАРИСОВАЛА свою лапу. И, вероятно, к этому удивлению примешалась бы доля зависти. Но жалкое это существо давно изъяснялось исключительно междометиями и не могло думать. Он просто вертел в руках блокнот, разглядывая засохшую грязь. Потом взял черный карандаш и обвел им оттиск собачьей лапы.

Душа его наполнилась ликованием.

С тех пор он лихорадочно заполнял блокнот странными рисунками, представляющими собой разноцветные, хаотичные линии. Из этих нервных, корявых росчерков,



словно на тестах для проверки цветоощущения, проявлялось нечто жуткое, непотребное, вызывающее тоску и смятение. Смутные эти, неуловимые образы, как кошмары из порочных и стыдных снов, оставляли тяжелое, гнетущее впечатление, однако притягивали, как притягивает низменное и запретное. Сам дьявол смотрел из-за этой решетки случайных линий.

Когда блокнот был весь до сантиметра исчеркан, бомж стал подбирать куски картона, клочки мятой оберточной бумаги, коробки из-под обуви, все, на чем можно было рисовать.

Так и проводил он свои дни вдохновенного, изнуряющего безумия, выворачивая наизнанку потемки души, черный гений, забывший свое имя, неизвестно за какие тяжкие грехи внезапно наказанный талантом. Время от времени его навещал говорящий пес, чтобы унести в зубах готовые рисунки и закопать в потаенных уголках парка. Но бомж не замечал краж. Он не замечал ничего, кроме куска картона, в лихорадочной спешке покрывающегося хаосом разноцветных линий. Не было для него страшнее и ненавистнее занятия, чем рисование, но он не в силах был избавиться от него. Руки его тряслись, слепнувшие глаза слезились, утробный стон и скрежет зубовой сопровождал это самоистязание, мучения, сравнимые лишь с самыми изощренными пытками времен инквизиции.

Порой два наркомана, свидетели без веры, навещали бедолагу. В черном, как ангелы ада, худые и бледные, с глазами пустыми и неподвижными, словно намертво прибитыми половыми гвоздями к черепам. Они садились на догнивающий ствол карагача за спиной художника и вяло обсуждали его творчество.

– Классное свинство.

– Откуда прет из него эта гениальная мерзость?

– Глючит.

– Эй, как тебя звать?

– Отстань от него. Мужик душой рисует. Какая душа, такие и глюки. У души нет имени. Человек вообще может рисовать душой, только забыв свое имя.

– У этого не душа, а мрак. Хлещет, как из черной дыры.



– Души бывают белые и черные. Бывает, что и нет души.

– Если нет души, тогда вообще ничего не понятно, для чего все это.

– Ты можешь такое нарисовать?

– Запросто.

Один из наркоманов поднял с земли картон, исчерканный бомжом, и, щелкнув зажигалкой, поджег его.

– Ну и что?

– Видишь – вот это я нарисовал огонь, а это – дым.

– Классно!

– Только кто поймет...

* * *

Дни летят за днями. Ненуженск хиреет и напряженно ждет возмездия за чужие грехи, не ведая что оно уже свершилось.

Последние толстосумы дикими утками разлетаются по чуждадным странам, унося с собой тоску по родине и награбленные деньги.

Кстати, прошел слух, что в одном из райских мест планеты видели Удищева. Говорят, он сменил гражданство, имя и внешность. Потолстел, обрюзг. Завел дело, не связанное с искусством. То ли гостиничный бизнес, то ли секс-туризм.

При встрече с земляками делает вид, будто не узнает их и поспешно уходит, недовольно бурча под нос. Люди с тонким слухом утверждают, что именно этой фразой смущал ненуженцев говорящий пес.

1995-1999 гг.





МЕСТО СБОРА ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ

Кот запрыгнул на стол и опрокинул пузырек с тушью.

С недоумением посмотрел он, как черная густая жидкость растекается по рисунку, капает со стола на пол, и сказал в восхищении:

– Вау!

Нормальный человек взял бы скотину за шкуру и выбросил вон за дверь. Но Дмитрий Дрёма не был нормальным человеком. Он, увы, был человеком воспитанным.

– Что ты наделал, морда твоя серая, – сказал он грустно, но дружелюбно, – два часа коту под хвост.

Поставил на место пузырек, подложил под черную капель газету. И понес кота, брезгливо трясущего испачканной лапой, в ванную.

Кот весь состоял из вредных привычек. Воду пил только текущей из крана. Ел исключительно с рук. Спал на хозяйской подушке. Драл мягкую мебель. Испражнялся исключительно на «Ковчег новостей», с которыми имел честь сотрудничать хозяин. И вообще считал себя самой важной персоной на планете. Никого не боялся,



кроме старого черного зонта. К Дрёме он относился снисходительно, как к слуге.

Звали кота Олигарх.

Справедливости ради следует отметить, что Олигарх имел одно положительное качество: он был кастрирован. Но в этом не было его заслуги. И когда чужие коты начинали орать под окнами, Дрёма с благодарностью вспоминал бывшую жену.

Вымыв и насухо вытерев лапы Олигарху, Дрёма вернулся к столу. Навел порядок и долго в унынии смотрел на испорченную карикатуру.

Ничего страшного. Наоборот! Пусть высохнет. Белым по черному прорисовать контуры, частично залитые тушью «Чижиком». Подрисовать опрокинутый пузырек. Очень даже занятно получится, контрастно, по теме. Придется брать Олигарха в соавторы.

Зазвонил телефон.

Картавый человек, энергично напирая на «р», спросил, не представляясь:

– Как здоровье, старик?

– Здоровье? А что это такое?

– Здоровье – повод начать разговор. Почувствовал, старик, стихию? Опять бала на три трягнуло.

Город трясло довольно часто. Но хотя Дрёма и жил на девятом этаже, подземных толчков он не ощущал. Если землетрясение происходило ночью, оно заставляло его в стадии глубокого сна. Днем же он либо дремал в ожидании озарения, либо трясся по тропе на велосипеде, либо кружил над горами на белом крыле парашюта. Они как-то не стыковались – Дрёма и движение континентальных плит. Каждый жил сам по себе.

– Ну, уж и трягнуло, – не поверил Дрёма. – У меня под окнами, Георгий Иванович, трамвайная линия. Через каждые пять минут три балла. Я привык. Такие пустяки не замечаю.

– А меня, представь, старик, толчок всегда на толчке застает. Я уже в туалет лишний раз боюсь сходить. Толчок на толчке. Представляешь? А? Да, что я тебе звоню. Слушай в трубку. Мне срочно нужен художник. Возьмешься за месяц нарисовать сто дружеских шаржей?



Очень дружеских. Возьмешься? О чем так громко молчишь?

– Прислушиваюсь к ощущениям, Георгий Иванович. Что-то не чувствую вдохновения.

– За рисунок пятнадцать долларов. Можно торговаться до двадцати. Появилось вдохновение? Появилось? Хорошая халтура подвернулась, старик. Грех терять такую халтуру. Когда я тебе предлагал плохую халтуру? Понимаешь, Женская партия заказала к выборам сто выдающихся женщин. Мои строчки, фото Сундукевича и твои шаржи...

– Женщины! – в ужасе вскричал Дрёма. – Что Вы, что Вы, Георгий Иванович! Разве я похож на самоубийцу?

– А что такое? – испугался картавый человек. – Не любишь феминисток?

– Люблю. Но дело не в этом. Я вообще принципиально не рисую шаржи на женщин. Был опыт. Зарекся. Еще бы одна, две, а то сто. Нет, Георгий Иванович, даже за миллион не соглашусь.

– За миллион согласился бы, – не поверил голос и пристыдил, – ну что за предрассудки, старик? Я за тебя, как за последнюю соломинку хватался. Подвел ты меня, старик, подвел.

Сказавши «нет», нужно было твердо придерживаться этой позиции и, вежливо попрощавшись, положить трубку. Но Дрёма на беду свою был человеком сопереживающим, входящим в положение.

– Хорошо, Георгий Иванович, завтра я в «Таракане» буду, поговорю с Лёней Сербичем. Может быть, он возьмется.

– Поговори, старик, поговори. Я очень надеюсь на твою помощь. Ты моя последняя надежда.

И, не прощаясь, положил трубку.

За окном раскачивался на ветке и беззвучно раскрывал клюв знакомый воробей, похожий на Анатолия Васильевича Луначарского. Он глумился над Олигархом, крадущимся по подоконнику.

Даже самый страшный кот смешон за двойным стеклом.

Человек смотрел на веселого воробья и думал, улыбаясь,



что в этом миллионном городе этот серенький задира и он, Дрёма, наверное, самые счастливые существа.

Вот уже пять лет карикатурист Дрёма Гулливером жил в воображаемой стране маленьких, энергичных и очень серьезных людей, повадками похожих на кота Олигарха. Эти важные люди решали важные проблемы, а он праздным зевакой, склонившимся над муравьиной кучей, зарисовывал эти важные события в блокнот.

Занятие это доставляло массу удовольствия и художнико-модно кормило.

Люди маленькой воображаемой страны забавляли и умиляли Дрёму.

Хотя в последнее время сам Дрёма сердил и напрягал этих маленьких серьезных людей.

Новый ответственный секретарь Прямоносов был лишен чувства юмора и часто выводил Дрёму из себя своей непроходимой серьезностью. Прямоносов относился к карикатуре как к пятну на газетной полосе и требовал к тому же, чтобы Дрёма точно иллюстрировал содержание статей.

— Димон, пятнышко нужно, а то полоса совсем слепая. Простыня на всю полосу.

Дрёма мрачнел и, сдерживая кипение души, объяснял, что карикатура — это самостоятельный жанр, вид искусства, между прочим, действительно интеллектуального, а не бесплатное приложение к строчкам. К тому же она по определению, как минимум, должна быть смешна. Прямоносов, соглашаясь, кивал бугристой лысиной, но тут же давал указания:

— Вот так вот нарисуй солнце. Из-за облачка выглядывает, улыбается. А вот так вот — завод. И дым погуще. Здесь вот много-много людей. А отсюда — железная дорога. И паровоз. А вдалеке деревня и стадо коров...

— Вот и рисуйте сами, — багровея, отвечал Дрёма, — а я по чужим темам не рисую.

Он уже совсем собрался уходить из газеты, но вмешался редактор. Просматривая на одной из планерок гонорарную ведомость, он спросил ответсека:

— Самсоныч, а сколько ты начисляешь за карикатуру?

И был крайне удивлен, выяснив, что Прямоносов



платит за карикатуру по количеству строк, занимаемой ею на газетной площади.

У редактора чувство юмора было. Он внимательно, с долей сострадания посмотрел на ответсекретаря и сказал, что отныне одобрять и отвергать карикатуры будет лично он.

Вскоре Дрёма купил компьютер, освободил свой кабинет фоторепортеру, а сам стал работать на дому, общаясь с редакцией по электронной почте.

Милое дело. Чем реже видишь родной коллектив, тем лучше к нему относишься.

Вне всякого сомнения, он, Дрёма, самый счастливый человек в этом довольно унылом и озабоченном городе.

Отчего бы ему не быть счастливым? Рисовать карикатуры – куда как приятнее ночных дежурств на скорой неотложной помощи.

Коллеги не одобряли его ренегатства.

Но Дрёма редко сталкивался с ними. Когда же при случайной встречи речь заходила об измене профессии, отвечал хладнокровно: «Да, может быть, я своими карикатурками делаю для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний больше чем три реанимационных бригады». Это был хороший ответ. Но последнее слово всегда оставалось за бывшими коллегами. Смутное время, смутное. Раньше врачи шли в писатели, в Чеховы, а сейчас в карикатуристы. Да и то...

Мелкие уколы. Не видели вы настоящей карикатуры, мужики.

Впрочем, о причинах измены профессии Дрёма не распространялся. Случилось то, что нередко случается с любым врачом: не смог спасти хорошего человека. Никто его не винил. Но судить человека может только он сам. Всю ночь, не раздеваясь, свернувшись в позе зародыша, Дрёма просидел в кресле перед шипящим телевизором. Телевизор транслировал эхо большого взрыва. К утру Дрёма пришел к твердому решению: троечникам в медицине делать нечего. Медицина – для отличников и героев, она больше, чем профессия.

А в остальном Дрёма был счастлив. Во-первых, его бросила жена и укатила с темнокожим мужем куда-то на



Восток. Во-вторых, с появлением сотовой связи он вообще превратился в свободную птицу. По утрам бегал вдоль Весновки, а, вернувшись, ел гречку, с вечера замоченную на воде. Затем ложился на диван и читал Бердяева в ожидании заказа. Зимой три дня в неделю катался на горных лыжах и два дня посещал бассейн. Сразу после окончания лыжного сезона пересаживался на горный велосипед.

Короче говоря, Дрёма располагал своим временем, был свободен и счастлив настолько, что ему было неловко перед остальным человечеством. Для полного счастья его оставалось кастрировать. Но это уже было бы слишком хорошо. От самого процесса обдумывания вариантов и рисования карикатуры он получал такое удовольствие, что ему стыдно было проситься в отпуск. Иногда, конечно, ничего смешного в голову не лезло. В таком случае он ложился на диванчик и задремывал под мурлыканье Олигарха, а через пятнадцать минут вставал с решенной темой. Счастливый и свободный, как пятиклассник в первый день каникул. Будь он редактором, первым делом повелел бы поставить рядом с каждым рабочим столом раскладушки. Не случайно великий Леонардо спал по тридцать минут через каждые четыре часа. Прилетели бы иначе в его гениальную голову вертолеты и приплыли бы подводные лодки? Да и эту улыбку Джоконды мог написать только хорошо выспавшийся человек. О Менделееве просто неловко напоминать.

С появлением банковской карточки у Дрёмы отпала необходимость ходить в редакцию даже за зарплатой. Единственным поводом для посещения были исключительно большие праздники.

Отныне его жизнь, полная безмятежного покоя, состояла из изысканных приключений, умных книг и работы, которая доставляла, может быть, самое большое удовольствие среди череды приятных дел. Танцуя на педалях, он поднимался вверх по ущелью до домика лесника. Оставлял велосипед под присмотр алабая Барса и карабкался на одну из окрестных гор. Надышавшись разряженным воздухом вершины и налюбовавшись облаками, плывущими вниз, Дрёма спускался на крыле парашюта со снежного пика на поляну. Уложив крыло и одарив Барса



колбасой, он выводил велосипед и, привстав на педалях, катил под уклон до самого дома, чувствуя прохладный ветер жаркого безветренного дня.

Ему хорошо было наедине с собой. Он избегал людских сборищ, особенно тусовок творческих людей. От густого испарения самолюбий и тщеславий у него болела голова. Он устроил свою жизнь так, что никто не зависел от него. И он ни от кого не зависел. Иногда об обществе, укутанном смогом, напоминал мобильный телефон. Обычно звонили из редакции. «Да», – говорил он, спускаясь, допустим, на крыле с вершины. И, получив задание, отвечал: «Хорошо». В рюкзаке по соседству с бутербродом, бинтом, куском полиэтилена от дождя и пластиковой бутылкой с водой всегда лежал блокнот, карандаши и набор маркеров. И когда в голову приходило что-то интересное, он останавливался и набрасывал рисунок, после чего продолжал прерванный подъем или спуск. Многие из его карикатур были выполнены на вершинах, покрытых вечными снегами. Конечно, на вершинах следовало бы писать пейзажи в духе Рериха. Но – кому что.

Да, Дрёма был до неприличия здоровым и счастливым человеком, погрязшим в экстремальных удовольствиях. Но иногда, внезапно оторвавшись от работы или проснувшись среди ночи, он подолгу смотрел на поленицу книг – редчайшее собрание экслибрисов – и думал: кому достанется его маленькая библиотека, когда его не станет.

Для человека, едва разменявшего тридцать лет, мысли странные. Хотя отчего же странные? Смертному свойственно время от времени думать о смерти.

Как и каждый человек, склонный к опасным забавам, он зависел от стихии. Неверный шаг в горах. Камень или ствол дерева, укрытые снегом на незнакомом склоне. Внезапный порыв ветра в ущелье.

Впрочем, нет ничего опасней, чем пешеходная прогулка по городу, забитому автомобилями.

К тому же жил Дрёма в сейсмоопасной зоне, где дикторы в конце передачи скучной скороговоркой успокаивали горожан: на следующей неделе с вероятностью 85 процентов подвижки земной коры не ожидаются. Горо-



жане успокаивались, но думали о 15 процентах, оставленных про запас на всякий случай.

Вот так тряхнет среди ночи... Хотя, если тряхнет как следует, о чем волноваться? Тогда уж точно ничего никому не достанется. Олигарх же, должный своим поведением заранее предупреждать о стихийном бедствии, так далеко в своем развитии ушел от природы, что именно при землетрясении, свернувшись в клубок, спал особенно сладко.

Ах, да! В традициях отечественной литературы следовало бы набросать в общих чертах портрет героя. Реалистичный, как фото на паспорт. Но при всем уважении ничего лестного о лице Дрёмы сказать нельзя. Он похож на одного из персонажей своих карикатур. Рыжие, начинающие редеть патлы. Лопоух, длиннонос. При чем нос не просто длинный, а уныло длинный.

* * *

Игнорируя предостерегающую табличку «Не влезай – убьет!», Дрёма рискнул жизнью и открыл дверь.

Стены кабинета, дверь изнутри и даже потолок сплошь увешены дипломами международных конкурсов карикатуристов. Трофеи собраны со всех континентов, исключая Антарктиду.

Перегородка из гипсокартона оставляла для освещения лишь треть окна.

В окне величественно торчала полосатая труба ТЭЦ. Из нее густо валил дым. Вертикально вверх. Перевернутой кудрявой пирамидой.

Старый, антикварного возраста стол упирался в стену. Свободного пространства – только протиснуться боком и сесть на стул, тоже, кстати, изготовленный до семнадцатого года прошлого века. На столе лампа с зеленым абажуром. С прожогами от сигарет. Стопка нарезанного ватмана. Маркеры, рапидографы, карандаши, перьевые ручки и кисточки ежом торчат из пивной кружки. Тушь, гуашь, белила, коробка акварельных красок и коробка конфет кондитерской фабрика «Рахат». Хозяин имел вредную, но приятную привычку подпитывать свой мозг отечественным шоколадом.



Столешница под стеклом исцарапана, словно сто лет подряд гномики на коньках-бритвочках гоняли на ней шайбу. Эту столешницу хоть сейчас можно было вывешивать в галерее современного искусства.

За столом мрачным кентавром сидел Лёня Сербич.

Маркер в его лапе казался зубочисткой.

Пышный хвост. Достоинство. Вальяжность. Не карикатурист, а святой отец во время проповеди.

Сидящий Сербич был одного роста со стоящим Борей Иноземцевым. Боря рядом с ним был просто серым воробышком в февральский день, накушавшимся хлебных крошек, вымоченных в пиве. Космат, задирист, заметно пьян. Размазывая пухлыми лапками слезы по шуршащей щетине, шмыгая носом, он причитал со страстной обидой:

– Ты же помнишь, это же я ей предлагал поменять и стиль, и логотип. Нет, мы умеренно консервативное издание, мы должны сохранить стиль. Ты же помнишь? Она мои идеи приберегла для новой команды... Привет, Дрёма! Ну не мырма, а?

Униженного и оскорбленного Борю не смутило появление нового человека из конкурирующей фирмы. Наоборот, обида вспыхнула с новой силой, как костер под порывом ветра.

– Набрала пацанов. Креативных, слышь? Креативных кретинов. И предложила сделать то, что предлагал сделать я. Ну не подлость? Лёня, что бы ты сделал на моем месте?

– Я бы на твоём месте пожелал ребятам успеха, – не прерывая работы, пророкотал Сербич, степенно кивнув головой Дрёме.

– Они меня ограбили, и я им же желаю успеха? – изумился Боря истеричным тенорком.

– Все нормально. «И наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас», – спокойно проповедовал Сербич, продолжая рисовать. – Тебе что – податься некуда? Гильдин хорошего секретаря ищет, «Вечерка» ищет. Хочешь – с Гильдиным поговорю?

– Нет, ну не обидно? Выгнала, что бы мои же идеи... Мерзавка! Мырма!

– С ребятами помирись. Ребята ни при чем. Их тоже



используют и выбросят. Лет через двадцать. А тебе урок. Не отдавай все. Приберегай на черный день. Я три рисунка – для газеты, один – в зеленую папку. На черный день. У меня таких папок уже пять. Мой пенсионный фонд.

– Нет, Лёня, а что бы ты сделал на моем месте?

– Побрился.

– Издеваешься? Издевайся, издевайся.

– Побрился бы, постригся, объявил сухой закон и записался бы на компьютерные курсы. Сейчас, Боря, пацан, разбирающийся в компьютере, даст сто очков любому гению. Так что я на твоём месте все-таки побрился бы. А потом пошел бы к Гильдяеву и сделал такой журнал, что наша мымра отгрызла бы себе ногти по локти. Вот как надо обижаться, Боря. Тебе чего, Дима?

Дрёма кратко изложил суть дела.

– Шаржи на женщин? – переспросил Сербич, наполнив тесный кабинетик изумленным гулом. – Я тебя правильно понял? Нет, нет и нет. К тому же я подписал договор с нашей конторой, обязался не сотрудничать с другими изданиями.

– Как же ты такую кабалу подписал? – изумился Дрёма.

– Подмахнул не глядя.

– Надо глядеть, кому подмахиваешь, – встрял угрюмый Иноземцев, – так и приговор себе можно подмахнуть. Я контракт принципиально не подписал. А что подписывать? Права, обязанности, а в конце: работодатель может в любое время, исходя из производственной необходимости, дать тебе пинка под зад и вообще сделать с тобой все что угодно по своему усмотрению. Что это за контракт? Это именно приговор.

Сербич отложил маркер, распустил и снова заправил хвост в резинку. У него была мощная, потрясающая величием, почти квадратная лысина самурая и пегий хвост рысака.

– Что же делать? – приуныл Дрёма. – Я обещал Гоше найти художника. Может быть, с Линько поговорить?

– Поговори, – сурово одобрил его намерения Сербич, снова взяв в руку маркер, – только он тоже не самоубийца. Пообещал – рисуй сам. В следующий раз будешь хозяином своего языка. Слышал сегодня тряхнуло? Говорят – четыре балла.



Он рисовал, не отрывая маркер от бумаги, ровной уверенной линией, не делая предварительно карандашного наброска. Казалось, рука его действовала самостоятельно.

Боря Иноземцев, отвернувшись к окну, с мстительным выражением на помятом лице любовался трубой ТЭЦ. Сквозь извергаемые ею вредные выбросы, временами просвечивалось солнце, и вспыхивала мерзкая радуга, похожая на бензиновые разводы в грязной луже.

– Этим воздухом можно заправлять машины, а мы им дышим, – сказал Иноземцев. – Мне знакомый врач говорил: вдыхает человек, допустим, воздух на перекрестке, а мелкие фракции всякой гадости сразу проникают в кровь и разносятся по внутренним органам. А потом человек удивляется: не пью, не курю, по утрам зарядку делаю – откуда у меня эта гадость?

– Странная у нас с тобой профессия, Лёня, – сказал Дрёма, замороженно следя за рукой Сербича.

– Чем же она странная?

– Все занимаются серьезными делами: учат, строят, лечат, баллотируются в кандидаты, торгуют, воруют, а мы с тобой вроде шутов.

– Я не шут. Я – юродивый, – отвечал Сербич с достоинством.

– И в чем разница?

– Большая разница. Шут веселит народ на ярмарках и базарах. Юродивый говорит правду возле церквей.

– А мне нравится быть шутом, – признался Дрёма.

– Ну и на здоровье, – одобрил Сербич.

– Странно все-таки. Люди занимаются солидными, взрослыми делами, а мы с тобой в песочнице играем. Игра стала работой, работа – игрой. Странно это.

– Главное, никогда не рисуй по чужим темам. Я тебе так скажу: ничего серьезнее карикатуры нет. Карикатура – единственное, что еще можно назвать искусством. Интеллектуальным искусством, заметь. С формой и содержанием. Если ты с этим не согласен, рисуй на заборах.

– Это так, – согласился обиженный и оскорбленный Иноземцев, – лучше уж из карикатуры делать искусство, чем из искусства карикатуру. Занимаются, понимаешь, высоким искусством, а получается карикатура. Что ни



попугай, то художник. Попугаи любят заниматься творческой работой...

Злые эти слова были прерваны телефонным звонком. Сербич с застарелой ненавистью посмотрел на него и сорвал трубку:

– Да... Какая Дарья Ивановна?... Но я ее не знаю... Я ее в глаза не видел... Я ее даже на фотографии не видел... Вы соображаете, что говорите?... И вообще я не рисую шаржи на женщин. Всего хорошего!

Издав толстыми губами лошадиный звук изумления, он положил трубку и передал содержание разговора:

– Вот чудо! Новенькая, Боря, из секретариата. Налимова, кажется. Просила сделать шарж на какую-то Дарью Ивановну. Да я о ней первый раз слышу! А она: да это просто! Толстушка такая, черненькая, бровастая, глаза такие хохляцкие... Представляешь, я должен нарисовать шарж с ее слов по телефону.

– Не креативная ты личность, Лёня, – ответил ему с заметным злорадством Иноземцев.

– Ладно, мужики, встретимся на баррикадах, – холодно пророкотал Сербич и объяснил. – Срочно в номер.

* * *

Официантка в пионерской форме приняла заказ, взяла со стола меню в виде почетной грамоты Совета министров СССР, вскинула руку к красной пилотке – всегда готова! – и удалилась.

Кукушечкин внимательно, с ностальгией посмотрел на ее бедра и бархатным баритоном крикнул вслед:

– К пиву соленые орешки, золотце.

Кафе называлось «Р.В.С.». Его стены были украшены переходящими красными знаменами и вымпелами. Многим нравился этот ностальгический стёб. К тому же по домашнему видео показывали комедии Гайдая. Добротные, как чешское пиво. Под плакатом «Освоим целинные земли!» сидели знаменитый в газетном мире Георгий Иванович Кукушечкин, фоторепортер Марк Сундукевич и карикатурист Дима Дрёма.

Георгий Кукушечкин, взволнованно картавя, сокрушался:



– Нет, все-таки какими жестокими могут быть дети! Мне прикатил полтинник. Тосты, подарки. И вот встает мой мерзавец Сашка и говорит: папка, а не пора ли тебе делать карьеру? Представляешь, Марк? Мне – полтинник. Я известный в республике журналист. У меня десять книг. Со мной президент два раз за правую руку здоровался. У меня дипломов – вывесить, обоев не надо. А он: не пора ли делать карьеру. Другими словами, всю жизнь папка груши неизвестно чем околачивал.

– А ты, Гоша, не сердись, – утешал его благодушный Сундукевич, человек с манерами и внешностью профессора филологии, – не сердись. Дети интернета. У них другие масштабы.

– Я для него никто, пустое место. Не пора ли делать карьеру, – не мог успокоиться Кукушечкин.

– Ничего, Гоша, доллар за сто, внуки ему отомстят, – продолжал утешать старого друга Сундукевич, но не преодолел искушения и, посмотрев поверх золотой оправы очков, сказал с легким злорадством. – Хотя, устами младенца... Видимо, он хотел сказать – пора поработать не ради гонорара, а на себя, без халтуры.

– Халтура!? – взвился Кукушечкин. – Это как относиться к халтуре. Ты меня знаешь, Марк. Халтура не халтура, я весь вкладываюсь. Для меня такого понятия – халтура – нет. Для меня халтура – святое...

Не совсем юная пионерка принесла три граненых кружки пива, в каждой из которых инородно торчали из пены соломинки, похожие на клюки.

Кукушечкин резко замолчал, откинувшись на спинку стула, задумался. Снова проводил ностальгическим взглядом изящный круп официантки, сделал первый большой глоток, едва не выткнув глаз соломинкой, и сказал в мрачном раздражении:

– А впрочем, чем я занимался всю жизнь? Ведь прав, свин неблагодарный. Хотя жестоко, жестоко...

– Не переживайте, Георгий Иванович, – сказал Дрёма, пораженный искренностью старого и в меру профессии циничного репортера. – Каждое новое поколение рождается в другой стране, на другой планете.

– Ты это к чему?



– Пройдет время – он все поймет.

– Да дело-то не в нем... А впрочем, дети всегда правы. Особенно, когда неправы.

– Это почему же? – удивился Сундукевич.

– Они будут жить, когда не будет нас. Вот потому они всегда правы.

Сундукевич посмотрел на часы. В каждом его движении сквозила неотразимая элегантность.

– Почувствовали сегодня толчок? Пять баллов, говорят. Ну, Гоша, как мы организуем нашу работу? – спросил он деловым тоном и манерно поджал губы.

– Нам выделили подвальное помещение в офисе...

– Подвал? – оскорбился Сундукевич. – Подвал – это несерьезно.

– У них все помещения подвальные. Мне понравилось. Тихо. Уютно. Никто не мешает. Звонки на мобильный телефон не доходят. Обстановка при этом вполне цивилизная и, я бы сказал, интимная.

– Насчет интима, – снова прервал Кукушечкина Сундукевич, – там, надеюсь, есть отдельная комната для меня?

– Ах, ты старый ловелас.

– Я серьезно, Гоша. Фотография – искусство серьезное. Ничего не должно смущать клиента. Никаких посторонних. Только я и клиент. Это мое условие. Ты же не думаешь, что достаточно навести объектив и щелкнуть затвором? Нет отдельного помещения – ищите другого фотографа.

– Хорошо. Договорились. Для тебя – отдельная комната. Мы с Димой будем работать на пару. Тебе, Дима, не надо отдельной комнаты? Вот и хорошо. Значит так: я разговариваю, Дима параллельно рисует, затем отправляем клиентку к тебе, Марк.

– Мне нужна свежая женщина, – снова заикался Сундукевич. – Сначала клиенткой занимаюсь я, потом вы. Это мое условие.

– Хорошо. Право первой ночи за тобой, – согласился Кукушечкин. – Конвейер такой: сначала фото, потом интервью и шарж. Кстати, Дима, нужно чтобы шарж был одобрен клиенткой. Не возражаешь? Вот, кстати, список



наших героинь. В трех экземплярах. Каждый, обработав клиентку, вычеркивает ее навсегда из своего списка.

– Вот это другое дело. Научный подход, – одобрил Сундукевич конвейерное производство.

Он снял очки и, поднеся скрепленные степлером бумаги к самому носу, сказал мрачно:

– Теперь такой вопрос – оплата.

– Договор, – раздал очередную бумагу Кукушечкин. – Ознакомьтесь и подпишитесь.

– Ну, это не серьезно, Гоша! – разочаровался Сундукевич, быстро просканировав документ. – Сейчас без предоплаты ничего не делается. Я требую предоплату. А потом, что это за вознаграждение? Это не вознаграждение. Это материальное оскорбление. Я что – уличный фотограф с обезьянкой? Они что думают: шелкнул затвором – и готово?

– Не суетись под клиентом, Марк. Для того я и раздал предварительно договор, чтобы подготовиться к разговору с заказчицей.

– Что-то бифштекс долго не несут. Пойду, поговорю с хозяйкой, – сказал Сундукевич, поднимаясь из-за столика.

Седой, сверкающий золотой оправой очков, элегантный, изящный, неотразимый, как сам сатана, он подошел к стойке, за которой скучала дородная тетя в пионерской форме.

– Привет, родная! А ты совсем не изменилась, только красивее стала. Узнаешь меня?

– Да кто же вас не знает, – отвечала, пряча недовязанный чулок и лучезарно улыбаясь, пожилая пионерка.

– Как муж? Дети? Бабушкой не сделали?

– Вот старый пройдоха, – сказал Кукушечкин Дрёме с ироничным восхищением, – ты посмотри, что с женщиной стало. Цветет и пахнет. Сейчас она ему всю жизнь расскажет. Исповедуется и сама второе принесет.

Так все и вышло.

– Вы давно ее знаете? – спросил Дрёма, когда тетя, пожелав приятного аппетита, удалилась, молодо покачивая бедрами.

– Я? Впервые вижу, – равнодушно отвечал Сундуке-



вич, по старой привычке протирая вилку салфеткой и улыбаясь издали хозяйке.

* * *

Центральный комитет Женской партии ютился в подвальном помещении старинного купеческого дома, построенного в византийском стиле.

В советское время здание принадлежало КГБ.

– «Место сбора при землетрясении», – прочитал Сундукевич надпись на кирпичной стене. Стрела указывала на дворик, обсаженный по периметру темными липами.

– И что дальше? Какой смысл? – спросил Сундукевич.

– Что непонятного? Встречайтесь в ГУМе у фонтана. Вот и весь смысл, – объяснил Кукушечкин.

– Встретились. А что дальше? – настаивал на своем Сундукевич.

– Не забивай голову, Марк. Придешь – объяснят.

Сундукевич встряхнул дужку очков, подошел поближе к указателю и прочитал под официальной красной надписью «Место сбора при землетрясении» нацарапанное от руки черным маркером дополнение: «на том свете».

– Тогда бы уж и показывали стрелкой на небо. Острые.

При этом Сундукевич с неодобрением посмотрел на Дрёму.

– Угораздило же нас поселиться на границе континентальных плит, – сказал Георгий Иванович. – За какие грехи? У меня уже этот страх в подсознании. Так и ждешь толчков.

В совершенно квадратной приемной, забавляясь видеоигрой, скучала перед монитором компьютера девица, стриженная под новобранца. Она жевала резинку и время от времени выдувала розовый пузырь. Он лопался со звуком пистолетного выстрела. Из ушей девицы торчали провода. «Ждем!» – приказала она, прервав комплимент, источаемый Сундукевичем, и походкой шахтера, отработавшего две смены, направилась к двери с табличкой «Генеральный секретарь Женской партии Александра Т. Двужильная». У девицы были лейтенантские плечи, а бедер не было. О такой натурщице мечтал Пикассо.



«Заходим!» – приказала она и надула пузырь. Пузырь лопнул, перепугав Сундукевича.

Кабинет лидера партии одновременно напоминал камеру, тронный зал и парикмахерскую.

С одной стороны – сводчатые потолки, кованые решетки на маленьких окнах, прорубленных глубокими нишами под самым потолком, гнетущая тишина предполагали возможное появление Ивана Грозного с окровавленным посохом или, на крайний случай, скрипящего португеей чекиста с дымящимся револьвером в руке, с другой стороны – высокое кресло, монитор компьютера, зеркала, тонкий запах сирени. Гламур и амур, как говорил Сундукевич.

Когда арт-бригада вошла в кабинет, случилось событие, которое для более проникательных людей послужило бы предупреждением. Событие это было планетарных масштабов: содрогнулся земной шар. Вещь обычная в этих местах – подземный толчок, сопровождаемый утробным гулом недр и неприятным треском конструкций здания. Все по привычке жителей сейсмоопасной зоны вопросительно посмотрели на люстру. А Сундукевич, укrywшись в дверной нише, предположил:

– Балла три.

– Может быть, и больше, – хладнокровно ответила хозяйка кабинета. – Здесь не определишь. Сам Зенков строил. В двенадцатом году весь город разрушило, а в этом бункере и трещинки не нашли. Не волнуйтесь, господа. Фундамент глубок и прочен. В городе нет более надежного места. Кроме церкви, конечно. Церковь тоже Зенков строил.

– Да, живем, можно сказать, в тени Этны, – сказал побледневший Кукушечкин.

При женщинах он всегда выражался красиво и слегка томно.

Лидера партии отчего-то хотелось назвать шемоханской царицей.

Это была статная, порывистая особа, взглянув на которую, Дрёма тут же решил изобразить ее необъезженной кентаврицей с пышным хвостом и прекрасными лошадиными очами, увеличенными к тому же холодными



стеклами очков. Она слегка приподнялась из-за стола навстречу вошедшим и ответила Сундукевичу, вознамерившемуся поцеловать даме ручку, таким крепким рукопожатием, что тот, сказавши «уйё» присел самым неизящным образом.

– Господа, вынуждена сразу взять быка за рога, – юношеским, ломающимся баском сказала Александра Двужильная, познакомившись с арт-бригадой и рассадив их на хрупкие стулья, – сроки поджимают, господа. Мы должны уложиться в месяц. Но при этом работа должна быть выполнена самым качественным образом. Главное условие – каждая женщина, включенная в список, должна одобрить портрет, текст и, разумеется, шарж.

– Вы не усматриваете в этом условии противоречия? – прервал ее Кукушечкин. – Сможет ли действительно качественная работа удовлетворить вкус дам? Я в этом сомневаюсь.

– Одобрение женщин и будет критерием качества вашей работы, – отрезала лидер партии, строго и прямо посмотрев в глаза Кукушечкина.

Темные зрачки расплылись во весь хрусталик.

– Это не просто – угодить сразу сотне редакторов. Уж поверьте мне, – засомневался Кукушечкин, с трудом избавляясь от гипноза лидера Женской партии.

– Сто женщин – это условно. На самом деле их будет больше. Значительно больше, – прервала его Двужильная.

– Гоша, – растирая правую кисть, сделал умное лицо Сундукевич, – рабочие моменты можно решить в рабочем порядке. Мы с тобой на этом деле не одну болонку съели. Не вижу проблем. Поговорим о главном. Прежде чем приступить к работе, мы должны подписать договор. Сашенька, золотце, я настаиваю на предоплате.

– Оплата по итогам проделанной работы. Мы – партия, а не частная лавочка.

В том, как она, выпрямив спину, чуть искоса взглянула на мастера фотопортрета, было нечто пугливое и в то же время неукротимое.

Необъезженная кентаврица, почуявшая ненавистную узду.



– Видите ли, милая, в случае, если я приму Ваше предложение, я буду вынужден отказаться от некоторых заказов. Смею Вас заверить, чрезвычайно выгодных...

– Господа! Где ваша гражданская позиция, господа!? – воскликнула она томным голосом, в котором перемешались крайнее недоумение с крайним возмущением, но верх брала избыточная, на грани порока женственность.

Эмоции эти вызвали в ее большом теле электрический разряд, породив порывистое, если не сказать конвульсивное, и при этом очень сексуальное содрогание. Оргазмическая дрожь зародилась в подбородке, прошла через шею, грудь, спустилась по позвоночнику и сладко затихла в бедрах.

Но на Сундукевича эмоциональный всплеск партийной дамы не произвел особого впечатления.

– Видите ли, моя милая, я уже давно принципиально не участвую в субботниках, – заявил он, встрепенувшись. – Более того, считаю безнравственным работать бесплатно...

– Хорошо, – прервала Сундукевича лидер Женской партии голосом, полным холодного презрения и усталого разочарования, – мы можем пойти на некоторое увеличение вашего вознаграждения, компенсирующее ваши потери. Но выплата после проделанной работы, то есть после выхода книги в свет. Это не обсуждается. Приступаем завтра с утра. С 9.00.

И она, поднявшись с кресла, вышла из-за стола, обнаружив при этом изяшно-тяжелый круп и позолоченные копытца. Участники проекта тоже встали. Их ждало неприятное открытие: лидер Женской партии была на голову выше их всех.

– Чуть все косточки не переломала, – пожаловался Сундукевич, выйдя из подвала на воздух. – Странная девица. Очень странная. Дерганная. Ты заметил, Гоша, какая она дерганная? Тоже мне партия! Что это за вывеска? С трех метров не разглядишь. Ценник на огурцах больше.

Дверь подвала, скрипнув, отворилась, и угловатая секретарша, мечта Пикассо, шелкнув розовым пузырем, сказала по-московски налегая на «а»:



– А Вас, Марк Борисович, просят зайти.

При этом она смотрела на Кукушечкина.

– Это что за сепаратные переговоры? – удивился ревнивый Георгий Иванович.

– Сейчас выясню, Гоша. Подождите меня, – голосом миротворца успокоил его Сундукевич.

Вернулся он через пять минут и сказал отстраненно:

– Работаем с женщинами, мужики. Публика нежная, шепетильная. Материально обеспеченная. Советую сходить в парикмахерскую. Одеться поприличнее. Костюм. Галстук. Брюки погладить.

При этом он старательно не смотрел в сторону Дрёмы, предпочитавшего вызывающе демократические одежды.

– И вот еще что. Советую взять отпуск по основной работе. Зарплата нам будет компенсирована в любом случае. После выхода книги в свет, разумеется.

Он подумал и сказал:

– Очень деловая женщина. Сталин в юбке. Далеко пойдет. Не удивлюсь, если лет через двадцать она станет нашим президентом.

И такое при этом благостное выражение было на его лице, что и Кукушечкин и Дрёма подумали одновременно: уж не получил ли Сундукевич аванс?

* * *

В конце первой недели работы над книгой конвейер по обработке знаменитых женщин был нарушен событием, едва не выбившим Георгия Ивановича Кукушечкина из колеи.

Все шло как нельзя гладко. Точно в намеченное время в подвал, благоухая Парижем, спускалась очередная дама. Элегантный и обольстительный, как Казанова, Сундукевич, кончиками пальцев взбивал седой кок, поправляя галстук-бабочку, выпархивал навстречу, всплескивал в восхищении руками, прикладывался к ручке и, осыпая восторгами, уводил героиню в свой закуток. За плотно закрытой дверью слышались звуки веселой работы, а через щель под порогом пробивалось сварочное сияние фотоспышек.

Через десять минут потрясенная и румяная знаменитость



попадала в руки Кукушечкина. И пока он, включив диктофон, мило остря, беседовал с гостьей, Дрёма набрасывал ее портрет, слегка шаржировал и тут же придумывал сюжет.

Дамы, с легкой настороженностью заглянув в блокнот, обычно не возражали по поводу шаржа. Во-первых, потому что и Сундукевич и Кукушечкин успевали прочитать им на эту тему небольшие лекции, а, во-вторых, с двух-трех попыток Дрёма хорошо знал, что нужно женщине.

Женщине нужно, чтобы даже в шарже она была хорошо причесана.

Дрёма так притерся к этому цветочному конвейеру, что время от времени подключался к разговору. И поскольку он не был профессиональным журналистом, его вопросы не были банальны. Кукушечкин сначала морщил нос, однако, сообразив свою выгоду, всячески поощрял это сотворчество.

Вся троица была настолько любезна, что знаменитая скрипачка, уверявшая Кукушечкина, что ни разу в жизни никому не доверила прикоснуться к своему еще более знаменитому инструменту, стоившему сумасшедшие деньги, позволила Дрёме донести скрипку до машины.

Правда, после нескольких знаменитых женщин чередой повалили неизвестные личности, которых Сундукевич из-за чрезмерного пристрастия к косметике и бижутерии называл новогодними елками, а Кукушечкин – тыквами и клонами. «О чем писать, – сокрушался он, любезно проводив очередную героиню и расшаркавшись, – у них же биографии отпечатаны под копирку». Это были деловые, богатые тетки. После ускорения и перестройки они лишились любимой работы. Продали дом, дачу и машину, а на вырученные деньги открыли свое дело. После нескольких лет, в течение которых они экономили даже на косметике и спали не более двух часов в сутки, пришел успех. Устроив свою жизнь, жизнь родных и близких, они занялись благотворительностью. Жизни этих замечательных ангелоподобных благотворительниц своей массовостью опровергали измышления Маркса о злодейском характере первоначального накопления капитала, прибавочной стоимости и хищническом нутре буржуазии.



А потом вся в белом и пушистом пришла она.
Ее можно было бы изобразить царевной-лебедem.
Если бы не возраст.

В этом возрасте в лицах и характерах женщин неприятно проступают мужские черты. У нее был акулий рот, придававший лицу выражение мрачного высокомерия.

Скорее всего, изобразить ее стоило снежной королевой.

Надменная красавица. Правда, от красоты мало что сохранилось. Но надменность осталась.

– Ну, что, Кукушечкин, будешь брать интервью, – спросила она, позволяя оробевшему Дреме снять с себя шубку.

– Да я о тебе и так все знаю, – крайне нелюбезно отвечал Кукушечкин.

– Ой ли? Составишь бумагу – покажешь. А то знаю я тебя.

– Разбежался. Обойдешься.

– Покажешь, куда денешься.

– Может быть, сама о себе напишешь?

– Зачем мне у тебя отнимать кусок черствого хлеба? Напишешь ты. И напишешь как надо.

– Как жизнь?

– С тех пор, как рассталась с тобой, – прекрасно.

– Завидую твоему мужу.

– Слава богу, у меня нет мужа.

– Именно поэтому я ему и завидую. Надо ли полагать, что всем довольна?

– Полагай, полагай. А ты, смотрю, все в том же костюмчике. Бедствуешь?

– Знаешь, о чем я жалею? Только об одном. Ну, почему я не выкупил у тебя свою фамилию.

– Что же ты пожадничал?

– Пожадничал? Для тебя сто рублей не деньги? В свое время сто рублей были большие деньги.

– Сто рублей! Предложил бы хотя бы пятьсот.

– Ловлю на слове.

– Сейчас у тебя денег не наберется и на одну букву. Сейчас я тебе могу купить любую фамилию у кого угодно. Вместе с псевдонимом.

– Купи! – с охотой откликнулся Кукушечкин.



– А мне это нужно? Мне повезло: кто тебя знает?

– Знаешь, в чем тебе повезло? Ты – бездарность. Ты чего дергаешься, Дима? Сиди, рисуй. В туалет тебе надо. Потерпишь.

– А ты – одаренность? Ну, ну. Продолжай. Рисуйте, Дима, рисуйте. И как же мне повезло?

– Быть талантом в наше время – беда. Талант не бросит свое дело, даже если ему не платят. А человеку бездарному что терять? Вот он и уходит в бизнес, в политику, делает карьеру, зарабатывает деньги. Его ничего не связывает. Зачем Дрёме делаться чиновником, если он в три секунды может набросать твой портрет, раскрыть что ты за вещь в себе? Не дергайся, Дима, рисуй.

– Ну, конечно, Леонардо да Винчи, – она поднялась, всколыхнув волну тонких иноземных запахов и зайдя за спину Дрёме, заглянула в блокнот. – А почему нос такой длинный? Неужели такой длинный?

– Ничего не длинный, – приподнявшись, в свою очередь заглянул в блокнот Кукушечкин, – он тебе польстил. Нарисуй длиннее.

– Это шарж, – объяснил, краснея, Дрёма. – Шарж потому и шарж, что черты слегка шаржируются. Он будет стоять рядом с Вашим портретом кисти великого Сундукевича, так что ничего страшного.

– Нет, ты уж будь так любезен, нарисуй нос покороче.

– Хорошо, – сказал Дрёма с утрюмым равнодушием.

А Кукушечкин обиделся:

– Ты несправедлива. Он и так в два раза короче, чем на самом деле, нарисовал. Сундукевич обидится: на шарже будешь выглядеть симпатичнее, чем на снимке.

– Не твоя забота. Расскажи лучше про свои успехи. Все в «Дребездени» сияешь? Твою «Дребездень» только по приговору суда можно читать. Не многого же ты достиг. И дело, поверь, не в твоём мифическом таланте. Ты раздолбай, Кукушечкин, вот в чем дело. Ну, что ты такого замечательного сделал в своей жизни? Устроил пьянку на «Авроре»? Проскакал по жизни рыжим клоуном на кочеге? Если бы ты знал, как я рада, что избавилась от тебя вовремя!

– Я так и думал – ты все еще меня любишь. Успокойся,



родная, забудь. У меня давно другая жизнь, другие женщины.

– Ты когда в последний раз в зеркало смотрел, Кукушечкин? Страшно в зеркало смотреть – в паспорт загляни. За что тебя любить? И, ради бога, не рассказывай сказок о нищих талантах и богатых бездарях. Жалкая чушь! Отговорки неудачника. Мир делится не на талантливых и бездарных, а на господ и лакеев. Ты, Кукушечкин, лакей. И меня не волнует, что думают обо мне лакеи.

– Лакей? И что это по-твоему – лакей?

– Лакей – это человек, который прислуживает исключительно за деньги.

– А ты прислуживаешь исключительно за что? Лакей? Да, лакей. Если хочешь знать, мы живем на планете лакеев. Все друг другу прислуживают. Ты тоже прислуга. В чем разница?

– Разница небольшая: служить королю или всем, кто заплатит.

– А вот я как раз разницы не вижу. Как, кстати, поживает твой бездонный денежный мешок? Что поворовывает, чем приторговывает?

Дрёма втянул голову в плечи, ожидая разряд молнии. Уж больно напряженная была атмосфера. Но в это время распахнулась дверь запретной комнаты, и появился маэстро Сундукевич. Руки его были распахнуты для сердечных объятий, он весь сиял золотом оправы, фарфором зубов, снежным пиком седого кока.

– Леночка – чмок! чмок! – красавица моя – чмок! – сто лет тебя не видел. Моя царевна – чмок! чмок! – брось ты этого старого баламута, идем ко мне, посскретничаем. Идем, моя умница, я из тебя шедевр сделаю. Ах, ты моя царевна-лебедь! Лебёдушка моя.

– Идем, Марк. Рада тебя видеть – чмок! чмок! – учись, Кукушечкин, как надо разговаривать с женщиной.

Проходя мимо Дрёмы, она вновь заглянула в альбом.

– Прекрасно! Прекрасно! Вот где талант, Кукушечкин. Запомни, талант никогда не кричит о себе, что он талант. Идем, Марк, идем, мой фотоискусник.

– Фотоискусник! – хмыкнул Кукушечкин, когда за галантной парой захлопнулась дверь. – Тоже мне



фотоискусство. Кич. А ты ей подлиннее нос пририсуй, подлиннее. Ну, как тебе интервью?

– Класс. Драка на ножах. Вы что раньше были знакомы?

– Знакомы? Она была моей первой женой. Заблуждения юности.

– Понятно.

– Что тебе понятно?

– Чувства не остыли.

– У кого это они не остыли?

– И у вас, и у нее.

– Думаешь?

– Никакого сомнения. А что это за пьянка на «Авро-ре»?

Кукушечкин хмуро посмотрел на часы и сказал крайне озабоченно:

– Пойду, очередную даму встречу. Надо надеяться, она не была моей любовницей.

И он пошел, ворча:

– Ишь ты! Лакей. А что подделаешь – мир делится на мерзавцев и лакеев. Как бы так устроиться, чтобы не быть ни мерзавцем, ни лакеем?

Интересно бы знать девичью фамилию бывшей жены Кукушечкина.

Но Дрёма был воспитанным человеком и смирил свое любопытство.

* * *

В члены КПСС Георгий Иванович Кукушечкин, по его же словам, проник обманом.

То есть не совсем обманом. Правильнее сказать, с заднего крыльца. Он утверждал, что в партию его затащили как неучтенного бычка на веревочке.

Жителям районного центра Захолуйска со школьных лет он был известен под кличкой Диссидент.

Причем обязательно добавляли – Сопливый.

История этого прозвища в свое время наделала шума.

Когда случились Чехословацкие события, в общественных местах города Захолуйска неизвестный негодяй распространил одиннадцать листовок.



Одну приклеил на киноафише районного Дома культуры. Причем, мерзавец, налепил на прекрасное лицо любимой актрисы Дорониной, исполнившей главную роль в фильме «Еще раз про любовь». Помните:

Я мечтала о морях и кораллах,
Я мечтала кушать суп черепаший.
Я ступила на корабль, а кораблик
Оказался из газеты вчерашней...

Да... Красивая женщина, хороший фильм, замечательная песенка. Пророческая, кстати.

Но суть не в этом.

Вторая листовка была приклеена на схему автобусных маршрутов районной автостанции. Причем таким образом, что все дороги как бы вытекали из листовки.

Третья пакость была обнаружена на телеграфном столбе, что стоял аккурат посередине между райкомом партии и районным отделом внутренних дел.

Четвертая – на дверях общественной бани.

Пятая – на стене туалета в кинотеатре «Строитель».

Шестая – на заднем стекле маршрутного автобуса №3.

Еще пять листовок были сброшены коварной рукой с чердака средней школы №1 во время большой перемены.

Ужасное это событие потрясло тихий Захолуйск и волной слухов прокатилось по области, а, может быть, и по всей стране.

Расследовать вопиющий случай в Захолуйске было поручено опытному сотруднику областного КГБ Николаю Ивановичу Недошуку.

Происшествие это Николая Ивановича обрадовало и вдохновило. Ничего подобного в области не случалось с тех пор, как во время дефицита хлебобулочных изделий в том же вольнодумном Захолуйске на дверях дежурного магазина появилась карикатура. На ней была изображена публично обнажаемая лишь в общественной бане часть человеческого тела, затянута паутиной.

Тенденция, однако.

Вполне вероятно, и карикатура, и листовка – дело одной шаловливой руки.



Листовки были отпечатаны под копирку на пишущей машинке. И Николай Иванович первым делом собрал образцы шрифтов всех пишущих машинок района.

Кроме той, что стояла в приемной первого секретаря Захолуйского райкома партии Джана Джановича Джанова.

Образцы шрифтов Недошук собирал следующим образом: приходил в организацию и просил машинистку перепечатать текст листовки.

Шрифтовые особенности ни одной из пишущих машинок не совпали с аномалиями отдельных букв, выявленных в прокламации.

Недошук задумался: а нет ли пишущих машинок в личном пользовании жителей Захолуйска?

Оказалось – есть!

Множительное средство принадлежало заведующему отделом сельского хозяйства районной газеты «Светлый путь» Рудольфу Парфёнову. В свободное от основной работы время он вдохновенно отстукивал на ней одним пальцем роман о внедрении комбитрейлерно-порционного способа уборки урожая зерновых.

Пишмашинку можно было и не проверять.

Диссидент был обнаружен.

Но к удивлению опытного Недошука шрифт и на этот раз не совпал.

Что бы это могло значить?

Да все, что угодно.

В городе есть пишущая машинка, о существовании которой никто не знает? Возможно. Листовки были завезены извне? Почему бы и нет. В таком случае круг поисков следует расширить до масштабов области, а, может быть, и всей страны.

Но оставалась одна не исследованная машинка.

Та, что стояла в приемной первого секретаря Джана Джановича Джанова.

Пишущая машинка первого секретаря райкома партии вне подозрений. Это Николаю Ивановичу было хорошо известно. Но, будучи человеком дотошным, он все же попросил Алину Ивановну Кукушечкину перепечатать текст листовки.



Опа-на! Невероятно! В смысле – не фига себе! Николай Иванович Недошук в предвкушении потер руки.

Но предчувствия обманули его.

Вскоре злодей был выявлен, и он разочаровал Николая Ивановича своим масштабом.

Подрывным элементом оказался ученик Захолуйской средней школы №1 Гоша Кукушечкин. Проявив невероятное для своего возраста коварство, он втерся в доверие к собственной мамаше, в результате чего получил доступ к множительному средству.

Что было бы! Ох, что было бы! Какая гроза разразилась бы над утопающим в дреме акациевых аллей Захолуйском, если бы пятиклассник Гоша Кукушечкин призвал в своей листовке советских воинов нарушить присягу и выразить солидарность с бархатными революционерами. Слава богу, Гоша был политически подкован и, напротив, призывал вооруженные силы Варшавского договора сокрушить гидру контрреволюции.

Слова в листовке были, в общем-то, правильные, но сам факт ее появления без ведома и позволения властей настораживал, призывал к бдительности и усилению воспитательной работы среди подрастающего поколения.

Соответствующая работа с подпольщиком Гошей была проведена старшим Кукушечкиным, машинистом башенного крана.

За все, что придумывает голова, отчего-то отвечает совсем другая, всегда законопослушная часть тела. Гоша, высказавший свою гражданскую позицию, был сурово выдран отцовским ремнем.

«Я тебе напишу, писатель! – приговаривал Кукушечкин-старший, оставляя на нижней части розовые автографы. – Ишь ты, какой граф Толстой нашелся! Диссидент сопливый!»

Содержание листовки быстро забылось. Но слава Диссидента осталась с младшим Кукушечкиным на всю жизнь.

Вскоре у Гоши обнаружился литературный дар. Воспитательная работа отца пошла насмарку. В районной газете стали появляться заметки. Юный талант писал о сборе металлолома, уборке картофеля и свеклы,



тимуровцах, литературных вечерах и спортивных успехах своей школы.

После десятого класса в институт он не поступил, а в армию его не взяли из-за плоскостопия. Гоша устроился на работу в редакцию районной газеты «Светлый путь».

«Если ты, Кукушечкин, пришел в газету лишь для того, чтобы получать зарплату, иди лучше на вокзал разгружать вагоны. И денег больше заработаешь, и пользы человечеству больше принесешь», – напутствовал его редактор.

«В нашем городе нет вокзала», – сказал Гоша.

«Верно, – удивился редактор, – нет».

Таким образом, выбора у Кукушечкина не было.

Должность – младший литературный сотрудник – ни о чем не говорила, и Гоша попросил редактора вписать в служебное удостоверение понятное всем, красивое слово «корреспондент».

На вопрос одноклассников – «Где работаешь?» – отвечал скромно: «В России одна честная газета».

В первый же месяц работы в «Светлом пути» жизнь приготовила ему суровое испытание.

Штаты в районных газетах небольшие.

Работают в них неудачники, которые зовут себя литрабами, а районку – мясорубкой. Причем – прожорливой. Она очень быстро вытягивает у человека все силы, лишает поэзии и смысла, а в конце концов перемалывает и самого.

Редактор Христофор Абрамович Бессердечный, бывший директор мясокомбината, с тоской вспоминал прежнее место работы и всей душой ненавидел писанину. Вооружившись швейными ножницами, не выпуская изо рта сигареты, он дни напролет мрачно потрошил центральные газеты. Наклеив на серые листы пронумерованные фрагменты, он со страдальческим выражением на квадратном лице профессионального мясника собственноручно соединял их в муках рожденными фразами, должными придать передовице местный колорит. Отмучившись, он бродил по редакции и мрачно допрашивал сотрудников: «Чем занимаешься? Отписался? Отписывайся – и в командировку».



Работа над передовицами подорвала железное здоровье редактора и в разгар уборки зерновых его на «скорой» увезли в больницу. У Бессердечного внезапно обнаружилось сердце.

Заведующий отделом партийной жизни Пантелей Убейда, напротив, не ведал трудностей в сочинении статей. «Сколько строк?» – спросит, бывало, ответственного секретаря Клару Зубко. «Двести двадцать пять, Пантелей Митрофанович», – ответит она, заглянув в макет. Пантелей Убейда кивнет головой и уходит в свой кабинет. Закроется, выпьет для вдохновения сто грамм. Заправит свежими чернилами авторучку. Отсчитает нужное количество листов и с минуту смотрит в окно на трубу центральной котельной. После этого, не сделав ни одной пусть даже секундной паузы, ни разу не взглянув в потолок, он ровным почерком заполнял словами нужный объем. И когда ставил последнюю точку, можно было не считать строк и не перепечатывать на машинке. Сразу – в набор.

Ровно двести двадцать пять строк.

Без единой ошибки и таких гладких и правильных, что прочитаешь – и ничего в голове не удержится.

«Вы просто талант, Пантелей Митрофанович», – всякий раз восхищалась Клара Зубко.

Несомненно, Пантелей Убейда был талантливым человеком. Но у него была беда, с которой знакомы многие талантливые люди.

Не успела «скорая» довести Бессердечного до больницы, как, почувствовав свободу, Убейда ушел в запой.

В ночь перед шквалом несчастий, обрушившихся разом на «Светлый путь», ответственного секретаря Клару Зубко, которая вела исключительно здоровый образ жизни, увезли в роддом.

Заведующий же отделом сельского хозяйства уже неделю как был прикован к постели. Собирая яблоки в совхозном саду, он упал с лестницы, да так неудачно, что сломал три перекладки, ногу и обе руки. Из гипса торчала одна голова и... Ну, не важно.

Заведующий отделом культуры накануне сбежал в областной центр, и заведовать культурой было некому.



В редакции остался один Гоша Кукушечкин. Да и то только потому, что страдал плоскостопием.

Но он не растерялся.

Он обрадовался.

В течение недели Гоша один делал газету. Обзванивал совхозы и писал по скучным фактам передовицы, заметки, очерки, фельетоны и даже стихи. Набрасывал макет, подчитывал старушке-корректорше и, разумеется, подписывал газету.

«За редактора Георгий Кукушечкин».

Он полагал, что, когда все сотрудники «Светлого пути» выздоровеют, разродятся и выйдут из запоя, ему воздастся. Слава о его самоотверженном подвиге пойдет по всей Руси великой, а имя войдет во все учебники журналистики.

Почему никто в райкоме партии не обратил внимания на подпись в конце газеты, можно объяснить только одним: черт попутал. Уборка: закружились, замотались.

И вдруг первый секретарь Шляпкин спрашивает секретаря по идеологии Марию Фёдоровну Птурс: «А кто это такой – Г. Кукушечкин?»

Мария Фёдоровна, безмужняя, невероятно желчная и худосочная женщина, которую в народе отчего-то звали Пышечкой, посмотрела на розовый ноготь первого секретаря, уткнувшийся в выходные данные, и сделалась невесомой. Мария Фёдоровна хорошо знала Гошу Кукушечкина еще со времен его подпольной деятельности. Она тогда была директором школы, и история с листовками была свежа в ее памяти. Мария Фёдоровна пошатнулась и плотно сжала ладонями виски, пытаясь предотвратить головокружение, а, может быть и взрыв серого вещества.

Произошло нечто до того ужасное, что просто не вошло в ее голову.

Беспартийный, с репутацией диссидента Георгий Кукушечкин в течение недели самовольно редактировал орган районной партийной организации.

Да попади этот факт в доклад первого секретаря обкома... Да что там обком. Захолуйский районный комитет партии будет навечно заклеен с трибуны съезда партии.

Где мой валокордин? Господи, спаси!

Меньше всех скандал был нужен товарищу Шляпкину.

Товарищ Шляпкин развелся с женой и вступил в новый брак. Другими словами, морально оступился. В наказание со строгим выговором он был сослан из столицы в Захолуйск. «Молись, Федя, чтобы Бог пролил над твоим Захолуйском три дождя вовремя, – сказал, провожая его на вокзале старый партийный товарищ. – Получит район на круг двадцать центнеров с гектара твердой пшеницы – быть тебе Героем. А Герою грехи спишут». Бог пожалел товарища Шляпкина и послал три дождя в нужное время.

Но и лукавый не дремал. Черт бы побрал этого Кукушечкина!

Выслушав Марию Фёдоровну Птурс, товарищ Шляпкин невыносимо долго барабанил розовыми ногтями по районной газете и рассеянно смотрел на стаи ворон и жирных голубей, вперегонки летящих в сторону элеватора.

«Как же так, Мария Фёдоровна, – спросил он, наконец, тихим, проникновенным голосом. – Вы что же, голубушка, районную газету не читаете?»

Мария Фёдоровна, превратившаяся от раскаяния и осознания страшной вины в печь огненную, не находила слов оправдания.

«Читала, Фёдор Ильич, читала. Просто слепое пятно какое-то», – пролепетала она.

«Вы понимаете, голубушка, что этот факт непременно вставят в доклад Самому?» – еще тише спросил Шляпкин, испепеляя и без того пылающую женщину тяжелым взглядом профессионального лидера.

Шляпкин прошелся по кабинету, выглянул в приемную и плотно закрыл дверь.

Гоша Кукушкин из лучших побуждений совершил нечто такое, что листовки, распространенные им в свое время в Захолуйске, были просто забавным, милым пустяком.

Очередной номер «Светлого пути» подписала М.Ф. Птурс, а Георгий Кукушечкин, осознавший весь



ужас своего преступления, дрожащей рукой писал заявление в партию.

Он подписал его сегодняшним числом, но годом ранее.

Тем временем наряд медицинских работников самым немилосердным образом избавил Пантелея Убейду от недельного запоя. Придя в себя, он, недолгое время полюбовавшись трубой котельной, ровным, но слегка дрожащим почерком составил протокол собрания, состоявшегося год назад, на котором Георгий Кукушечкин был единогласно принят кандидатом в члены партии.

Этот протокол в реанимационной палате подписал Бессердечный. Это было последнее, что он подписал. К вечеру ему стало плохо и, прошептав в адрес Кукушечкина нелестное слово, редактор скончался. Его кресло впоследствии занял директор станции искусственного осеменения крупного рогатого скота Аномалий Петров, не сумевший должным образом организовать плодотворную работу по прежнему месту работы.

Клара Зубко, подписав протокол, счастливо разродилась двойней.

А Гоша Кукушечкин был утвержден на должность заведующего отделом культуры районной газеты «Светлый путь».

Когда Кукушечкин сразу после школы пришел в газету, за спиной его сияли ангельской белизной два крыла. Таких больших и тяжелых, что концы их волочились по земле, шурша, как две метлы. Они были такие большие и такие тяжелые, что на них невозможно было летать. Каждый день он терял по перышку. В конце концов от крыльев ничего не осталось. Не имея возможности парить в облаках, он принужден был ходить по земле.

Но именно с того времени, как Кукушечкин навсегда лишился крыльев, его карьера медленно, но неуклонно, как гусеница по стволу тополя, поползла вверх.

Через год он был послан в Высшую партийную школу.

Необъяснимым образом прозвище Диссидент, лишившись прилагательного «сопливый», последовало за ним вместе с легендой ее породившей.

«Это тот самый мальчик, — шептались за его спиной



старые профессора, – кто один в стране выступил против подавления бархатной революции». – «Да что вы! А на вид – квашня квашней».

Каждый второй преподаватель ВПШ считал себя Диссидентом.

В годы перестройки в центральной прессе появился очерк одного из них. Он назывался «Мальчик, который сказал: «Я – против!»

В ней живо рассказывалось о юном Гоше Кукушечкине, захватившем районную типографию и напечатавшем в ней памфлет «Душителю свободы». Особенно сильное впечатление оставляли сцены допросов в мрачных стенах КГБ, на которых пятиклассник Кукушечкин своей искренностью заставил переосмыслить свою жизнь старого следователя-сталиниста.

Народ плакал навзрыд, читая эти строки.

К тому времени Георгий Кукушечкин жил в большом городе и был стареющим, разочаровавшимся в газете и газетчиках репортером. Честно сказать, он уже сам не знал, что в его жизни правда, что легенда.

К определенному времени, когда твое поколение начинает активно спиваться и вымирать, терять память и впадать в маразм, очень важно окружить себя мифами.

Красивая легенда наполняет смыслом сухую биографию.

Это как засыхающее дерево покрывается зеленым мхом.

Конечно, перестройка и миф о мальчике, сказавшем «нет», давала ему шанс преуспеть, если бы он ушел в политику. Но он этим шансом не воспользовался.

* * *

– Есть такое народное поверье: при встрече с олимпийским чемпионом нужно обязательно прикоснуться к нему – и тогда часть удачи перейдет к тебе.

Дрёма, рассеяннo изучавший стенд «Успешные бизнесвумен страны», оглянулся.

Георгий Иванович держал за руку хрупкое, но заметно беременное существо. Хвостики свисали фейерверком.

– Даша? – удивился он.



– Привет! – ответила она.

– Вы что – знакомы? – ревниво спросил Кукушечкин.

– Мало сказать, знакомы, – ответила она, улыбаясь, – Дими́на па́рта сразу за моей стояла. Дима у нас был знаменитость. В него все девчонки были влюблены. Я думала – ты станешь архитектором. Ой, какой ты, Дима, страшенький стал. Лысенький. У тебя дети есть? А кто жена? Я хотела бы увидеть твою жену.

– Дима, ты учился с олимпийской чемпионкой в одном классе и дергал ее за косички? – не поверил Кукушечкин.

– К сожалению, за косички он меня не дергал, – отвечала за Дрёму Даша и так открыто, так ясно посмотрела в глаза однокласснику, что тот почувствовал искреннее раскаяние.

Надо было дергать ее за косички. И как можно чаще. Чтобы не задавалась.

– Ну, еще не поздно, – сказал Кукушечкин легкомысленно.

– Сейчас это опасно, – ответила она.

– Ну, да, ну, да, – поспешно согласился Кукушечкин, – дзюдо – серьезный спорт.

– При чем здесь спорт. У меня муж – метр девяносто два.

– Тоже спортсмен?

– Одного спортсмена на семью хватит. Он у меня малым бизнесом занимается.

– Рад тебя видеть, Даша. Можно до тебя дотронуться? – спросил Дрёма, пряча на всякий случай руки за спину.

– Дотронься, Дрёмушка, дотронься, – разрешила она, смутив его улыбкой из далекого детства.

Все в ней изменилось, кроме этой улыбки.

Плечо было мягкое, теплое. Статическое электричество, накопившееся в шерстяной кофточке, щелкнув маленькой молнией, укололо подушечку среднего пальца.

– Опасная примета, Георгий Иванович, – сказал Дрёма, отдернув рук, – если все подряд будут прикасаться к человеку – всю удачу уведут.

– Не уведут, – утешил его и Дашу Кукушечкин, – олимпийский чемпион – звание на всю жизнь.



– Ах ты, гордость наша всемирная, красавица наша, умница! – с треском распахнув дверь запретной комнаты, выкатил Сундукевич комплимент, большой и круглый, как снежный ком. – Дай, я тебя, родная, поцелую по-стариковски. Идем со мной, Дашенька, ну их. Ах, какой я из тебя шедевр сделаю, какой шедевр! Медали принесла? Напрасно, милая, напрасно. Надо было принести. Ну, ничего, ты и без медалей хороша, золотая наша. Поздравляю тебя с новосельем. Читал – город тебе квартиру подарил?

– Ой, уж и подарил. Трехкомнатную дали, а двухкомнатную забрали. Больше шума.

– Марк, сними нас с Дашей на память, – попросил Кукушечкин. – Дашенька, это правда, что Вы задержали матерого преступника?

– Ой, уж, господи, матерого! – фыркнула она, смутившись. – Хиляк. Говорить не о чем.

– Потом, потом наговоритесь, – остановил расспросы Сундукевич, увлекая олимпийскую чемпионку в свой закуток.

* * *

– Заказали? – спросил Кукушечкин, усаживаясь за столик под знакомым плакатом, призывающим советских людей освоить целинные и залежные земли. – Мужики, давайте договоримся, ни слова о женщинах. Хорошо, Марк?

– Что же мы будем весь вечер молчать? – удивился Сундукевич.

– Поговорим о работе.

Сундукевич лишь хмыкнул в ответ.

– А, впрочем, почему бы и не помолчать, – осознав тупиковую ситуацию, печально вздохнул Кукушечкин.

Скука воцарилась за столом. Сундукевич рассеянно перелистывал блокнот Дрёмы. Дрёма внимательно разглядывал плакат тридцать седьмого года: «Не болтай!». Работница в красном платке, сурово сдвинув брови, прижимала палец к губам. Кукушечкин с глубокомысленным видом ковырялся в ухе дужкой очков.

– Вот это не шарж, – сказал Сундукевич.



– Не шарж, – равнодушно согласился Дрёма с критикой старого фотографа. – А что делать? Она решает, что шарж, а что не шарж. Вот шарж. А она его забраковала. Почему голова больше туловища? Почему четыре пальца? У меня язык от объяснений в мозолях. Я, Георгий Иванович, честно сказать, вообще не вижу себя в этом проекте.

– Нет уж, дорогой, никто с этого корабля не побежит, – пресек упаднические настроения Сундукевич, – или вместе сойдем в порту или вместе потонем. С гимном на устах. Не так уж и плохо. Доработаете за счет сюжета. Она у нас кто? Торговля она у нас. Да... А чем торгует? Коврами. Пушными изделиями. Нарисуй ее на ковре самолете. Или белочкой с пушистым хвостом.

– Да, втянул я вас в авантюру, – покаялся Кукушечкин, вытирая носовым платком очки. – Это какой-то шабаш.

– Это тебя Ленка расстроила, – с коварным добродушием дьявола открыл ему глаза на причину плохого настроения Сундукевич.

Кукушечкин нахмурился:

– Ленка здесь ни при чем. У меня этих Ленок, сам знаешь, сколько было. Я уже из этих с двумя свидание имел.

– Зацепило! Зацепило! – обрадовался Сундукевич. – Казанова! А знаешь, кстати, кто придумал Казанову? Сам Казанова.

– Помолчал бы, старый волокита, – без настроения огрызнулся Кукушечкин.

Сундукевич гордо поднял голову и с достоинством отмахнулся:

– Импотенты не изменяют.

Подумал и добавил торжественно и веско:

– Ни женам, ни Родине!

Он посмотрел на мрачного товарища и сжалился:

– Ты ее тоже зацепил. Знаешь, что она о тебе сказала?

– Знаю! – взревел Кукушечкин.

– Тихо, тихо! – осадил его, как ретивого скакуна, Сундукевич, но не удержался, чтобы не подразнить. – А все-таки она тебя обскакала. Запомни, Гоша, если мужчина бросает вызов женщине, он всегда проигрывает. Это правило не знает исключений. Не расстраивайся.



– Слушай, Марк, помолчи, а?

– Ой, какой страшный! Не надо так глаза пучить. Лопнут.

– И чем она тебя так очаровала, старый плут? За сколько портрет продал?

– Злой ты, Гоша. Злой и несправедливый. Правильно она тебя бросила. А таким людям, чтобы ты знал, я портреты не продаю. Таким людям я портреты дарю.

– Каким это таким? Каким это таким?

– Хорошее пиво, – сказал Дрёма, – зря вы пива себе не заказали.

– Красавица, – остановил Сундукевич проходившую мимо с задумчивым видом официантку, – где наша форель? Надеюсь, вы послали за ней людей с удочками?

Дрёма сделал очередной глоток из запотевшей кружки и, просветлев глазами, сказал мечтательно:

– Все мы неудачники.

– Лично я себя неудачником не считаю, – посмотрев на него с большим подозрением, холодно сказал Кукушечкин.

– Все люди неудачники, – настаивал на своем Дрёма. – Все, без исключения. Даже олимпийские чемпионы. Даже лауреаты Нобелевской премии. Все, кроме идиотов, конечно.

– Это почему?

– Потому что люди.

– Ты ошибаешься, – возразил Сундукевич, – все люди, без исключения, счастливые. Только они об этом не догадываются. Зависть все портит.

Принесли форель.

– А вот интересно: если бы ты не знал, что это форель, если бы тебе глаза завязали, ты узнал бы, что это форель? – спросил Сундукевич.

– Фррр! Конечно, – отвечал Дрёма.

– А по мне все равно: форель, карась. Карась по мне даже вкуснее, – сказал Кукушечкин.

– Вот! – торжественно поднял вилку Сундукевич. – Вот о чем я говорил! Карась вкуснее форели. Ешь своего карася и будь счастлив. Но если я ем карася, а Кукушечкин форель, я уже не могу быть счастливым. Почему?



– Георгий Иванович, а что это за история с «Авро-рой»? – спросил Дрёма.

– О, это еще та история! – оживился Сундукевич, не обращая внимания на грозно сдвинутые брови Кукушечкина.

– Марк, а не пошел бы ты?

– Куда это?

– Не пошел бы ты в домашних тапочках на Эверест.

– Извини, Гоша. Если я сейчас не расскажу эту историю, я умру. Ты хочешь, чтобы я умер? Выбирай: или сам рассказывай, или расскажу я. Или умру.

– Предатель ты, Сундукевич!

– Импотенты не предают, – быстро парировал несправедливое обвинение Сундукевич, вдохновляясь, – Слушай, Дима, как Кукушечкин себе хакарири сделал.

Было это... Да, давно это было.

Но Кукушечкин уже тогда Кукушечкиным был.

Ни одной жучки во всей республике не было, которая не знала бы, кто такой Кукушечкин.

Ох, его уважали! Ох, его боялись! Скажи, Гоша.

– Пошел пивом капусту поливать. Болтай, болтай, мы сказки любим, – отвечал Кукушечкин сердито.

– Если Кукушечкин выезжал в командировку, вся область тряслась и дребезжала, – продолжал Сундукевич, – в аптеках весь валидол раскупался. Вся область волновалась: зачем едет Кукушечкин, казнить или миловать?

Не Кукушечкин, а рука Господня.

Приезжает. Левой ногой главный кабинет открывает. «Здравствуйте, Георгий Иванович! Очерк или фельетон?» – «Очерк».

Уф, от души отлегло!

Везут его на белой «Волге» к герою. Побеседует с ним Гоша, а, прощаясь, и говорит: «Много не обещаю, а «Дружба народов» будет».

Но все больше Героя обещал.

И никогда не ошибался.

Приедет в другой раз. «Очерк или фельетон?» – «Фельетон. Везите меня к этому негодяю, бывшему первому секретарю такого-то райкома партии». – «Помилуйте, Георгий Иванович, да отчего же к бывшему?»



Везут его на черной «Волге». Народ сторонится и руки втихара за спиной потирает. Ясно: выехал Кукушечкин на охоту. За чьей-то крупной головой.

Выходит очерк – через месяц Указ: наградить такого-то за такое-то таким-то орденом за особые заслуги перед прогрессивным человечеством.

Выходит фельетон – через неделю «по следам наших выступлений» убрать к чертовой бабушке и перевести к черту на кулички.

А вот ты спроси, Дима, отчего такая пронизательность? Спроси, спроси.

– Отчего? – спросил Дрёма.

– Правильный вопрос. По существу. Отвечаю, мой любопытный друг. Потому наш Кукушечкин был таким пронизательным, что пил водку с друзьями. Один друг работал в наградном отделе правительства, а другой – в партийной комиссии ЦК нашей партии.

– Давай, старый предатель, ври, ври, – поощрил Сундукевича Кукушечкин, а Дрёме посоветовал. – Больше его слушай.

– И вот достиг Кукушечкин такой всенародной славы и благосклонности начальства, что отослали его личное дело в самые верха.

– Прямо Баян, – хмуро поощрил Кукушечкин рассказчика.

– Кем тебя хотели утвердить, Гоша, редактором «Птицеводство»? Ах да! Собкором «Правды». Чудная должность. Ты, Дрёма, даже не представляешь, какая это была чудная должность! Новая квартира в центре с расширенной жилплощадью. Кабинет. Машина. Комната для телетайпа. Телетайпистка. Сам себе хозяин. Полная автономия и всеобщее уважение.

Короче говоря, стоит Кукушечкин одной ногой в раю.

А в это самое время «Аэрофлот» открывает новое сообщение, связывает воздушным мостом наш солнечный город с колыбелью революции городом-героем Ленинградом.

И напросился Георгий Иванович написать репортаж об этом событии.

Репортаж он, конечно, настрочил заранее. Сдал



в секретариат. Как позвоню, говорит, уточню пару фамилий – ставьте в номер.

Звонит: ставьте, а я задержусь, беру интервью у блокадников.

Между прочим, наш Кукушечкин, хоть и родился после войны, тоже блокадник. «Помню, как нас, малюток, по дороге жизни вывозили. Бомба слева, бомба справа, бомба по ходу. Полуторка под лед»... Лысина многих вводила в заблуждение. Старушка-вахтерша от слез не просыхала. Он и сейчас врет – заслушаешься, а тогда соловьем заливался.

– Тебя мне все равно не перевернуть, – вставил короткий комментарий Кукушечкин, с ревнивым интересом слушая истории из собственной жизни.

– Короче говоря, вывезли его из блокадного города лет за десять до рождения. На подводной лодке подо льдом Ладожского озера. Вахтерша верила и брюки ему, подлецу плешивому, за спасибо гладила. И глаза на его антиобщественное поведение закрывала. Он же сирота. Его местная семья приютила и воспитала. Не верите? Дайте мне домбру, я на ней марш «Прощание славянки» сыграю. А потом мама из Захолуйска приехала. Это как понимать? Это она меня потом отыскала. По публикациям в газете. Нашла сына через двадцать лет. Вахтерша снова в слезы. Тебе бы, Гоша, сериалы писать. Такое мыло гнал!

– А что «Аврора»? – вернул Дрёма увлекшегося излишними подробностями рассказчика к основной теме.

– Короче говоря, звонят из Смольного в редакцию: «Работает у вас Кукушечкин Георгий Иванович?»

Оказывается, блудный сын города-героя Ленинграда, проходя мимо «Авроры» со своим коллегой журналистом, таким же баламутом, как и он, сказал:

«Вася, нас не поймут, если не посетим».

Вася подумал и согласился.

Пристроились они к заграничной делегации, поднялись на борт.

Оба были уже теплыми.

Прониклись моментом.

А была у них бутылка водки для разговора.



«Вася, нас не поймут, если мы не отметим это событие».

Вася подумал и согласился: не поймут.

Примостились возле орудия, из которого стреляли по Зимнему, выпили за мировую революцию.

«Давай, – говорит Кукушечкин, – попросим мичмана еще раз по Зимнему шарахнуть. А хотя бы и холостым».

«Давай», – говорит Вася.

Но мичман оказался непьющим.

«Граждане, – говорит, – спрячьте спиртное и позвольте помочь вам сойти вон по трапу. Не позорьте себя и советскую родину перед иностранцами».

Кукушечкину бы, кланяясь и прося пардону, задом, задом по трапу. А он возбужать начал: а ты знаешь, кто я такой? А кто ты такой? Я специальный корреспондент солнечной республики. Ах, ты специальный корреспондент! Прекрасно!

Свистнул в дудку. Наряд милиции. Сопротивление властям. Слова разные. Бутылка разбивается о палубу. Иностранцы фотоаппаратами шелкают. Международный скандал.

Товарищи из Смольного, переговорив с редактором, звонят в кутузку и просят отправить Кукушечкина первым же рейсом в братскую республику. Наложённым багажом.

Прилетает. Звонит мне с проходной: «Как там настроение у главного?»

«Ждет, – говорю, – с нетерпением. Секретаршу за цветами послал».

Фронтовик-редактор ходит красный по кабинету, скрипит протезом. Уволю! Сошлю к чертовой матери в районную газету! Где у нас самый паршивый район в самой отстающей области? Тащи его сюда за вихры!

Какие вихры, Фёдор Михайлович?

Тащи, за что ухватишь.

Упирается.

Но заташили.

Посмотрел редактор на Кукушечкина, открывает молча сейф, достает пять рублей: «Сходи, похмелись, альбатрос. А с утра, как штык. Говорить будем».



И я с ним пошел за компанию.

Приказ есть приказ.

Сели в кафе. Заказали. Чокнулись. Ожил Кукушечкин. И давай мне о своих подвигах рассказывать. Упоил, говорит, всю команду славного крейсера «Авроры». До забвения. Вместе с двумя иностранными делегациями. А потом уговорил капитана шарахнуть из орудия главного калибра по Смольному. Хотели холостым, да снаряд перепутали. Тут их всех и повязали.

– Доволен, да? Пожилой человек, – пристыдил Кукушечкин Сундукевича. – Надеюсь, Дима, ты не думаешь, что все это правда?

– Что такое правда, Георгий Иванович? – отвечал Дрёма. – Правда – лишь одно из заблуждений. История столько раз переписывалась, что нет никакого смысла ее изучать. Надо сразу придумывать свою.

– А ты, оказывается, циник, Дима, – удивился Сундукевич. – Но это не самое плохое в тебе. Хуже, что ты форель пивом запиваешь.

– Нет, дорогой Марк Борисович, запивать пивом форель – не самое ужасное. Самое ужасное, что мы с вами занимаемся ерундой.

– Что ты конкретно имеешь в виду?

– Книгу я конкретно имею в виду. Уберите из нее пять-шесть человек – и придется менять заглавие: «Сто самых скучных тёток страны».

– Какая тебе разница? – сделал скучное лицо Сундукевич. – Не мы заказываем гимн. Мы его исполняем. Что заказали, то и исполняем.

– Да. Но подписи будут стоять наши, – возразил Дрёма, – краснеть придется нам.

– И что ты предлагаешь?

– Ничего не предлагаю. Просто странно: среди выдающихся женщин, очень мало выдающихся женщин. В основном, бывшие челноки, крутые денежные тётки.

– Дима прав, – вмешался в спор приунывший Кукушечкин. – Мы, в конце концов, не лакеи. В конце концов, мы авторы. Я знаю очень много замечательных женщин, которых почему-то нет в списке.

– Я тоже знаю, – согласился с ним Сундукевич, – но



что ты предлагаешь? Расширить список до бесконечности? У нас плотный график. Сроки. Конвейер. Что вы, ребята, как дети. Это заказ. Наше дело – честно его выполнить. Обыкновенная халтура. Мало мы с тобой халтуры переделали, Гоша?

– Много, Марк, много. Я предлагаю составить свой, дополнительный, список и предложить Двужильной.

– Нереально, Гоша. Физически не успеем обработать к сроку.

– Не думаю, что список будет большим. Десять–пятнадцать дам. Не более.

– Хочешь совет, Гоша? Не вмешивайся в женские дела. Почему женщин, которые нам нравятся, не включили в список? Наверное, есть причины. Это политика, Гоша. Предвыборные дела. Темный лес, вязкое болото.

– Мы никому ничего не будем навязывать. Но предложить должны. Если мы, конечно, не лакеи.

– Что ты заладил – лакеи, лакеи. Далось тебе эти лакеи. Я – что? Против? Я – за. Давайте побыстрее заканчивать с этой мурой. Мне уже улыбаться больно. Думаешь, легко сделать сто портретов и ни разу не повториться? Не на паспорт снимаю.

– Хорошо. Составляем свой список, – сказал Кукушечкин, доставая блокнот. – предлагайте. Один голос против – не принимаем. Идет? Составим, отдадим Саше. Как она решит, так и будет. Зарежет – ее дело. А наша совесть будет чиста.

– Настя Маркова, – предложил Дрёма.

– Кто такая? Почему не знаю? – спросил недовольный Сундукевич.

– Художница. Около тридцати лет. Инвалид с детства. Прикована к коляске. Оформила несколько детских книжек, учебников. Участвует в выставках. Работает с детьми-инвалидами. Имеет свой сайт. Известна во всем русскоязычном мире.

– Ну, инвалид. Ну, рисует. И что? – спросил Сундукевич.

– Так она еще и слепая, – сказал Дрёма.

– Как это – слепая и рисует? – удивился Сундукевич.

– Потому что выдающаяся, – пояснил Дрёма.



– Знаю. Пойдет, – сухо одобрил кандидатуру Кукушечкин.

– Как она на личико? Ничего? Пойдет, – согласился Сундукевич.

В дополнительный список после жесткого отбора вошли девятнадцать женщин.

Просмотрев его, Сундукевич сказал:

– Все это замечательно. Женщины выдающиеся. Но есть у меня сомнение.

– Что такое? – насторожился Кукушечкин.

– Публика все больше безденежная.

– При чем здесь это? – удивился Дрёма.

– Ну, не знаю. Может быть, и ни при чем, – ответил мудрый Сундукевич.

* * *

– Привет. Неделью не могу дозвониться. В горах был?

– В подполье.

– В каком смысле?

– В прямом. В подвале работаю. Сигнал на мобильный не доходит. Рад слышать твой грудной, волнующий голос. Как дела?

– Февраль кончается. Пора деревья обрезать. Какие у тебя планы на воскресенье?

– Уговорила. Встречаемся как обычно – на конечной девятого в восемь.

– Давай в семь.

– И что тебе не спится? Слушай, приезжай? Поедем от меня вместе. А то просплю.

– Вот если приеду, точно проспишь.

– А может быть, я к тебе?

– Не надо.

– Почему?

– Клеопатра собралась рожать.

– Ну и пусть рождает. Ты-то при чем?

– Им нужно носики, ротики протереть фланелькой. Как это при чем?

– Вот пусть Клеопатра и протирает. Зачем вмешиваться в природу?



– Ты же знаешь, у нее язычок короткий, она даже свои соски, как следует, облизать не может.

– Ты собираешься облизывать ей соски?

– Очень остроумно.

– Послушай, тебе нужен профессиональный помощник. Я, как-никак, медицинский закончил.

– Обойдусь. Я маму позвала. Все. Пока. Кажется, начинается.

Утром сердитая, не выспавшаяся Гуля сидела на пенке карагача, подстелив под себя «Ковчег новостей» и свесив ноги в сухой арык. Курила без удовольствия третью сигарету. На ней был лыжный комбинезон и горные ботинки. Большая, теплая дуреха с вечно мокрыми глазами. Она сурово посмотрела на Дрёму из-под капюшона зареванными очами и бросила окурочек в арык:

– Спишь долго.

Поднялась и поцеловала его, дохнув табаком.

– Трамвай в пробке застрял, – соврал Дрёма.

– Пешком нужно ходить, чтобы не опаздывать. Три маршрутки пропустила. Думала – не дождусь.

– Оценилась Клеопатра?

– Родила.

– Сколько?

– Шесть.

– Кому раздавать будешь?

– На двух мальчиков желающие есть. Тебе не нужно девочку?

– Спасибо. Мне с Олигархом горя хватает. Каждый год у тебя эти заботы. Поберегла бы ее от романтических свиданий.

– Почему это я должна лишать ее материнского счастья?

– Один год обошлась бы без материнского счастья.

– Много ты в этом понимаешь.

Подъехала маршрутка. Они вошли первыми и заняли самые плохие места на заднем сиденье. Поставили рюкзаки на колени. Она раскрыла слегка помятую газету. Он – самоучитель испанского языка.

– Кстати, на самом опасном месте сидишь, – сказал Дрёма.



– Хочешь сесть у окна?

– Да ладно, сиди. Что мне зря жизнью рисковать.

Маршрутка, как бревно на лесосплаве, медленно плыла в автомобильном заторе.

– Останови, бабушка бежит, – крикнула Гуля водителю.

Через бульвар бежала женщина в солдатском бушлате. Старый абалаковский рюкзак мотался и подпрыгивал за спиной. По фигуре – старуха. Но бежала легко и невероятно быстро для своего возраста.

– Спасибо, родной, – поблагодарила она водителя.

Даже не запыхалась. Розовая, свежая, как осеннее яблоко, счастливая, поздоровавшись с Гульнарой, она села рядом с Дрёмой, пристроила под ноги рюкзак и, покопавшись в нем, достала карманную библию.

Читала без очков.

Нонпарель. Раньше Минздрав запрещал использовать такой мелкий шрифт в газетах. Дрёма, заглянув в столбцы, не разобрал ни слова.

Надо бы зрение проверить.

Хотя в его возрасте уже неприлично иметь стопроцентное зрение.

– Как вы это все разбираете? – удивился он.

– Слово божье, – по-своему истолковала его изумление спортивная старушка. – Здесь все есть. Я, кроме этого, ничего больше не читаю. И телевизор не смотрю. Сгорел он у меня, слава богу.

– Шрифт уж больно мелкий, – пояснил свой вопрос Дрёма.

– У меня очень неважное зрение было, – обрадовалась собеседнику глазастая пассажирка. – Один глаз – минус три, другой – минус три с половиной. На левом глазу катаракта намечалась. К операции готовилась. В глаза алоэ с медом капала. А как-то открыла Книгу – читаю, читаю, и вдруг замечаю, что читаю без очков. Удивительно. Я после того случая ничего, кроме Книги, не читаю. Вечером нитку в иглолку вставляю. Удивительно...

Бабуся говорила, говорила, а Дрёма, приткнувшись к надежному Гулькиному плечу, задремал под ее говорок, шуршание газеты и нервный шум за окном маршрутки.



Они вышли у кургана, нагроможденного из валунов. По бугристому полю ползали, пыхтя и лязгая металлическими костями, старенькие экскаватор и бульдозер. Надрываясь и трясясь, экскаватор выкорчевывал из земли клешней со стертыми зубьями камни, а бульдозер, гремя железом, катил их к пирамиде.

Утренние горы казались выше, чем обычно. Грохот камней о железо вызывал тоскливую тревогу. Если прорыть шурф, земля, по которой шли Дрёма с подругой, была бы похожа на тельняшку. Слой камней, перемешанных с песком и глиной, слой чернозема, снова – камни, песок и глина. И так многократно. Раз в столетие по ручью сходил мощный грязекаменный поток, покрывая цветущие земли. Жизнь медленно возвращалась снова для того, чтобы однажды быть истребленной селом.

Дачный массив, стоящий в тени гор на слоеном пироге из катастроф и человеческого забвения, своей хрупкостью и незащищенностью вызывал острое чувство жалости и опасности.

– Скоро всю землю застроят. Какие здесь подснежники были, какие степные грузди, – проворчала Гулька, закуривая. – Если бы ты знал, как я этих дачников ненавижу.

– Какая сердитая! А мне, наоборот, дачники нравятся. Особенно одна из них. Вот только курит много.

– Отлипни, липучка.

Они перешли через дорогу к воротам, сваренным из труб и арматуры, рядом с которыми, под грозным запретом: «Свалка мусора запрещена. Штраф 5000 тенге» была навалена громадная пирамида хлама. Из отбросов торчала обломанная и обугленная ива. Беспородные собаки, ссорясь, копались в куче ароматной дряни. Увидев людей, они подняли голову, но, узнав Гульку, скатились вниз и, приняхиваясь к рюкзакам, закружились хороводом, завияли хвостами.

– Отстали, беспризорники! Без лап! – сердилась Гулька, доставая из рюкзака пакет с куриными косточками и вытряхивая его на обочину. – Я тебе сейчас прыгну, я тебе прыгну! Что за фамильярность такая. Всю перепачкал. А где рыжий?



– Рыженького живодеры забрали. Здравствуйте, – сказала, выглядывая из окна киоска, сторожика, – самых доверчивых да ласковых ловят.

Собаки, несправедливо поделив подачку, сопроводили их до калитки дачи и разлеглись на дороге, встреченные негостеприимным лаем Чарли, несчастного инвалида. Пес разрывался на части. Надо было одновременно грозно рычать на возможных захватчиков его территории и, повизгивая, размахивать хвостом, приветствуя долгожданную хозяйку.

Взобравшись по лестнице на старую яблоню, Дрёма спросил:

– Что резать, хозяйка?

– Видишь волчок, свечой торчит?

– Это? – похлопал толстую ветвь Дрёма. – Жалко.

– Режь!

– Как скажешь, хозяйка.

Надпилив ветвь со стороны наклона, чтобы та при падении не расщепила ствол, Дрёма перешел на другую сторону. Опилки посыпались на стоящих внизу Гульку и Чарли.

Голая ветвь упала, освободив полнеба, наискосок по которому струился дымок из трубы растопленной печки.

– А теперь – верхушку. Ту, что внутрь растет.

– Ничего же не останется.

– Режь! – сердито приказала Гульнара, отгаскивая к забору шуршащую по снегу ветвь.

К обеду после жестокой ампутации сад стал заметно ниже, жиже и просторнее. Деревья со срезами, покрашенными кровавым суриком, выглядели инвалидами, карикатурами на деревья, но хозяйке результат понравился.

– Печь прогорает, принеси дров, – приказала она.

Но когда Дрёма с охапкой дров вошел в домик, она напустилась на него:

– Ты где таких сырых набрал? Специально что ли мочил?

– Какая разница? Сгорят. Послушай, Гуль, почему бы нам не оформить отношения?

– Я согласна. Ты все говоришь правильно. Только не пойму о чем.



– Я говорю: давай оформим отношения, и ты будешь пилить меня на законных основаниях.

– Какая поэзия! Оформить отношения! – фыркнула она. – Пилить мы будем после обеда сучья на дрова. Оформить отношения! Ты уже оформлял отношения. Я оформляла отношения. И где они, наши отношения? Какое к нам имеют отношение? По пирожкам соскучился? Я пирожки печь не умею. Мой руки и садись за стол. Отношения!

– Я не буду. Капни немножечко в чай.

– Зря. Хороший коньяк, – окончательно разочаровалась в Дрёме Гулька. – Скучно с тобой, Дрёма. Не пьешь, не куришь, к даме не пристаешь.

– Пить? Курить? Я что – женщина? – оскорбился Дрёма.

Гульнара выпила, зарумянилась и холодные глаза ее потеплели.

– Послушай, Дрёма, ты Ирку все еще любишь?

– Кто такая? Почему не знаю?

– Я серьезно.

Она закурила. Посмотрела в окно. А когда женщина смотрит в окно, время останавливается.

– Снег пошел, – сказала она.

И долго длилась приятная пауза. Тишина, горячий чай, снег за окном. О чем говорить?

– А я своего не могу забыть. Хотя вспоминать нечего. Знаешь, как он меня называл?

– Да ну их, Гуль.

– Резиновой женщиной называл. Он-то позарился на мои габариты. Думал, матерью-героиней стану. Старался, старался. Напрасно. Лучше говорит яблони на Марсе сажать. Сейчас упущенное время наверстывает. Третьего рожать собирается.

– Налей и мне, – сказал Дрёма.

– Слушай, может быть, мне дачу продать? Зачем мне дача?

– Не выдумывай. Сейчас земля ничего не стоит. Отдашь за бесценок. Подожди немного. Через несколько лет и земля, и недвижимость подорожают, тогда и продашь. Я бы на твоём месте еще и соседскую пустошь прикупил. Сейчас ее даром отдадут.



– Какой ты деловой. Просто умора. Думаешь, подорожает?

– Никакого сомнения. Город все ближе к дачам подползает.

– Я бы продала. Чарли жалко. Продашь, какому-нибудь козлу, а он его выгонит. Его же уже бросали. Уехали и бросили. Устала я, Дим, каждый день то до работы, то после работы на дачу мотаться.

– Не мотайся.

– Чарли же с голоду сдохнет.

Сытый инвалид Чарли, спящий под столом, услышав свое имя застучал обрубок хвоста об пол. Он отдыхал, решив, что настала очередь хозяйки охранять его территорию от посягательств бездомных бродяжек.

– Давай составим расписание. Будем обслуживать Чарли через день.

– Скучный ты человек, Дрёма. Хотела пореветь, да с тобой разве поревешь.

– Реви, реви. Я не против.

– Смотри – иракские скворцы уже прилетели, – удивилась она.

– Да они и не улетали, – ответил Дрёма, рассмотрев сквозь редкий снегопад сидящую на столбе коричневую птицу.

– У, бандит длинноносый! Маджахет!

Дачники не любили иракских скворцов.

Это были завоеватели, оккупанты, грабители, вытеснившие привычных черных скворцов. Они прилетели во время «Бури в пустыне», напуганные клубами дыма горящих нефтяных скважин. Вдвое крупнее обычных скворцов, они напрочь вытеснили старожилов. Горожане не заметили ужасной птичьей войны, но дачники и селяне были свидетелями наглого вторжения и люто ненавидели пришельцев.

В отличие от милых скворушек, это были удивительно прожорливые твари. Когда подходила пора созревания черешни, на коньке крыши появлялся разведчик. Время от времени он слетал со своего наблюдательного поста, пробовал ягоду и снова возвращался на место. Как только ягода поспевала, он издавал гортанный клич – пора! –



и тут же невесть откуда налетала шумная орда мароде-ров. Птицы тучей облепляли черешню и – фррр! – с нее частым градом сыпались косточки. Появлявшиеся в выходные дни дачники с прискорбием созерцали сугробы из косточек под деревьями или обглоданные кисти винограда. На эту наглую птицу не было управы. Она не боялась ни блестящих предметов, развешенных по саду, ни вертушек, ни других пугал. Было лишь одно средство от-вадить налетчиков от участка: убить разведчика и выве-сить его на видном месте в острастку остальным. Но кто же решится на такое зверство? Впрочем, не таким уж ра-дикальным было и это средство. Иракские скворцы, пе-режившие человеческую и птичью войны, ничего не боя-лись.

– Послушай, Гуль, а что это за глазастая бабулька с нами в маршрутке ехала?

– Марья Алексеевна? Марья Алексеевна замечатель-ная старушка.

– Чем же она замечательна?

– Одинокая женщина. Бездетная. Подруга у нее умер-ла. Шесть детей оставила. Она им мать заменила. Всех вырастила, всем высшее образование дала. Сейчас снова живет одна.

– Дети не помогают?

– Почему не помогают? Помогают. Она всю их по-мощь на бездомных собак тратит. Приют для собак на своей даче открыла. Замечательная женщина.

– Самое замечательное, что никто о ней не знает.

– А все-таки ты мне не ответил: любишь ты еще Ирку?

– У меня знакомая есть. Знаешь, что она отвечает в по-добных случаях? Она отвечает: «Отлипни, липучка».

Чарли жалобно заскулил во сне. Ему, наверное, при-снилось, как хозяйка продала его вместе с дачей новому хозяину.

* * *

Вечером в понедельник у фотографа Сундукевича сда-ли нервы и он закатил небольшой, элегантный скандал.

– Гоша, скажи, пожалуйста, отчего Дрёма ставит



автографы на своих рисунках, а ни я на своих фотоработах, ни ты под своими текстами автографы не ставим? Почему такая привилегия?

– Марк, о чем ты? – удивился Кукушечкин. – Так принято.

– Это несправедливо, – упрямо стоял на своем заблуждении Сундукевич.

– Ой, Марк Борисович, да я только рад не ставить под этой халтурой свою подпись. Меньше краснеть придется, – ответил Дрёма с достоинством, сильно замешенном на обиде.

– Это почему халтура? – обиделся в свою очередь Кукушечкин. – Почему халтура?

– А что это такое? – отвечал Дрёма, швыряя блокнот на сиденье стула. – Шедевр? Шедевры только господь Бог и Марк Борисович делают.

– И чем же тебе не нравятся мои работы? – прищурившись, тихо спросил Сундукевич.

– Нравятся, всем нравятся, – отвечал Дрёма с усмешкой, – главное, они клиенткам нравятся. А я, уж извините, устал суетиться под клиентками. Надоело!

– Стоп! – вскинул руки Кукушечкин, как дед на плакате Моора «Помоги голодающим Поволжья». – Стоп!

– Нет уж! – обрадовался Сундукевич оскорблению. – Нет уж, Гоша, пусть он скажет, что ему не нравится в моих работах?

– Все мне в Ваших работах нравится, Марк Борисович. Вы – наше национальное достояние.

– Тоже мне Жан Эффель нашелся!

– Стоп, стоп! Марк, мы же договорились: Дима не ставит автограф под шаржами. Хочешь совет? Никогда не спорь с людьми моложе себя. Мы же договорились: они всегда правы.

– Это почему?

– Потому что нас не будет, а они будут. Молодые нас просто переживут. Вот почему они всегда правы.

– Да, жизнь продолжается, – мрачно согласился Сундукевич, – и продолжается она без нас. Ты знаешь, что она сказала? Папка, говорит, что ты со своей мыльницей перед миллионершами волчком крутишься? Не позорься.



Выбрось. Хочешь я куплю тебе настоящую камеру? Мыльница. Представляешь?

– Обиделся? – спросил Кукушечкин с печальной усмешкой. – А что ты хотел, старый? Девочка просто мстит тебе за свое счастливое детство.

– Что мне обижаться? Камера у меня действительно старая.

Причина плохого настроения Сундукевича появилась после обеда. В ее манере одеваться, двигаться и вести себя читалось откровенное желание быть зверски изнасилованной. Причем самым извращенным образом. Выпуклые прелести ее были туго обтянуты и мелко сотрясались под упругие шажки. Вся она шуршала темной материей и мелодично звенела драгметаллом.

– Люсенька! Красавица! Золотце мое! Очень рад тебя видеть! Очень рад! Очень! – засуетился вокруг нее Сундукевич.

Но суетился как-то робко. На дальних подступах.

– Я тоже рада, папка, – отвечала брюнетка, холодно отстраняясь от него, и, пронзив Дрёму мимолетным, но пристальным взглядом, сердечно обняла Кукушечкина:

– Привет, дядя Гоша! Это тебя я должна познакомить с коллективом и продукцией кондитерской фабрики?

У нее даже голос – темный, с легкой хрипотцой, изобличающей курильщицу – посветлел.

– Вот только не надо мне угрожать, – отвечал Кукушечкин, нежно заключая роскошную женщину в объятья.

– А что такое? Боишься красивых женщин?

– Нет, я боюсь диабета.

– За какие заслуги перед человечеством, красавица моя, умница моя? – пытался обратить на себя внимание Сундукевич.

– Успокойся, папка. Заплатила по штуке баксов за страницу – вот и все заслуги перед человечеством, – отвечала она небрежно, смутив своей откровенностью творческий коллектив, но даже не заметив этого.

– Тысячу баксов за страницу, – в тихом потрясении повторил Кукушечкин.

– Ах, ты моя умница, ах, ты моя скромница, ах, ты



моя красавица, – лепетал Сундукевич, – а я читаю – Люсьена Кошей. Смотрю – ты. Замуж вышла?

– Разошлась я со Змеем Горынычем. Фамилию на память оставила.

– Ах, ты моя красавица...

– Отлипни, папка, а? Дай с дядей Гошей поговорить.

– Подождет дядя Гоша, наговоришься еще. Идем ко мне. Я из тебя шедевр сделаю.

– Сделал ты уже из меня шедевр. Снимать будешь анфас. В профиль нос из книги торчать будет. Думаю, дядя Гоша, пластическую операцию сделать, – она прикрыла нос – не такой уж и большой – рукой, униженной перстнями. – А?

– Не выдумывай, кокетка, – отвечал Кукушечкин, прожывая ее томным взглядом.

– Дочь Марка Борисовича? – спросил Дрёма, когда закрылась дверь запретной комнаты.

– Красивые ноги в женщине все, – рассеянно отвечал Кукушечкин, – Красивые ноги – красивая походка. Гордый стан. Роскошная женщина. Как она тебе?

– Как «Черный квадрат» Малевича, – отвечал Дрёма. – Потрясает, притягивает, а чем – не поймешь.

– Дочь, дочь. От первого брака. Не вздумай Марка о ней расспрашивать, – сказал Кукушечкин, по лошадиному кивнув головой, будто отгоняя назойливого овода.

Отчего-то жалко Дрёме стало Сундукевича. Весь такой аристократичный. А коленки трещат. И пальцами постоянно хрустит. Весь трескучий, как сухой плетень. Наверное, красивым людям особенно неприятно стареть.

* * *

С Дрёмой происходило нечто ужасное. Он стремительно терял чувство юмора. Становился раздражительным, обидчивым и мнительным. Дошло до того, что однажды в гневе пнул самого Олигарха. Жизнь его потеряла всякое удовольствие и неотвратимо превращалась в ад. С тех пор, как Дрёма связался с Кукушечкиным и Сундукевичем, его карикатуры не только перестали быть смешными, но и утратили всякое остроумие.

Раньше он никогда не задумывался, как приходят



темы рисунков. Вдруг его распирало неудержимое веселье, сама собой возникала искра – и мотор начинал работать. Карикатура появлялась как нарисованный анекдот. Спонтанно.

Сейчас же он долго морщил лоб, тупо смотрел в потолок, ходил по комнате, как белый медведь, сошедший с ума от жары, в тесной клетке. Выкручивал мозги половой тряпкой. Но вымучивал такое убожество, что всякий раз краснел, рассматривая собственные рисунки в газете.

Раньше его карикатуры лучились юмором, а главное были многослойны, как чемодан контрабандиста. Отличались от прочих скрытым смыслом. И часто подтрунивали над содержанием статей, которые призваны были всего лишь иллюстрировать. Над его карикатурами можно было не только смеяться, но и думать. Его поклонники – вольнодумцы и диссиденты – встречая его, подмигивали и показывали большой палец. И вдруг это легкое, веселое дело превратилось в подневольный труд. Туриста-байдарочника приковали к галере.

– Послушай, Лёня, как к тебе в голову приходят темы? – спросил он однажды, не выдержав муки, Сербича.

– Не придуривайся, – пророкотал великий карикатурист, не отрывая глаз от рисунка.

– Я серьезно.

– Вот когда буду знать, брошу этим заниматься, – отвечал тот, – буду книгу писать.

– А я больше не чувствую удовольствия, – пожаловался Дрёма.

– Я тебя предупреждал: не связывайся с женщинами, не совершай самоубийства. Карикатура и женщины – понятие несовместимое, – посочувствовал ему Сербич.

Но в голосе его не было жалости.

– Ты знаешь, Лёня, недавно я внимательно присмотрелся к себе. Ты даже не поверишь, как мало в себе я обнаружил себя. Чужие мысли, чужие книги, чужие взгляды. Все чужое, наносное, как в норе у суслика. С мира по зернышку.

– Мало, говоришь? Тебе повезло – хоть что-то обнаружил. В других своего вообще ничего нет. Однако живут и многие процветают. Это не редкость. Это правило.



Он вспомнил этот разговор, набрасывая шарж с очередной тыквы.

Это была одна из тех румяных, дебелых и привлекательно вульгарных особ, что в советское время, смущая пышными формами горячих уроженцев Кавказа, восседали за кассами в кафе. Таких фарфоровых женщин обожал Ренуар.

Милая, всегда готовая сладко зевнуть от перманентной скуки, особа. Белая негритянка.

– Вот я и думаю, Гоша, пароход купить или фабрику. Куда посоветуешь вложить деньги?

– Купи, Тома, нашу газету, – посоветовал Кукушечкин, криво усмехнувшись.

– Я бы купила. Смысла не вижу. Кому нужна ваша газета? – отвечала ренуаровская дама добродушно, без всякого подтекста и злорадства.

– Послушай, Тома, а зачем ты хочешь попасть в эту книгу? – спросил Кукушечкин. – Зачем тебе это нужно?

– А мне это не нужно. Сашенька попросила. Коммерческий проект. Сашеньке нужны деньги на выборы. Надо выручать подругу.

– И много заплатила?

– Как будто не знаешь.

– Не знаю.

– Ну и знать не надо.

– И все платят?

– А зачем мне это знать? Спроси у Сашеньки. Думаю, первая леди, олимпийская чемпионка, музыкантши, чиновницы – бесплатно. А у остальных дам – какие заслуги? Остальные за деньги.

– Бизнес на тщеславии, – кивнул головой Кукушечкин, – хорошо задумано. Ты, кстати, не надумала мемуары писать? Надумаешь, вспомни о старом друге.

– Да уж, что старый то старый, – согласилась она и, посмотрев на часы, решила, что пора приступать к делу. – Ну, включай свой диктофон, спрашивай. Через двадцать минут за мной муж заедет.

– Кто у нас муж?

– Муж у нас мой личный водитель. На два года младше моего старшего сына. Ты ему не конкурент, Гоша.



* * *

– Ешь петрушку – мужская трава, – грустно посоветовал Кукушечкин старому другу.

– Стогами ем. Ерунда, – отвечал Сундукевич. – Я знаю средство понадежнее.

– Самое надежное средство – двадцать лет, – прервал его, не дослушав, Кукушечкин.

– Это анекдот? – спросил Сундукевич.

– Это горькая правда, – сказал Кукушечкин.

– Ну, вот, дожили, – печально подвел Сундукевич итоги жизни, – нас не только твоя бывшая жена, но и наша общая любовница обскакала. Что же это такое творится на белом свете, Гоша?

Общая печаль примирила бы старых друзей, но у Сундукевича в ожидании фирменного блюда «Р.В.С.» – шницеля «Целинного» – зачесался язык.

– Ах, Тома, Тома, – вздохнул Сундукевич, его стальные глаза налились поэтической синью, и он предался воспоминаниям. – Прихожу как-то домой, а моя незабвенная теща Прасковья Ивановна и говорит: «Звонил твой приятель Гоша, баламут, велел передать: как только Марк придет – пусть ко мне бежит. Аккумуляторы у него сели, подзарядить надо».

Как мы без сотовых телефонов жили?

Взял я два огнетушителя в поликлинике.

– Огнетушители? В поликлинике? – переспросил Дрёма.

– Две бутылки болгарского вина в универсаме «Столичный», – пояснил Сундукевич и продолжал. – Захожу к приятелю Гоше. Жара. Гоша в семейных трусах, ноги кривые, волосатые. На диване девица в лифчике сидит. Гоша протягивает мне авоську: «Дуй за портвейном. На батарее нету снарядов уже». – «Обижаешь», – отвечаю и достаю из кофра два снаряда. «Тогда садись».

Сидим, гуляем.

Вдруг в дверях ключ хрустит.

Заходит Ритка, несчастная жена этого раздолбая.

У Гоши зубы, как клавиши аккордеона:

«Ритуля, а у нас гости!»

Ну, я и говорю девице в лифчике:



«Чего расселась? Собирайся. Погостили и хватит. На-
девай юбку».

Ритка злая. Говорит прекрасной незнакомке:

«А вы знаете, девушка, что у Марка есть семья? Не
стыдно, Марк? А с тобой, Георгий мы поговорим отдель-
но. Сводник!»

Вышли мы от Гоши. Спрашиваю девицу:

– Тебя как зовут?

– Тома.

– Так я и думал. Пойдем в «Ромашку»?

Утром звонит Гоша:

– Марк, Рита тобой очень недовольна. Давай так: боль-
ше ты ко мне проституток не водишь. Договорились?

Через пять минут снова звонит:

– Где она?

– У меня на даче.

– Ладно, – чувствую, обиделся, – дарю. Не последняя
стюардесса в аэропорту. Еще найдем. А тебе ничего до-
рогого и светлого я бы не доверил.

Вот проходит быстротекущее время. Снова звонит
мой друг Гоша. Опять проблемы с аккумулятором. Иду в
поликлинику.

Только я нажимаю кнопку, дверь распахивается, и вы-
бегает прямо на меня Ритка с клюшкой.

Замахивается, как Фирсов для щелчка.

Я в лифт – шмыг!

Как она клюшкой, да от всей души, шарахнет по ка-
бине!

На волосок от гибели был.

Оказывается, в ожидании меня Гоша развлекался с
Томкой на диване и в пылу любви не услышал, как вошла
Ритка с продуктами и сыном. У Сашки тренер заболел,
и занятие хоккейной секции отменили.

Ага, заходит Ритка, а Гоша и говорит:

– Это девушка Марка. Марк сейчас придет.

Ритка авоську на пол ставит, берет у сынишки клюш-
ку и спрашивает:

– Если это девица Марка, отчего ты валяешься с ней
на диване?

А говорят, что у женщин нет логики.



И тут вхожу я.

Веселое время было. А, Гоша?

Ах, Тома, Тома...

– Дело не в Томе, – грустно отвечал Кукушечкин. – Пора о вечном думать, а мы черти чем занимаемся.

– Вы правы, Георгий Иванович, – поддержал его Дрёма, несчастный карикатурист, потерявший чувство юмора, – всерьез нужно воспринимать только вечное. Только что такого есть в жизни человека, что можно было бы назвать вечным?

– Честно вам скажу: затеял написать книгу, – разоткровенничался Кукушечкин. – Пишу книгу, а получается репортаж. И дрянной, доложу я вам, репортаж.

– Вот оказывается, Гоша, какие бешеные бабки крутятся вокруг этого проекта, – вступил в разговор о вечном Сундукевич.

– Это, Марк, для нас с тобой большие деньги.

– Нет, нет. Я на досуге подсчитал. Вычел расходы на нас, на типографию. Большие деньги, большие. Я думаю, нам стоит пересмотреть договор.

– Это не по-мужски, Марк.

– Как раз наоборот. Не по-мужски пресмыкаться. Будешь пресмыкаться – раздавят. Я правильно говорю, Дима?

– Правильно. А о чем речь? – встрепнулся Дрёма.

* * *

В сквере, который пересекал Дрёма по пути на работу и с работы, росла столетняя сосна, согнутая в крутую дугу так, что вершина ее почти касалась газона. Песик средних размеров мог обнюхать и пометить ее. Казалось, старушка в зеленом халате делает мостик.

Что ее так согнуло?

Снега? Болезнь? Какой-нибудь древесный сколиоз. Люди? Скорее всего, люди.

Не все ли равно, что или кто. Жизнь.

К этой сосне, придумав легенду, можно было водить экскурсии.

Но, вероятнее всего, ее просто спилят. Избавятся от уroda.



Как было бы здорово, если бы однажды она с шумом и треском распрямилась. Пух! – и встала, вздрогнув, прямая и звонкая, как и положено быть корабельной сосне.

Но она никогда не распрямится.

Очень много людей напоминают эту сосну. Им тоже никогда не распрямиться.

Согбенная сосна – любимое дерево карикатуриста Дрёмы.

До сегодняшнего дня он тоже был кривой, неправильной сосной.

А сегодня с шумом и треском распрямился.

С мстительным выражением на лице Дрёма сел на скамейку, над которой лохматой аркой изгибалась сосна. Он раскинул руки вдоль спинки, закинул ногу на ногу и принялся мрачно покачивать носком кроссовки.

До сегодняшнего дня он считал, что хорошо устроился в жизни. Именно потому, что не принимал, как ему казалось, в этой жизни никакого участия. Так, сторонний зевака на ледоходе. Кому-то нравится думать, что они этим процессом управляют. Он не из их числа.

Ему платили за то, что он смеялся.

Причем платили те, над кем он смеялся.

Правда, платили немного.

Но сколько людей смеются вообще бесплатно.

Грех жаловаться. Мало у кого была такая веселая работа.

Но сегодня он пошел в «Ковчег новостей» и сказал ответственному секретарю Прямоносову: «Да пошел ты!»

Очень неинтеллигентно. Согласен. Хотя направление указал верное.

Невозмутимый Прямоносов остался на месте за своим антикварным, издырявленным древоточцами столом. Пошел Дрёма. По собственному желанию, как по щучьему велению.

Что так расстроило Дрёму? Перелистав подшивку «Ковчеха новостей», Дрёма с негодованием обнаружил, что почти все его карикатуры за последние две недели отредактированы.

Вздор! Не может этого быть! Он бы и сам никогда не поверил, что карикатуру можно отредактировать, если



бы это не случилось с его рисунками. Душа его клокотала и бурлила, выкипая, как вода в забытом на плите чайнике. Дрёма едва не взорвался от бешенства.

Он схватил за руку спешащего по своим делам фотокорреспондента Петю Шубейкина. Петя нес свою лохматую голову с таким величаво-торжественным видом, словно торопился сообщить правительственной комиссии об успешно завершённом лично им космическом полете.

– Петя, ты посмотри, что они наделали!

– А, что такое? – обрадовался скандалу Шубейкин.

Дрёма принялся яростно делиться своим горем.

В пузыре вместо слов толстого цепного пса, обращенных к псу тошему и бездомному: «Надо знать, на кого лаять», стояло совершенно непонятная фраза: «Мой хозяин кормит меня морковкой». При этом толстый пес прижимал лапой огромную персональную кость.

На рисунке, где два матерых волка, покровительственно обнимая перепуганного зайца, должны были напутствовать беднягу на бескомпромиссную борьбу с коррупцией в волчьей среде, они пели почему-то про трын-траву.

Фраза бандита, только что ограбившего банк и тут же изъявившего желание положить мешок с деньгами на свой счет в этом же банке: «Я хотел бы легализовать свои накопления» – вообще была стерта. Над бандитом с автоматом и кассиром с поднятыми руками, вызывая недоумение, висел пустой пузырь.

Такой же пузырь без слов висел и над чиновником, изготавившимся выстрелить себе в голову. А чиновник должен был сказать перед смертью: «Это единственный способ покончить с коррупцией».

Отчасти, виноват был сам Дрёма. Сколько раз великий Сербич говорил ему с глазу на глаз: слова – слабое место карикатур. Настоящая карикатура не нуждается в словах.

Конечно, рисунки были не фонтан. Так себе. Юмор среднего пошиба. Но дело было не в этом. По какому праву его решили кастрировать кухонным ножом?! Вот в чем было дело.

Шубейкин не разделил его негодования.

– Удивил! Карикатуру ему подправили, – сказал он с



легким укором. – Если бы ты знал, что они со мной делают. Возможности фотошопа, Дима, безграничны. Если в кадре Сам – все вылизывают, все заново рисуют. Пигментные пятна закрасят, глаза пошире раскроют, искорки добавят, мудрое выражение добавят, умную улыбку приделают, причешут, зубы почистят, морщины на лице и штанах погладят. Кого не надо – уберут, кого надо – поближе переставят. Популизаторы.

– Популяризаторы, – механически поправил Дрёма.

– Именно популизаторы, – настаивал на своем Шубейкин. – Так вылизут – свой снимок не узнаешь. Задница у Самого уже как золото блестит, а они все лижут и лижут, все лижут и лижут. Преступление перед человечеством, полная подделка документов. Меня знаешь, как зовут? Заслуженным косметологом республики. Успокойся, старик, не переживай. Не ты первый, не ты последний. Пока!

Но Дрёма не последовал мудрому совету и не успокоился. Сказав Прямоносову все, что он о нем думает, со словами, полными гнева и достоинства: «Я вынужден подать на газету в суд за нарушение моих авторских прав!» – он ворвался в кабинет редактора.

– Что ты вынужден? – не понял пафоса редактор.

Вместо ответа, Дрёма, звучно шлепая по столу улика-ми, разложил перед ним пасьянс, чередуя оригиналы с газетными вырезками.

Пока редактор внимательно сверял варианты, Дрёма продекламировал еще более гордые слова: «Если газета не дорожит своей репутацией, я своей репутацией дорожу и не хочу выглядеть идиотом в глазах читателей».

Редактор с веселым интересом посмотрел на взбунтовавшегося карикатуриста, отодвинул от края стола бронзовую пепельницу в виде черепа и сказал миролюбиво:

– Действительно, черти что натворил этот злодей Прямоносов. Но, согласишься, тоже остроумно.

– Что?! – не поверил своим ушам Дрёма. – Где здесь остроумие?

У редактора были маленькие, робкие и стыдливые руки. Они постоянно прятались. В карманы и за спину, когда редактор стоял. Под стол, когда он сидел в кресле.



За отсутствием другого убежища они сжимались в кулачки и втягивались в рукава пиджака. Как суслики в норки.

– Вот ты, Дима, ругаешь Прямоносова. Но поставь себя на его место. Кто объявил войну с коррупцией? Сам! А что делаешь ты? Заранее предрекаешь этой войне поражение. Высмеиваешь. Издеваешься. Создаешь у общества отношение к этой борьбе как к фарсу.

– Президент занимается своим делом, я занимаюсь своим, – ответил Дрёма с недоумением переходящим в прозрение.

Именно эти маленькие, стыдливые ручки и кастрировали его.

– Понимашь, Дима, – задушевно продолжал редактор, – высмеять можно все. Смеяться легко. Но как бы хорошо ты ни смеялся, рано или поздно скажут: «Ну, хорошо. Это смешно. Ты нас повеселил. Но что же ты предлагаешь?» Предложить что-то уже сложнее. Но можно. Опять спросят: «Хорошо. Но как это сделать? И кто будет делать?» Вот где начинается самое трудное. До этого ты сотрясал только воздух. Теперь надо потрясать устои. Согласен? И что получается? Сам объявил войну коррупции. Мы его должны поддержать. А ты смеешься и смеешься, смеешься и смеешься.

– Зачем все это вы говорите мне? Я – карикатурист. Понимаете – карикатурист. Что с вами? Уж не подмигнули вам с портрета Иосиф Виссарионович?

С видом человека, который знает больше, чем говорит, редактор усмехнулся. Эту усмешку можно было расценить и так: его забавляет наивность Дрёмы.

– Вот именно. Ты всего лишь карикатурист, – сказал, доброжелательно улыбаясь, редактор.

Язык зашевелился сам собой, и кто-то голосом Дрёмы сказал:

– Да пошел ты!

Сгреб Дрёма улики и навсегда вышел вон.

* * *

Просматривая вечером почту, он наткнулся на странное сообщение: «Vstrechay. Priletayu 21.02. Reisom iz Stambula». И подпись «J».



Кто такой этот «J»?

Кто бы он ни был, но сегодня именно 21 февраля. Дрёма позвонил в аэропорт. Самолет прилетал по расписанию.

Знаешь, не знаешь, розыгрыш, не розыгрыш, а встречать надо.

Там разберемся. Во всяком случае, этот «J» знает его электронный адрес.

Строящееся здание аэропорта вспыхивало в бездонной ночи нервными сварочными огнями. Как остывающая в пепле головешка на влажном, порывистом ветру.

Во временном терминале было тесно и душно.

Встречающие толпились под открытым небом, наполненным звездами и космическим гулом взлетающих самолетов.

В каждом аэропорту присутствует дух Сент-Экзюпери. Конечно, для тех, кто о нем знает.

Дрёма смотрел в небо и представлял соринку, летящую в эти минуты над черной планетой. И в этой соринке сидело неизвестное ему существо, инопланетянин. Существо смотрело в иллюминатор на темную Землю, слившуюся с космосом, и думало о нем, Дрёме, – другой бесконечно малой соринке, которая ждет его в непроглядном мраке. На другой планете.

У ограждений под фонарями, светлюбивыми мотыльками толпились скучные, тщательно причесанные и отглаженные представители фирм с табличками в руках.

Чужие люди, встречающие чужих людей по служебной обязанности.

Узнает ли его таинственный J?

Может быть, тоже сделать табличку? А что он напишет на ней? J? Вот этот J оскорбится.

До прилета было еще полтора часа. Ждать наскучило. Дрёма смотрел на строящуюся громаду нового терминала, вслушивался в колокольные звуки соударяющегося металла, шорох осыпающихся искр, церковные голоса рабочих и вспоминал старый, на удивление вовремя сгоревший аэропорт. Шумный, суматошный. С толчеей восточного базара. Без людей с табличками и безразличными лицами. Встречаясь, там обнимались и смеялись, а,



проводя, обнимались и плакали. Транзитные пассажиры спали на скамейках. Сонные, но бдительные милиционеры время от времени будили их: «Гражданин, вы свой рейс не проспали?» Тогда летали многие и много. А где-нибудь под лестницей обязательно сидели на рюкзаках ребята и пели под гитару.

Дрёма украдкой приглядывался к бледным лицам людей с табличками.

Неужели и он стал одним из этих роботоподобных существ, обитающих на маленькой планете на задворках провинциальной галактики? Существо, у которого нет даже таблички. А в душе пусто. Ему все равно, кто прилетит. Он никого не ждет. Втайне он надеется, что все это розыгрыш. Никто не прилетит. Он, конечно, испытает минутную досаду, как и каждый, кого разыграли. И вернется в уютную квартиру, к коту Олигарху.

Почти физически, как паутину на лице, Дрёма чувствовал скуку своего захолустного космоса. Скуку и одиночество города, лежащего между холодными горами и безлюдной пустыней. На узкой полоске земли, за которую зацепилась случайная жизнь.

Когда же в толпе пассажиров, прилетевших из Стамбула, мелькнуло ее лицо, он испытал чувство, похожее на то, когда впервые увидел растекшиеся глазуньей часы Дали.

– Ты не рад?

Она жалко улыбнулась, тотчас же прикрыв тонкими пальцами рот.

Стеснялась плохих зубов.

Ногти неухоженные. Желтые от никотина.

У него, конечно, не было причин для особой радости.

Удивление, старая обида, презрение, недоверие – все что угодно, только не радость. Но больше всего – жалость.

Она уезжала хрупкой, надменной и задиристой девчонкой. В общем-то, избалованным и наивным ребенком. Сейчас перед ним стояла просто очень худая и очень маленькая женщина с нездоровым цветом лица, некрасиво выпирающимися коленками и лихорадочным блеском глаз смертельно уставшего сумеречного существа. В этих



глазах уже не было вызова, а было лишь смущение и отчаяние.

В ней всегда была тайна.

Она многозначительно говорила отрывистыми, полными намеков, фразами, многозначительно молчала. Многозначительными были каждое ее движение, жест, взгляд. Правда, за все время, что он ее знал, она так и не обнаружила, что скрывается за этой многозначительностью.

И вот она стоит перед ним. Истощенная. Неряшливо причесанная, не скрывающая первую седину. Одета в какую-то легкомысленную шубейку детского размера.

Инопланетянка, в которой нет ни тайны, ни загадки.

Уставшая, смирившаяся, очень маленькая женщина.

Держит за руку сонного мальчишку в шапке «а ля рус».

– Твой? – спрашивает он.

Она поспешно кивает головой и смотрит на сына. Сама как состарившийся ребенок.

– Говорит по-русски?

– Питер, поздоровайся.

Смуглый Питер спит на ногах. Ему не до хороших манер.

– Ты не против, если я остановлюсь у тебя, – спрашивает она и поспешно добавляет. – Мне негде остановиться.

Почему негде? Она бы могла остановиться у своей подруги Светки.

Дрёма нахмурился. Его электронный адрес она могла узнать только у Светки.

Но почему «J»? Может быть, перепутала с «I», случайно нажала не ту клавишу?

И внезапно жалость, жалость, которую человек может испытать, только увидев брошенного, шелудивого щенка, беззаботно играющего на дороге с клочком газеты, заставила его поспешно откашляться.

Это же ее поэтический псевдоним. Так она подписала свой первый и, вероятно, последний стишок, напечатанный в журнале. Журнал авангардистского толка назывался «Пробивая стену». Издавался тиражом в сто пятьдесят экземпляров. Вышло, кажется, два или три номера.



Бедная, бедная Ирка, живущая на пепелище своей короткой юности. Ведь она уверена, что он помнит и ее псевдоним, и тот стишок без рифм, знаков препинания и смысла. Стишок, который невозможно запомнить. Неужели она все еще живет детскими грезами?

Все, что осталось от прежней Ирки, надменной задиры, убежденной в своем блестящем будущем, – огромные глаза сумеречного существа, в которых давно погас восторг ожидания. В них поселился испуг.

Он никак не мог загасить в себе эту жалость к существу, которое сделало ему столько зла. Ну да. Ведь она была глупой, злой девчонкой. Да и ему было не так много лет. Глупая, вздорная юность была всему виной. Ирка была как луковица тропического цветка. Неизвестно, что вырастет. Но непременно – что-то яркое. Значительное. Необыкновенное. Она не только писала авангардистские стихи и прозу в духе абсурда. Пробовала себя в живописи. Придумала стиль дождевого червя. Сыграла роль навязчивой идеи главного героя. Как же называлась эта пьеса? Бесподобная чепуха. Написала критическую статью. Крайне снобистскую и оскорбительную. Ее неловко было читать. Ничего, кроме ущемленного самолюбия, она в ней не обнаружила.

Вспыхнула, как спичка, и сразу согнулась, обуглившись.

Из луковицы не выросло ничего.

Может быть, в этом и была причина ее отвратительного характера.

Перед ним стояло нечто до того жалкое и убогое, что сердиться на это не имело никакого смысла.

– Надолго? – спросил он.

– Как получится, – тихо ответила она.

Дрёма, нахохлившись, сидел на переднем сиденье такси. Теперь он не видел ее и не мог сдерживать нарастающую досаду. Его раздражало даже молчание на заднем сиденье.

Сколько крови попил у него этот маленький вампир.

И вот сидит – робкая, тихая. Придерживает спящего пацана и смотрит в окно как в напрасно прожитое прошлое.



Негде ей остановиться. Отвезти разве что в гостиницу? Заплатить за номер?

Когда он увидел впервые этот степной чертополох с прекрасными, огромными очами? На литературной тусовке в «Книгомании». «Место сбора при землетрясении» – надпись на дверях подвала, где собирались молодые литераторы и художники поиграть в андеграунд. В литературное подполье. Никто никого давно не преследовал за инакомыслие. И это было обидно. Хотелось не просто землетрясения. Хотелось быть причиной землетрясения. Приятно было думать, что вот сидят они, никому не известные гении, и никто не знает, что вскоре сейсмические волны из этого погреба потрясут всю планету. Эти пацаны и девчонки с прекрасными и злыми глазами потрясателей основ полагали, что родились открыть миру глаза. На что? Какая разница. Но люди вне подвала не просто не признавали их. Они их знать не хотели. И только поэтому заслуживали презрения. Кто они были? Наивная детвора. Еще ничего не совершив, не написав, ребята жаждали признания. В этот подвал они и собирались лишь для того, чтобы насладиться крохами этого признания. Дрёма был не намного старше их. Но и с расстояния в несколько лет было видно, какое большое разочарование ждет этих мальчишек и девчонок в ближайшем будущем.

Центром внимания в тот вечер был дизайнер Жора – специалист по навязыванию собственного вкуса тупому обществу. В высшей степени креативная личность. Кстати на этой тусовке Дрёма понял различие между творчеством и креативом. В творчестве главное – самобытное развитие и на этой основе открытие нового, того, что до тебя не было. Креативность – способность подхватить последнее веяние, как СПИД. Быть на шаг впереди толпы и первому на нетоптаной поляне собирать бабки. Зеленые волосы. Пирсинг. Джинсовый, искусно забрызганный краской, комбинезон. Косоворотка. На левой ноге – плетенка. На правой – кроссовка. Жора был ярким представителем провинциальных дизайнеров, продвигавших агрессивный стиль «из вторых рук». Дрёма не мог оторвать глаз от этого забавного существа – клоуна



и попугая с надменной печатью гения на лице. Невозможно ни восхититься. Пацан посетил место сбора при землетрясении с единственной целью – дать другим редкий шанс полюбоваться собой.

Дрёма пришел в подвал морально поддержать своего друга – начинающего писателя Уездного. Уездный, человек непубличный, впервые встречался с читателями. Читателей было немного. Настолько немного, что с каждым из них Уездный знакомился отдельно. Все они, как выяснилось, принадлежали к литературному объединению «Деграданс». Очередной читатель, снисходительно улыбнувшись, вставал и представлялся. Витиевато, манерно, длинно, пытаюсь при этом быть самоироничным: прозаик, драматург, немного критик, немного дизайнер, иногда балуюсь стихами, от скуки рисую. Типа того. Собрания сочинений юных гениев были в рукописях и головах.

Когда дошла очередь до Дрёмы, он тоже представил: травматолог, челюстная хирургия, немного донор.

Тогда-то он и увидел впервые эти огромные, темные глаза инопланетянки. Глаза, избличающие сумеречное существо, ведущее божественный образ жизни.

В тот год ее кумиром был юный гений Расплевакин. Она всех подозревала в подражании Расплевакину. Обвинила и Уездного.

Не привыкший к наскокам, Уездный смутился.

Дрёма встал на защиту приятеля. Он сказал, что книга, в которой прекрасная незнакомка обнаружила заимствования из Расплевакина, была написана его другом задолго до того, как, несомненно, уже тогда талантливый Расплевакин, активно мочил пеленки и еще только собирался пойти в ясли.

На этот жалкий довод глазастая девица ответила язвительным взглядом и яростной речью, похожей на пощечины.

Огромное количество книг, которые проглотила эта малышка без разбора, не пережевывая, вытеснили из ее маленькой головки собственные мысли. И саму возможность рассуждать здраво. Ее голова напоминала даже не библиотеку, а кучу книг, сваленных в беспорядке. Она не думала. Она просто рылась в этом месиве, извлекая



наугад очень умные, но чужие мысли. Не имеющие к тому же отношения к теме разговора.

Но кто прислушивается к тому, о чем лепечет понравившаяся девушка?

Он спорил с ней лишь для того, чтобы любоваться ее возмущением и отражаться в этих огромных глазах.

Любовь, несомненно, болезнь.

Особенно это ясно, когда она проходит. Точнее сказать, когда человек выздоравливает от любви.

Что в ней было такого, кроме глаз инопланетянки, от чего можно было сойти с ума?

Взбалмошная, неуправляемая девчонка, состоящая из самомнения и упрямства.

Она не могла жить без тусовок. Он ненавидел сборища юных, самопризнавших себя гениев. У него тотчас же начинала болеть голова от густых испарений тщеславия и зависти, исходивших от этих ревнивых юнцов.

Он любил животных. Она их брезгливо сторонилась. Даже это его не насторожило. А ведь он знал, что человек, который не любит животных, редко бывает добрым человеком.

Он любил спорт. Она всех спортсменов считала дебилами.

Он любил горы. Она их ненавидела.

Он любил песни бардов. Она считала бардов недоумками, путая их с исполнителями блатного шансона.

Он не любил скандалов и был терпим к чужому мнению. Спроси ее, который час, и она тут же вступит в яростный спор.

Не было ничего такого, на чем бы они могли сойтись.

И все-таки он ее любил.

Несомненно, любовь — сумасшествие. Прекрасное сумасшествие, которое, увы, больше ему не грозит.

Он украдкой посмотрел в зеркало заднего вида.

Она все также смотрит пустыми глазами в окно.

Это, наверное, ужасно. Ужасно провалившимся экзаменным абитуриентом возвращаться из сияющей столицы в темноту родного захолустья. Вести в поводу белого коня, с которым ты собирался покорить мир. А конь не белый. Он седой. Уставший. С разбитыми копытами и стертыми



зубами, с гривой в репьях. Да и ты давно не молод. От тебя прежнего не осталось ничего. Ни одной молекулы. Ни одной надежды. Ты возвращаешься туда, откуда все выехали. Или умерли. Это хуже смерти: возвращаться из столицы надежд в свое сонное захолустье. Хуже, чем осень на пляже.

А где сейчас наш общий друг Уездный? Как он волновался тогда, в гремящем трамвае, каждые десять секунд посматривал на часы. Боялся опоздать на премьеру.

Однако сошел за две остановки до театра.

Неприлично автору припереться слишком рано.

Дрема шел чуть позади и время от времени похлопывал приятеля по плечу. Всякий раз Уездный дико озирался, вздрагивая.

Дрёма был нужен ему для поддержки.

Как костыль.

Очень это непросто и разрушительно для тонкой натуры художника – волноваться, изо всех сил скрывая волнение.

Театр «Шок-and-Лад» в полном соответствии с исповедуемой философией андеграунда располагался в подземье – подвале жилого дома.

Несколько лет тому назад молодые актеры ТЮЗа потребовали свободы и подняли бунт против системы.

Системы Станиславского, разумеется.

Что такое свобода для актера? Импровизация.

Главный режиссер, страдающий тяжелой формой ожирения, сначала утробно рычал, потом швырял в зачинщиков бунта пепельницу, «Мою жизнь в искусстве», настольную лампу. Очистив стол, орал обидные вещи: сопляки, предатели, изменщики! Успокоившись, говорил задушевно: «Хватит революций, пацаны. Импровизация – удел гениев. Их – раз, два, ну еще Михаил Чехов».

«Отчего же? – выступала от имени пацанов Лариса Трезвая. – Если импровизация под силу музыкантам, отчего же не актерам?»

«Хорошо! Вы – гении, – соглашался мэтр, тщетно отыскивая бешеным взором тяжелые предметы на пустом столе. – Где будете играть?»

«Хотя бы на улице», – отвечала Трезвая.



Молодые, как говорил репортер Кукушечкин, всегда правы. Особенно, когда не правы.

На улице ребят ждал успех. К сожалению, не материальный. ТЮЗ пустовал, они собирали толпы. Самое замечательное – никакой арендной платы. Полная свобода в выборе репертуара, импровизация и отсебятина. Правда, иногда шел дождь, иногда снег. Но и дождь и снег входили в ткань спектакля как декорации.

Однажды, спасаясь от внезапного ливня, актеры уличного театра вместе с публикой ввалились в подвал.

Среди ободранных бильярдных столов с кием в руках стоял печальный человек, похожий на Дон Кихота со сломанным копьем.

Его только что съели конкуренты.

«Вы хотите купить помещение?» – с надеждой спросил он.

Подвал им понравился. Пошли к знакомому бизнесмену, поклоннику театра и Ларисы Трезвой. Он сказал то, что редко говорил старик Станиславский: верю! И дал деньги.

На следующий день актеры перекрашивали потолок и стены подвала в черный, как южная ночь, цвет.

Под черным космосом потолка, как гитарные струны, семь белых труб. Водопроводных и канализационных.

С труб свисали красные пожарные ведра. Часть из них доверху заполнена белыми и черными комьями бумаги. Но два пусты. На одном наклеена афишка с названием пьесы Уездного «Лодка без весел», на другом – афишка Иркиной пьесы «Пожар на бумажном кораблике».

Это был завершающий вечер фестиваля, разумеется, международного, поскольку в нем участвовал начинающий драматург из Киргизии, «Театр в поисках автора».

Подвал был заполнен гомоном молодого, продвинутого народа. Увидев публику, Уездный побледнел. И схватился за руку Дрёмы, как за поручень.

– Они ничего не поймут, – сказал он осевшим голосом, стесняясь своей лысины и нового костюма.

– Поймут, – попытался утешить его Дрёма. – Люди на самом деле не меняются. Они только меняют одежды.

Публика занимала места. Дрёма с Уездным выбрали



галерку – разновеликие деревянные скамьи в шесть рядов. Партер представлял несколько десятков подушек, брошенных на цементный пол. Маленькие облачка, какими их рисовал Жан Эффель.

Сцены не было. Часть зала с настилом для штанги была отгорожена рыбацкой сетью. Этот занавес ничего не скрывал.

Скамья под Уездным нервно вибрировала.

Среди модной публики толкалась тшедушная, невзрачная личность.

Это был известный в городе тусовщик Сева.

Есть люди с рождения не похожие на других людей. Они ведут себя странно, но по-другому жить не могут. С ними все понятно: таланты и пороки – их беда.

Но есть в меру обычные типы, которые любой ценой хотят быть не похожими на других, без особых на то оснований претендуя на исключение из правил. Они получают из милых крошек, которых папы и мамы подсаживали на табуреты, чтобы чада изумили гостей своими невероятными способностями. И когда ребенок, забавно картавя, читает стишок собственного изготовления, родители смотрят на него с обожанием и умилением. Сопереживая успех, они морщат лбы и кивают головами в такт, беззвучно повторяя слова. При этом рты у них приоткрыты. Подхватив в младенчестве вирус вселенской славы, эти ребята до самой старости таскают за собой табуреты.

Сева был одним из таких несчастных существ, в равной степени достойных презрения и жалости.

Он был глуп, тщеславен и добродушен. Судорога заискивающей улыбки постоянно уродовала его востренькое личико. Он мучительно переживал собственную бездарность. Но ему первым из горожан посчастливилось подхватить ВИЧ-инфекцию. Это возвысило его в собственных глазах, породило чудовищное самомнение. Сева впервые посмотрел на мир свысока и возгордился.

Он наконец-то чем-то отличался от толпы.

Стал избранным.

Сева обходил знакомых, заразительно смеялся, брызгая слюной, и каждому совал ледяную, вялую, очень влажную ладонь. Иных он пытался облобызывать.



Увидев Севу, Уездный спрятался за Дрёму, прошептав: «И этот спидоносец здесь».

Но Сева, как оказалось, не случайно оказался среди публики. Он был специально приглашен Ирккой как представитель меньшинства.

Уездный успокоился: первой шла Иркина пьеса. На помост вышли три актера. Один из них поставил стремянку и сел на нее верхом. Получился жираф. Двое других разместились по сторонам стремянки на табуретах.

Как только прозвучали первые фразы, Уездный перестал трястись, и лицо его приняло осмысленное и чуть презрительное выражение.

Пьесу не играли, а читали.

Тот, что сидел на стремянке, читал ремарки.

В Иркиной пьесе рассказывалось о невероятных гонениях на двух юных геев, которые вынуждены были покинуть тупоголовых родителей. Уединившись на старой даче, они предавались неистовой любви.

Это очень удачно, что пьесу не играли, а читали.

Пьеса, однако, была настолько скучна, что даже не шокировала.

Так, статья в провинциальной газете, которую монотонно бубнили в три голоса.

Сева столбом торчал посреди возлежащих на подушках. Он неистово хлопал после каждой реплики.

Оживление в публике вызвало появление на сцене отрицательного персонажа в майке с гордой надписью: «С пидорами не пью!» В левой руке он держал текст. В правой – увесистый дрын, которым намеривался погубить несчастных героев. И когда этот дремучий человек, вахлак и деревенщина, прочитав наскоро текст, изобличающий его в нетерпимости, погнался, размахивая дрынком, за изящными геями, зал, предчувствуя финал, встретил его действия гулом одобрения и советами.

Пьеса завершилась гибелью одного из геев, призванной вызвать возмущение публики перед нетерпимостью общества.

На сцену выпорхнула Ирка. Хрупкая и глазастая, она напоминала иранского скворца, севшего на клетку, набитую шакалами. С презрением разглядывая публику,



она долго кланялась вежливым, но жидким аплодисментам.

Скамейка под Уездным снова завибрировала. В волнении он чесал лысину и смахивал с костюма воображаемые пылинки.

– Ужас, – сказал он, – полный деграданс.

– Тебе не понравилась пьеса? – не поверил ему Дрёма.

Чувство юмора окончательно покинуло взволнованного ожиданием провала Уездного.

– Мне не нравится, когда, пытаясь шокировать зрителей, пропагандируют мерзость. Особенно, если делают это бездарно, – ответил он.

– Отсталый ты человек, Уездный, – укорил его Дрёма. – Я давно подозревал тебя в антидемократических настроениях.

Но Уездный не намерен был шутить.

– По-твоему все демократы обязаны быть педерастами? – спросил он.

Дрёма махнул на него рукой и сосредоточил внимание на сцене.

– Ничего хорошего от этой премьеры я не жду, – гудел ему в ухо Уездный, судорожно сжимая трясущиеся колени. – Это будет провал похлеще, чем у этой пигалицы. Пойдем отсюда. Пьесу надо смотреть, а не слушать. В самом деле, что это за театр? Какие-то семейные чтения.

Он оказался не прав.

Его пьесу не читали, а играли.

На сцене не было ничего, кроме резиновой лодки. По ходу пьесы она превращалась то в стол, то в гроб, то в дверь, то в маятник громадных часов, то снова в лодку.

Скамейка под Уездным перестала дребезжать. Что чувствует автор на первом просмотре своей пьесы? Узнает ли он ее? Он чувствует то же, что и ребенок на качелях, перелетая из пропасти в пропасть, – восторг и страх, сладкое замирание души. Тайные слезы, отчаянное веселье, жар и холод, досаду и потрясение. Он чувствует то же, что и муж, видя свою жену в объятиях чужого мужчины. Актеры, между тем, играли весело, дерзко, на грани стёба. Особенно в местах трагических. Они вдохновенно импровизировали, то есть несли отсебятину, и не



признавали полового разделения. Девушки играли мужчин, парни – девушек. Если встречался сложный текст, они заменяли его на универсальное: бла-бла-бла... Автор бледнел, краснел, пучил глаза и шептал нечто, что дозволяется только шептать.

Блистательная игра актеров неформального театра заставляла думать, что бунт против Станиславского помог им осознать, насколько гениальна его система. Это было тайное оружие блудных сынов. И действовало оно безотказно. Зрители смеялись в нужных местах и в нужных местах шмыгали носами. А когда актеры держали паузу, тишина звенела. Овация по завершении пьесы вернула Уездного к жизни.

Нужно было идти к пожарным ведрам и бросать в них белые и черные комки бумаги.

Ведро Уездного оборвалось. Звук удара о бетонный пол был неожидан и свеж, как раскат грома.

Это был знак.

Плохой, хороший?

Зрители бросились подбирать раскатившиеся из ведра бумажки. При этом Дрёма заметил, что некоторые из них так же, как он, белые бумажки кидают в ведро, а черные, чтобы не огорчить автора, прячут в рукава и карманы. Некоторые же по второму разу досыпают белые бумажки.

Потом всех авторов, а было их девять человек, пригласили на сцену. И Дрёма видел, как, блестя потной лысиной, согнувшись кочергой, Уездный целовал Иркину руку и что-то при этом говорил ей в полном восхищении. Ирка занимала центральное место на помосте и держалась снежной королевой, снисходительно принимая комплименты.

Театр.

Как его не любить.

Зазвонил телефон.

– Привет. Ты где?

– Еду домой, – ответил он.

– Хорошо. Я пришла, а тебя нет. Стол накрыла. А тебя нет и нет, нет и нет. Я уже вино попробовала.

– По какому поводу праздник? – сухо прервал он ее.

– Ну, – на долю секунды смешалась Гулька, однако



быстро нашлась, – поводов много. Для меня каждый день – праздник. Щенков в хорошие руки отдала – праздник. А самое главное – забыл? – день рождения Олигарха. Что ты! Красный день календаря. Сидим вдвоем. Празднуем. Он мне тосты мурлычет. Приезжай скорее, ждем.

– Жди, жди, – холодно сказал он и захлопнул крышку телефона.

Тоже мне заговорщица. День рождения Олигарха она празднует.

Звонок лишь на короткое время вернул его из прошлого, полного презрительного фыркания Ирки. Этим фырканием она показывала, как конфузится за него перед незнакомым человеком. Ей было важно, чтобы чужой человек знал, как ей неловко.

Он был старше. И оправдывал это фыркание ее молодостью. Это у нее от низкой самооценки, думал он. Ей кажется, что ее мужем не мог стать достойный человек. Ничего. Пройдет. Он заставит ее уважать себя.

Но было обидно.

Такая разговорчивая на своих сборищах, дома она замыкалась. На его попытки разговаривать ее отвечала фырканием или презрительной усмешкой.

Чтобы тебя уважали, нужно чего-то достичь. А чтобы чего-то достичь, нужно жить для себя. В этом было непреодолимое противоречие. Жизнь для себя исключает внимание к другим. Да и не такое уж это удовольствие – жить для себя.

Какое-то время их сближала лишь постель.

Потом она все чаще стала отворачиваться от него, а когда он касался ее, с отвращением отбрасывала руку.

Наверное, уже тогда Уездный был ее любовником.

Дрёма же объяснял внезапное отчуждение возможной беременностью.

Очень редко она позволяла любить себя. Именно позволяла. Преодолевая отвращение, и не скрывая этого отвращения.

Верх унижения.

Ничего более омерзительного ни до, ни после Дрёма не испытывал.

Он был на грани нервного срыва.



Были моменты, когда, не сдержавшись, он мог убить ее пощечиной. Ее раздражала даже его сдержанность. Она провоцировала его. Долго смотрит, прищурившись, а потом, усмехнувшись, скажет: «Рогоносец». Кровь, как бензин, вспыхивала в его венах.

Именно в такие минуты он, не сдержавшись, мог бы убить это хрупкое и противное существо пощечиной.

Дрёма сажился на велосипед и, сжигая легкие, поднимался в горы. Сердце оглушительно колотилось в голове. А потом, выбившись из сил, он скатывался под гору со скоростью самоубийцы, лавируя между машин.

И успокаивался.

Он перешел на диван.

Унижение, знакомое большинству мужей. До глубокой ночи сидел за книгами или компьютером. Но в голову ничего не лезло. Что могло ползть в голову молодому, полному сил мужчине, если совсем рядом в теплой постели лежала юная, хрупкая женщина с очаровательными глазами сумеречного существа?

Это хорошо, что она не умеет готовить, успокаивал он себя, не растолстею. Это хорошо, что она не ценит его, это подстегивает его чего-то достичь. Это хорошо, что она не любит его. Вся эта нерастраченная энергия страсти непременно сублимируется в нечто.

Но его нерастраченная страсть ни во что не превращалась.

В эти минуты обиды и отчаяния он снова увлекся карикатурой, не придав этому особого значения. Чем-то было надо отвлекаться. Когда-то в школе, институте он отдал дань этому забавному увлечению. Но никогда не думал, что оно может когда-то стать его профессией.

Карикатура – это легко. Нужно просто рисовать то, что происходит на самом деле. Забавное время. Он, отвергнутый и, возможно, обманутый муж, зажимал ладонью рот, пытаясь сдержать смех. Дикое, неудержимое веселье клокотало в нем, как магма в просыпающемся вулкане.

Если бы в то время он не вернулся к карикатуре, возможно, сошел бы с ума, совершил бы убийство или, в лучшем случае превратился в желчного, мерзкого рогоносца.

– Может быть, ты беременна? – спросил он однажды.



– Никогда, слышишь, никогда я не рожу от такого ничтожества ребенка, – ответила она.

– В таком случае я не вижу смысла в нашем совместном проживании, – холодно подвел он итоги.

Она собралась и ушла.

Несколько ночей Дрёма не мог уснуть без того, чтобы не представить, как от его руки погибает старый приятель, предатель Уездный, укравший у него маленькую жену.

Сначала он стрелялся с ним на дуэли.

Но вскоре благородное убийство наскучило ему.

Он стал просто убивать.

Разнообразно и жестоко, выдумывая все новые и новые способы.

Еще немного и он стал бы маньяком. Насладившись выдуманной местью, он сладко засыпал, почти счастливый. Как валерьянки напился.

Но однажды он почувствовал угрызение совести. Ему стало жалко приятеля-предателя. Нет, конечно, Уездный поступил подло. И по отношению к нему, и по отношению к собственной жене. Да и по отношению к Ирке он поступил подло. Впрочем, и по отношению к самому себе – тоже.

Но дело было не в Уездном. Дело было в Дрёме.

Этот стыд вернул его к нормальной жизни. Излечил. Одновременно и от ревности, и от любви.

Вскоре пришла очередь трясти рогами Уездному. Ирка встретила своего иностранца и, как ей казалось, навсегда покинула родное захолустье.

* * *

Гулька, должно быть, дежурила у глазка. Едва Дрёма коснулся кнопки звонка, как дверь распахнулась, раздался оглушительный визг, в котором перемешалось восторженное изумление и невыразимое словами счастье. Так истошно орать мог только футболист, забивший решающий гол на последней минуте матча.

Уныло оттопырив губы, Дрёма с минуту наблюдал разыгранную специально для него сцену неожиданной встречи старых подруг.



Гулька старалась вовсю. Но переигрывала. Она то страстно прижимала к пышной груди маленькую головку Ирки, то, пав на колени, тормошила сонного Питера, то всплескивала руками и при этом украдкой поглядывала на Дрёму.

Странно. Женщины играют всегда и везде. Но отчего так мало среди них хороших актрис?

Именно потому, что переигрывают.

– Может быть, мы все-таки войдем? – вдоволь налюбовавшись игрой самостоятельной актрисы, спросил Дрёма. – Может быть, мы уже достаточно перепугали соседей?

Уложив уже давно спавшего Питера на диван, Гулька суежилась гостеприимной хозяйкой, радовалась шепотом.

Дрёма молчал, внимательно наблюдая за подружками-заговорщицами. Ему любопытен был финал комедии.

Ему казалось, что он готов ко всему.

Увы, никто ко всему не бывает готов.

– Это вы хорошо придумали. Я вас правильно понял: у Ирки СПИД и поэтому я должен снова жениться на ней? – переспросил он Гульку.

Ирка сидела на слишком большом для нее стуле, как провинившийся ребенок между родителями. Маленькая собачка, как говорила о ней Гулька, всегда щенок. Опустив голову, она внимательно рассматривала желтые, давно не знавшие маникюра, ногти.

Гулька с укоризной посмотрела на Дрёму и, передвинув свой стул, обняла за плечи подругу.

– Дима, ну зачем ёрничать, – ласково порицая, пропела она, – женившись, ты избежишь многих формальностей, связанных с усыновлением Питера. Что здесь непонятного?

– Вот как! Тогда все ясно, – обрадовался Дрёма – Но почему я должен усыновлять Питера? У него, кажется, есть отец?

Гулька вздохнула и покачала головой, недовольная глупой строптивостью Дрёмы:

– Какой ты Димка, прямо я не знаю! Крис умер. У Питера нет больше отца. И, ты знаешь, Крис никогда не считал Питера своим ребенком.



– Вы же не станете утверждать, что этот смуглый негренок – мой сын?

– Дима! – в ужасе от бестактности Дрёмы прошептала Гулька и прижала к себе Ирку, как бы защищая саму невинность.

Но Ирка освободилась из ее жарких объятий. Вынырнув из-под тяжелой руки, как цыпленок из-под крыла клушки, она поправила растрепанные волосы и, не поднимая глаз, тихо сказала:

– Мне очень мало осталось жить, Дима. Я виновата перед тобой. Да, я бессовестная кукушка. Но я просто хочу, чтобы о Питере, когда меня не станет, кто-то позаботился. Мне не к кому обратиться, кроме тебя... вас, – поправилась она. – У меня больше никого нет. Ты... вы моя последняя надежда.

Гулька тихо ревела. Она шмыгала покрасневшим носом, а слезы, казалось, мироточили из ее смуглых щек. Она снова облапила Ирку и молча, с укором смотрела сквозь слезы на бессердечного Дрёму.

У Ирки же глаза были совершенно сухими. В них не было ни раскаяния, ни вины. Ничего, кроме пустоты и усталости. Маленькая, раздавленная обстоятельствами Ирка была уже по ту сторону добра и зла. Ее не волновали земные условности. И только неистребимый материнский инстинкт еще теплился в ней.

– Не слушай его, Ирочка, он притворяется пнем, – бормотала Гулька, глядя подругу по маленькой, седой головке. – Мы не бросим Петеньку. Дима, мы ведь не бросим Петеньку?

– Он здоровый, он совершенно здоровый мальчик, – тихо сказала Ирка, не поднимая головы. – Вы не сомневайтесь он здоровый.

У Гульки затряслись губы и, уткнувшись ими в Иркин затылок, она затряслась вся.

Дрёма смотрел на подруг. Плохо, когда женщины играют. Но еще хуже, когда они не играют. Он думал: неужели на этой планете невозможно сделать ни одного доброго дела, не обманув кого-то, не нарушив закон, не совершив преступления?

Да, Дрёма был карикатуристом. Но, несмотря на это,



он был нормальным мужиком. И как у каждого нормального человека в подобной ситуации у него не было выбора.

Но ему было обидно. Обидно, что лишили выбора. Эта инсценировка. Обман.

Гулька поднялась со своего стула, подошла к Дрёме и, обняв со спины, прижалась мокрой щекой.

– Ты не волнуйся, Димка, – сказала она. – Мы не будем тебе надоедать. Будем жить у меня и приходить к тебе в гости. С Петенькой и Клеопатрой.

Дрёма вытер плечом измазанную Гулькиными слезами щеку.

– Отлипни, а?

Он сердился на нее.

И было за что.

Эта мокроглазая дуреха просчитала все ходы несложной шахматной партии.

Она уже чувствовала себя матерью смуглого малыша, с акцентом говорящего по-русски.

В этой партии Дрёма был неповоротливым слоном, заблокированным в углу своими фигурами.

* * *

На углу Космонавтом и Мира остановился паркетный джип. Красный, как перезревший помидор. На заднем стекле его было приклеено объявление. Под номером сотового телефона и крупно напечатанным заглавными буквами словом «ПРОДАЮ» неизвестный остряк приписал маркером: «жену», а еще ниже и другим почерком: «недорого».

– Договор не забыл? Кукушечкин об оплате договорился. Завершаем халтуру. К маме съездим – и все. Завтра с первой леди встречаемся, – сказал Сундукевич, когда Дрёма сел на заднее сиденье и добавил, поморщившись. – Не хлопай дверцей.

– Понятно. Форма одежды парадная?

Дипломат из Сундукевича был никудышный:

– Я думаю, тебе не обязательно с ней встречаться.

– Понимаю. Фотография – высокое искусство. Карикатура – низкий жанр.



– Дело не в этом.

– А в чем дело?

– Мы решили, что на маму вообще не нужен шарж.

– И как вы это себе представляете: на всех есть шаржи, а на нее нет?

– Мы думаем, что маму нужно вынести за рамки. Пусть обратится со Словом. Пожелает чего-нибудь. Анау-манау. А шарж на маму – как-то не то. Несерьезно как-то.

– Ну и прекрасно.

– Если мама захочет, сделаешь шарж по фотографиям. Нашелкаю ее в разных ракурсах.

– Да хоть по телефону. А кто это мы?

– Не понял?

– Вы говорите: мы решили, мы думаем. Кто это – мы?

– Я, Гоша, партийная богиня. Роскошная женщина, скажи? Посмотришь – стареть не хочется.

На условленном месте ждал Кукушечкин. Стоял под зимним дубом памятником облысевшему Пушкину: нога изящно отставлена, руки скрещены на груди, очи долу.

– Привет, мыслитель, – открыл дверцу Сундукевич.

– Разворачивайся, Марк. Поедем к Паше.

– Пристегнись. К какому Паше?

– К тому самому.

– Да ты что! Что случилось?

– Уголовщина с достоевщиной. Двужильная с партийной кассой сбежала.

– Разыгрываешь? – Сундукевич посмотрел на Кукушечкина, как молодой, игривый пес, и толкнул его плечом. – Разыгрываешь!

Кукушечкин угрюмо молчал. Скрестив руки и оттопырив толстые губы, он покачивал головой. Вид у него был мрачен и несколько высокомерен, как у дуче.

Но еще круче.

Сундукевич, откинувшись на спинку сиденья, хлопнул обеими руками по рулю:

– Я говорил, Гоша, я говорил: предоплата, только предоплата. Нет, не по-мужски... А теперь по-мужски? Лохом ты был, лох ты есть, лохом тебя и похоронят. Мало тебя кидали? Мало тебе рога наставляли? Сколько раз



говорили мне умные люди: не связывайся с Кукушечкиным, не связывайся с Кукушечкиным.

– Рога – вещь полезная, – рассудительно сказал Кукушечкин. – Из рогов пантокрин добывают. Поехали?

– Зачем нам к нему ехать?

– А ты как думаешь?

– Я туда без повестки не поеду, – заупрямился Сундукевич. – И что нам всем там толпиться? Ты этот кисель сварил, ты его с Пашей и расхлебывай.

– Не надо дожидаться, Марк, пока повестку пришлют, – наставительно молвил Кукушечкин. – Мы пока даже не свидетели. Мы – потерпевшие. Будем возбуждать, Паша нас соучастниками сделает. Он парень простой, он это сможет. Договоры прихватили? Надо бы копии для Паши снять.

– Зачем?

– Паша их в дело подошьет. И Паше приятно: дело толще станет, и нам отмазка. Поехали.

И они поехали.

Над столетними дубами в туман смога поднимались металлические скелеты небоскребов. Стрелы башенных кранов проносили над улицами, запруженными автомобилями, тавровые балки и бады с бетоном. В этом городе ездить на автомобиле можно было лишь глубокой ночью. И, что удивительно, именно ночью случалось больше всего аварий со смертельным исходом. Днем бились значительно чаще. Но поскольку скорость из-за обилия машин была черепашей, до смерти травмировались редко. Пешеходы обгоняли общественный транспорт. Трамваи, звеня от гнева, стояли на ржавеющих рельсах. Не выдержав надругательства над правилами дорожного движения, сходили с ума и гасли светофоры. Город был перенасыщен автотранспортом. А между тем, горожане покупали и покупали новые машины. Потому что человек без машины в этом городе не считался вполне человеком. Причем каждый хотел иметь не просто машину, а машину громадную. В идеале – изысканный, комфортабельный танк.

Таковыми же сплошными потоками по тротуарам двигались пешеходы, и каждый, жестикулируя, разговаривал



сам с собой. При этом отдельные особи улыбались. Видимо, успели с утра поймать кайф выхлопных труб.

* * *

Паша, лицом и буйной прической похожий на молодого Дениса Давыдова, откинувшись на спинку стула и вытянув ноги, швейцарским ножиком обрезал ногти на коротких пальцах.

Кабинет его, если не считать побеленной воробьями решетки за окном, пыльного плафона и пустой рамы без портрета, был совершенно лишен предметов роскоши.

Сплошной кубизм с минимализмом. Сейф. Такой же угловатый и пустой стол. Как будто тот же сейф, но поваленный на бок. На нем не было ни пепельницы, ни листочка бумаги. Ничего. Даже настольной лампы. Даже телефона. Телефон, как выяснилось позже, был спрятан в выдвижном ящике стола. Интерьер разнообразили несколько некомплектных стульев из советской эпохи. С ножками, потемневшими снизу от долгих контактов со шваброй уборщицы.

– Привет, дядя Гоша, привет, дядя Марк, – сказал он, не прекращая занятия, и отдельно кивнув головой Дрёме, представился: – Москалёв. Павел Петрович. Проходите. Устраивайтесь.

– Привет, старик! Рад лицезреть, родной, – раскатисто грассируя, сердечно приветствовал его Кукушечкин. – Хреново живешь, Пинкертон Пинкертонович, не солидно.

Паша сложил ножичек, который издал приятный для мужского уха звук шелкнувшего курка, упрятал складешок в футляр, а футляр – в карман джинсовой куртки. Смел со стола в ладонь обрезанные ногти и выбросил их в пустую корзину. После этого отполировал ногти о рукава, обдул их и сказал:

– Плохой ты психолог, дядя Гоша. Садитесь, граждане, в ногах правды нет.

– Ты думаешь, правда есть в заднице? – удивился Кукушечкин. – И почему я плохой психолог?

– Представь, дядя Гоша: ты совершил уголовно наказуемое деяние и пытаешься уйти от справедливого



возмездия. Скрыть от меня правду. Думаешь: уж этого кудрявого барана я накручу на бигуди. Заходишь. И что чувствуешь? Чувствуешь дребезжание собственной души. И я это дребезжание чувствую. Мягкая мебель это дребезжание глушит, рассеивает. А тут – а! – слышишь звук? Вибрацию? А! А!

– Ты хотя бы трубку завел, – поддержал Кукушечкина Сундукевич. – Подарить тебе трубку?

– Что я слышу, дядя Марк? Взятка должностному лицу?

– Разбежался, – на корню пресек вспыхнувшие надежды Сундукевич.

– Зачем, дядя Марк, трубка некурящему человеку? Для понта? У меня другая фишка.

Паша элегантно извлек из внутреннего кармана темные очки, встряхнул и надел их.

– Я твои глаза вижу, а ты мои – нет. Я твои мысли читаю, а ты теряешься в догадках. Начинаешь дребезжать. Вибрировать. Часто моргать. А я молчу. А ты моргаешь. А я молчу.

Сундукевич посмотрел в эти непроницаемые черные дыры вместо глаз, и ему действительно сделалось не по себе.

А Паша, не снимая очки, повернулся к Кукушечкину:

– Так ты говоришь, дядя Гоша, находился с генеральным секретарем Александрой Двужильной в любовных отношениях?

Кукушечкин часто заморгал, сделал неопределенный жест возмущения и воскликнул с укоризной:

– Паша! Как ты мог! Как ты мог! Я же доверял тебе, как самому себе.

Сундукевич встрепнулся.

– Что такое? – спросил он тоном обманутого мужа.

Друзья сурово переглянулись и вместе, с большим подозрением, посмотрели на Дрёму.

Тот неопределенно пожал плечами и на всякий случай, сделав отсутствующие глаза, прикрыл рот ладонью.

Следователь Паша снял очки. Глаза его сияли праздничным фейерверком.

– Советую, деды, на ящур провериться. На всякий



случай, – сказал он, не скрывая, распирающую его, радость. – Поздравляю вас, гномики!

– Это почему гномики? – обиделся Кукушечкин. – Почему гномики?

Паша встал и, опершись руками о стол, торжественно объявил:

– А потому. Да будет вам известно, что ваша зазноба Александра Двужильная не далее как год тому назад была... был Александром Двужильным. Строителем пирамид и вообще еще тем мошенником.

– Иди ты! – в ужасе воскликнул Сундукевич. – Тьфу! Тьфу!

– Мерзавка, зараза! – мотоциклом без глушителя взревел Кукушечкин, картавя больше обычного.

Следователь Паша добрыми, хотя и слегка ехидными глазами наблюдал за буйством разочарованных любовников, а, налюбовавшись, утешил:

– Надо полагать, любовь была взаимной.

– Паша, ты зачем нас позвал? Поиздеваться? – возмутился Сундукевич.

– Зачем издеваться? Из простого человеческого любопытства. Хотел посмотреть на мужиков, отлюбивших генерального секретаря. Не мог отказать себе в удовольствии.

– Паша, надеюсь, это останется между нами? – мрачно спросил Кукушечкин.

– Я не папарацци, не такая у меня профессия, – с явным сожалением ответил следователь Паша, но тут же воспрянул духом. – Разве что тете Розе рассказать? Дядя Марк, как тетя Роза поживает?

– Для ее возраста неплохо, – уныло отвечал Сундукевич, протирая запотевшие от волнения очки, но, спохватившись, задушевно добавил. – Сердце иногда пошаливает.

И посмотрел на Пашу робкими, близорукими глазами жертвенного барашка.

– Это не сердце у тети Розы пошаливает, это вы, дядя Марк, пошаливаете, – сурово оборвал его Паша.

– Как у тебя со временем? Может быть, съездим в «Р.В.С.», съедим по форельке? – спросил Сундукевич.



– Так. Опять? Дача взятки должностному лицу при исполнении обязанностей? – обрадовался Паша. – Поехали.

– Как ты думаешь, найдут ее... его? – спросил Кукушечкин.

– Думаю, она, он, а точнее, оно уже там, за большим бугром, – уклончиво отвечал Паша. – Может быть, новую партию создает. Партию людей, сменивших половую ориентацию. Хорошо звучит. Может быть, политическое убежище просит. Дадут, запросто. Там любят борцов за половую свободу. А скорее всего открывает ваше Александро небольшое заведение интимного типа. Понимаю, соскучились. Но в ближайшее время на свидание не рассчитывайте. Только через Интерпол. Я бы на вашем месте богу молился, чтобы не нашли. Фиг с ним, с гоно-раром. Публичный процесс. Показания. Газеты. Любов-ный треугольник. Журналисты. А где? А как? А сколько? Тетя Роза с больным сердцем и поварешкой. Вам это надо?

– Весело ты тут живешь, Паша, вот что я тебе скажу, – с большим осуждением сказал Сундукевич, водружая на нос очки.

* * *

Была пора, которую Пришвин называл весной света. Пора роскошных снегов и предчувствия обновления. Мир был соткан из чистого снега и синевы.

Горы в эту пору до того красивы и чисты, что на гла-зах людей, вырвавшихся из грязного города, непременно появлялись слезы.

Такие ослепительно белые, такие округлые, такие пышные снега царили в тишине, что, казалось, идешь по райскому облаку.

И все – в синей дымке.

А земля где-то там, далеко-далеко внизу.

Облако, совсем как облако.

Только это плывущее в синеве облако проросло елями.

Рыжая Клеопатра и смуглый малыш с огромными гла-зами инопланетянина убежали вперед. С визгом и лаем, они плавали в нетоптанных снегах, поднимая пыль, кото-рая вспыхивала радугой. Барахтались и ныряли в пухляке.



Их головы то появлялись, то снова исчезали в ослепительной белизне.

Ирка шла медленно. Часто останавливалась отдышаться.

Гульнара крутилась вокруг нее полной луной и веселилась вовсю.

– Ир, а помнишь, как Вадик напился и заснул в кресле. А Дрёма губы покрасил и всего обцеловал. Живого места не оставил. А Вадик через весь город в помаде ехал. Помнишь? Приперся весь обцелованный домой, а я его по морде, по морде. А он: «Ты что, Гулька, сдурела?» Помнишь?

Дрёма с рюкзаком за спиной и лыжами на плечах волок санки с широкими полозьями. Когда женщины останавливались, он тоже останавливался.

Гулька, не выдержав соблазна, бросила подругу и побежала вперед к малышу и собаке. Она присоединилась к веселью, и ее заливистый смех грозил спровоцировать лавины. В этой большой, слезливой дурехе, соскучившейся по материнству, жил вечный ребенок.

Белая медведица с медвежатами.

Ирка остановилась и закурила.

– Питер первый раз видит снег, – сказала она.

Черные очки делали ее инопланетянкой.

Она улыбнулась, обнажив плохие зубы, как страшную тайну.

Все мы лишь скелеты, временно прикрытые кожей и мясом – вот такая это была тайна.

Тем более неприятная от того, что непроницаемые глаза Ирки были завешены черной пустотой, в которой отражалось райское облако, проросшее елями.

Было ясно, что открыла она, умирающий человек, эту тайну случайно. Открыла и сама этого не заметила.

Дрёме хотелось сказать ей что-нибудь теплое. Остроумное. Но ничего в голову не приходило.

– Садись на санки, – сказал он, – садись, садись.

Она почти ничего не весила.

Он и не заметил, что санки стали тяжелее.

Дрёма тянул в гору невесомую ношу, не оборачиваясь.

Он знал, что оборачиваться не надо.



Он знал, что Ирка сейчас плачет. Курит и плачет.

Потому что умирающий человек, смотрящий на горы в пору весны света, пусть даже сквозь черные очки, не может не плакать.

Собственно, все мы – умирающие люди. Грядущая, неизбежная смерть предполагает, что все мы живем уже в прошлом. В воспоминаниях. Все мы уже умерли. Но здоровый человек упрямо заблуждается в своем бессмертии. Ему кажется, что он живет. И все, что видит, настоящее.

Это одно из самых приятных и необходимых для жизни заблуждений.

– А помнишь, ты мне на день рождения снежок подарил? – спросила Ирка. – Где ты его взял, в июле?

Он вспомнил, как в июльскую жару, улыбаясь, шел навстречу большеглазому чуду, жонглируя двумя ослепительно белыми снежками.

Боже мой, какие у нее были глаза. Какое детское изумление светилось в них.

– Где ты взял? – спросила она.

Он так и не раскрыл тайны.

И никогда уже не откроет.

Зачем расстраивать умирающего человека скучным объяснением чуда. Зачем говорить, что чуда, в общем-то, и не было. Возле надувной полусферы катка этого добра каждое утро – целый сугроб. Тает и стекает в арык. Он мог бы дарить ей по снежку каждый день все лето. Всю жизнь. Но к чуду быстро привыкают. Чудо понятие одно-разовое.

– С утра на пик Лавинный сбегал, – ответил он, не оборачиваясь.

Красиво соврал. Вранье всегда красивее правды. Кому нужна правда?

* * *

В сквере академии художеств шумел и светился фонтан-одуванчик.

Сквер плотно заставлен учебными работами студентов-скульпторов.

Перед фонтаном в мелком бассейне была установлена



скульптура Нарцисса. Женоподобный юноша, прикрытый гипсовым полотенцем, в соблазнительной позе возлежал на лоне вод, любуясь своим отражением. Сидящий на его голове иранский скворец присел, добавив седины в кудри.

Когда-то Нарцисс был ослепительно белым. Но городская копоть и сырость превратили его в отвратительного монстра, и скульптура тем самым достигла невероятной художественной выразительности. На лице Нарцисса под воздействием агрессивной городской среды как бы отразились все пороки и болезни века.

Но именно в тот момент, когда гипсовый юноша из кича превратился в произведение искусства, его вознамерились убрать из бассейна. Озабоченные люди в оранжевых комбинезонах хмуро смотрели на чумазого Нарцисса, обсуждая, как лучше подогнать к нему кран.

Мешала кривая сосна. Ее нужно было убрать с дороги. Для этого требовалось согласие городских властей. Оранжевые люди как раз и обсуждали эту проблему: стоит ли беспокоить мэрию по такому пустяку? Не лучше ли спилить калеку по тихому?

На скамейке под сосной, согнувшейся в арку, сидели Дмитрий Дрёма и его племянник Игорёк.

Смуглый Петя уговаривал рыжую Клеопатру стать его лошадкой.

Клеопатра делала вид, что не понимает его, и время от времени лизала маленького человека в нос.

Петя вытирал нос рукавом рубашки и снова пытался задрать ногу на спину Клеопатре. Она отступала и снова лизала своего товарища в нос.

– Вчера смотрел старый фильм. По телевизору. Черно-белый. С середины и не до конца. Так, включил наугад, выключил. Названия не знаю, – сказал Игорёк, наблюдая за безуспешными попытками малыша оседлать собаку. – И такая меня досада взяла, дядь Дим, такое раздражение. Ради чего копошатся эти давно покойники? Какой смысл в интригах и жертвах мертвецов? И герои, и актеры, которые этих героев играют, давно истлели. Проблемы, которые их мучают, давно забыты и никому не интересны. А они волнуются, переживают, с горя стреляются.



Понимаешь, дядь Дим? Какой смысл в этом копошении червей? А я смотрю на этот дурдом и думаю: а я ведь тоже снимаюсь в таком же дурацком фильме.

– Тише, – сказал Дрёма, – режиссер услышит.

Рано или поздно каждый неглупый человек делает неприятное открытие: оказывается, его отдельно взятая жизнь не имеет большого смысла.

Настало время и для Игорька открыть для себя эту истину.

Как и каждый серьезный человек, Дрёма относился к себе крайне несерьезно.

Странно, однако, устроен человек.

Встретив такого же, как и он, но более молодого циника и пессимиста, Дрёма был неприятно удивлен подобной философией. Его покорили взгляды, которые он, в общем-то, разделял.

Все дело было именно в возрасте. Точнее в разнице возрастов.

– Папа дядя Дима, помоги сесть на Клеопатру, – устав от бесплодных попыток, обратился к нему за помощью малыш.

Говорил он с легким акцентом.

– Бесполезно. Не повезет она тебя.

– Вай?

– Не вай, а почему. Потому что не хочет.

– Почему?

– Потому что ей тяжело.

– Вай?

– Почему. Потому что у нее скоро маленькие дети будут.

– Почему?

– Потому что так мама Света захотела.

– Почему?

– Это бы и я хотел знать. Погуляйте лучше по скверчику. Только дальше фонтана не уходите.

Дрёма проводил взглядом малыша с Клеопатрой и, не упуская их из вида, сказал:

– В копошении червей, Игорёк, кстати, очень большой смысл. Без копошения червей не было бы гумуса. Плодородного слоя, почвы. А, следовательно, не было бы тра-



вы, деревьев. Вообще ничего живого не было бы. Природа так уж устроена, что делится на живую и мертвую. С мертвой все понятно. Там полно смысла, порядка, логики. Живое устроено довольно глупо. Но что бы мы с тобой по этому поводу ни думали, живое будет копошиться – со смыслом или без смысла. Будем надеяться, в следующей жизни нам повезет. Станем валунами. Впрочем, подозреваю, и внутри валунов есть какое-то копошение.

Игорек посасывал баночное пиво и не особенно прислушивался к дяде. Он был еще в том возрасте, когда высказывают свое мнение не для того, чтобы слушать чужое.

– Видишь, дядь Дим, у памятника сидит? Сама скромность. Я ее в первый раз вижу, а знаю – потаскушка, – сказал он с печальным цинизмом. – Это сейчас так просто, так просто. Как банку пива выпить. Проще чем сказать: «Привет!» Это так легко, что даже лень начинать.

Петя с Клеопатрой подошли к девушке, о которой только что говорил Игорёк, и она, глядя собаку, о чем-то беседовала с малышом. Очень милая девушка.

– Давайте говорить друг другу комплименты, – угрюмо пропел Дрёма.

Игорек посмотрел на него, и стало ясно: человек не намерен шутить. Человек намерен и дальше говорить злые гадости.

– Никто никому не верит, дядь Дим. Все изменяют друг другу. Все. Среди моих знакомых нет никого, кто бы не развелся. Конец света уже наступил. Среди моих знакомых нет ни одного, кто бы не подумал о самоубийстве. А двое уже. Надумали. Живем по привычке. Никто ни кому не относится серьезно. Никто никого не уважает. А за что уважать? Сплошные б...

– Нарисовал ты черный квадрат, – сказал Дрёма с покровительственным осуждением. – Ничего сплошного нет. Даже черный квадрат местами не такой уж черный.

– Это правило без исключений, – сказал Игорёк, бросая банку в урну.

Промазал и усмехнулся горько.

– Как поживает Катя? – спросил Дрёма с самым безразличным видом.



Смуглый Петя, усевшись на скамейку, о чем-то оживленно беседовал с девушкой. Клеопатра сидела напротив и переводила взгляд с одного на другого, словно пытаясь понять смысл разговора.

– Не знаю, как она поживает. Меня это не волнует, – ответил Игорёк и посмотрел на Дрёму такими вызывающе честными глазами, что сразу стало ясно: врет. Волнует.

Игорёк отвернулся и добавил:

– Если я о ком-то и скучаю, так это об Ильюшке.

Но, отступив на пядь от позиции циника, уже не мог совладать с собой.

– Привязался я к нему, дядь Дим. Мне его хочется увидеть больше, чем ее. Не отвечает, дрянь. Квартиру сменила. На звонки не отвечает. Ушла в подполье. Дело ведь не в переспать. С этим вообще никаких проблем. Серьезных отношений хочется. Я, дядь Дим, человек старомодный.

Дрёма молчал. Он понимал, что Игорьку и не нужны его советы, а тем более утешения. Ему нужно выговориться.

– Как Серафима? – спросил он.

– Серафима? Нормально. У Серафимы новый папка.

– Какие планы?

– Планы? Какие планы? Никаких планов. Были бы деньги, купил бы остров в теплом море. Окружил бы его тройным кольцом из мин, чтобы ни один сёрфингист не проскочил, и ходил бы по нему голый до самой пенсии. Рыбой питался.

– Что мне в тебе всегда нравилось, так это практичность. Четкий, хорошо продуманный план – половина дела.

– Надоело все, дядь Дим. А ты что на моем месте бы делал?

– Надо прямо сказать, что с консультантом ты не ошибся. Что делать, что делать? Кто его знает, что делать. Перетерпеть надо. Жить. Выходить из окружения в одиночку. У тебя есть что-то такое, чем ты всегда хотел заняться, но откладывал на потом. Потом уже наступило. Займись. В том, что всю жизнь откладываем на потом, всегда есть какой-то смысл.



– Смысл? – усмехнулся Игорёк.

– Смысл в природе самой жизни. В самых ключевых ее моментах. И в последнее время замечаю, смысл всегда связан с детьми. Когда они доставляют тебе неприятности, ты как-то не задумываешься о смысле жизни. Несеешь свой крест, пыхтишь. Но как только не о ком заботиться, некому доставлять тебе неприятности, начинаешь философствовать... Надолго?

– Навсегда.

– Чем же тебе Москва не угодила?

– Всем хорош город Москва. Но есть в нем один маленький, но досадный недостаток. Представляешь, дядя Дим, в городе Москве нет гор. Нет, ты не представляешь, как куце и пошло выглядит город без гор. Утром иногда выглянешь в окно – горы! Приглядишься, а горы шевелятся. Облака. Такое разочарование!

– Горы – это хорошо. Однако иногда трясет.

– Пустяки. Зато увидел горы – и душа на месте. Сам посуди, что я такое в Москве? Что есть у меня там, кроме суеты и тщеславия считать себя москвичом. Да, если хочешь чего-нибудь добиться – Москва. Однозначно. Но ведь надо и совесть знать. Все мы занимаем какое-то место в пространстве. А Москва не резиновая. А мы в нее, как в последний автобус. Аж трещит от провинциальных гениев. Как тараканы к теплой русской печке.

Зазвонил телефон.

– Извини, – сказал Дрёма Игорьку и, посмотрев на экран, без энтузиазма. – Слушаю, Георгий Иванович.

– Привет, старик! – зазвенел в ухе яростно грассирующий голос. – Здорово сегодня тряхнуло. Баллов на пять. Представляешь, опять удар стихии застал на толчке. Представляешь? Это уже даже не сила привычки. Это закономерность. Как здоровье, старик?

– Врать не хочу, а хвастать не в моих правилах.

– У меня к тебе деловое предложение, от которого невозможно отказаться. Потрясающая халтура, старик. Халтура, которая случается раз в сто лет. Нужно сделать триста шаржей за два месяца. Каждый по двадцать баксов. Но как лауреату позволяю тебе торговаться до двадцати пяти.



– Георгий Иванович, опять? Мало нас кинули в прошлый раз?

– Старик, на этот раз верняк. Триста выдающихся мужиков современности и ни одной дамы.

– Почему триста?

– Триста спартанцев. Понял мысль?

– Не понял.

– Не притворяйся, старик. Триста самых крутых, одаренных мужиков современности, которые в разных областях представляют страну. В искусстве, в спорте, в науке, в бизнесе. Триста шитов. Триста героев. «Славою увиты, шрамами покрыты, только не убиты...» Дошло, старик? «Все они красавцы, все они таланты, все они поэты...» Дошло? Нет ничего надежнее, чем бизнес на тщеславии. Человек пятьдесят, конечно, бесплатно. А остальные, извините! Слава нынче не дешева.

– Кинут, Георгий Иванович.

– Кто нас кинет, старик? У кассы свои люди. Ах, да! Я же самое главное забыл сказать. Будет аванс, старик! Вдохновился, вдохновился? Сундукевич согласен. Поработаем снова старой тройкой. Эх, тройка, птица тройка... Ну? Согласен? Согласен? Не подведи меня, старик. Я за тебя, как за соломинку. Ты моя последняя надежда...

– Не знаю, Георгий Иванович, не знаю. Я теперь домохозяйин. Как Гуля скажет. Она же свой бизнес открыла. Слышали? Центр по пересадке волос. Днюет и ночует. Днюет и ночует. Засевает лысины квадратно-гнездовым. Очередь – на все столетие вперед. Все хотят быть молодыми и кучерявыми. Весь дом на мне. Кто будет выгуливать Клеопатру и Петю? Кстати, нет желания обзавестись пышной шевелюрой? Сундукевич от зависти облысеет.

– Старик, я привык к своей прическе. Зачем мне лишние проблемы? Ты бы о своей внешности позаботился, – грустно отказался помолодеть Кукушечкин. – Я все-таки надеюсь на тебя, старик. Не бросай старых друзей. Жду звонка.

И, не прощаясь, отключился.

– Так. На чем мы остановились, Игорек?

– На детях, – ответил племянник с двусмысленным сочувствием.



– Да, дети – крест, который приятно нести, – согласился с невысказанной мыслью Игорька Дрёма. – Ну, ничего. Петя немножко подрастет, я его на лыжи поставлю. Велосипед куплю. Маленький такой маунтинбайчик. И будем мы с ним пропадать в горах. Вместе майки сушить на балконе. Я теперь понимаю, отчего деды так любят возиться с внуками. Внуки – отмазка, прикрытия для тех, кто не наигрался в детстве.

Игорек посмотрел на него искоса и спросил с сомнением:

– А Клеопатру, дядь Дим, вы тоже поставите на лыжи?

– Мужики, вы не могли бы перейти на другую скамейку, – подошел к ним человек в оранжевом комбинезоне.

– А в чем дело? – спросил Игорёк.

– Дерево убирать будем.

– Вот так просто? Убрать? – вежливо улыбаясь, переспросил Дрёма. – И разрешение у вас есть?

Он достал мобильный телефон.

– Э, мужик, ты что – фотографируешь меня? – спросил человек в оранжевом комбинезоне с чувством поправленного достоинства.

Не отвечая ему, Дрёма поймал в видискатель группу оранжевых у бассейна, а затем кран за оградой. И трижды телефон издал звук, похожий на тот, что издает перьевая ручка, подчеркивая ключевые слова в предложении.

– Полезная штука, – поделился Дрёма знаниями с Игорьком, поднося трубку к уху, – говорят, как только у пятидесяти процентов населения появляются телефоны мобильной связи, автоматически включается необратимый процесс демократизации общества, – и обернувшись к оранжевому человеку. – У Вас есть телефон мобильной связи?

– Да? – удивился Игорёк и успокоил оранжевого. – В нашей стране количество людей с телефонами сотовой связи не превышает сорока девяти с половиной процента.

Человек, посягнувший на согбенную сосну, попытался что-то ответить, но Дрёма властно выставил ладонь, призывая к почтительной тишине.

– Георгий Иванович? Вы помните кланяющуюся сосну



в сквере возле академии художеств? Да, да. Памятник природы. Да, да. Охраняется государством. Свидетель землетрясения 1912 года. Так вот ее сейчас собираются спилить. Может быть, вы поговорите, – Дрёма прикрыл трубку рукой и спросил у человека в комбинезоне, – кто у вас главный?

– Ты откуда звонишь, Дима? – спросил Кукушечкин.

– Сижу на скамейке под сосной, а меня просят убрать-ся.

– Понятно. Разыгрываешь? С каких это пор кривая сосна охраняется государством?

– А сколько сейчас времени? С этой самой минуты.

– Понял. Значит так: я спасаю сосну – ты принимаешь мое предложение. Хорошо? Не будем брать главного на арапа. Посиди пятнадцать минут на скамейке.

– А что будет через пятнадцать минут?

– Через пятнадцать минут в сквере у академии художеств будут операторы всех телестудий города, а также фотокорреспонденты всех оппозиционных и лояльных власти газет. Надень черные очки, чтобы уберечь глаза от вспышек.

– Хорошо, – отвечал Дрёма, – жду.

И, спрятав телефон в карман, закинул ногу за ногу.

– Так вот, ты спрашивал, что делать? – спросил он племянника. – Отвечаю: надо чаще смотреть на горы. Сидеть под горбатой сосной и смотреть на горы.

И человеку в оранжевом комбинезоне:

– Не могли бы вы отойти чуть в сторону: вы заслоняете нам горы.

Игорёк в свою очередь закинул ногу за ногу, скрестил руки на груди и, склонив голову набок, послушно устоялся на пик Лавинный.

– Да, – сказал он, спустя десять секунд, – мне уже лучше. Значительно лучше.

На скамейках у фонтана с планшетами и этюдниками на коленях сидели студенты академии художеств.

Они бросали быстрые взгляды хищных птиц на малыша, играющего со старой собакой, на людей в оранжевой униформе, но все рисовали фонтан, кривую сосну и Нарцисса, склонившегося над своим отражением.



Их не интересовали случайные детали.

Но без случайных деталей, что бы ты ни рисовал, получается схема.

На всех рисунках одно и то же: под дугой сосны-калеки, как бы в раме – фонтан и бассейн перед фонтаном с Нарциссом, пострадавшим от агрессивной городской среды.

Отличается от всех работа горбатого юноши. На его рисунке – смутные тени людей, сидящих на скамейке под сосной, тени оранжевых людей и их отражения в воде. Запечатлен на рисунке и малыш с собакой.

Юноша с минуту смотрит на свой набросок и пишет сверху: «Предчувствие землетрясения».

2008 г.





ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ БЕЗ КЛЮЧА

(Печальная история с относительно счастливым концом)

Над приземистым городом Новостаровском, как купол коренной породы в австралийской пустыне, торчал советский небоскреб.

Небоскребом здание можно было назвать именно с этим определением и лишь в предгорной сейсмической зоне, где запрещалось строить дома выше пяти этажей. В данном случае запрет был превышен пятикратно.

Город время от времени трясло.

Но здание было сооружено с такой избыточной даже по советским меркам прочностью, что врежся в землю астероид и превратись планета в пыль, огонь и пепел, оно бы целехоньким летело себе среди обломков, вращаясь в космическом пространстве, и даже стекла в нем не потрескались бы.

В свое время проект утверждался на самом верху. И когда, очарованному грандиозностью замысла, большому руководителю специалист-сейсмолог напомнил, что здание не только значительно превышает допустимую



этажность, но к тому же его предполагается возвести на красной линии разлома, руководитель, обдумав предостережение и подергав себя за нос, сухо ответил:

– Передвиньте.

– Дом? – спросил сейсмолог, посмотрев с превосходством на архитектора – Ивана Фёдоровича Скрепку.

– Красную линию, – уточнил руководитель.

И архитектор Иван Фёдорович Скрепка с полупоклоном одарил сейсмолога добродушной, но слегка снисходительной улыбкой. Сейсмолог был молод и еще не знал, что большое начальство выше законов природы.

Новостаровский небоскреб должен был служить памятником советскому периоду, но оказался его надгробием. Пришли иные времена, условно названные демократией, и здание купил племянник мэра.

Конечно, то, что новым хозяином первого в городе небоскреба стал племянник мэра, ни о чем не говорит.

Абсолютно!

Мог бы купить и не племянник.

Но купил племянник.

Вполне, кстати, приличный молодой человек двадцати пяти лет, накопивший первоначальный капитал честным трудом. Он контролировал в городе игровой бизнес и сопутствующую ему проституцию. Заработанные на азарте и порочной любви деньги смысленный юноша своевременно вложил в китайский сахар. Случилось так, что местным земледельцам стало невыгодно выращивать свеклу и сахарные заводы встали. Или наоборот?

В городе же очень уважали чай.

А какой чай без сахара?

Торговля китайским сахаром принесла такие барыши, что племянник мэра задумался о собственном банке.

Для этого и потребовалось ему самое высокое здание в городе.

Купил он его по цене столь незначительной, что узнавший о ней конкурент внезапно умер. Скорее всего, от смеха.

Приготовились зевать? Сдержите позыв. Автор не собирается читать проповедь о равных возможностях и социальной справедливости.

Купил и купил.



Какая нам разница, кто и за сколько?

К тому же особенно завидовать удачливому пареньку не стоит. Автор, имея возможность заглянуть в будущее, забежав на два года вперед, вынужден с прискорбием и некоторым недоумением сообщить: племянник мэра покончил жизнь самоубийством. Да, да – застрелился. Две пули он выпустил себе в грудь. Но промахнулся. Слабое знание анатомии не позволило попасть в сердце. Тогда, изловчившись, он выстрелил в затылок, предварительно связав себе руки.

Желающие могут, оттолкнувшись от этого примера, поразмышлять о свойствах счастья. Из чего оно проистекает и почему у одного есть, а у другого нет, хотя оба живут в одном подъезде? Почему иной раз всеми признанный счастливчик пребывает в тревоге, тоске и печали, а с лица какого-нибудь существа без определенного места жительства не сходит самодовольная ухмылка? Поразмышляйте, поразмышляйте. У автора нет на это ни времени, ни желания. Он не философ. Но как старый горнолыжник мог бы поделиться одним, увы, запоздалым советом: парень, будь хозяином своей скорости.

Что еще можно сказать по поводу самоубийства? Факт печальный. Но переживать особенно не стоит: племянник мэра не герой этой истории. Он попал в нее совершенно случайно, как порой совершенно случайно попадает в окрошку муха.

Нам было важно, собственно, сказать лишь одно: у самого высокого здания в Новостаровске появился новый хозяин, и организациям, населяющим его, был дан месяц на то, чтобы убратся вон со своим скарбом и тараканами.

* * *

Пять верхних этажей советского небоскреба, перешедшего в частную собственность, занимала редакция старейшей в городе газеты «Новостаровская правда», на чьи деньги, собственно, и было построено здание.

Большинство сотрудников накануне выселения пребывали в золотом предпенсионном возрасте и с понятной печалью взирали с высоты своих, пропахших ароматами чая и табака кабинетов на перспективу улиц, уходящих в



туман предгорий. Их жизни и карьеры были связаны с этим зданием и представлялись плавным перемещением из тесных в более просторные кабинеты, с этажа на этаж. Служебная лестница круто вела вверх на двадцать пятый, заоблачный этаж, где и размещался кабинет редактора. Старую гвардию тревожили мрачные предчувствия: их, как и ветхую мебель, никто не собирается перевозить в новое помещение. Они пили, якобы, цейлонский чай, с грустью вспоминали продукцию отечественных свекловодов и ругали китайский сахар.

Смотрела в окно и делопроизводитель Анна Николаевна Лян.

Прелестно стареющая красавица напоминала яблоню, обманутую ноябрьским теплом и расцветшую в последний раз накануне лютых морозов.

Она смотрела в окно, но ничего, кроме золотых пятен на зелено-синем фоне, не видела. Ее нежно-зеленые, истомленные счастливой жизнью, глаза были залиты слезами.

Накануне переезда умер старший бухгалтер Иван Сергеевич Стерх, с которым ее связывали долгие годы дружбы. В коллективе его уважали не только за то, что он был бухгалтером, то есть человеком, у которого всегда можно было перехватить до полочки. Благородной статью, манерами и достоинством он напоминал старого князя Болконского из фильма старшего Бондарчука «Война и мир». Одинаково корректно и холодно он вел себя как с техничкой бабой Кларой, так и с самым главным редактором. И только для Анны Николаевны неизменно делал исключение – улыбался. Сколько раз встретит, столько и улыбнется. Приветливо, но чуть-чуть грустно.

Молодые сотрудницы звали его Иваном Царевичем.

Для них он всегда был реликтом – дедом из породы вымерших аристократов, но Анна Николаевна Лян помнила его обворожительным мужчиной, перед чарами которого невозможно было устоять.

В связи с переездом редакции Иван Сергеевич Стерх был похоронен в неприличной спешке, как солдат во время отступления. Оказалось, что был он совершенно одиноким человеком. Среди людей, бросивших горсть глины в его могилу, не нашлось ни одного родственника.



Анна Николаевна вздохнула легко и сладко, как умеют вздыхать в горе только женщины, и промокнула надутым платочком глаза. То, что представлялось золотыми пятнами на сине-зеленом фоне, приняло четкие контуры лимонного дерева, стоящего на подоконнике. Золотые плоды наполняли кабинет уютным сиянием, а сквозь листву просматривались белые пики, врезанные в синеву неба и зелень предгорий.

Это растение Анна Николаевна вырастила из зернышка лимона, которое подарил Иван Сергеевич Стерх, спустя три дня после ее свадьбы.

Был ли в этом странном подарке какой-то смысл? Горький намек? Теперь никто не скажет. Ей казалось – был.

Она набрала в банку из-под кофе землю из цветочного горшка в приемной и посадила зернышко, не веря, что из этого что-то выйдет.

Но появился росток.

И с этого мгновения скучный кабинет преобразился, став для нее как бы филиалом дачи.

По мере разрастания лимонного дерева, она пересаживала его из горшка в горшок, подрезала ветви и корни, лечила от болезней, опыляла цветы и подвязывала плоды, чтобы своей тяжестью они не надломили ветви, а, уходя в отпуск, поручала растение заботам лучшей подруги. За землей для очередной пересадки выезжала в экологически чистые, заповедные горы.

С годами лимонное дерево стало для нее чем-то большим, чем просто комнатным растением.

Это был живой дневник ее жизни. И когда она смотрела на него, многое вспоминалось. Главным образом то, о чем не говорят вслух. Дерево-летопись, дерево – хранитель тайн.

Собственно, она поклонялась лимонному дереву, как язычница растительному богу. Кабинетные чаепития приобретали откровение религиозного акта. Пейте чай с кислыми плодами моими – это кровь моя и плоть моя.

Наверное, так и зарождалось в человеке религиозное чувство: забота о растении или животном перерастала в поклонение. Появлялся тотем.

И вот настало время прощаться. Но с какой стати она



должна оставлять свое лимонное дерево чужим людям? Анна Николаевна представила, как эту роскошь вместе с ненужным хламом люди в комбинезонах выбросят в кузов грузовика и – рассердилась.

А рассердившись, снова прослезилась.

Мельхиоровой вилкой она, покусывая губы, взрыхла землю, полила из чайника корни и, наконец, поняла, что не сможет расстаться с ним. В сущности, бросить растение так же подло, как бросить котенка или щенка. Да, конечно, в квартире тесновато, но она никогда не простит себе, если оставит его. Предаст.

* * *

Два внука, руководимые сыном, подхватили ящик, оклеенный фольгой, и понесли, отворачивая лица от тяжелых плодов, скособочившись и приседая, к лифту.

Шары лимонов раскачивались и сотрясались, освещая мрачноватый коридор золотыми бликами.

Сама душа покидала проданное здание.

Как если бы с церкви сбрасывали кресты и колокола.

На проходной траурную процессию, возглавляемую расстроенной Анной Николаевной, остановил вахтер. Обликом, басом, статью и короткой стрижкой напоминал он городничего, каким изображают его актеры традиционных театров.

– То есть, как это не могу вынести? – возмутилась Анна Николаевна. – Это мое дерево. Я его вырастила из зернышка.

Но вахтер, военный пенсионер, смотрел мимо Анны Николаевны и отвечал невозмутимо:

– Ничего не знаю. Покажите бумагу, заверенную печатью, и хоть сейф с деньгами выносите. А без бумаги не пропущу. Я свое место терять не намерен.

– Место? Да разве вы не знаете, что здание продано?

– Ничего не знаю, женщина, – отвечал страж, хмуро поглядывая на раскачивающиеся лимоны, – принесите бумагу и хоть голову начальника выносите. Главное, не забудьте печать на лоб поставить.

– Эх, товарищ, – вздохнул сын Анны Николаевны. – Вы не понимаете, что охраняете уже украденное здание?



Охранять-то нечего. Здание уже украли. А вы к комнатному растению прицепились.

– Ничего не знаю, – упрямо отвечал военный пенсионер, делая бронебойное лицо.

Седой бобрик торчал, как тысячи штыков в плотном парадном строю.

– Мальчики, поставьте дерево на пол, – вздохнула Анна Николаевна и поплелась к лифту.

Только что была пышной, гордой женщиной, в которую еще можно влюбиться, и вдруг в какие-то секунды стала беззащитной пенсионеркой. Этот бесчувственный вахтер своей тупой честностью испортил печаль прощания с прошлым, превратил высокие чувства в фарс.

– Какую бумагу? Он что там с ума сошел, старый дурак? – удивился завхоз Щербина. – Его же через неделю-другую самого вышвырнут. Воспитали, понимаешь, совков на свою голову.

Впрочем, сказал он это с долей гордости.

Все, кто верит в переселение душ, взглянув на завхоза, сказали бы, что в предшествующей жизни был он вороном, выклевывающим очи воинам, павшим на поле битвы. Столь черен был его волос и пронзителен взор, что сослуживцы за глаза звали Щербину Колдуном. При том, что был он человеком компанейским, виртуозно владеющим древним искусством тоста и музыкальным инструментом с благозвучным названием мандолина.

Быстро составив бумагу, разрешающую вынос лимонного дерева за пределы редакционного помещения, завхоз Щербина, галантно поклонившись, сказал, иронически улыбаясь:

– Подождите, Анна Николаевна, схожу к шефу. Печать поставлю. Каждую скрепку с шефом согласовываю.

* * *

Главный редактор «Новостаровской правды» Авдотий Стерня разбирал стол. Точнее сказать, бумаги, накопившиеся в ящиках стола за долгие годы. Занятие это чрезвычайно нудное и утомительное. Особенно для человека и без того крайне раздраженного.

Авдотий Стерня очень сердился на собственное



губошлепство: не подсуетился вовремя и не приватизировал пять этажей вместе с газетой, когда была такая возможность. Если бы не зевнул, был бы состоятельным человеком. Шустрая ящерица удачи ускользнула, оставив в его руке бесполезный хвост.

У ящерицы хвост отрастет, а из хвоста ящерица не вырастет.

Сердился он и на главного бухгалтера, решившего умереть во время переезда. Мало было без него забот.

По коридору волоком тащили что-то тяжелое. Должно быть, сейф. Через две закрытых двери доносился визг, скрежет и раздраженные голоса людей, справедливо обвиняющих друг друга в непрофессионализме.

Авдотий Стерня рано обнаружил в себе отсутствие таланта, а потому все силы отдал карьерному росту. Как это ни странно, из таких бездарных журналистов, ненавидящих газеты и газетчиков, порой получаются неплохие редакторы. По крайней мере, сотрудники «Новостаровской правды» считали его редактором от бога.

Что думал по этому поводу бог, неизвестно.

На самом деле у Авдотия Стерни был один чиновничий талант. Он умел подобрать одаренных и амбициозных людей на должности ответственного секретаря, заведующих отделами и, самое главное, подобрав, не мешал им работать. Нечего лезть в хорошо работающие часы. Достаточно время от времени подзаводить их и слегка подправлять стрелки.

Секрет, конечно, не большой, но мало кто им пользуется. Всем почему-то нужно поковыряться в механизме. Вот почему так мало на планете хороших редакторов, королей, президентов и прапорщиков. Человек, получивший власть, как бы слегка сходит с ума. Ему начинает мерещиться, что он подобно Господу Богу живет на перисто-кучевых облаках и оттуда с покровительственной и слегка грустной улыбкой взирает на несовершенное человечество.

Став редактором, Авдотий сохранил рассудок.

Редкий случай.

Очень редкий.

Раскрыв очередную папку, Стерня хмуро сканировал



уставшими глазами документы с грифами «для служебного пользования», после чего рвал на четыре части или сминал в плотный снежок и швырял в картонный ящик из-под компьютера, время от времени утрамбовывая ногой хлам. Заполненная ранее мусорная корзина утопала в бумажном сугробе.

Все, что кажется важным, рано или поздно становится мусором. И в этот момент ты чувствуешь печаль и освобождение. Ты рвешь в клочья собственную жизнь.

На самом дне нижнего ящика Авдотий Стерня обнаружил общую тетрадь. «Сказки для взрослых» решительным и острым, как зигзаги молнии, почерком было начертано на ней.

Не сразу в сотворении этой яростной молнии Стерня распознал собственную руку.

Раскрыв тетрадь, он принялся, было, сердито, с треском перелистывать ее, да вдруг удивленно поднял брови, хмыкнул и незаметно с пятой страницы углубился в чтение.

«...корректор Иван Сергеевич икнул, сказавши: «Кто это меня поминает, на ночь глядя?»»

Добрейший старик и не подозревал, что именно в эту секунду из робкого Ивана Сергеевича он превращается в Ивана Царевича – героя, призванного исправлять всякого рода несправедливости и восстанавливать попорченную правду с той же легкостью, с какой правит грамматические ошибки в газетных гранках.

– В одной вечерней газете, – скучным речитативом начал репортер очередную историю, укрывая дочь одеяльцем, – под инвентарным номером «13» числилась старая пишущая машинка.

Буква «ё» в ней заедала и приходилось пользоваться исключительно «е», твердый знак плохо пропечатывался и его путали с мягким.

«Когда же, наконец, заменят эту рухлядь!? – восклицала машинистка Люся, в отчаянии встряхивая фальшивыми кудряшками. – Сил моих больше нет!»

«Люсьена Гамадриловна, у меня к вам нижайшая просьба, – сказал, входя в машбюро, робкий и вежливый корректор Иван Сергеевич, – не будете ли вы столь лю-



безны, отпечатать эту страничку. Письмо моему старому другу. Он плохо видит, и, боюсь, не сможет разобрать мой почерк. Я был бы вам очень благодарен. Если, конечно, Вас не затрудит...»

«Вот еще! – вскипела Люся. – Нет у меня другого дела, как ваши каракули разбирать».

«Прошу прощения, – смутился старый корректор. – В таком случае, позвольте мне вечером, после работы воспользоваться Вашей машинкой. Я буду очень осторожен».

«Да, пожалуйста! – разрешила сердитая Люся. – Печатайте, сколько угодно. Мне эту рухлядь не жалко. Чем скорее сломается, тем лучше. Быстрее новую купят. Все на моих нервах экономят».

Вечером, когда в гулких, обезлюдивших коридорах редакции скрежетала ведром и шлепала по полу мокрой тряпкой уборщица тетя Клара, а скучное окно машбюро налилось сиреновой мглой, Иван Сергеевич вставил в старую пишущую машинку лист.

Белый-белый, как крыло чайки на темно-синей воде.

Едва коснулся он указательным пальцем клавиши «д», как машинка ритмично и шаловливо застучала. Словно зацокал копытцами по ночной улице маленький жеребенок.

Игривость старой машинки напугала Ивана Сергеевича.

До этой секунды корректор мог едва выстукивать текст указательным пальцем правой руки, подолгу выискивая на стертой клавиатуре очередную букву. Сейчас же нужные клавиши сами находили его пальцы.

Да, он печатал всеми десятью пальцами!

Старый корректор чувствовал себя мальчишкой, впервые оседлавшим лошадь. И необъезженный зверь, всхрапывая, понес его по зеленым холмам. Ветер, густой от запахов трав и луговых цветов, шуршал в ее гриве и его волосах. Ничего более чудесного с Иваном Сергеевичем не случилось. Ожидание неминуемого падения лишь усиливало удовольствие дикого галопа.

Иван Сергеевич сел за пишущую машинку напечатать письму слабовидящему другу, но печатал он сказку.

Скорее всего, сказку сочиняла сама пишущая машинка.



Однако для того, чтобы случилось это чудо, ее истерых клавиш должен был коснуться старый корректор.

Таинственный, необъяснимый случай порой застаёт врасплох, но подстерегает он лишь человека, заслужившего право на то или иное чудо.

Иван Сергеевич не пытался разгадать тайну старой пишущей машинки.

Он принимал ее как должное.

Возможно, судьба предназначала ее новому Андерсену, но случайность, ошибка, рок привели ее в захолустную редакцию.

Возможно, и для Ивана Сергеевича была предначертана совсем другая судьба.

Возможно, все возможно.

Как бы там ни было, на склоне лет старая пишущая машинка встретила старого человека с детской душой и теперь торопилась прострекотать все сказки, изначально заложенные в ней.

Днем старый корректор все так же корпел над газетными гранками, свинцовый запах которых нагонял тоску, а вечером с сильно бьющимся сердцем спешил на свидание с пишущей машинкой Люси. Исцарапанная, потертая, с западающими клавишами она светила вдохновением и излучала обаяние, которое предполагало наличие юного, одушевленного существа женского рода.

(«Цево, цево?» – спросила дочь, но, не получив ответа, нахмурила брови и посмотрела в потолок).

В отличие от скучной Люсиной машинописи, слова у Ивана Сергеевича получались цветными. Если в сказке шла речь о траве, слова переливались всеми оттенками зеленого. Слова впитывали цвета пустыни, реки, неба. Они сияли утренней свежестью, когда над сказочной страной вставало солнце, а между строк – это было хорошо слышно – щебетали птицы, и шелестела листва. Слово «апельсин» окрашивалось в апельсиновый, а слово «вишня» – в вишневый цвет.

(«А слово «диван» в диванный», – дополнила догадливая дочь).

Именно так. Но о самом главном чуде Иван Сергеевич не подозревал. Потому что это чудо происходило с ним.



Когда он печатал на машинке, его седые волосы становились рыжими, сутулая спина распрямлялась, морщины разглаживались, а глаза... Впрочем, и в преклонном возрасте глаза у Ивана Сергеевича были молодыми.

Другими словами, старая пишущая машинка превращала Ивана Сергеевича в Ивана Царевича.

(«А где плинцесса?» – зевая, своевременно прореагировала на очередное чудо дочь).

Да, да. Напротив окна, у которого по вечерам печатал Иван Царевич сказки, стояло старинное здание с колоннами. ЖенПИ. Женский педагогический институт.

Стояла самая слякотная пора – середина ноября. Лил дождь. Безнадежный, как кладбище. Люди спешили по домам. Они смотрели себе под ноги, опасаясь промочить обувь в лужах, прятали носы в шарфы и загораживались от всех неприятностей зонтами.

Ужасная погода, ужасная. Но именно в такую слякоть наиболее вероятны всякие чудеса. Однако происходят они с теми, кто не прячет носы в воротники и кашне.

Первокурсница Золушкина поджидала на остановке «маршрутку». Общественный транспорт в городе ходил плохо. Она подняла голову, чтобы узнать время по часам на почтамте, но сквозь свинцовые струи дождя, подсвеченные уличным фонарем, увидела в большом окне напротив юного сказочника, склонившегося над пишущей машинкой.

Рыжий юноша вдохновенно стучал по клавишам, изредка перечитывая написанное, он придерживал листок двумя руками и улыбался. Здание было погружено в полумрак. Ярko светило лишь окно в кабинете, в котором протирали пол уборщица, да золотой конус настольной лампы освещал пишущую машинку и лицо счастливого юноши.

Троллейбусы бесшумно возникали из дождя и, лязгнув дверцами, снова растворялись в дожде, громыхали, сотрясая мостовую, трамваи, а первокурсница все стояла и смотрела в окно.

А в это время в опустевших кабинетах редакции слезило по полу ведро. Этот неприятный звук подхватывало гулкое коридорное эхо. Свет гас в одном кабинете



и зажигался в другом. Все ближе и ближе продвигаясь к окну, за которым печатал рыжий юноша. «Вы еще долго будете сидеть? – кричала уборщица из коридора. – А то мне убирать надо».

Разноцветные слова бледнели и выцветали. Стандартный лист серой газетной бумаги формата А-4 обвисал над пишущей машинкой, как брезентовый парус над старой лодкой в безветренную погоду.

Седой корректор, сгорбившись, проходил мимо остановки, под козырьком которой стояла и смотрела в потемневшее окно студентка.

Слуховой аппарат Ивана Сергеевича попискивал, как далеская морзянка или позывные первого спутника Земли. Впрочем, откуда тебе знать, как попискивал первый спутник Земли. Как мышка: пи, пи, пи...

А ночью в пустом кабинете на маленькой перинке стояла старая пишущая машинка. В ее исцарапанном и потертом корпусе отражались звезды, когда небо было чистым, фонари и огни проезжающих мимо машин. Она впитывала в себя и свет далеких звезд, и маленькие огоньки сигарет одиноких прохожих, шорох шин и плеск дождевых капель. В ее резиновом валике бродили, как дрожжи в пиве, когда-то оттиснутые слова. Они складывались в мелодичные предложения. А предложения – в сказки. И порой внутри старой пишущей машинки восторженно звенел колокольчик. Словно звенел трамвай на повороте.

Днем под быстрыми пальцами Люси машинка трещала, как болтливая сорока.

Люся обладала счастливым даром не вникать в то, что она перепечатывала.

Иначе бы она умерла от скуки.

Вечно спешащие люди с лицами, изможденными заботой, выхватывали из зубастого рта машинки свежееотпечатанные листы с массой грамматических ошибок и убежали, словно боясь, что новости могут остыть прежде, чем дойдут до читателя. «На полях области полным ходом идет снегозадержание...», «Сто тонн навоза вывезено на поля Тешинского района...»

Очень много скучных людей каждый день пользуются волшебными вещами, даже не подозревая об этом.



Волшебные пишущие машинки, моя дорогая, не такая уж редкая вещь.

Но дело в том, что печатать сказки на них могут только люди, прожившие долгую жизнь и при этом никого ни разу не обманувшие.

Вот почему так мало людей пишут хорошие сказки.

Обманщиков много. Сказочники встречаются редко.

Когда умер Иван Сергеевич, редакция купила для него большой венок из цветов, сделанных из бумаги, залитой воском. Люди, которым казалось, что они знают о своем сослуживце все, говорили, каким добросовестным и безотказным работником был покойный. Но никто не сказал, какие замечательные сказки придумывал старый корректор. Да и откуда они могли знать, что Иван Сергеевич сочинял сказки? Корректору положено исправлять ошибки в чужих сказках. Да и то исключительно грамматические.

Вскоре после похорон на радость Люсе редакция приобрела новую электрическую(!) пишущую машинку. Старушку под несчастным номером «13» снесли на чердак, где хранился в ожидании списания всякий подотчетный хлам.

Она стоит у слухового окна на пожелтевшей подшивке газет за 1975 год.

Хлопотливый паучок устроил в ней прекрасную квартиру, перекрыл прочной сетью каретку и клавиши. Порой в пыльной тишине чердака слышится отчаянное жужжание мухи, попавшей в цепкие лапы удачливого охотника.

А ночью сквозь пыль слухового окна на всеми забытую пишущую машинку падают звездные лучи, превращаясь в удивительные сказки, которые никто и никогда не услышит.

(Дочь заревела.

Репортер и сам не ожидал такого печального конца. Увлёкся.

Впрочем, нет ничего легче, чем придумать счастливый конец.

Это было в его власти.

Он погладил по головке дочку и, призвав на помощь добрую волшебницу, работавшую по совместительству уборщицей в редакции, первым делом оживил сказочника.

Затем решительно изгнал из пишущей машинки



незаконно поселившегося в ней паука. И, подгоняемый Ленкиным шмыганьем, в тот самый момент, когда старый корректор вновь склонился над пишущей машинкой и превратился в прекрасного Ивана Царевича, приоткрыл дверь и втолкнул в машбюро принцессу-первокурсницу.

Уж она-то что-нибудь придумает.

И действительно принцесса оказалась не промах.

Отличница!

Она на цыпочках подкралась к Ивану Царевичу и поцеловала его в рыжую макушку.

А надо знать, какой чудодейственной силой обладает поцелуй принцесс.

Этот поцелуй навсегда вернул сказочнику молодость.

На радость Ленке сказка была завершена привычной формулой: «и стали они жить-поживать да добра наживать».

– А письмо он написал? – спросила Ленка.

– Какое письмо?

– Ты сто? – возмутилась дочь. – Длугу!

– Ах да! – хлопнул себя по лбу репортер. – Письмо! Конечно! Все сказки, которые печатал корректор Иван Сергеевич на старой пишущей машинке, он как раз и отсылал своему старому близорукому другу. Куда бы еще?

Догадка, которую высказала дочь, поразила его. Она была уверена, что старый друг есть никто иной, как ее папка.

И у нее, увы, были некоторые основания для такого предположения.

– Неужели я такой старый? – с тревогой спросил репортер.

– Сталый, сталый, – успокоила его Ленка, – и слепой).

Авдотий Стерня откинулся на спинку кресла.

Что это? Отдельная,вершенная вещь? Отрывок из повести? Заготовка?

Главный редактор «Новостаровской правды» был слегка озадачен и взволнован.

Текст был написан, несомненно, его рукой. Но он не помнил, когда написал это.

«Немного сыровато, наивно, а хорошо, – с приятной печалью подумал он. – Впрочем, сказке и положено быть



наивной. Вот только пишущая машинка, печатающая разноцветным шрифтом. Кого сейчас удивишь этим волшебством? Компьютеры, цветные принтеры. Сочинение сказок – отжившее ремесло. Сколько же мне тогда было лет?»

– Все, господин редактор, нужно делать вовремя, – сказал он вслух и швырнул тетрадь в коробку с мусором.

Талант редактора в самоотречении, думал Стерня, пытаюсь избавиться от горького чувства досады. Возможно, он был слишком строг к себе? Возможно, в нем все-таки была крупинка таланта? Вздор! Надо было выбирать, и он выбрал. Личный талантишко только мешает стать хорошим редактором. А он хороший редактор. Хороший редактор обязан наступить на горло собственной песне, чтобы организовать слаженно звучащий хор. Ради газеты он совершил подвиг самооскопления. Да, именно так. Подвиг самооскопления. Ему часто приходилось резать по живому. И очень часто этим живым был он сам. Его душа покрыта стежками швов. Мало что от нее осталось. Одни швы на месте бывших ампутаций. Ничего ужаснее, чем изрезанная и наспех заштопанная, кровоточащая душа редактора, нет. Когда талантливый журналист становится редактором, он проходит обряд самооскопления. Ампутрует талант и теряет все. Это всеобщий закон. А стоило оно того?

Авдотий Стерня, отдуваясь, нагнулся и достал из коробки тетрадь. Отряхнул ее и бросил в портфель.

А ведь жизнь прошла, подумал он, Иван Сергеевич Стерх старше меня всего на пятнадцать лет. Что такое пятнадцать лет... Ничего стоящего позади, ничего впереди. Так, листопад прошлогодних газет. Бабочка крылышками бьяк, бьяк, бьяк... Да, «канули наши кануны». Господи, чем я занимался всю жизнь? Чего ради?

Редактор откинулся на спинку оббитого кожей кресла и стертыми от многих впечатлений глазами уставился на надоевший пейзаж. Вместо стены практически сплошное окно от пола до потолка. И в это окно, рассекаемые редкими колоннами лезут великолепные горы. Снежная гряда. Вот они, рядом. А он ни разу там не был.

Горам, нависшим над Новостаровском, было все равно, кто на них смотрит, из каких окон и смотрит ли вообще.

На цыпочках вошел завхоз Щербина.



– Печать? – уныло удивился редактор. – На вынос чего? Лимонного дерева? Они что там с ума посходили.

Но печать поставил.

Дверь распахнулась. Как на раскаленную каменку холодной водой плеснули. И в кабинет вкатился обвешанный фотокамерами Эрнст Залепухин. Бесцеремонный, как и все фоторепортеры, он с порога оповестил начальство:

– Отцы, я дверь от фотолаборатории на дачу свезу.

Ставить вопрос после этой, сказанной как бы между прочим фразы было бы большим преувеличением.

Эрнст Залепухин, бывший актер драматического театра, слыл обаятельным циником. Обаятельным потому, что цинизм его проистекал из простодушия – невероятного для актера, пусть даже бывшего, неумения притворяться. Все думали то же, что и Залепухин, но говорили то, что нужно. Эрнст лепил все, что залетало в голову, прямым текстом, не редактируя. В голове у него ничего не задерживалось. В этом смысле фамилия у него была говорящей. Опечатки и ляпы в газете звали «залепухами».

Завхоз Щербина, два месяца тому назад заменивший в кабинетах остекленные двери на металлические, должны уберечь редакцию от хищения только что приобретенных компьютеров, почувствовал себя полным дураком. Редакция переезжала в помещение райотдела милиции, где им был выделен этаж. А там уже стояли железные двери. Деньги были выброшены на ветер. Но кто же знал, что их попросят вон из небоскреба? Посоветовавшись с редактором, Щербина попытался вернуть только что установленные двери изготовителю. За полцены. Но изготовитель, подсчитав, во что обойдется демонтаж и вывоз, отказался взять их даже по цене металлолома.

И вот является Эрнст Залепухин...

– Вот так просто? На дачу? – удивился Щербина, весело переглянувшись с унылым редактором.

– Какие-то вы сегодня не искренние. В чем проблема, отцы? Пока мы с вами едалом шелкали, страну по частям растащили. Хоть шерсти клоч. Вы представляете, какие двери будут в банке? Наше барахло все равно выбросят.

– Где это ты барахло увидел? – обиделся завхоз.

– Тем более. Если не барахло, чужие растащат. Не



оставлять же врагу. Вы мне бумагу для вахты с печатью сочините, а я ее сегодня же на своей «бешеной табуретке» вывезу. Кстати, что вы решили с библиотекой?

Редактор и завхоз одновременно поморщились.

– Как-нибудь без тебя разберемся, – отвечал завхоз.

На что Залепухин вежливо поинтересовался:

– Слушай, Щербина, тебя сегодня никто никуда не посылал?

– Нет, – подумав, отвечал завхоз, – а что?

– Хорошо будешь себя вести – никто и не пошлет.

Помещение, в которое предстояло перебраться, было настолько мало в сравнении с пятью этажами «небоскреба», что даже если вдвое сократить штат сотрудников, а в каждый кабинет натолкать по четыре человека, вместить всех было невозможно. Собираемая сорок лет библиотека заняла бы ровно половину выделенной под редакцию площади. А ведь как-то надо было втиснуть мебель и оргтехнику. Прикинули. Справочную литературу с трудом можно разместить в кабинете редактора. Но что делать с оставшимися книгами? Куда трамбовать?

– А ты что предлагаешь? – хмыкнул редактор, всем видом показывая, что ожидает услышать от Залепухина очередную глупость.

– Отцы, о чем думать? – в крайнем изумлении развел руками Эрнст. – Раздайте книги на временное хранение коллективу – и все дела. Люди спасибо скажут.

– И как ты это себе представляешь? – умилился редактор.

– Очень просто я это себе представляю. Как автор идеи захожу первым и беру три (заметьте, всего три!) книги. Затем, по очереди и ранжиру, заходят остальные, начиная с редактора и заканчивая техничкой, и берут все, что хотят и сколько хотят.

– И какие же три книги ты возьмешь? – сощурился завхоз Щербина, отчего стал похож на ворона, увидевшего с вершины ели сверкающее око воина.

– Отцы, я похож на сохатого? – удивился Залепухин.

Авдотий Стерня печально вздохнул, покачал головой и сказал с легкой укоризной и большим моральным превосходством:



– Вообще-то мы намерены подарить книги национальной библиотеке.

– Библиотека на ремонте, Авдотий Гаврилович. У них там нижний этаж, книгохранилище, канализационные воды затопили. Они свои книги не знают куда девать, где сушить. Говорят, на их здание тоже глаз положили.

Сказавши это, Щербина потупил глаза, как если бы лично был виноват в затоплении книгохранилища канализационными водами.

– А я что говорил! – вдохновился Залепухин. – Или вы, отцы, намерены подарить библиотеку племяннику мэра? Напрасно. Он книжек не читает. Все равно на помойку выбросит.

– Хорошо, Эрнст, подумаем, – сухо сказал Авдотий Стерня, давая понять, что аудиенция завершена, и он намерен заняться более серьезными делами.

– Думайте, отцы, думайте, – разрешил Залепухин. – Хотя о чем думать? За нас уже все продумали. Так я увожу дверь.

– Подумаем, Эрнст, подумаем, – сказал редактор, при этом его бабье лицо стало невыносимо официальным. – Передай Скрепке: пусть зайдет.

* * *

Отдав Анне Николаевне заверенное печатью разрешение на вынос комнатного растения «лимонное дерево», завхоз Щербина задумался над словами, сказанными фотокорреспондентом Эрнстом Залепухиным.

Он размышлял над тем, как бы при переезде сделать так, чтобы и ему, Щербине, достался шерсти клоч.

Сладкий аромат халявы волновал его чуткие ноздри.

Но перед тем как раскрыть перед читателями внутренний мир завхоза, автор вынужден сделать небольшое лирическое отступление о дверях вообще и о железных дверях, в частности. Без этой досадной, но необходимой задержки многое в истории покажется неясным.

Дело в том, что с проникновением рыночных отношений новостаровцы, знакомые со способами первоначального накопления капитала, стали уделять решеткам на окнах и входным дверям особое внимание.



С людьми состоятельными все понятно.

Но даже нищие граждане на последние сбережения покупали и устанавливали металлические двери в своих жилищах. Грубо сваренные местными кустарями, без замков с секретами и ключей лазерной заточки. Эстетически убогие.

Но все же железные. Прочные. И, самое главное, относительно дешевые.

Бывало, содержимое квартир было немногим дороже новых дверей, но их все-таки ставили.

Возможно, в расчете на будущее процветание.

Но, скорее всего, из-за безгливости.

Это чувство поймет каждый, кто лишился кошелька в переполненном автобусе. Иной раз и своруют всего ничего, а на душе так мерзко, такая опустошенность.

Установка железных дверей в Новостаровске принимала характер эпидемии. Стоило в подъезде появиться одной, как хозяева фанерных, оббитых дерматином калиток начинали испытывать неуютное, тревожное чувство незащищенности.

По всему городу от ударов кувалд, вбивающих штыри в дверные рамы, сотрясались дома. Хорошие металлические двери пользовались повышенным спросом.

Хорошо бы на время переезда взять у редактора печать, думал завхоз Щербина, не дело отвлекать его от важных дел из-за каждого фикуса.

А двери, часть мебели и книги придется раздать сотрудникам. Конечно, кто захочет. А то, что останется невостребованным, можно продать за наличные. По договорной цене. Кто там будет считать в суматохе, что отдано, что продано.

Доселе неподкупное сердце завхоза замерло в сладком предчувствии. Он задумчиво посмотрел на горы, затянутые облачностью, легко вздохнул и набрал номер телефона.

– Здорово, Серега! Не разбудил? К охоте готовишься? – игриво спросил он и, рассеянно выслушав ответ, заговорил совершенно о другом. – Ты, я слышал, железную дверь собирался купить?.. Да, да. Времена такие, что без железной двери и ружья не выживешь... И сколько просят?.. Однако! Кому-то семечки, а для нас с тобой деньги.



Слушай, есть возможность купить за полцены... Считай, новые. Демонтаж, самовывоз... Да какие проблемы! Приведем сверху на «Ниву»... Сейф для ружья? Нет проблем.

До конца рабочего дня он обзвонил всех знакомых и знакомых знакомых. Подсчитал крестики, перемножил на полцены и, сделав удивленные глаза, растер ладони до приятного тепла.

* * *

Возвращаясь из туалета, Ефим Иосифович Дятел, которого все за глаза звали Строкомером, а в глаза – Боцманом, остановился у занавешенного темной шторой дверного проема фотолаборатории. Металлическая дверь стояла рядом, прислоненной к стене, как щит воина, собравшегося в далекий поход.

– Ваня, дружок, не надо делать из вещества конфетку. Угомонись, мой милый. Нужен четкий контрастный снимок – и ничего более. Поторопись, поторопись, – пропел он бархатным голосом.

– Бу-бу-бу, – сердито ответили из-за шторы.

– Никто, мой дорогой, не заставляет тебя делать халтуру, – расстроился Дятел, – но мы в газете, а не в изостудии. Я жду.

За шторой безмолвствовали.

Вздохнув, Дятел понес свое облегченное, но все еще тучное тело к дверям в конце коридора, на которых была наклеена черно-белая фотография рычащих тигров.

Вечно голодные, яростные хищники секретариата.

– День как день, ведь решена задача:

Все умрут, –

бормотал себе под нос седой ответсек.

Он любил Блока. Никто в редакции не разделял его чувства. Все, кто разделяли, давно были на пенсии или на кладбище.

Двойственное впечатление изящной легкости и приземленности оставляла его походка. Как бы воздушный шар, накачанный водой, медленно проплывал в космическом пространстве. Невидимый шлейф печали тянулся следом. Печаль пахла благородной сединой и типографской краской. Мимо Дятла, скрежеща железом и шурша



деревом по мраморному полу, потные люди с выпученными глазами волокли к грузовому лифту сейф и двухтумбовый стол антикварного вида.

К пенсионному возрасту Ефим Иосифович Дятел достиг вершины ремесла в секретариатском деле. Он знал больше, чем все. Но взрывоподобное развитие компьютерной техники в одночасье сделало ненужными навыки, которые он постигал сорок лет. В газетной верстке открывались невероятные перспективы. Дятел видел эти перспективы, но не видел в них себя. Он, живой, толстый человек, полный сил и замыслов, уже чувствовал себя привидением этих мрачноватых закоулков. Тело его изгнано из этого здания, словно вытесанного из монолитной скалы, а душа навсегда останется в нем, и по вечерам призрак ответственного секретаря будет пугать служащих банка, стуча в сейфообразные двери и требуя срочно сдать материалы в номер.

Последний бизон среди коровьего стада. Единственный в городе «небоскреб» представлялся ему идущим ко дну «Титаником».

Ответственный секретарь шумно вздохнул. Словно камеру гвоздем пробили. Вздохнул он не столько по поводу своей пенсионной судьбы, сколько сочувствуя Скрепке, колдующему во мгле над очередным снимком.

В любом коллективе есть свой человек-невидимка.

Он вроде бы и есть, но никто его не замечает.

Так, пустота в вязаном свитере. С протертыми локтями.

Таким человеком-невидимкой в «Новостаровской правде» был фотолаборант Иван Иванович Скрепка. Именно он, как ни странно, и будет героем этой истории.

Большинство газетчиков не могли сказать о нем ничего плохого, ничего хорошего. Его просто не замечали. И только старый вахтер уважительно отзывался о невидимом Иване:

— Не знаю, что за человек, но он один придерживает дверь за собой.

На должности фотолаборанта, отсутствующей, кстати, в штатном расписании, настоял Эрнст Залепухин.

— Некогда мне возиться с проявителями, заниматься



рутиной, – говорил он редактору, встав в позу дуэлянта: голова вполоборота гордо поднята, левая нога выставлена вперед, левая рука спрятана за спину. – Я – фотохудожник. Поймите! Я должен заниматься творчеством. А вместо этого большую часть времени сижу в этом погребе. Чахотку зарабатываю.

– Все мы должны заниматься творчеством, – устало соглашался Стерня. – А кто будет работать?

– По штату нам положено два фотокорреспондента. Так?

– Допустим.

– Так и надо принять еще одного. Я буду заниматься творчеством, а он – технической стороной.

– Не возражаю. Только кто согласится вместо тебя сидеть в погребе и зарабатывать чахотку?

– Это не проблема. Я найду.

И Залепухин привел Скрепку.

Его портрет лучше всего нарисовать простым карандашом.

Шатен. Преобладающий цвет волос, глаз, одежды – серый. Длинные, слегка волнистые волосы создают впечатление вислоухости. Сутулый. Взгляд совершенно собачий. Повесь на шею бочонок с коньяком – вылитый сенбернар. Да, именно так: человека с унылым лицом сенбернара. Вроде бы, нос, рот, глаза – все на месте. А станешь вспоминать – сенбернар. Вспомнишь – умилишься. И захочется ободрить, добродушно потрепав лохматую башку.

Событие это случилось до эры цифровой фотографии, и недавно рожденные земляне, возможно, даже не представляют, что это такое – фотолаборант?

Ученые время от времени наводят ужас на впечатлительную часть человечества, сообщая, сколько видов зверя, рыб, птиц и насекомых исчезает ежедневно с лица планеты. Вероятно, они подсчитали так же, сколько профессий вымирает ежегодно. Вчера еще были необходимы, а сегодня вдруг стали ненужными. Но автор не знаком с этой статистикой. Возможно, эта информация идет под грифом «Совершенно секретно».

Во всяком случае, Иван Скрепка, проводящий рабочие дни в темном чреве фотолаборатории, не подозревал, что



он относится к вымирающему виду. Его глаза, привыкшие к сумеречному образу жизни, резал дневной свет. Пальцы были желты от растворов. Свитер пропах реактивами. Что-то вроде тухлых яиц. Мир он видел в красном свете фонарей. Скрепка постоянно испытывал лихорадочное, незатухающее беспокойство. Все время боялся не успеть, отстать, опоздать. Между тем, причин для беспокойства у него не было: он давно отстал, опоздал, не успел. О чем волноваться человеку, отставшему от поезда и к тому же потерявшему билет? Тем более, если отменили рейс.

Коллектив каждой редакции делится на творческих работников и работников технических. То есть не творческих. Допустим, если человек работает в отделе сельского хозяйства и всю жизнь вывозит навоз на первую полосу – он, несомненно, творческий работник. А фотолаборант, или сменивший его компьютерщик, по определению не могут быть творческими людьми. Какое, на самом деле, творчество проявлять чужие снимки?

И только ответственный секретарь Ефим Иосифович Дятел разглядел в этом тихом, сутулом и невероятно косноязычном человеке-невидимке талант.

Скрепка действительно был фотохудожником.

Ему можно было дать пленку любого качества. Ему было все равно, что запечатлено на ней: одинокое дерево, обшарпанная дверь, стол, заваленный бумагой, тухлая селедка. Любой примелькавшийся пошлый материальный объект. Не имело значения, кто шелкнул затвором – профессионал или любитель. Скрепка жадно вглядывался в негатив. Пожелтевшие от едких реактивов пальцы подрагивали и шевелились паучьими лапками. Скучными средствами фотолаборатории Скрепка выявлял и закреплял суть, скрытую в вещи, запечатленной на пленке. И случилось чудо.

Сутью всегда была печальная красота.

Душа материального объекта.

Хрупкая, проходящая. Почти неуловимая. Мимолетная. Потому и печальная.

Всякий раз, разглядывая снимок, который, конечно же, шел за подписью Залепухина, Дятел испытывал грустную радость.



– Талант. Определенно талант, – говорил он, вздыхая, – удивительный талант делать из халтуры шедевр.

Эрнст Залепухин тщетно пытался скрыть ревнивую обиду и поправлял секретаря:

– Беспольный талант. Кому это сейчас нужно? Черно-белая фотография вымирает. Ваня лучше всех в мире делает каменные топоры.

Беспольный талант. Беспольный. Верно сказано. Хотя и обидно.

– Ваня, дружок, зачем вить кружева из колючей проволоки? – говорил Дятел с глазу на глаз Скрепке, будучи слегка на кочерге. – Ради кого и ради чего стараешься? Современной газете ничего художественного не надо. Ей нужна сухая, точная лаконичная информация. Все. Наше время прошло, Ваня. Уже никто не будет спорить, чем отличаются очерк и рассказ. Старые жанры вымерли. Поэзия умерла. Да, стихи пишут все. А поэтов нет. Скажи, сам-то ты что-нибудь снимаешь?

Оказалось, да. Снимает. Все, кроме людей.

Когда человек стоит перед фотокамерой, на лице его проступает невыносимое лицемерие. Пейзажи, просторы Скрепку тоже смущали. Беспредельность вызывала в нем смутную тревогу. Его привлекал уют замкнутого мира. Фотографировал он пустяки, на которые мало кто обращал внимания. Травинки, былинки. Черный след машины, развернувшейся на первой пороше. Пересечение истертых трамвайных рельсов на мостовой. Морозные узоры или следы дождя на окне. Ограды и плетни в инее. Кухту на ветках. Листья, замороженные в лед. Подсолнечную лузгу, обрамившую следы ушедших ног. Трещины в стекле, трещины в стене, трещина на асфальте. Растрескавшуюся кору. Мягкую бумагу.

Действительно – беспольный талант. По крайней мере, для газеты.

Редактор, которому Дятел занес всю эту ерунду, с брезгливым, страдальческим выражением на пухлом лице перетасовал снимки:

– И что?

– Можно дать на последней полосе. Творчество наших читателей.



Взмахнул редактор бровями, вытянул губы флейтой, пожал плечами и, ничего не ответив, шлепнул пачкой фотографий о стол, как колодой карт.

Ивана Скрепку по причине его невидимости постоянно обходили вниманием и поощрениями.

Инесса, женщина, с которой он делил жилплощадь, по этому поводу справедливо говорила:

– Что ты там, в своем чулане, безмолвствуешь. Залепухину – и зарплату, и гонорар, и премию, а тебе только зарплату. Да и что это за зарплата? Так, не зарплата, а материальное оскорбление. Разве это справедливо? Попроси прибавку.

– Попрошу, – отвечал Скрепка неуверенно.

Мямля. Рот кашей набит.

Инесса смотрела на него с презрительной жалостью, вздыхала и безнадежно качала головой:

– Проси, не проси – не дадут тебе прибавки. Не умеешь ты просить.

– Почему не умею?

– Потому, что ты именно просишь, – объясняла Инесса. – А когда просят, клянчат, так и хочется отказать. Всем, кто неуверенно просит, отказывают.

– Ну, потребу.

– Ты? Потребуешь? Лучше не надо. Непременно откажут. Причем навсегда.

– Не пойму...

– Нужно не просить и не требовать. Нужно говорить как бы между прочим, как о деле давно решенном. Посмотри на Эрнста. У него все есть. Квартира, дача, машина, четыре раза в год в заграничные командировки ездит. А почему? Умеет просить. А ты так и будешь даром пахать. Никогда не научишься просить.

– Почему же?

– Нет у тебя, Скрепка, чувства собственного достоинства – вот почему. Пойми, работать бесплатно – безнравственно.

Инесса жила на процент с рекламных объявлений, которые добывала для газет и журналов. Однажды она попыталась вытащить Скрепку из его фотолаборатории, как Иону из чрева кита, и приспособить к своему ремеслу.



Он попробовал.

Лучше бы и не пробовал. Это были самые ужасные дни в его жизни.

Пытаясь объяснить свою неудачу, Иван Скрепка был невероятно красноречив. Он высказался в том смысле, что готов стать кем угодно, даже наемным убийцей. Но вот кем он никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет стать, так это сутенером и рекламным агентом.

Получив пощечину, Скрепка с облегчением вздохнул и к радости Эрнста Залепухина вернулся во мрак фотолаборатории к своему темному делу.

* * *

Все, кто видел язвительную, холодную и очень красивую женщину рядом с невзрачным и к тому же сильно хромым Скрепкой, догадывались: этих людей связывает какая-то неловкая, даже неприличная, тайна.

Между ними не было ничего общего – ни детей, ни интересов. Даже временного влечения, которое для удобства принято называть любовью.

По крайней мере, с ее стороны.

В выразительных глазах Инессы не трудно было прочитать равнодушие, переходящее в насмешливое презрение.

Но тайна была.

И она была связана с его хромотой.

Точнее с несчастным случаем, сделавшим его инвалидом.

Скрепка с детства боялся открытых пространств и потому любил туманы.

Туман смыкает пугающее пространство до уютных размеров замкнутого мира. Словно дождевой пузырь вздувается над тобой. Смутным, одномерным делается второй план. Даже человек, ни фига не понимающий в поэзии, в туман испытывает поэтическое волнение.

Осенние деревья, серые вороны и люди, понимающие толк в одиночестве, созданы для туманов.

В туманное утро легко спутать позднюю осень с ранней весной.

Словно из сна всплывают из тумана редкие машины,



прохожие, прячущие носы в воротники и шарфы, бездомная собака. Проясняются на миг и снова растворяются в тумане. Призрачные вороны в смутных тенях ветвей развернулись в сторону запаздывающего солнца. Дремут в ожидании рассвета.

В такое утро Скрепка, спрятав нос в шарф, пересекал улицу по «зебре», когда, как сама судьба, шурша шинами по влажному асфальту, вылетела из неоткуда туманная машина.

Планета завизжала, перевернулась и всей тяжестью ударила Скрепку асфальтом по затылку. Хрустнула спичка. Асфальт зазвенел, как треснувший лед на реке. И темные воды сомкнулись.

Внезапно его окружил частокол ног, свисающих с облака. Ноги кренились и роптали. За ногами, головой вниз, висела в пустоте бездомная собака с женскими томными глазами. Она тянула к Скрепке острую мордочку и слегка приседала, принюхиваясь.

Планета раскачивалась. Туманный купол пульсировал. Голова была набита тяжелым толченым стеклом. Колющее крошево звенело и перемешивалось с кровью.

– Не надо меня, дедушка, никуда забирать, не надо никуда звонить, – успокаивали кого-то джинсы, обтягивающие стройные ноги.

– Это почему не надо, когда надо. Учти, я твой номер на всю жизнь запомнил. Ты что же – рыжая, или тебе разрешили пешеходов на «зебре» давить? – удивились штаны местного пошива.

– Во-первых, дедушка, я – рыжая. А, во-вторых, этот пешеход – мой муж, – спокойно отвечали джинсы.

– Опа-на! – вклинился в разговор простуженный голос, принадлежащий веселому комбинезону, забрызганному разноцветной краской. – Не могла с ним дома разобратся?

– Что ты заладила – дедушка, дедушка. У меня жена моложе меня, – обиделись местные штаны. – Купят права, а потом всех подряд дают на переходе, пигалицы. Муж, между прочим, тоже человек.

– Помогите усадить его в машину, – распорядились джинсы.



– Не надо его трогать. Надо «скорую» дожидаться, – возразил простуженный голос.

– Пока твоя «скорая» доедет человек три раза помрет, – проворчали отечественные штаны. – Женщина, у тебя спинка откидывается? Эй, в очках, заходи слева, вы двое – к ногам. Эй, парень, помоги. Ну, готовы? На счет три. Раз, два, три. Взяли!

На долю секунды почувствовал Скрепка, как отрывают от накренившейся планеты его изломанный, раздробленный скелет. Купол тумана содрогнулся от боли и сомкнулся в ноль.

– Очнитесь, прошу вас, очнитесь.

Первое, что он увидел – самоучитель немецкого языка, на котором лежала видеокассета.

В голове хрустело толченное стекло, перемешенное с кровью. На откинутой спинке и переднем сиденье, застланном его пальто, лежала боль. Осколки сломанной кости терлись друг о друга. Над ним склонилось пахнущее духами женское лицо с пронзительными глазами.

– Как вас зовут?

– Иван, – ответил Скрепка, не узнав свой голос.

– Можно было и догадаться, – укорила себя женщина и представилась. – Инесса. Запомните? Инесса. Назовите вашу фамилию. Как вы сказали? Странная фамилия. Вы женаты, Иван? Прошу вас, не теряйте сознания. У вас родственники, папа, мама есть? Кому сообщить? Нет? Ну и хорошо. Я виновата. Простите. Но об этом позже. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Не теряйте сознания. Сейчас придут санитары с носилками. Давайте договоримся: я – ваша жена, Инесса, вы мой муж – Ваня. Хорошо? Хорошо? Договорились? Вы мой муж и вы ко мне не имеете претензий. Мне не нужны сейчас неприятности с законом. Выручайте, Ваня. Я оплачу ваше лечение. Понимаете меня, да? Я в долгу не останусь. Мы договорились? Мы – муж и жена. Да?

– Да, – ответил Скрепка, и женщина исчезла.

Окончательно Иван Скрепка пришел в себя от пугающей тесноты. Его тело было втиснуто в камень. В голове наперебой звенели цикады. Сквозь смрад лекарств про-



бывался знакомый запах духов. Очень близко он увидел гуманное лицо женщины. Мягкие, холодные губы коснулись глаз и унесли боль. Но не всю. Он увидел эти губы совсем рядом. Большие. Пухлые.

– Спасибо, Ваня, – зашевелились они. – Ты спас мне жизнь. Помни, пожалуйста, я – твоя гражданская жена. Инесса. Мы любим друг друга и собираемся оформить отношения.

Скрепка потянулся к шепчущим губам, но наткнулся на холодные пальцы.

– Давай-ка, милый, я почищу тебе зубы, – сказала Инесса в полный голос, отстраняясь.

И он впервые разглядел ее лицо. Никогда еще таких красивых лиц так близко от себя ему не приходилось видеть. Помните, была такая актриса – Чурсина. Копия! Только рыжая. И глаза зеленые. В крапинку.

Женщина колдовской красоты, сбившая Скрепку на пешеходном переходе, приносила березовый сок и бананы. Она наводила порядок в тумбочке, поправляла подушку, а однажды подняла скандал, требуя заменить постельное белье. Уходя, целовала.

То есть как целовала... Ее губы останавливались в нескольких миллиметрах от губ Скрепки. Но всякий раз она доставала из сумочки платочек и делала вид, что тщательно стирает с его губ следы своей помады.

Перед прощальным поцелуем, она чистила ему зубы.

Скрепка чувствовал себя неловко, но испытывал большое удовольствие.

Но еще большее удовольствие, глаза на это интимное действо, испытывали соседи по палате.

Если Инесса торопилась уходить, они хором напоминали ей: «А зубы почистить?»

Товарищи по несчастью завидовали ему.

– Послушай, Тутанхамон, чего она в тебе нашла? Ты случайно не олигарх? – спрашивал его весь переломанный альпинист.

– Да уж чего-нибудь нашла. Ты не смотри, что он с виду кран без башни, – отвечал за Скрепку монтажник, выпавший с десятого этажа. – Вот у меня случай был. Я сам, как видишь, не Александр Абдулов. А у нас на



стройке студенты практику проходили. И была среди них одна такая Тома...

И начинался вечер воспоминаний спеленатых эротоманов.

Иногда речь заходила о женских достоинствах его мнимой жены, и Скрепка, к своему удивлению, чувствовал удушающие приступы ревности. В таких случаях он закрывал глаза и притворялся спящим.

Дни, когда у него срастались кости, а под гипсовой броней невыносимо чесалось тело, были счастливыми. Может быть, самыми счастливыми. Но счастье было печальным. Он понимал, что самозваная жена исчезнет из его жизни так же стремительно, как и появилась. Выздоровливать не хотелось.

С каждым новым посещением Инессы, он все пристальнее вглядывался в ее лицо. В этой женщине, едва не убившей его, он находил все больше черт своей покойной мамы. В конце концов, сотрясение ли мозга было тому причиной или разыгравшееся воображение человека, обреченного дни напролет созерцать потолок, но он почти уверил себя, что дорожно-транспортное происшествие предопределено свыше, а в этом совершенном теле молодой женщины – душа его мамы.

Когда эта чушь впервые пришла ему в голову, он потерял сознание.

Мама, зарабатывающая на жизнь домашними уроками музыки, воспитывала его одна.

Об отце, кроме смутного представления о чем-то большом, мягком и лохматом, он почти ничего не помнил. Но, судя по рассказам мамы и фотографиям, это был еще тот рохля из породы талантливых и неприспособленных к жизни чудаков.

Смерть его явилась следствием невероятного стечения обстоятельств.

Отец был послан за хлебом в магазин. Но на полпути вспомнил, что нужно зайти в аптеку, и завернул на соседнюю улицу. Дворник сбивал лед с крыльца аптеки топориком, приваренным к арматурине. Отец, заложив руки за спину, остановился, ожидая, когда тот закончит работу. Снял шапку. В это время на противоположной стороне



улицы поворачивал троллейбус. Усы сорвались с проводов, и недокрученная гайка вылетела, как из пращи, просвистела через улицу и угодила точно в висок отцу.

Чудовищное невезение.

Мама вечно боялась, что с ребенком, в котором переплелись гены двух неудачников, непременно должно случиться нечто подобное, и ни на шаг не отпускала его от себя.

Ваня Скрепка рос под гнетом мамодержавия.

Во двор без ее сопровождения он вышел впервые, когда ему исполнилось семь лет. Но всякий раз, отпустив его, она каждые пять минут выходила на балкон и в тревоге кричала: «Ваня! Ваня!». Это очень забавляло дворовых мальчишек, и они дружно вопили в уши Скрепке, перебивая друг друга: «Ваня, ау!», «Ваню волки съели!», «Ваню дяденька в подвал утащил!», «Ваню машина задавила!», «Ау! Ау! Ваня, где ты!?». Больше всех веселился Эрик Залепухин, личность жизнерадостная и не по годам самостоятельная.

Двор представлял из себя рукотворный лес, оазис, огражденный от улиц четырьмя пятиэтажными домами. Кроны каштанов, ясеней и кленов стояли так тесно, что с балкона была видна лишь небольшая полянка — скамейка с пенсионерами и уголок песочницы. Этот уголок и занял Ваня Скрепка. Выйдет мама на балкон, увидит его и кричать не будет.

И действительно: мама, как кукушка в настенных часах, каждые пять минут появлялась на балконе, но, увидев сына в песочнице, не куковала. Ровно через час она звала его: «Ваня, домой!».

Он тотчас же вставал и послушно шел на зов.

До пятого класса она встречала его со школы. Нет, конечно, за ручку не вела. Сопровождала до дома, прячась за спины прохожих. Из нее получился бы неплохой филер.

Ваня Скрепка был отличником. Нет, Ваня Скрепка был не просто отличником. С Ваней Скрепкой все обстояло значительно хуже.

Он рос вундеркиндом.

Гениальным ребенком.

Изоощренный ум в маленьком теле всегда пугает.



Ему удавалось с первого раза все, за что бы он ни брался.

В первом классе учительница попросила ребят вылепить из пластилина яблоко. Ваня, задумавшись, по рассеянности вылепил ее портрет.

Он был победителем олимпиад по химии, астрономии, биологии, физике. А в девятом классе на большой перемене решил какую-то математическую задачу, над которой несколько столетий безуспешно бились лучшие умы человечества. К десятому классу Ваня Скрепка был отличником, которому практически все преподаватели, кроме учителя физкультуры, пророчили судьбу Нобелевского лауреата, и – законченным недотепой. Из тех домашних мальчиков, что после первой несчастливой любви, отвергнутые девчушкой с белыми ресницами и облупленным носиком, в отчаянии режут себе вены. Он был губошлепом и объектом для насмешек. От обидного прозвища его спасала фамилия. С такой фамилией отпадала надобность в прозвище. Только самые выдающиеся остроумцы звали его Прищепкой. Парнишку от превращения в двухметровую амёбу могла спасти только армия с ее грубыми нравами и ужасной дедовщиной. Но, увы, он был освобожден от уроков физкультуры по причине плоскостопия. Эта, не очень опасная для жизни, болезнь втайне радовала маму, поскольку освобождала Ванечку от воинской повинности и опасностей, связанных со священным долгом по защите родины.

Родители поздно нашли друг друга и произвели Скрепку лишь с помощью передовых методов медицины после долгих и изнурительных попыток, когда маме было далеко за тридцать, а папе – без малого пятьдесят.

Не проходило и часа, чтобы мама не испытывала беспокойства за сына. Нельзя сказать, чтобы он давал повод для волнений. Наоборот. Но мама была творческой, то есть крайне мнительной натурой. Она постоянно воображала несчастья, должные произойти с ее Ванечкой, единственным смыслом ее жизни. Опасностей было много: сосульки, свисающие с крыш, бешеные, впрочем, как и не бешеные собаки, машины, лед на тротуарах, недоброкачественная пища в школьной столовой, внезапно



падающие деревья, открытые канализационные люки, маньяки, холодное мороженое, поручни в автобусах, покрытые вирусами – возбудителями страшных болезней... Все, что ни приходило ей в голову, содержало в себе опасность. Совершенно безопасных вещей в этом мире не было. Она извела себя этой постоянной, ни на час не проходящей тревогой. А когда в двадцать семь лет он сообщил ей, что ему нравится девушка из соседнего отдела, и он намерен связать с ней судьбу, у мамы оборвалось сердце: мальчик вырос, она ему больше не нужна. Той же ночью случился сердечный приступ. Ей бы позвать его, попросить принести лекарства, но она не захотела беспокоить своего мальчика.

Кончина мамы раздавила Скрепку. Как человек, погребенный под лавиной, он почувствовал весь ужас своего положения.

Комнатное растение, пересаженное в поле накануне заморозков – вот что такое он был. Комнатное растение, оставшееся без присмотра и заботы. Пришелец на чужой, враждебной планете. Жалость, которую он испытал к мертвому телу своей маленькой, худенькой мамы усиливалась ужасом собственной обреченности.

Из этого замкнутого на самом себе, безвольного существа, могло получиться что-нибудь путное только при чьем-то руководстве. Кто-то должен направить его, усадить за дело, к которому недотепа чувствовал склонность, оградить от неприятностей и отгонять мух. И вскоре он, непременно, станет в этом деле первым. Но, ради всех святых, не ставьте это существо перед выбором, не спрашивайте даже, что приготовить на обед – бифштекс с яйцом или фаршированные блинчики. Он не способен на самостоятельные решения даже в мелочах. Скрепка рос акселератором, и маме часто приходилось, взяв за руку, водить его по магазинам – примерять одежду и обувь. Ничего ужаснее этих походов для него не было. От вопросов: «Как тебе нравится цвет этой рубашки?» – он раздражался и капризничал. У него начинала болеть голова, он задыхался, в глазах рябило от множества предметов, из которых нужно было выбрать один.

Возможно, девушка из соседнего отдела стала бы



отличной нянькой. Но с ней была связана смерть мамы. Оскорбленная его внезапной холодностью, она вышла назло ему замуж. И правильно, конечно, сделала.

Есть у гениальных детей ахиллесова пята. Вырастая, они остаются детьми – нежными, беспомощными существами, нуждающимися в постоянной опеке и уходе. Лишенные покровительства, они также жизнестойки, как тропические цветы, высаженные в заполярный грунт. И мы, бездари, конечно правы, когда говорим со снисходительной усмешкой: «Вундеркинд. Подумаешь! Вот посмотрим, что из него получится, когда вырастет».

Мы знаем, что говорим.

Что может сделать ребенок, лишенный мудрой опеки, во взрослом мире прощелыг, добивающихся славы, наград и благ всеми доступными средствами? В этих боях без правил у одинокого ребенка нет ни одного шанса. Растопчут и не заметят. А, если и заметят, то скажут, торжествуя: «Ну и где же твоя гениальность, пацан?»

Крушение гения – событие, конечно, печальное.

Но сколько радости доставляет оно его сверстникам – тугодумам, лентяям и пробивным тупицам.

И в этом смысле оно не лишено приятности.

Но в случае с Ваней Скрепкой все обстояло проще и безнадежнее. К тому времени, когда Ваня окончил институт, страну перестала волновать судьба особо одаренных граждан.

Продлился советский период – он как-нибудь прожил бы в закрытом номерном городе без особых потрясений и совершил бы парочку-другую открытий, о которых мы с печальной гордостью за отечественную науку узнали бы, спустя много лет, из телепередачи «Тайны забытых побед». Но вскоре пришли новые времена, сменился общественный строй. И в этот строй, рассчитанный на дерзких, практичных и предприимчивых людей, Скрепка не вписывался. НИИ тары и упаковки, в котором Скрепка занимал должность младшего научного сотрудника и надеялся проработать до пенсии, тихо скончался за ненадобностью. Отечественные заводы перестали выпускать продукцию – и упаковывать было нечего.

– Будь у меня такая квартира, вот бы я ломал голову,



как жить дальше! – удивлялся его непрактичности Эрнст Залепухин. – Кончай ловить черного кота в черной комнате. Продай хоромы в центре. Купи квартирку поскромнее в микрорайоне и машину. Таксуй. Не разжиреешь. Но с голоду не умрешь. Что значит прав нет? Кончи курсы.

Скрепка потерял сон. Как это – продать квартиру? Это надо куда-то идти, брать какие-то справки. Нет, это ужасно, ужасно... А потом эти деньги. Масса денег. Покупать новую квартиру, машину. Нет, это слишком сложно. У него ничего не выйдет. Его непременно обманут. И потом, как продать квартиру, из которой еще не выветрился запах мамы?

Выслушав всю эту чепуху, Эрнст тяжело вздохнул и спросил:

– Как ты вообще под солнцем жить собираешься, снегурочка?

К тридцати годам Скрепка... Нет, не могу, рука отказывается писать такую чушь. Разве что ради все той же художественной правды? Ладно. Скрипя пером и скрепя сердце: к тридцати годам Иван Скрепка не знал женщин. В том самом смысле. Правда, правда...

Инессу же, сбившую его на «зебре», люди, хорошо знавшие ее, звали прапорщиком в юбке. Хотя юбки она носила крайне редко, предпочитая брючный костюм, и при этом была весьма миловидна. Да что там миловидна – обворожительна. Но имевшие с ней дело, настаивали: именно прапорщик. При чем еще тот прапорщик. Служи она в армии, непременно была бы судима военным трибуналом за неуставные отношения.

Она отличалась мужским складом ума и преподавала математику в старших классах. Но по причине крутого, независимого нрава и малой зарплаты своевременно и очень удачно сменила профессию. Усвоив простую истину: хорошая профессия та, за которую хорошо платят.

Впрочем, если уж быть откровенным, о женщине, залетевшей в эту историю смертельным астероидом, автор мало что знает. Так, кое-что. Поверхностно. С чужих слов. Лично не знаком. Возможно предвзятое мнение.

По виду – незаурядная женщина. Из тех, кого раз увидишь и запомнишь на всю жизнь.



Да, конечно, понимаю: назвался автором, будь любезен знать всю подноготную о людях, которых вставил в историю. Но так уж получилось. Прошу извинить. Бывает, что и астрономы ничего не могут сказать о комете, внезапно появившейся в околоземном пространстве: откуда летит, куда? Врежется в планету или промахнется?

Из достоверного автор знает немного и надеется, что все, о чем он расскажет, останется между нами. В школе случилась с ней неприятная история. Юный Лель из десятого класса, между прочим, мастер спорта, чемпион города по прыжкам в воду, кажется, с десятиметровой вышки донес на нее, свою учительницу, будто бы она, домогаясь его любви, ставит ему двойки.

Ябеду несовершеннолетнего негодяя можно было легко опровергнуть, назначив независимую экспертизу. Конечно, никто не требует от спортсмена быть математическим гением. Пошлепайся головой о воду с десятиметровой вышины по десяти раз на дню, когда Пушкин родился, забудешь. Но все-таки кое-что знать надо. Впрочем, отчего-то простая мысль – проверить знания чемпиона – никому в голову не пришла. Родители зашумели в негодование: как это так, педагог, растление малолетних! Кстати, малолетка брилс с восьмого класса. У директора школы – инфаркт. Чиновники из РОНО затрепетали, как листья тополя на ветру. Сплетни, слухи, домыслы, пересуды. Пресса, разумеется, подключилась.

Как бы вы поступили на месте учительницы? В тех же желтых газетах доказывали, что вы не вампир и не нимфоманка? Сделали вид, что ничего не произошло? Обиделись на весь свет? Она лишь презрительно скривила губы и сказала: да оставайтесь вы со своими дебилами! И ушла со школы.

А вскоре чемпиона по прыжкам в воду зверски избил его лучший друг. Даже когда его исключали из школы, он отказался объяснить причину драки. Мрачно смотрел в сторону и молчал. Не мог же он сказать, что застал своего лучшего друга в кровати своей мамы. Мерзавец оправился и был включен в олимпийскую команду. Больших ему спортивных успехов!

Инесса Николаевна нашла себя в рекламном бизнесе.



Это неправда, что рекламный агент – непременно профессиональный лжец и мошенник, что людям шепетильным в этой профессии делать нечего. Напротив, в рекламном деле встречаются иногда и вполне приличные люди.

Заключив договор с несколькими газетами и журналами, Инесса завалила их рекламой, получая с каждого объявления свою долю – десять процентов. Рекламодатель, к которому она приближалась на расстояние прыжка, был обречен. Нежный ангел с волчьей хваткой никогда не оставался без добычи.

Она умела жить без балласта, все лишнее тут же выбрасывала в мусоропровод.

Скрепка не был для нее исключением.

Давно разгадав его никчемность, она возилась с ним из простой предосторожности. Планы ее были таковы, что ей действительно не нужны были неприятности с законом.

Дело было улажено. Потерпевшего выписали из больницы. Она решила отвезти его домой и на этом покончить с благотворительностью.

К ее удивлению, он указал на элитный район, где в старое время обитали большие чиновники и особо выдающиеся деятели искусств.

– Ты живешь в этом доме? – не сумела скрыть она легкого недоверия и посмотрела на Скрепку с теплым интересом.

Это был не дом, а колумбарий. В том смысле, что все стены его были увешены памятными досками из мрамора, гранита и какого-то неподдающегося окислению металла. «В этом доме с такого-то по такое-то жил выдающийся...» Профессия или род занятия, имярек, барельеф. Преимущественно в профиль. На одной из досок был высечен и папа Скрепки, выдающийся, если верить надписи, архитектор, собственно и спроектировавший этот дом. Кстати, первый в Новостаровске небоскреб спроектировал тоже он.

Дом интеллектуальной элиты ушедшей эпохи производил на свежего человека жутковатое впечатление.

Черные от копоти и пыли чугунные и бронзовые головы наиболее знаменитых жильцов выпирали из серых стен.



Читая по складам потускневшее, опавшее золото мемориальных досок, племя молодое иногда спрашивало своих мам:

– А кто такой – Чалдон-Заилийский?

– Писатель, – отвечала мама, сощурив глаза на пожухлые буквы.

– А чего он написал?

– Да уж что-нибудь написал. Зря не прилепят.

Никто из ныне живущих, увы, не знал Чалдона-Заилийского и ничего не читал из его книг.

Печально вздыхал дуб-долгожитель. Рябая тень его листьев колыхалась на безглазом лице писателя. Коротка жизнь человека, а память о нем еще короче.

Голова неизвестного народу народного писателя робко выглядывала из стены, словно часть замурованного трупа.

А между тем этот Чалдон-Заилийский был человеком талантливым и писал замечательные книги.

Где они?

Лежат под горами новых бестселлеров, как спрессованная в леднике пригоршня снега из не нашей эры.

Печально смотреть на обулленную забвеньем голову неизвестного человека, который в свое время был согрет всенародной любовью. Только последнего дурака может развеселить голова, выпирающая из стены старого дома. Человек умный, даже если ему не очень много лет, непременно испытает сложное чувство, которое весьма условно можно назвать грустью, печалью, тоской. Он почувствует себя снежинкой, только что оторвавшейся от облака. Медленно кружась, опускается она с небес на землю.

Это неспешное падение и есть наша жизнь.

Может быть, Чалдон-Заилийский когда-нибудь доберется до своих читателей чистой водой горных рек, вытекающих из вечных ледников.

Хотя вряд ли.

Кому нужен прошлогодний снег?

Инесса остановила машину у подъезда, от которого только что отъехал мусоровоз и, переждав некоторое время, пока рассеется аромат, вышла первой.

Скрепка еще не привык к своему увечью. Его раздражала и смущала неспособность ноги сгибаться в колене.



Инесса подала руку.

– Я сам, – застеснялся он, неуклюже выставляя прямую, как лыжная палка, ногу.

– Ничего, ничего. Обопришь о мое плечо, – сказала Инесса с материнской заботой и игриво пошутила. – Мы ведь все-таки муж и жена.

Дверь подъезда была закрыта на кодовый замок. Номер кода – советская традиция – был выведен под замком белым маркером.

Они вошли в квартиру. Потянуло сквозняком. Тысячи оригами, подвешенных на белых нитках к потолку, запорхали, закружились, зашуршали, сталкиваясь друг с другом.

– Опять я форточку забыл закрыть, – спохватился Скрепка, спустя месяц.

Есть масса пустяков, которые вроде бы и не нужны в повествовании, они только тормозят, сдерживают развитие сюжета. Но о них невозможно промолчать. Сами, без спроса, лезут в историю и тащат за собой массу бесполезных подробностей.

Вот, допустим, в квартиру к холостяку входит красивая женщина, а ты вынужден объяснять, что оригами – это японское искусство складывания бумаги в подобие предметов и живых существ.

Тьфу ты, скажет читатель. И будет, разумеется, прав.

И, тем не менее, надо сказать, что оригами, самое бесполезное из всех бесполезных занятий, было единственным, что по-настоящему любил Скрепка.

Он жил в большом городе, дышал его отравленным воздухом, озираясь по сторонам, перебегал улицы, ссутулившись, пробирался через утрюмую толпу. И завидовал ракам-отшельникам, которые, куда бы ни шли, остаются дома. Он знал, что каждый второй прохожий – либо энергетический вампир, либо сумасшедший маньяк. В лучшем случае – карманный вор. Только задумаешься, а из тебя уже высосали всю жизненную энергию и кошелек увели.

Скрепка чувствовал себя спокойно только в своей квартире, закрывшись на все замки и задвижки, да на работе, запершись в фотолаборатории.

И все-таки дважды за день он был вынужден, сжавшись



в комок нервов, перебегать из одного убежища в другое. Как суслик из норы в нору.

До тридцати лет Скрепка летал во сне.

Летал он и после тридцати, но почти всегда полет завершался падением.

К этим еженощным падениям можно было привыкнуть. Но всякий раз он просыпался в первобытном страхе, с тяжелым чувством непоправимой вины.

Это была не просто вина, а нечто более тягостное — сознание неправильной, напрасной жизни. Он чувствовал себя перелетной птицей, добровольно отказавшейся от перелета. Каждое утро смотрит эта птица из своего болотца на серое небо, полное перелетной, зовущей тоски. Надо лететь, пока не поздно, надо лететь... Надо. А она остается. Куда лететь? Зачем лететь? Все равно не догонишь своих.

Проснувшись после очередного падения, он вслушивался в ночные шумы города и думал: надо накопить денег и купить компьютер. Но как с его зарплатой накопить денег? Может быть, продать стенку? Надо завтра же дать объявление в газету. Будут приходить чужие люди, смотреть, хлопать дверцами, расспрашивать. А как с ним разговаривать? Спрося: сколько стоит? А сколько она стоит? И как продать? Маме она так нравилась. У нее был заветный ящик с папиными вещами. Не однажды он видел, как она плакала, уткнувшись лицом в его пижаму. После обеда мама не позволяла раздвигать штору, чтобы свет не попадал на красное дерево. Он тоже оставил ее вещи, которые хранят ее запахи.

Нет, нет, стенку нельзя продавать.

Надо найти работу, за которую платят деньги, а не подаяния.

Где ее искать? Как искать?

Ремонт в квартире пора сделать. Давно пора. Это значит надо передвигать вещи, сдирать со стен обои, которые выбирала мама. Нет, это нехорошо.

Много чего надо сделать.

В его возрасте, например, уже надо иметь семью, детей.

Много чего надо.



Но он знает: прогремит первый трамвай, окно делается серым, на всех этажах зашумят водопады, настанет утро, пройдет день, а он так ничего и не предпримет. Он давно вывалился из общего потока, его вытолкнули из очереди и уже не пустят назад. Жизнь отдельно, он отдельно.

Из окна в спальне видно, как день и ночь беззвучно пролетают самолеты. Туда – сюда, туда – сюда, взлет – посадка. А он ни разу в жизни не летал. И уже не полетит. Куда лететь? Зачем? К кому?

Во все кабинеты поставили компьютеры, а его фотолабораторию обошли. Почему?

Надо зайти к редактору и потребовать: пусть поставят. Не поставят.

Надо все-таки накопить денег, что-нибудь продать, в крайнем случае, и купить собственный компьютер. Не надо ничего ни у кого просить. Завтра надо зайти в магазин, купить литературу. Записаться на курсы компьютерной грамотности. Стыдно не знать компьютер.

Английский позабыл. Надо бы освежить. Если каждый день заучивать хотя бы по пять слов, к концу года накопится достаточный словарный запас.

А для чего тебе английский язык? Как для чего? Для компьютера. Компьютер еще купить надо.

А может быть, лучше купить горные лыжи? Живу в горах, а на лыжах ни разу не стоял. Стыдно.

Нет, на все сразу денег не наберешь.

По вечерам он садился за стол.

Нет, прежде чем сесть за стол, он тщательно мыл руки, причесывался, надевал оставшийся после отца халат, подстригал ногти, не трогая лишь ноготь на правом указательном пальце, служившим ему инструментом.

Прибирал стол. Полировал до зеркального состояния. Оттягивал удовольствие.

На столе лежала стопка цветной, нарезанной бумаги. Коробка акварельных карандашей. Ножницы с тупыми концами.

Он включал настольную лампу под антикварным зеленым абажуром с кистями.

Мир сворачивался в уютную малость.



Брал лист. Смотрел на просвет. Нюхал. Гладил. Начи-
нал складывать.

И сразу же беспокойство, неловкое чувство вины при-
туплялись, растворялись.

Оригами – единственное, в чем он находил утешение.
Все-таки это было какое-то занятие. Занятие приятное.
К тому же оно отвлекало от всех этих надо, надо, надо.

Зачем надо? Кому надо?

В этом доме жили его отец и мама. Они тоже о чем-то
беспокоились, тоже говорили: надо, надо, надо. Для чего
надо? Для того, чтобы оставить в набитой мебели и та-
кой пустой квартире его? И свой запах в шкафах.

Бумага шуршала, трещала под руками.

За долгие годы ежевечерних занятий в этом бесполез-
ном искусстве складывания бумаги он достиг совершен-
ства. Сгибая лист, он уже не думал об очередном шаге,
о последовательности операций, а только видел конкрет-
ную цель. Руки как бы самостоятельно сворачивали, скла-
дывали, надрезали и выворачивали бумагу. Не было тако-
го существа или объекта, которого он не мог бы скон-
струировать из плоского листа. Даже шар. Даже шарж на
Эрнста Залепухина.

Бумага шуршала, потрескивала, гроыхала далекими
раскатами грома, когда ее встряхивали, хрустела под
ножницами первым снегом, а когда Скрепка проводил по
сгибу ногтем, издавала звук взлетающего истребителя.

Запах бумаги успокаивал, как аромат сандалового де-
рева.

Да, в искусстве складывания бумаги для него не было
тайн. Напротив, не подозревая о том, он сам был храни-
телем тайн оригами, поскольку изобрел несколько новых
приемов.

Забавляя себя, он порой складывал бумагу с закрыты-
ми глазами.

Изобретая новые формы, он ставил перед собой все
более сложные, почти невыполнимые задачи и по пути
на работу и с работы мысленно складывал бумагу, как
шахматист, проигрывающий в голове неожиданные ходы.

В конструировании объемных предметов из плоского
листа заключалось нечто большее, чем развлечение.



Он чувствовал это.

И знал, что поступать нужно было в архитектурный институт. И поступил бы, если бы был жив отец.

Стоило увеличить размеры объектов и заменить бумагу более прочным материалом, из его архитектурных форм можно было складывать настоящие здания – фантастические дома-оригами, скульптуры-оригами, машины-оригами.

Он строил свой бумажный город.

Долгие годы занятий оригами развили в нем пространственное воображение. Он мог бродить по своему городу часами, разглядывая его инопланетные здания снизу. Это были приятные прогулки.

Все полки, все горизонтальные плоскости в квартире – подоконники, мебель и даже пол – были заставлены конструкциями из бумаги. И когда он проходил по узким тропинкам между ними, стаи бумажных птиц, свисающих с потолков, раскачивались от легкого потока воздуха, отмечая его путь.

Скрепка любил тишину, наполненную лишь шелестом и запахом бумаги.

Но, когда в квартиру вошла Инесса, и зашуршали тысячи бумажных безделушек, он покраснел от неловкости и подумал: боже, какими пустяками я занимаюсь, что она обо мне подумает?

Не разувшись, она прошла на кухню, заглянув по пути в ванную. Увидев ее, синицы на заснеженных ветках заволновались, устроив небольшой снегопад.

– Как в лесу, – сказала Инесса, – и дачи не надо.

Она захлопнула форточку, через которую, судя по следам на столе, в поисках пищи частенько залетали синицы.

И прошла в зал, по пути нежно касаясь полированной поверхности встроенной мебели.

Путь ее отмечался волнением и тихим шелестом бумажных крыльев.

Инесса открыла двери застекленной лоджии. Растворила окно. Дотянулась до заснеженной ветки и, собрав снег, слепила тугой снежок. Откусила от него, оставив



румяный след помады. И надкушенный, слегка окровавленный снежок бросила вниз.

Она заглянула в кабинет, прошла в спальню. Квартира постепенно наполнялась тревожащим запахом зрелой женщины.

– Ничего, – сказала Инесса грудным, воркующим голосом. – Подзаработаем денег, сделаем повторную операцию. Колено будет сгибаться. Я слышала за границей уже вживляют металлические суставы.

Скрепка, между тем, суетливо, как снег с тропинки, сгребал с пола бумажный город и укладывал его в картонную коробку из-под телевизора.

– Оставь. Тебе еще трудно нагибаться, – сказала она. – Я потом сама приберу. Идем, посмотрим, что у нас в холодильнике. Все, должно быть, плесенью покрылось. Я так виновата перед тобой, Ваня, так виновата. Бедный мой Ваня, прости меня.

Она прижалась к нему и, поднявшись на цыпочки, поцеловала. В губы.

* * *

– Ты знаешь, Эрик, я, кажется, женюсь, – через неделю после этого поцелуя сказал Скрепка с некоторой растерянностью своему другу Залепухину.

Красный свет лабораторного фонаря делал их похожими на кузнецов у раскаленного горна.

– Женись, женись, – равнодушно одобрил его робкие намерения Эрнст, – сколько можно детей по стенкам разбрызгивать. На ком женишься-то?

Скрепка ответил.

– Иди ты! – изумился Залепухин.

– Что она во мне нашла? – упал духом Скрепка, прореагировав на искреннее потрясение своего друга.

Его лицо без особых примет исказилось такой забавной гримасой, будто он спрашивал ни себя, ни Эрнста Залепухина, а высшее существо, для которого нет тайн.

– Что она в тебе нашла? – переспросил Эрнст с иронией, переходящей в умиление, и ответил с крайним цинизмом. – Квартиру в центре города она в тебе нашла.

– Ты думаешь? – пал духом Скрепка.



– Я думаю: женись, – после некоторого размышления решительно сказал Залепухин. – Инка не баба, а кремлевская стена. За ней не пропадешь. А так – пропадешь. Не вечно же я буду водить тебя за ручку. Держись за нее, как за поручень в трамвае. Женись, Ваня, женись.

И позавидовал:

– Вот повезло: такая баба на тебя наехала!

А через три месяца после этого разговора случилась беда.

Инесса пришла совершенно без лица и, запершись на лоджии, долго курила перед раскрытым окном и плакала.

– Ваня, – сказала она, наплакавшись и продрогнув. – Меня посадят.

Он прижал ее к себе, холодную, потерянную, и успокоил:

– Не посадят. За что тебя сажать? Таких красивых не сажают.

– Не посадят – убьют, – снова заплакала Инесса и сквозь слезы, содрогаясь, прошептала в отчаянии. – Ваня, я должна вернуть деньги. Меня поставили на счетчик, Ваня.

– Вернем, – сказал Скрепка бодро, но не очень уверенно.

Он постеснялся спросить: что такое – поставить на счетчик?

– Много денег, Ваня. Очень много. Не могу представить, где их взять.

У Скрепки захватило дух. Впервые он почувствовал себя сильным, опытным мужчиной, в чьей защите нуждается слабая женщина.

– Продай свою квартиру, – решительно сказал он. – Зачем нам две квартиры? Будем жить в нашей.

Он не сказал «в моей».

– Не смей меня! – внезапно рассердилась Инесса, отстраняясь. – Сколько дадут за «хрущобу» в микрорайоне, на окраине города?

– Ну, если так, давай продадим мою квартиру. Будем жить у тебя.

Слова эти дались ему нелегко.

Он не мог представить, что эту квартиру, мир, с которым связана вся его жизнь, где в дальних ящиках одежного шкафа еще сохраняются запахи отца и мамы,



придется оставить навсегда. Даже думать было больно, что в этом уютном, защищенном мире будут жить чужие люди, делать евроремонт, выламывать деревянные рамы и заменять их стеклопластиком, по-своему расставлять мебель, шуметь, кормить его синиц. Нет, нет! Это невозможно.

Но, сказав эти слова, Иван Скрепка почувствовал, как затылок его сковал холод благородства. Он знал, что поступил правильно. Он знал, что по-другому не мог поступить. Не имел права. Ради близкого, любимого человека следует жертвовать самым дорогим. И, как ни тяжела жертва, она приятна только потому, что именно в такие минуты ты чувствуешь себя человеком. Существом, стремящимся стать богом.

— Милый Ваня! Ну, почему, почему мы не встретились с тобой раньше, — прошептала она, обхватив его шею и прижавшись мокрой от слез щекой к его груди,

И затряслась, пытаясь сдержать рыдания.

Он держал ее в руках, и нежная дрожь любимого существа передавалась ему.

Он едва не умер от нежности и любви.

Лучше бы, конечно, он умер.

Именно в такие моменты и следует умирать.

Благородным, счастливым, любящим и любимым.

Пусть даже все это тебе только кажется.

* * *

Фотолаборатория была втиснута в тесный промежуток между лифтом и туалетом. Между вечным грохотом дверей-гильотин и весенним журчанием сливных бачков. Из темноты эти шумы представлялись удивительной картиной: как бы из райских куш стартовали космические ракеты и, оторвавшись от земли, одна за другой улетали в межзвездное пространство. Красный свет без теней озарял лицо Скрепки, делая его похожим на угрюмого дьявола, замыслившего козни против человечества.

— А ты чего, Ванюша, сидишь ушами хлопаешь? — спросил Эрнст Залепухин, прошмыгнув под шторой. — Тебе разве железные двери не нужны?

— Засветишь! — буркнул Скрепка. — Зачем мне железные двери?



– Вот именно, – поддержал его Залепухин и спросил сурово: – Может быть, хватит на стульях в лаборатории спать? Опять Инка к ложу не допускает?

– Тебе какое дело? При чем здесь железные двери?

– Привезем дверь – вот Инка и размякнет. Они любят хозяйственных мужиков.

– У нас есть двери.

– Картонные? Не смейся! Считай, что дверей у тебя нет. Ну, как хочешь. Не нужны тебе двери, мне-то какое дело? Ты даже не представляешь, что это такое – железные двери на даче. Не дача – сейф! Поставлю железную дверь, решетки на окна навешу – и буду всю зиму спокойно спать. Ни мышь не заберется, ни бомжи не разбоят. Беги к Колдуну, пусть и тебе дверь выделит.

– У меня нет дачи.

– Мой совет: покупай дачу, пока земля не подорожала. Потом локти будешь кусать. Что-то я тебя не пойму. Продал квартиру, а ни машину, ни дачный участок не купил. Скажи, куда деньги вложил? Ты меня знаешь, я – могила.

– Балаболка ты.

– Значит – не нужны тебе железные двери? Ладно. Да, Стерня тебя вызывает.

– Зачем? – встрепенулся Скрепка.

За все время работы в редакции он ни разу не был в кабинете редактора, а на планерки как работника технического его не приглашали. Редактора он видел только на праздничных застольях.

– Зачем, зачем, – передразнил его Залепухин. – Я тебе сто раз говорил: Ваня, изучай компьютер, изучай компьютер. Говорил? Зачем мне это надо, зачем мне это надо... А затем, что уже давно никто скальпелем снимки не скребет. Затем, что бумажная пресса на цифру переходит.

Скрепка прикрепил влажные снимки к натянутому проводу, вымыл руки, обтер их фартуком. Фартук снял и повесил на спинку стула. Включил свет. В лаборатории стало неприятно светло.

– Думаешь, уволят?

– Иди, я тебе что – пророк?

Авдотий Стерня, утомленный и расстроенный разговором с библиотечаршей, мрачно смотрел на черное,



словно покрытое ваксой, пианино, стоящее у сплошного окна, как над пропастью.

«Монашка в борделе», – подумал о пианино Стерня, хотя ни монашек, ни борделей за свою жизнь не видел.

Казалось бы, чего непонятного: не будет библиотеки, зачем библиотекарша? Мне что – приятно увольнять людей? Нет, устроила истерику: моя смерть будет на вашей совести...

А что с этим пианино делать? Разве что отвезти на дачу? Здесь пылилось, пусть там пылится. Вот судьба! Может быть, на нем вообще никогда не играли. И играть не будут. Так, откроет кто-нибудь крышку, ткнет пальцем и опять захлопнет. А достанься оно какому-нибудь Рихтеру, какие бы звуки он из него извлекал. Простояло всю жизнь черти где.

«Моя смерть будет на вашей совести»... Ишь ты! Истеричка.

Погруженный в размышления, Стерня не услышал, как тихо раскрылась дверь. В кабинет вошел Скрепка.

Вошел и стоял молча.

Заплаты на локтях свитера бахромелись. Волосы не расчесаны. Щетинки, как занозы, торчат в разные стороны.

Запах реактивов, наконец, дошел до носа редактора. Он заглянул в список, лежащий перед ним, и радушно раскинул руки:

– А, Иван Иванович! Проходи, родной, садись.

Скрепка пересек пространство кабинета, неуклюже сел в кресло, вытянул не гнущуюся в колене ногу и уставился на давно нечищенный носок ботинка.

Интересно, как он его зашнуровывает? Стерня слегка откатился на кресле от стола и, вытянув пухлую ножку, попытался достать рукой ботинок.

Да... Не с моим пузом.

– Как дела, Иван Иванович? В семье все нормально? Детишки растут?

Скрепка, не отрывая глаз от ботинка, неопределенно пожал плечами.

Стерня развернул кресло к горам. Чего тянуть?

– Жизнь, Иван Иванович, не стоит на месте, прогресс



не остановить, – сердито обратился он к горам, как бы сожалея, что не в его силах остановить прогресс. – Вы, наверное, уже слышали: переходим на компьютерную верстку.

Скрепка молчал.

Его свитер невыносимо вонял реактивами.

Скоро этот запах навсегда исчезнет из редакции. И вообще из жизни. Как когда-то исчез запах мамонта.

– Иван Иванович, вы знаете, как мы ценим вашу работу, – с задушевной печалью сказал Стерня, не отрывая глаз от снежников.

– Можно идти? – спросил Скрепка, опираясь руками о подлокотники кресла.

Редактор тоже поднялся и протянул через стол пухлую ручку. Стол был огромен, и ему пришлось почти лечь на него.

– Поверьте, Иван Иванович, мне жаль расставаться с вами. Искренне жаль, – сказал он, встряхивая руку Скрепки. – Но, увы, техническая, информационная революция не знает жалости. Возможно, скоро компьютер обойдется и без редактора. Вполне возможно.

Пожимая руку редактору, Скрепка смотрел на листок, лежащий перед ним. «Список сотрудников, подлежащих увольнению» – так он был озаглавлен. Шпаргалка. Откуда бы иначе Авдотий Стерня узнал, что увольняемого за ненужностью фотолаборанта зовут Иваном Ивановичем. А то, что Иван Иванович Скрепка – сын Ивана Фёдоровича Скрепки, построившего здание, из которого изгоняют редакцию, редактор, наверняка не знает. А если бы и знал, что бы это изменило?

Пересекая кабинет редактора, Скрепка старался делать не очень широкие шаги, чтобы хромать не так заметно.

* * *

Из приемной Скрепка сразу же прошел к Щербине.

– Зачем тебе дверь? – вроде бы как даже обиделся завхоз.

– Как это – зачем? – удивился Скрепка.

– Ну, не знаю, не знаю... Желающих много, дверей мало, – задумался, сдвинув вороны брови, завхоз.



Скрепка сощурился, одернул свитер и спросил невнятно и очень тихо:

– Кому-то можно, мне нельзя? Чем я хуже других?

«Э, брат, ты даже сам не подозреваешь, насколько ты хуже других», – подумал Щербина, знакомый со списком увольняемых. Но он не был настолько бестактным человеком, чтобы вот так прямо в лоб сказать: «Чего ради я должен раздавать казенные двери, вообще-то говоря, посторонним людям?»

И его можно понять. Зачем раздавать имущество бесплатно даже своим людям, если его можно с выгодой продать? К каждому посетителю, рассчитывающему на дармовщину, завхоз Щербина испытывал глухую враждебность. Люди, собственно, бесцеремонно запускали руки в его карман.

– Ну, скажи, зачем тебе дверь? – повторил он.

Губы у Скрепки слегка запрыгали.

– Вы всем задаете этот вопрос? – спросил он едва слышно.

Наблюдательному человеку давно было бы понятно: железная дверь для Скрепки была уже не просто дверью. Железная дверь стала принципом. И тихий человек-невидимка, оскорбленный своей невидимостью, был готов умереть за этот принцип. Нет, речь шла совсем не о железной двери.

Но завхоз не обязан быть психологом.

– В фотолаборатории была одна дверь. Так? Так. Эту дверь взял Залепухин. Так? Так. Где я возьму еще одну дверь? Рожу что ли?

Ужасная, ужасная картина: завхоз, рожающий металлическую дверь.

Но Скрепку не убедил даже этот довод.

– Почему кому-то можно, а мне нельзя? – тихо-тихо повторил он и вдруг как завизжит. – Я что – не человек!?

Сам оглох от собственного крика.

Даже представить нельзя, как дико может верещать тихий человек, у которого сдали нервы.

Вопль тихого лаборанта смутил завхоза.

Надо сказать, что большинство сотрудников газеты вообще никогда не слышали голоса Скрепки. Промычит



в ответ что-то невнятное. Не разберешь что. То ли нос забит, то ли каша во рту. Да и о чем с ним говорить? Не пьет, не курит. Разве что ответственный секретарь иной раз разговорит его. «Ваня, дружок, заретушируй охранника, президенту брюки погладь, мешки убери, левый глаз раскрой пошире.» – «Бу-бу-бу.» – «Чего, чего?» – «Подделка документов карается по закону» – «Поговори мне! Ишь ты – подделка документов.» – «Бу-бу-бу.» Вот и весь разговор за день.

Проходивший мимо редактор вздрогнул от вопля оскорбленного человека, по искренности и безнадежности похожего на визг животного, попавшего под колеса автомобиля. Он, конечно, рад был бы прошмыгнуть незаметной тенью. Мало ли подобного наслушался он сегодня, уволив половину редакции. Но в коридор уже высыпали люди, и Стерня распахнул дверь кабинета заведующего хозяйством.

Первое, что он увидел, – заплаты на локтях старого свитера.

– Антон Антонович, – вникнув в проблему, сказал Стерня Щербине, – у нас же есть дверь от кабинета главного бухгалтера. Ивану Сергеевичу она уже не нужна. Стерх уже там, где двери не нужны. Отдайте Ивану Ивановичу дверь от кабинета главного бухгалтера.

Щербина, как в воду нырнул: глаза выпучил и щеки надул, экономя воздух. Дело в том, что двери от конференц-зала и бухгалтерии отличались особым качеством и прочностью. Эти двери он приберегал для себя. Одну – для дачи, другую – для квартиры.

Но кто противоречит начальству, тем более, при живом сотруднике?

Только очень недалёковидный и неразумный человек.

А завхоз Щербина был человеком дальновидным и разумным.

Да хрен с ней, с дверью. Пусть подавится.

* * *

Когда Эрнст Залепухин узнал, что Скрепке досталась дверь от кабинета покойного Стерха, он впал в грех зависти.



И не удивительно. С каждым бы случился подобный грех.

Ах, что это была за дверь!

Приятно шершавая, массивная, она захлопывалась и отворялась с томным женским вздохом – без усилий, скрипа и грохота. Глазок, словно фотообъектив, переливался сиренью и перламутром. Цилиндрические языки замков выщелкивались с приятным звоном и точно входили в отверстия рамы. Сейф! Такую дверь не стыдно поставить и в банке.

– Послушай, друг мой Скрепка, подари мне дверь. Я тебе большое спасибо скажу.

– Перебьешься, – отвечал Скрепка. – У тебя своя есть.

– Справедливое замечание, – согласился Залепухин. – А давай так: ты мне подаришь свою дверь, а я тебе – мою. И сегодня же развезем их на моей «Бешеной табуретке». Для чего еще нужны друзья? Представляешь: вставлю я ключ в скважину и тебя вспомню. И ты тоже – вставишь и вспомнишь. Идет, а?

– Не нужна мне твоя дверь, – нахохлился Скрепка, сгорбившись на стуле.

Вопросительный знак в потертых джинсах и траченом молью свитере.

– Вот как! – обиделся Эрнст Залепухин. – Не узнаю я тебя, друг мой Скрепка. Значит, паршивая дверь тебе дороже друга? Не знал я, что ты такой мелочный. Жаба души, да?

Скрепка мрачно сопел, вперив взгляд в потертый носок собственного ботинка, который слегка раскачивался из стороны в сторону. Он знал, что ни за что и никогда не расстанется с бронированной дверью бухгалтерии.

– Ну, сам подумай: зачем тебе дверь? – задушевно пропел Залепухин. – У тебя же дачи нет.

– В квартире поставлю.

– Ты что – без двери живешь?

– Разве это дверь? Сам говорил – картон.

– А ты знаешь, о чем говорит статистика? – вкрадчиво спросил Залепухин. – Статистика говорит: в основном грабят квартиры с железными дверями. Объясняю почему. За железной дверью всегда есть чем поживиться.



Воры – они тоже не дураки. Мимо обшарпанной двери пройдут, не оглянутся. А открыть железную дверь не так сложно, как ты думаешь.

Скрепка молчал, загипнотизированный носком собственного ботинка.

– Ладно. С тобой все ясно. Так и запишем: жмот. – сдался Залепухин. – Только знай, друг мой Скрепка, «Бешеная табуретка» две двери за один раз не выдержит. Жди, пока я свою отвезу на дачу. Или ищи оказию. Пока, бывший друг мой Скрепка!

* * *

В редакции «Новостаровской правды» было шумно. Готовили очередной номер, а параллельно готовились к переезду. Сокращали штаты. Делили металлические двери. Спорили. Ругались. Обвиняли. Оправдывались. Смеялись. Плакали и закатывали истерики.

А между тем, запинаясь о презрительно выпяченную губу, праздный, как Дед Мороз в летний отпуск, по гулким коридорам редакции, наполненным скрежетом, шорохом, скрипом и раскатистыми голосами, бродил Иоганн Буб – в недалеком прошлом заведующий отделом партийной жизни, а ныне гражданин объединенной Германии. Видом своим он напоминал выбившегося в люди односельчанина, приехавшего погостить в родное захолустье.

Он с веселым изумлением смотрел на суету бывших сослуживцев, выселяемых из здания, построенного, кстати, на деньги «Новостаровской правды», многозначительно хмыкал и грустно думал: «Решение сменить гражданство было своевременным и правильным».

Именно такими рублистыми, правильными фразами, какими раньше писал передовицы, он и думал.

Но отчего-то без особой радости и на русском языке.

Он бродил ожившим приведением, путался под ногами, поражая женщин и раздражая мужчин иноземным парфюмом. Иоганн Буб ожидал совсем другую встречу со старыми сослуживцами – сердечную, радушную. Град вопросов. Воспоминания. Восхищения. Почтительные объятия. Ему хотелось долгих расспросов. Хотелось посидеть, как раньше, в сквере напротив. В кафе под зонтиком



у бассейна с лебедями. Белым и черным. Но никто из аборигенов особого внимания ароматному заграничному гостю не уделял. Это было обидно. И все душевные силы Буб тратил на то, чтобы скрыть обиду. Лишь порой, когда кто-то из старых товарищей мимоходом хлопал его по плечу и называл Ваней, он не мог сдержать горького разочарования. Хмурился и холодно поправлял: «Иоганн». «Ну, как дела?» – спрашивали, поставленные на место и слегка опешившие, бывшие товарищи и, не дослушав, извинялись: дела.

Иной раз, выловив из суеты знакомого, он, применяя физическую силу, удерживал его за руку и пытался наладить беседу. Но, занятые растаскиванием редакционной библиотеки и прочего имущества, изнывающие под тяжестью поленищ книг, новостаровцы смотрели на него с легкой досадой. Вели себя неискренне, вырывались.

Он приехал не вовремя, и никому до него не было дела.

Из кабинета редактора, куда он вошел с саркастической улыбкой и заранее приготовленной фразой, на него черным быком наехало пианино. Колесики взвизгнули на повороте. «Посторонись!» – заорали на него два человека партизанской наружности. И он забыл остроумную фразу.

Едва он успел проскочить, как пианино завалили на бок и закупирили им дверь.

– Здорово, Ваня, – сказал Авдотий Стерня оскорбительно будничным тоном, не выходя из-за стола и даже не вставая, будто Буб только что вернулся из скоротечной командировки. – Вот пытаюсь как-то организовать последний день Помпеи. Надолго к нам?

Но тут пианино протащили в дверь, и в кабинет хлынул народ. Впереди всех, шурша только что оттиснутыми полосами и гранками, шел сердитый Дятел.

– Что, Ваня, ностальгия замучила? – спросил он, не останавливаясь.

Иоганн поморщился и фыркнул, удивленный таким глупым предположением.

– По сердечным делам, – ответил он с невероятно фальшивым акцентом.



Знавшие его, торопливо пожали руку, незнакомые сдержанно кивнули головами. Началась «топтушка». Авдотий, окруженный заведующими отделами, развел руки: дела...

Ответственный секретарь Дятел не любил «топтушки». Он справедливо полагал, что на них затаптываются свежие идеи и торжествует банальность. Дятел не верил в коллективное творчество. Коллективное творчество, считал он, такое же извращение, как и коллективная любовь. Естественно, это мнение он держал при себе. И лишь порой, не сдержавшись, обрывал краснобаев, для которых «коллективное творчество» было чем-то вроде коллективной пьянки, где можно было блеснуть бессмысленным, но запоминающимся тостом.

Иоганн Буб полюбовался из окна редакторского кабинета на знакомую панораму гор и тихо вышел.

В обезлюдевшем коридоре навстречу ему высокий и очень худой человек волок по мраморному полу металлическую дверь.

Дверь отвратительным визгом и скрежетом передразнивала его хромоту.

Оскорбленный невниманием бывших сослуживцев, Иоганн Буб проникся состраданием к одинокому инвалиду.

— Позвольте, я помогу вам, — сказал он, испытывая приятное чувство от собственного благородства.

Вдвоем они втащили дверь в лифт, и только после этого Иоганн Буб представился. Он, конечно, не рассчитывал на благодарное изумление, смешанное с некоторым смущением: не каждый день этому калеке помогают перетаскивать двери иностранные граждане, но холодность, с которой инвалид буркнул в ответ свое имя, окончательно испортила настроение Буба.

Молча помог он вытащить дверь из лифта и сухо попрощался.

Улица была пуста, но, как истинный европеец, прежде, чем перейти «зебру», Иоганн Буб дождался зеленого света.

В старом сквере кафе не было. Сухой бассейн захламлен листвой прошлых лет и свежим мусором.

Бывший Иван, а ныне Иоганн Буб, подстелив «Новостаровскую правду», сел на скамью, нижний брус



в которой был выломан. Он полюбовался молодыми людьми, дивясь новому обычаю сидеть на спинках скамеек, используя сиденья как подставку для ног. Обычай этот ему не нравился, а коленки девушек – наоборот. Молодые люди курили травку, запивая дым пивом. Прямо из горлышек бутылок.

Эта старая скамейка была знакома ему. Когда-то рядом с ним на ней сидела девушка, коленки которой сводили его с ума. Хотя ничем от других коленок не отличались. Иоганн приподнял край газеты. Вот ее имя. Он вырезал его складным ножом. Варварский, конечно, обычай. Но сколько всего прошло с того дня, а эта царапина сохранилась. Такой пустяк, а мороз по коже.

В просвете ветвей белел пик Лавинный.

Пик, на который он смотрит в последний раз.

Его лицо, лицо истинного европейца, оставалось бесстрастным. А между тем, в правом глазу набухла и самопроизвольно покатила по скуле слеза. Левый же глаз оставался совершенно сух. Как если бы половина Буба тосковала по прошлому, в то время как другая половина не находила в этом смысла.

Одна половина Иоганна Буба знала, что уже никогда он не будет сидеть на этой скамейке с вырезанным именем его первой девушки. Никогда не будет смотреть на пик Лавинный. Дышать этим не очень чистым, но таким приятным воздухом. И очень скоро в захолустном городе никто не вспомнит о нем. Никто.

А вторая половина думала: ну и черт с ним!

Как будто кто-то о нем вспоминает сейчас.

Одной половине души было больно осознавать, что на старой родине его никто не любит.

Вторая половинка, горько ухмыльнувшись, думала: а за что тебя любить? Может быть, у тебя есть миллион? А, кроме того, разве ты не знаешь: чтобы тебя полюбила старая родина, ее нужно предать. Не просто уехать за границу, а уехать, чтобы ее ругать. И чем больше грязи ты на нее выльешь из-за бугра, тем сильнее она тебя полюбит.

Но самым печальным было то, что и на новой родине его никто особенно не ждет. Может быть, впервые за



многие годы Иоганн Буб не хотел себе врать. Он понимал, что никому на этой планете не нужен.

Обидно.

Необходимо было срочно создавать семью и заводить новых людей, которым бы он был нужен.

* * *

Выглядывая в потоке машин «Бешеную табуретку» Эрнста Залепухина, Иван Скрепка маялся на автобусной остановке.

Возле прислоненной к столбу металлической двери крутился человек в тюбетейке. Придерживая двумя руками дужки очков, он внимательно рассматривал замки.

– За сколько продаешь? – спросил он, разглядывая Скрепку в «глазок».

– Не продаю.

– А все-таки?

– Я не продаю за тридцать тысяч.

– Дорого для меня, – вздохнул человек и, успокоившись, пошел прочь.

Дважды Скрепка останавливал машины с багажниками на крыше. Но за деньги, которые у него были, никто не соглашался подвезти металлическую дверь на окраину города. За такие деньги можно было лишь презрительно присвистнуть и покрутить пальцем у виска.

Не волочь же дверь назад, царапая тротуар.

А что делать? Ночевать на остановке?

Что хорошо: квартира и место работы Скрепки с некоторых пор – две конечные остановки автобуса №43. Сядишься и сходишь без толкотни.

– Довезешь? – неуверенно спросил Скрепка кондуктора, кивая на дверь.

Несовершеннолетний паренек сошел на землю, как матрос с корабля. Вразвалку. Постучал костяшками пальцев по железу. Руки его были черны от постоянного контакта с мелочью.

– Ты что, тощий, с чики слетел? – удивился он. – Кто же тебя с такой калиткой в салон пустит?

– Я заплачу, – потупив глаза, сказал Скрепка.

– Сколько?



Стесняясь, Скрепка назвал сумму, содержащуюся в его карманах.

– Куда тебе? – спросил паренек, в раздумье разглядывая дверь.

– До конечной.

– Где купил?

– На работе выдали.

– Слышь, шеф! – развеселился кондуктор. – Зарплату уже железными дверями выдают. Конкретно.

Шефом кондуктор звал водителя.

Трудно было подобрать другое, более удачное, слово.

Аристократ.

Водитель был в костюме, белой рубашке, при галстук. Внешним видом и достоинством он напоминал выдающегося политического деятеля эпохи социализма Анастаса Микояна. Приподнявшись со своего места, он посмотрел в окно и сказал степенно:

– Будь осторожно.

Таких проворных кондукторов, как в городе Новостаровске, нет нигде. На остановках они выскакивают из дверей и громко рекламируют свой маршрут. Не хочешь, а поедешь. Их отличает большое искусство утрамбовывать пассажиров. Они руководят ими, покрикивая и подбадривая, как пастухи стадом баранов. Обходятся без продажи билетов, собирая дань на выходе. Ни один заяц не проскользнет мимо. Это особый сорт людей, рожденных новыми рыночными отношениями. По предприимчивости и бешеной энергии сравнения с ними достойны лишь «челночники».

– Давай, костыль-нога, грузим твою зарплату, – парнишка решительно опустил на себя дверь и едва не раздавлен ею. – Не фига себе мороз! Она у тебя из золота, что ли? Заносим. Осторожно! Окно разобьем – не рассчитаешься. Заводи за стойку. Встанешь между дверью и окном. Ничего, довезем. Я на этом автобусе корову через весь город возил. В часы пик. Прикинь? Дед за рога держал, бабка с ведром у хвоста дежурила. Довезли. Одному тухе ногу оттоптали. А так ничего, без потерь.

И, подумав, добавил:

– Конкретно.



– Подвиньтесь в серединку! – весело орал юный кондуктор.

Он никогда не задавался вопросом, куда двигаться серединке.

Пассажиры уже с третьей остановки сбивались в такую плотную массу, что отпадала необходимость держаться за поручни. Из уст в уста в городе Новостаровске ходила легенда о летучем «Икарусе». В автобус набилось столько людей, что не войти, не выйти. Из года в год кружит он по маршруту призраком. Приходит на остановки точно по расписанию, но двери не открывает. А из окон пустыми глазницами смотрят черепа пассажиров.

Если графически изобразить жизненный путь Ивана Скрепки, он частично совпадает с маршрутом троллейбуса №3, убившего его отца, и полностью – с маршрутом автобуса №43, который рано или поздно убьет самого Скрепку.

От этого маршрута он никогда не отклонялся.

Родился на остановке, которая так и называлась: «Роддом». На этом автобусе мама возила его в детсад, а потом он ездил на нем в школу. Остановка так и называлась: «Школа». Чуть выше была остановка «Институт». После института он ездил на сорок третьем в НИИ тары и упаковки, в котором проработал до его закрытия.

Однажды какой-то приезжий спросил его: «Доеду ли я на этом автобусе до двенадцатой больницы?». Скрепке стало неловко: он не знал, куда дальше идет автобус. Но теперь он знает все остановки.

От конечной до конечной.

Скрепка мистическим образом привязан к этому маршруту и вырваться за его пределы ему, видимо, не суждено.

Придавленный дверью, он смотрел в окно, а мимо протекала, собственно, вся его жизнь.

С тех пор, как город покинули его школьные и институтские друзья, преподаватели и знакомые родителей, он поскучнел. Дома без старых жителей стояли как бы без тайны, без души. Вот и за окнами его квартиры живут сейчас чужие люди.



Новое время наполнило старые здания другим содержанием.

Детский сад был увешен рекламными плакатами. Теперь в нем располагался супермаркет.

НИИ тары и упаковки стал увеселительным центром: кегельбан, бильярдные, ночные клубы, бутики, казино, массажные кабинеты.

Конечно, НИИ тары и упаковки был далек от передовой науки и занимался сущими пустяками. Но Иван Иванович Скрепка, возможно, благодаря увлечению оригами, считался ценным специалистом. Он почти мгновенно придумывал, как согнуть и раскроить картон, чтобы упаковать в нем вещь какой угодно конфигурации. Скорость, с которой он выполнял задания, обижала заведующего. Скрепка один мог справиться с работой, которой занимались не только пятнадцать сотрудников его отдела, но и весь институт. «Несерьезно относишься к делу. Торопись, – говорил заведующий, делая плаксивое лицо. – Не торопись. Подумай еще». Хотя видел, что думать больше не о чем.

– Следующая обстановка – окончечность, – торжественным голосом диктора военной поры Левитана объявил водитель по радио и сухо добавил. – Плати проезда, не забывайся!

* * *

Горожан, живущих на конечных остановках, другими словами, на окраинах, нельзя назвать удачливыми людьми.

Но в одном им, несомненно, повезло: проще сесть, а особенно выйти из общественного транспорта.

Тем более, человеку с искалеченной ногой.

Скрепке повезло вдвойне: чтобы дойти от остановки до дома, ему не надо переходить улицу. Тропинка вела по одичавшему парку. Железная дверь от кабинета покойного бухгалтера Стерха оставляла на утопанной земле глубокую борозду.

Скрепка форсировал арык и, прислонив дверь к стволу старого дуба, присел отдохнуть на скамейку у края поляны, в центре которой стоял авиалайнер. Когда-то в нем



показывали мультфильмы. Сейчас это был пивной бар «От винта!».

На эту поляну, в первое время после продажи дома Скрепки, они ходили с Инной по вечерам – играть в бадминтон, перебрасываться «летающей тарелочкой».

Однажды перебрасываются и видят: между ними стоит малыш и, как метроном, раскачивает головой, следя за тарелочкой.

Сам маленький, а голова большая.

Как тыква на табуретке.

Малыша угостили яблоком. А когда пошли домой, он увязался за ними. Сработал инстинкт следования. Вот также идут за первым встречным цыплята, котята, щенки. Он пыхтел и на ходу мусолил яблоко.

Его не остановил даже сухой арык.

Он форсировал его, как пехотинец танковый ров.

«Где твоя мама? – спросила его Инна. – Мама кайда?». Малыш показал яблоком на нее и сказал убежденно, с ударением на последний слог: «Мамо». Потом показал на Скрепку и сказал с некоторым сомнением: «Папо».

Стало ясно: человек потерялся в пространстве и времени.

Они повели заблудшего назад, в дикий парк, спрашивая встречных бабушек и мам с колясками: «Это не ваш мальчик? Вы не знаете, чей это мальчик?» Никто не признавал в найденыше родную кровь.

А между тем, с каждой минутой пацан нравился Скрепке все больше. Он пробудил в нем отцовские инстинкты. «Может быть, его подбросили?» – думал Скрепка почти с надеждой. Пацан был славным, самостоятельным. Обменял у Инессы на обслюнявленное яблоко ракетки и волан, отобрал у Скрепки тарелочку.

Однако, вечерело.

И Инесса призвала на помощь мальчишек, игравших в вечную войну.

«Из нашего дома, – сказал один, рассмотрев малыша со всех сторон, – второй подъезд». – «Нет, – запротестовал другой, – у того, который из нашего дома, ракетки другие, а волан не перьевой, а пластмассовый». – «А трусы похожие, – не сдавался первый и, обращаясь



к найденышу, затараторил. – Тебя Тоз зовут? Тебя Тоз зовут?».

Малыш хлопал глазами и молчал. Не сознавался.

«Смотрите, обоссался!» – в изумлении воскликнул один из воинов.

Положение становилось критическим. Мальчишки были посланы за вероятными родителями малыша со странным именем Тоз.

Женщина, бежавшая навстречу, была совсем не похожа на малыша. Но то, что это была мать, было видно сразу. Лицо такое, словно на ее глазах только что зарезали человека. Ни поздоровавшись, ни сказав спасибо, она подхватила свое чадо и понесла домой, на ходу шлепая по мокрой заднице.

«Не пора ли нам завести своего Тоза?» – спросил Скрепка.

Инесса посмотрела на него искоса и ничего не ответила.

Но чуткого человека может обидеть и взгляд.

О чем говорил этот взгляд? О том, что такому человеку, как Скрепка, не надо заводить детей. Да и семью заводить не надо.

И взгляда было достаточно. Но Инесса по обычаю всех женщин не утерпела, высказалась: «Детям нельзя иметь детей. Ты такой большой, да? А на самом деле тебе не больше пяти лет. Иногда мне кажется, что ты еще вообще не родился».

У дверей квартиры их ждал щенок. Черный. С ладошку. Он пищал и пытался махать хвостом. Но от этих усилий его заносило, и он падал набок.

«Это что еще за чуня? – строго спросила щенка Инесса. – Это кто тебя подбросил?»

«А собаку нам можно иметь?» – спросил Скрепка с печальной обидой.

«Убирать за ним и выгуливать будешь ты, – ответила Инесса. – Знаю я вас, сердобольных».

Скрепка поднялся и поволок железную дверь дальше. Прохромает шагов десять и остановиться, тяжело дыша. Подождет, пока сердце перестанет стучать в ушах, и продолжит свой тяжкий путь.



Он волок дверь и думал, что она – щит. По крайней мере, у двери и щита одна функция – защита. Воины, выходя на битву, держали перед собой двери своих домов.

Он подходил к своему подъезду, когда сзади засигналили. Оглядывается – привет, родной! – из окна «Бешеной табуретки» высунулся Эрнст Залепухин, возмущается:

– Ты что, чадо, пять минут подождать не мог? Гордый, да?

И, не дав оправдаться, горячо заговорил:

– Представляешь, еду сейчас. Вдруг велосипедист по правой стороне обгоняет. Совсем охамели! Рулем о зеркало зацепился – шмяк под колесо. Звон, скрежет. Вот я перепугался! Ну, все, думаю, посадят. Останавливаюсь, подхожу. Велосипед, конечно, перекорежило. Восстановлению не подлежит. А сам живой! Чуть-чуть поцарапался. «Кости целы?» – спрашиваю. «Да, вроде бы». Ну, я обрадовался и – по морде его, по морде.

* * *

Гроыхая по ступеням железом, царапая стены, ругая друг друга, перила, строителей, власти и Того, кто создал весь этот бардак, они взошли на четвертый этаж хрущобки, и, изможденный этим восхождением, Скрепка тупо уставился на дверь квартиры.

Дверь была новая. Металлическая. Чужая.

Он подумал с досадой: перепутал подъезд.

Но номер на двери опроверг сомнения. Скрепка оглядел двери соседей. Его подъезд, его этаж. Вот крюк прибитый к косяку. Дядя Гриша постарался, облегчил жизнь тете Насте. Придет старушка с базара и повесит авоську, чтобы не стоять, скособочившись, тыкая ключом в замочную скважину.

Прибил дядя Гриша крюк и умер.

Но каждый раз, вернувшись с продуктами, баба Настя добрым словом вспоминает покойного деда. Повесит авоську на крюк, вздохнет с облегчением и, достав из кошелька ключ, скажет: «Уф! Спасибо тебе, Григорий Григорьевич, за заботу». А дядя Гриша икнет на том свете и ответит: «Да не за что, Настасья Филипповна». За этот крюк, вбитый в косяк, он, несомненно, направлен в рай.



Все знакомое – и щербины в кафеле, и дыра в трубе мусоропровода, заклеенная крест накрест скотчем, и перила без деревянного бруска, а дверь – чужая.

Повертев в руках бесполезный ключ, Скрепка нажал кнопку звонка.

– Кто? – сурово, но решительно спросил из-за двери голос.

Незнакомый. Мужской.

– Свои, – мрачно ответил Скрепка, сдерживая раздражение.

Дверь приоткрылась. В темном проеме золотым зубом сверкнула цепочка. Недоверчивый серый глаз, увеличенный стеклом, внимательно изучил Скрепку и спросил недружелюбно:

– Чего надо?

Глаз за стеклом очков переливался, не мигая. Казалось, в щель настороженно выглядывал большой, слегка протухший ёрш.

– Мне надо в свою квартиру попасть, – сухо проинформировал незнакомца о своих намерениях Скрепка.

Глаз моргнул раз, другой и робко пригрозил:

– Я сейчас в милицию позвоню.

– Ну, нет! Это уже не театр абсурда. Это элементарное хамство, – теряя терпение, заволновался Эрнст Залепухин. – Звони. А не позвонишь, я сейчас сам милицию приведу. Ты кто такой?

– Как это кто? – возмутился глаз. – Я – хозяин.

– Вот что, хозяин, – сказал Залепухин, вытирая пот со лба, – позови-ка хозяйку.

Дверь захлопнулась.

Прошла минута, другая.

– Ты что-нибудь понимаешь? – спросил Залепухин. – Нам что – ночевать здесь?

И нажал кнопку звонка. Нажал и не отпускал.

Скрепка встал перед глазком, давая возможность, как следует, разглядеть себя.

– Ты чего хулиганишь? – спросил из-за двери незнакомый женский голос, взвизгнув.

– Где Инесса? – волнуясь, крикнул Скрепка.

– Какая такая Инесса?



– Хозяйка, – сдерживая ярость, пояснил Скрепка, укрепляясь в страшных подозрениях.

Заскрежетал засов, словно ломали берцовую кость. Дверь снова приоткрылась, натянув цепочку. В проеме появился новый глаз. Тоже серый, но быстрый.

Залепухин отпустил кнопку звонка.

– Петя! – обрадовался новый глаз. – Это он прежнюю хозяйку спрашивает. – Ты кем ей будешь?

– Допустим, муж.

Посверлив секунд десять Скрепку серым глазом, самозванка спросила с большим подозрением:

– Это какой такой муж? Бывший?

– Отчего же бывший? – опешил Скрепка. – Нынешний. Действующий.

– Петя, звони в милицию, – решительно сказал серый глаз, и дверь захлопнулась навсегда.

– Я сейчас с ним без милиции разберусь, – донесся из глубины квартиры нерешительный, но громкий голос. – Где мое ружье?

Пока, повернувшись спиной к двери квартиры, Скрепка колотил пяткой здоровой ноги глухо гудящий металл, Эрнст Залепухин, кое-что понимающий в жизни, задумчиво барабанил короткими пальцами по прислоненной к стене двери бухгалтера Стерха. При этом он покачивал головой, как белый медведь, изнуренный июльским зноем.

– Кончай штурм Зимнего, – сказал он, наконец, и позвонил в дверь напротив, за которой неумоимо и звонко лаяла собачка.

Дверь растворилась в ту же секунду. Баба Настя, призвав беспородную Чуню к сдержанности, сказала строго:

– Зря стучите. Уехала она. Заходите.

Черная, остроносая Чуня не знала, как вести себя. Два противоположных чувства разрывали ее маленькую душу. Инстинкт собственности, на чью территорию вторгается чужак, требовал от нее стоять насмерть, скалить зубы и яростно рычать, а игривый нрав молодой сучки подзуживал прыгать на задних лапках, приветствуя старого хозяина. Она тявкала и одновременно виляла хвостом. Упругий хвост колотил по корпусу швейной машинки, как по барабану.



– Уехала? – переспросил Скрепка, морща лоб и часто хлопая ресницами.

– Уехала, уехала, – подтвердила баба Настя. – Дня три как уехал. Квартиру продала и уехала. То ли в Германию, то ли в Израиль. А может быть, и в Америку. Чаю хотите? Идемте на кухню, я как раз чай пью. Тут она вам документы просила передать, вещички.

– В Америку? Вещички? – тупо повторил за бабой Настей Скрепка, глядя по голове Чуню.

Черная собачка стояла на задних лапках и виляла не только хвостом, но и всем телом.

Пока Скрепка вел этот удивительно содержательный диалог с соседкой, Эрнст Залепухин с треском вскрыл конверт и, сурово хмурясь, пересчитал пачку денег.

– Щедро, очень щедро, – сказал он, передавая пакет Скрепке, с неприятно циничной улыбкой. – Три раза в бак сходить. Кинула тебя, родной, Инка. Хорошо кинула.

– Как – кинула?

– Через бедро.

– Да вы проходите, что у порога стоять. Чай стынет, – забеспокоилась хозяйка

– Спасибо, – рассеянно поблагодарил Эрнст Залепухин, – только чая нам и не хватало.

Он пнул картонную коробку, обмотанную скотчем, передвигая ее к дверям, и обрадовался за товарища:

– А это, надо полагать, твое барахлишко? Весь твой реквизит? Все, что осталось от трехкомнатной квартиры в центре города? Сколько раз я тебе говорил, друг мой Скрепка, оформляй отношения, оформляй отношения. Вся любовь – через юриста. В цивилизованном обществе живем. Говори, не говори... Что ни Ваня, то лопух.

Они вышли на лестничную площадку и Залепухин, похлопав дверь бухгалтера Стерха и тяжело вздохнув, сказал:

– Ну что? Потащили вниз?

– Зачем мне дверь без квартиры? – без выражения ответил Скрепка.

– А затем, Ваня, что ничего у тебя, кроме этой двери, больше нет. Ни работы, ни жены, ни квартиры, ни част-



ной собственности. Ничего. Одна дверь. Но зато бронированная. Держись за нее. Это все, что у тебя есть. Накроешься дверью и будешь жить, как черепаха.

– А собачку возьмете? – спросила старушка. – Собачку оставила. Беспородным собачкам за границей делать нечего.

– Собачку? – тупо переспросил Эрнст Залепухин, но, посмотрев на Скрепку, сказал. – Отчего не взять? Возьмем и собачку.

* * *

Предвосхищая события, автор с изумлением должен заметить: удивительно, но именно циники и законченные эгоисты в трудных ситуациях оказываются наиболее полезны.

Отчего бы это? Может быть, потому что люди, старающиеся выглядеть как циники и эгоисты, не совсем циники и не совсем эгоисты?

Автор, конечно же, на досуге поразмышляет над этим. Но сейчас он боится отстать от стремительно летящего сюжета. Другими словами от «Бешеной табуретки» Эрнста Залепухина, увозящей металлическую дверь, Чуню и Ивана Скрепку в неизвестном направлении. В черную, сияющую огнями, пустоту весенней ночи.

– Что-то ящик больно легкий, – сказал Эрнст Залепухин, когда молчание стало невыносимо тягостным. – Что бы это могло быть?

– Оригами, – ответил Скрепка, уставившись на дорогу печальными глазами сенбернара.

От неожиданности Залепухин подпрыгнул на сиденье, и машина сделала зигзаг на влажном асфальте.

– Что-о-о? Оригами? Мятые бумажки?

Не веря своим ушам, он остановил «Бешеную табуретку», и, перегнувшись через спинку сиденье, вспорол швейцарским складным ножом картонную коробку. Запустил короткопалую лапу и долго перемешивал бумажные безделушки, время от времени, издавая губами лошадиные звуки изумления. Действительно: мятые бумажки. Ничего, кроме бумажек.

– Нет, я сегодня обязательно напьюсь. До свино-



подобия, – складывая нож, заявил Эрнст Залепухин, и спросил, кивая на разворошенный ящик. – Оно тебе надо?

– Оно мне не надо, – автоответчиком откликнулся Скрепка.

И тогда Эрнст Залепухин сделал то, что сделал бы на его месте любой разумный человек: избавился от коробки, как от оскорбления. Только зря место занимает. А главное, раздражает.

Смотрит: ни одной урны рядом.

А на остановке сидит в грязной пижаме пьяный бомж приятной внешности. Сразу видно: бывший интеллигентный человек. Правда, лица не видно. Бейсболка закрывает лицо, как забрало. Но поза аристократическая. Нога на ногу. На одной – зимний ботинок. Шнурок не завязан. На другой – домашняя тапка. Причем – женская. С помпоном. Руки по локоть утоплены в бездонные карманы. Галстук на спине.

Залепухин еще удивился: бомж, а в галстук. Зачем галстук бомжу? Тем более, без рубашки. Вместо носового платка, вероятно.

Ростом и телосложением бездомный человек в пижаме и домашней тапке был очень похож на приятеля, сидящего в машине с черной собачкой на коленях.

– Здравствуй, будущее, здравствуй! – с мрачной бодростью пропел Залепухин, ставя на скамейку коробку с оригами.

Хлопнул в сердцах дверью. Поехали дальше.

Иван Скрепка, которого впервые и навсегда увозили от привычного сорок третьего маршрута, как обычно, молчал.

Что происходило в его душе, автору осталось неизвестным.

Хотя понять не сложно.

Что может твориться в душе беспородной псины, брошенной при переезде?

– Куда мы едем? – спросил Скрепка, когда «Бешеная табуретка» вырвалась за петлю кольцевой дороги.

– Ко мне на дачу. Поживете с Чуней пока там, – отвечал Залепухин, – Огурцы пополиваете, деревья. На прохожих потявкаете. А потом что-нибудь придумаем.



Да, уважаемый читатель, автору тоже не нравится, как он пишет.

Какому-нибудь пустяку, мелочи, мятым бумажкам уделяет несколько страниц. А о событиях трогательных, жизнен, понимаешь, утверждающих, вызывающих слезы умиления, сообщает скороговоркой, как бы между прочим.

Стесняется, подлец.

Бойтся прослыть старомодным, сентиментальным. Хочет, чтобы проза его была жесткой, brutальной.

Хочет, мерзавец, быть современным. Прикрывает свою мягкую, старорежимную душу крутым цинизмом. Руку отсечет, а не напишет: человек человеку – друг, товарищ и брат. Двоюродный, по крайней мере.

Не поверят. Засмеют.

А ведь как здорово можно было бы описать собрание дачного кооператива «Стриж», членами которого были как уволенные, так и еще не уволенные сотрудники «Новостаровской правды», а также ее ветераны – дряхлые акулы пера.

И только Скрепка членом не был. А потому на этом вече не присутствовал.

Бывший актер Эрнст Залепухин взял слово. Взобрался на валун, защищающий столб от наезда автотранспорта, и блеснул монологом, поставив вопрос ребром: люди мы или тушканчики?

Обрисовав ситуацию, в которую попал человек-невидимка Иван Скрепка, он тряхнул власами и долго держал паузу, слушая молчание мужчин, всхлипывания и сморкание дачниц, одинокий лай пса, а также пересвист весенних птиц. И предложил скороговоркой, как само собой разумеющееся, если, конечно, мы, господа, люди, а не тушканчики, передать дачный участок покойного бухгалтера Стерха, у которого не оказалось близких родственников, уволенному по сокращению штатов фотолаборанту Скрепке.

– Кто за то, чтобы не передавать участок, и пусть по нашей вине Ваня Скрепка идет к чертовой матери в бомжи, а у нас совести нет и по фигу? – поставил он вопрос на голосование.



А вы бы подняли руку?

Кое-кто, конечно, воздержался. Но большинство проголосовало правильно.

И Иван Скрепка, у которого ничего, кроме железной двери не было, оказался собственником шести соток.

Документы, закрепляющие священное право собственности, взялся оформить Эрнст Залепухин, обаятельный циник.

* * *

Ранним утром неспешной черепахой по узкой и довольно крутой дачной дороге вползала вверх по ущелью «Бешеная черепаха». Железный панцирь двери раскачивался и поскрипывал.

— Ну вот, друг мой Скрепка, — сказал Эрнст Залепухин, останавливая машину у крайнего участка. — В запасе у тебя пять теплых месяцев. Воздвигнешь хижину с печью — зиму переживешь. А нет — зарю твой заledenевший труп в погребке. Сверху воткну дверь, а на ней напишу: «Здесь покоится раздолбай, который ничего не умел. И хрен с ним».

Развязав бечевку, они сняли дверь, и Залепухин, пятась, открыл обширным задом жалобно скрипнувшую калитку.

Лохматый зверюга из породы волкодавов, пристально наблюдавший за ними с соседнего участка, прыгнул на сетку-рабицу и, сотрясая ее лапами, хриплым, громоподобным басом выразил свое недовольство пришельцами.

Чуня, только что выпрыгнувшая из «Бешеной табуретки» и обнюхивающая, поджав хвост, валун у дороге, стремглав возвратилась на место. И уже оттуда, со своей территории, ответила визгливым лаем.

Дачный участок покойного Стерха из-за отсутствия домика казался просторнее соседних. Пышно цвели несколько вольно посаженных плодовых деревьев. Вдоль ограды, вторым забором подрастали кусты малины, смородины и крыжовника. Живописную картину цветения портила баррикада из досок и брусьев, стянутых проволокой. Два штабеля блоков розового ракушечника торчали постаментами. На них и была подобием крыши взгро-



мождена дверь. Стройматериал был накрыт полиэтиленовой пленкой, придавленной булыжниками.

Куча щебня и куча песка проросли травой и приобрели вид заброшенных могил.

Подергав амбарный замок на двери вагончика, некогда бывшего будкой хлебовоза, и приказав: «Сим-сим, откройся!», – Залепухин сходил в машину и вернулся с дрожашей Чуней и гвоздодером.

– Пещера сокровищ! – восхитился он, взломав дверь.

Эрнста Залепухина, хорошо знающего жизнь и современников, до глубины души потрясло то обстоятельство, что сокровища до сих пор не были разграблены.

Разочаровали земляки Залепухина.

Но в это время, зевая и шурясь от солнца, из дома напротив вышел человек. Как оказалось, сторож. По фамилии, представьте себе, Шалда. Такой же лохматый и страшный, как и его волкодав Барс. Он, как на бадик, опирался на самодельную саблю. Прекрасное соседство, которое многое прояснило.

Это большая удача, когда рядом с тобой живет сторож.

Сторожа никогда не воруют у своих ближайших соседей.

Не говоря уже о собаке сторожа. Собака сторожа вне подозрений.

Шалда вел сумеречный образ жизни, подкреплял свои силы домашней наливкой, а потому в дневное время вяло реагировал на действительность.

– Натощак кукует – не к добру, – неодобрительно молвил он, прислушиваясь к кукушке.

А когда она смолкла, проворчал:

– Накуковала, как в долг дала.

– Всякой кукушке верить, – легкомысленно сказал Залепухин.

Сторожу это замечание не понравилось и он сурово спросил:

– Кто такие?

Узнав, что к чему, он почесал все, что чесалось, и поспешил досматривать сон.

Ему снился коммунизм. Кошмар для сторожей.

Залепухин вернулся к инвентаризации.



Вдоль стены до потолка будки – мешки цемента, рядом, стопкой – оконные рамы и двери, на полках – инструмент. На перевернутой тачке лежали брезентовые рукавицы и две брошюры: «Как обустроить Россию» и «Как построить дом своими руками». Отряхнув их от пыли, Залепухин торжественно вручил библиотеку Скрепке, со словами: «Изучай. Дарю».

Бухгалтер Стерх основательно подготовился к строительству дачи. Но у Того, кто видит все, были другие планы.

Когда «Бешеная табуретка», подпрыгивая на неровностях размытой дождями дороги, укатила под гору, Скрепка соорудил топчан из ракушечника и, улегшись под навесом из двери, раскрыл брошюру «Как построить дом своими руками».

Как обустраивать Россию знают все.

Он лежал посредине своего государства размером в шесть соток и впервые за долгие годы испытывал невероятный покой.

С глубоким вниманием прочитал введение и на пятой странице уснул.

Внезапно, как подстреленный снайпером.

Безмятежный покой невидимым дождевым пузырем накрывал дачный участок. И если бы с лица Скрепки снять книгу, то можно было увидеть совершенно детскую улыбку.

Улыбка эта не вписывалась в ситуацию, в которую попал человек. Он был уволен с работы. Его обманом лишили жилья. Любимая женщина оказалась предательницей и мошенницей. У человека не было никаких перспектив.

А он беззаботно посапывает и улыбается.

Знаете, иногда не поймешь – счастливый или несчастный случай произошел с тобой. Автору, допустим, знаком человек, который, если бы не сломал ногу, никогда не нашел бы своего призвания. Честно, честно.

Счастливчику и несчастный случай приносит счастье.

А неудачник непременно угодит под колеса счастливо-му случаю.

Есть люди, и их не так уж мало, для которых удача – катастрофа.



Так уж устроено мироздание: любой случай – и счастливый, и несчастный. С какой стороны зайти.

Дело не в случае. Дело в человеке.

Точнее, в его отношении к событиям.

Прошу прощения за философию, которая вам, скорее всего, хорошо известна из личного опыта.

Однако, придет охота поболтать, не сразу остановишься. Вы уж пропустите несколько абзацев, а я еще немного побеседую с самим собой.

Вот, повизгивая рессорами, разворачивается на конечной остановке твоего захолюстья счастливый случай.

Заблудился. Сбился с маршрута. Такие здесь не ходят.

Толпа с окраины свирепо бросается в узкие двери, за таптывая кондуктора, расталкивая женщин, стариков и губошлепов.

И тебя, разумеется, отпихивают.

Только те, кто презирует очередь, достойны счастья.

Двери смыкаются, и, переполненный решительными людьми, счастливый случай отбывает, оставляя тебя с толпой неудачников.

Когда он снова появится на твоей окраине?

Скорее всего, никогда.

Само время, как последний автобус, набитый до отказа, уходит навсегда.

Забрызганная грязью урна доверху набита счастливыми билетами.

А потом приходит страшная весть: последний рейс, переполненный счастливчиками, рухнул с моста в горную реку.

Для счастья нужно мало. Для счастья ничего не надо. Меньше всего для счастья нужен счастливый случай.

* * *

Скрепка, измерив пустую поляну шагами, вбил в землю колышек и, глядя на него, задумался.

– Человек ты или не человек, скотина такая! – послышался с соседнего участка яростный, взрывоподобный голос женщины.

– Не сердись, Заинька моя, – отвечал ему бархатный голос.



– Не называй меня так, скотина! – завизжала женщина. – Не сердись! Вторую машину всмятку разбил, гад! Лучше бы ты башку свою разбил!

– Да как же мне тебя называть, Заинька?

Хлопнула дверь. Словно убавили звук. Женский голос стал неразборчив. Смысл исчез, осталась одна ярость.

Тишина. Сорока стрекочет.

– С первым колышком, сосед!

Скрепка оглянулся на голос, только что называвший незнакомую ему истеричную особу заинькой.

Проткнув короткими пальцами сетку-рабицу, за оградой стоял гном-переросток. В шортах и соломенной шляпе без верха. Солома торчала, создавая впечатление заброшенного сорочьего гнезда. На ногах – разбитые плетенки. Левая рука в гипсе, перепачканном землей. Нежное тело, словно покрыто легким налетом ржавчины. Совершенный круглый живот – в веснушках. Белесые брови и ресницы, а особенно синяк под глазом, вопреки седой щетинке, обрамляющей полные губы, придавали его лицу мальчишеские черты.

Человек улыбался, обнаруживая недостаток переднего зуба.

– Строиться задумал? – задал он совершенно лишний, если не сказать, глупый вопрос.

– Пытаюсь, – ответил Скрепка, стараясь быть приветливым.

Это ему плохо удавалось.

– Можно совет?

Соседский гномик перекинул через забор шляпу-гнездо, встал на четвереньки и прополз по собачьей тропе под сеткой-рабицей. Сетка затрепетала, царапая ржавую спину. Алабай подал голос. Его негодование поддерживала Чуня.

– Цыц! – огрызнулся сосед и, кряхтя, поднялся с колен. Надел шляпу, смахнул пыль с пуза, вытер левую, здоровую, руку о шорты и подал ее ладонью вниз Скрепке:

– Август. Можно совет? Дачу вот с таким лицом строить нельзя. Дачу надо строить, как в футбол играть. Ты в футбол играл? Ну, да. Извини. Дачу надо строить весело, на кураже, с удовольствием. Главное чтобы жена не дога-



далась, — перешел он на шепот, — не любят они, когда мужик удовольствие на стороне получает. План есть?

— План? — растерялся Скрепка.

— Высокий класс, — одобрил Август, — по наитию строишь? Хочешь совет? Прикинь размеры, ориентируясь на стройматериал. Не спеши. У нас как? Сантиметр туда, сантиметр сюда. А, ерунда! Потом выправлю. Больше всех кто работает? Лентяй и неряха. День делают, два переделывают. Эта у меня третья, — кивнул он растрепанным соломенным затылком на готическое сооружение за спиной, состоящее из шпилей, колонн, узких стреловидных и круглых окон. — Квартиру дочери оставили, сами сюда перебрались. Я считаю, в городе вредно для здоровья жить. Знаешь, как одним шнуром фундамент разметить? Держи.

И он, вытащив из кармана, протянул Скрепке моток бечевки.

На секунду открылась и снова захлопнулась дверь, выплеснув в пространство женский неукротимый гнев.

— Моя бушует, — как показалось Скрепке, с гордостью сказал Август. — Расчесала мне волосинку в три ряда. С пробором. Машину я немножко помял, вот она и расстроилась. История вышла. Представляешь, тридцать лет живем — ни разу ее не ревновал. А недавно, гляжу, красится. Туфельки на высоком каблучке. А, главное, трусики меня смутили. Махонькие такие. И волосок из-под резинки курчавится.

Я как этот волосок увидел — в жар бросило. Ты куда?

К подружке, в город, куличи печь.

И новое платье надевает. Разрез сзади, спина голая.

Собралась, побрызгала на себя духами, уехала.

А я топчусь по даче, и это платье с разрезом у меня из головы не выходит. Куличи печь она к подружке поехала. В платье с разрезом. И, главное, эти трусики. Волосок курчавится. Зачем она их надела? Под платьем все равно не видно, что там надето.

Хожу, размышляю.

Главное, спросить постеснялся, к какой подружке. Подумает еще, что ревную.

А воздух в горах, сам знаешь. Раньше здесь вообще вольно было. Бери любую гору и разрабатывай. А травы!



Дурман. Вдохнешь воздух и ни о чем, кроме, сам понимаешь, чего, не думаешь. Особенно этот воздух на женщин действует. Так и бросаются. Все застроили, все перекопали. Таких трав нигде больше нет. Воздух уже не тот. У меня на участке раньше, веришь нет, барсуки жили. Задницы жирные, как у собак.

Короче говоря, ночь наступила, цикады звенят, а я заснуть не могу.

Завел машину, поехал.

Ну, и стукнулся. Пустяк, конечно. Но на полштуки влетел.

Прихожу к дочери – там она, моя красавица. И дух такой в квартире приятный. На всех окнах пасхи стоят. Так обидно: зря машину разбил.

– Где тебя носит, черт конопатый?

В просвете деревьев Скрепка увидел маленькую, сухую, довольно пожилую женщину, склонившуюся над грядкой с укропом. Воздух в горах, должно быть, действительно особенный, если даже ее можно было преревновать.

– Иду, Заинька, иду, – откликнулся сладким голосом Август и, придирчиво осмотрев отмеченные бечевой контуры будущего фундамента, сурово обратился к Скрепке: – Хочешь совет? Копай на два с половиной штыка. Не экономь на цементе. Дно бесплатными булыжниками забросаешь – вот тебе и экономия.

Он перебросил шляпу на свой участок и, проползая под сеткой, продолжал беседу:

– Хорошая у тебя дверь, Ваня. Замечательная дверь. Хорошая дверь – половина дома.

И отряхнувшись на своей территории:

– Хочешь совет? Лопату наточи. И китайские перчатки купи. Мозоль все удовольствие испортит.

* * *

Скрепка проснулся оттого, что кто-то прутиком щеко-тал ему пятки.

Над ним, улыбаясь, стоял давешний дачник-гном.

– Спишь? – спросил он с осуждением. – А я тебе ур-вень принес.



Тявкала и виляла хвостом Чуня, семена подрагивающими лапками. Ругалась и здоровалась одновременно.

Скрепка попытался поднять голову. Всю ночь, посвистывая соловьем, неведомый скульптор трудился над ним: через дырочку в темечке вливал в его оболочку расплавленную бронзу. Суставы ныли и не подчинялись. Все, что он мог, – разлепить веки. И то с трудом.

Он лежал в узком проеме между штабелями розового ракушечника под сенью двери бухгалтера Стерха.

Тело страдало, между тем как душа насвистывала беззаботной птицей, радуясь солнцу и Самалу – ветру из ущелья, пахнущему ледниками, горными травами и яблоновыми садами.

Август снял с плеча свернутый в кольца шланг для полива, в концы которого были вставлены стеклянные трубки с делениями, и торжественно объявил:

– Объясняю принцип действия.

Скрепка, как Гулливер, рвущий путы лилипутов, оторвал от жесткого ложа голову, сел. Помогая себе руками и выставив негнушущую ногу, поднялся. Приятная, как истомы, боль терзала тело, и Скрепка сделал то, что сделал бы на его месте любой пес: потянулся. Изнеженные жители городов давно потеряли этот полезный инстинкт. Он впервые спал вне жилища. Ему хотелось поделиться своими впечатлениями с Августом. Но разве мог понять его человек, для которого сон в саду на раскладушке – привычное дело? Засыпая, он видел перед собой прямоугольник звезд, шорохи теней, тревожимых вселенским ветром. Дожив до тридцати лет, он, житель мегаполиса, вечно накрытого облаком смога, впервые видел звезды. Тревожное чувство чужой планеты волновало его. Скрепка жил на этой планете, не осознавая этого, как и большинство горожан, но в эту ночь он впервые увидел себя космическим существом. Потрясенный, он уснул, потому что усталость была сильнее потрясения.

Между тем, не закрывая рта, сосед, придерживая сломанной рукой прут арматуры, вбивал его левой в угол граншей.

– Вот, примерно, на такой высоте, – стрекотал он, отбрасывая булыжник и привязывая к штырю стеклянную



трубку, – зальем водой и выровняем высоту по углам. Отметим. Натянем шнур по периметру.

Ему не терпелось все это сделать самому. Желание это знакомо многим пожилым людям, с отрешенным видом наблюдающим за мальчишками, гоняющими по двору мяч. Ведь хочется самому попинать? Хочется?

Когда шнур натянули на высоту будущего фундамента, сосед, просунув гипсовую руку в дыру шляпы, почесал затылок:

– Опалубки нет? А доски хорошие. Доски портить не хочется. Хочешь совет? Выкладывай опалубку из блоков. В два ряда. Блоки тяжелые, выдержат. Выложишь, прикроешь пленкой – и заливай.

– Боюсь, ничего у меня не получится, – сказал Скрепка грустно.

– Это почему? – удивился Август.

– Не строитель я.

– А чем это строитель отличается от не строителя? – еще больше удивился Август. – Я тоже не строитель. Смотри.

Он сунул под нос Скрепке раскрытую, короткопалую пятерню.

– Чем от твоей отличается? Ничем. Главное, торопиться не надо. Не надо торопиться.

Смотав уровень-шланг, сосед уполз по собачьей тропе на свой участок, повторяя задушевно:

– Хорошая у тебя дверь, Ваня, замечательная дверь.

Вечером, когда измотанный Скрепка укладывал в опалубку из ракушечника последний блок, Август окликнул его из-за сетки:

– Бетономешалка нужна?

Душа у человека горела. Очень уж любил сосед строить дачи. Дача – не дом. Тут тебе никто не указчик, что хочешь, то и строй. Полная свобода. И вел он себя, как заядлый рыбак, у которого нет времени порыбачить самому. Завернет такой чудак по пути на работу на минутку к реке и с завистью смотрит на чужой клев. Советами делится.

Свалив конструкцию из стояка и навешенной на него бочки с дверцей и воротом, они совместными усилиями протащили ее под сеткой.



– Объясняю принцип действия, – после того, как самодельная бетономешалка была установлена между кучами песка и гравия, похлопал сосед ладонью здоровой руки по бочке. – Открываешь дверцу. Засыпаешь три ведра песка, два ведра гравия, ведро цемента, полтора ведра воды. Закрываешь дверцу. Крутишь ворот пятьдесят раз. А что это у тебя ключ в двери торчит?

– Чтобы не потерялся.

– Хочешь совет? Закрой дверь, а ключ спрячь. С ключом уведут. А без ключа кому нужна закрытая дверь? Эх, если бы не был соседом, обязательно бы увел у тебя эту дверь. Хорошая у тебя дверь, Ваня, хорошая. Надо бы дачу в соответствие с дверью привести.

И он, откликнувшись на зов жены, снова уполз на свой участок, повторяя задумчиво:

– Хорошая дверь, хорошая.

* * *

Дверь, служившая Скрепке временной крышей, была действительно хороша.

Открывалась легко, а закрывалась сама, с тихим вздохом, без усилий. У нее, несомненно, был свой характер. Она походила на безмолвную восточную жену, недоступную посторонним и послушную хозяйну.

Под этой дверью, закутавшись в верблюжье одеяло, с блоком ракушечника под головой спал Скрепка ночью, в ее же тени отдыхал в солнцепек.

Эта дверь была для него чем-то большим, чем просто дверь. Она связывала его с прошлым, будучи сама частицей этого прошлого. Она, как дискета, хранила в себе события канувшего мира.

Однако вспомнить эти события и поразмышлять над ними получалось лишь перед сном. Днем нужно было замешивать бетон или раствор, носить тяжелые блоки ракушечника. Когда же приходило время обеда, и Скрепка вяло жевал бутерброд с колбасой, запивая их кипятком, прилетали сороки, избравшие отчего-то его участок своим клубом. Угадав в хромом человеке безобидное существо, они относились к нему, как к корове или другому травоядному животному, ничуть не боялись и, перелетая



с яблони на яблоню, стрекотали, стрекотали, стрекотали без умолка.

Ну, скажите пожалуйста, при чем здесь сороки? Опять какой-то совершенно лишний пустяк без спросу лезет в историю.

Кыш, проклятые, кыш!

Летом сороки должны жить в диких лесах, прятаться в гнездах, защищенных колючими шипами боярышника.

Не слушают, балаболки, трещат.

А, впрочем, что их гнать? Сороки – красивые птицы. Может быть, самые красивые, элегантные, не только в наших краях, но и на всей планете. Черный смокинг с зеленым отливом, белая манишка. Стил! Аристократки! Но мы так привыкли к ним, что уже не замечаем красоты.

Ладно. Пусть живут, коли уж залетели без спроса в эту историю.

* * *

Скрепка постепенно начал понимать, что имел в виду ржавый сосед, внезапно возникающий и также стремительно исчезающий за оградой, когда говорил о строительстве дачи как удовольствии и игрушке для зрелых мужчин.

Удовольствие заключалось в неспешности и тщательности, знакомых Скрепке по занятиям оригами.

Оставив проем для входной двери, он завершал выкладывать четвертый, сплошной ряд блоков внешней стены и размышлял, где ему разместить окна, когда с безмолвного неба слетел хриловатый баритон:

– Нравится мне этот хромой мужик. Я за ним давно наблюдаю. Никуда не торопится, не спешит. С башкой мужик. Знаешь, из чего он опалубку сделал? Из ракушечника выложил. И опалубка, и блоки по всему периметру разложил.

Скрепка робко поднял голову, одним глазом посмотрев вверх.

Он ожидал увидеть над собой известного ему по карикатурам Эффеля седобородого старичка, свесившего с белого облачка босые ноги. Поглаживает старичок бороду и доброжелательно смотрит вниз, на Скрепку. А ря-



дом с ним сидит, болтая ножками, крылатый пацан. Это ему в назидание хвалит старичок Скрепку.

Над участком, набирая по спирали высоту, кружили два дельтапланериста. Как два ангела с разноцветными крыльями.

Больше всего поражала бесшумность полета.

– Привет! – крикнул сверху человек-птица.

Скрепка помахал мастерком.

– Как тебя зовут, мужик?

– Иван.

– А меня – Карлсон. Пока, Иван!

И человек-птица, завершив очередной виток, улетел вниз по ущелью в сторону степи, сопровождаемый крылатым спутником.

– Летают, – с завистью сказал, пролезая под сеткой, сосед Август. – Они летают, а мы, как майские жуки, в навозе возимся.

– Летать он собрался. Ходить научись, – проворчала невидимая соседка.

Не обращая внимания на удар в спину, Август закончил мысль:

– Кому-то летать, кому-то в земле ковыряться. Судьба.

Придирчиво шурясь, он обошел кладку и сказал покровительственно:

– Сойдет. А ты боялся. С утра дверную раму ставь. И штырями ее, штырями укрепи. Славная у тебя дверь, сосед, славная.

* * *

Среди возможных читателей этой правдивой истории, несомненно, найдутся недотепы, мамины сынки, суровые критики, воспитанные на классической литературе, а, главным образом, жены. Криво усмехнутся они, читая сказку о том, как человек, слабо разбирающийся в науке вбивания гвоздей в стену, довольно бойко возводит дачный домик. И вот, поймав автора на вранье и приговаривая: «Что нам стоит дом построить, нарисуем – будем жить», – эти читатели с презрением и разочарованием собираются захлопнуть книгу.

Минуточку, господа, минуточку.

Иван Скрепка, конечно, губошлеп и рохля. Кто спорит?



Но он одарен пространственным воображением. Для художника, способного по памяти нарисовать дом, не такая уж сложная задача построить его. При наличии инструкции, разумеется, и опытного соседа. Автор, конечно, исключает большинство современных художников, которые умеют самовыражаться, а рисовать не умеют. Он имеет ввиду художников классического воспитания, имеющих, как минимум, представление о перспективе. Он также просит вспомнить соседа Августа и обратить внимание на руки профессиональных строителей и на ваши собственные руки. Внимательно сравните их. Чем они принципиально отличаются?

Иван Скрепка, умеющий мысленно сложить плоский лист бумаги в любой материальный объект, обладал невероятным даже для художника пространственным воображением. Сложить origami намного сложнее, чем положить кирпич на кирпич, соблюдая при этом прямой угол. Уж поверьте. Обеспечьте такого губошлепа строительным материалом, поставьте перед ним задачу и избавьте от назойливого внимания. Тем, кто хочет увидеть, что из этого получится, автор с удовольствием посылает вверх по ущелью, где уже десятый год сошедший с ума учитель пения из речных валунов сооружает то ли дворец, то ли крепость, но, скорее всего, монастырь. Строит и поет по утрам гимны собственного сочинения. Добраться до него легко. В летнее время гостей города возят к нему на экскурсии. Туристические фирмы, боясь потерять архитектурную достопримечательность и живую голосистую легенду, тайно подкармливают отшельника.

Но эта история – мимо темы. Так, к слову. Вернемся к Скрепке. Одновременно пережив вымирание любимой профессии, потерю жилья, бегство женщины, одинокий молчун, благодаря участию бывших сослуживцев и преждевременной кончине бухгалтера Стерха, обрел земной рай, строя дом и сажая деревья.

Автор так энергично потирал ладони, что о них можно было прикуривать сигареты. Наконец-то хотя бы в одной его истории будет счастливый конец! Относительно счастливый. Автор с легким сердцем собирался ставить последнюю точку.

Но не успел.



По мере того, как возводился дом, два штабеля блоков розового ракушечника стремительно таяли. Спать под тяжелой дверью становилось опасно. Дунет из ущелья вечерний ветер, завалит стенку – дверь тебя и прихлопнет.

Скрепка перебрался спать в освободившуюся от большей части цементных мешков будку.

Он засыпал с приятной мыслью: с утра надо установить дверную раму. Он представлял, как она торчит над кладкой, как бы чертеж, устремленный в будущее. Укрепив раму и навесив дверь, он под окна проложит первый сейсмический пояс из тонкой арматуры. Сосед Август обещал научить его сварочным работам... Не додумав эту мысль, он заснул, улыбаясь.

То, что Скрепка накануне большой беды заснул счастливым, вовсе не литературный штамп. Уверяю вас, так оно и было.

Впрочем, заснул-то он счастливым, а снился ему кошмар, всякая сюрреалистическая ерунда.

Представьте себе: пасмурный, пустой день. Горит дачный дом напротив, а соседи, не обращая внимание на пламя, с гулом и треском пожирающее строение, продолжают со строгими лицами копать в земле. Безногий человек, толкая перед собой корзину, собирает упавшие яблоки.

Скрепка со своего участка направляет на горящий дом поливочный шланг. Но напор слаб, и тонкая струя не достигает огня.

Соседи, продолжая ковыряться в земле, смотрят на него холодно, недовольно. А ему неловко позвать этих мрачных людей на помощь: тушить их собственную дачу. Между тем, они накрывают столы перед горящим домом. У них – свадьба. Гуляет весь массив. И только Скрепка не приглашен. Они гуляют, а он тушит их дом.

Проснувшись от привычного стрекота сорок, Скрепка толкнул дверь.

Она не открывалась.

Толкнул посильнее. Ударил плечом. Будка зашаталась, дверь заскрежетала, но не открылась.

– Чего шумишь, Монте-Кристо? Это кто тебя живьем



замуровал? Подожди, свобода близка. Сейчас проволоку размотаю.

Эрнст Залепухин с видом воина-освободителя распахнул дверь будки.

Предчувствуя беду, взглянул Скрепка на отошавшие штабеля ракушечника и...

Нет, не могу. У самого сердце обрывается в пропасть, как в тот раз, когда в автобусе вытащили кошелек с удостоверением личности и зарплатой. У вас похищали паспорт? Вряд ли тогда вы поймете состояние Скрепки.

– Дядя Август! Дядя Август! – закричал он, не помня себя.

Думая, что соседа режут тупым ножом, Август прыгнул в дыру под забором. В здоровой руке он держал двенадцатирожковые вилы, приготовленные к метанию. Удобная, кстати, вещь для земляных работ. Замечание, может быть, и не ко времени. Но хочется, чтобы это художественное произведение принесло какую-то пользу читателям. Для рыхления почвы и просеивания сорняков по весне, выкапывания картофеля по осени нет ничего лучше двенадцатирожковых вил.

– Что такое? Каракурт укусил? – в тревоге спросил Август, с неодобрением посмотрев на Залепухина.

– Дверь! – в отчаянии вскричал Скрепка. – Двери нет!

– Тыфу ты! – Август в сердцах воткнул вилы в землю и уточнил с одобрением. – Сперли все-таки? Ищи теперь ветра в поле.

– Это с концом. Даже не дергайся. Не найдешь. Так что успокойся, – добродушно согласился с ним Залепухин.

Станный, конечно, способ утешать человека.

Но что с них взять, с мужиков? Утешители.

Пришел на шум сонный сторож Шалда, почесывая спину самодельной саблей, и, узнав в чем дело, спросил хмуро:

– А что же собачка не зашумела?

Выяснилась, что Чуня ночевала также в будке. Возможно, она и тявкала, но уж слишком крепко, должно быть, спал Скрепка.

– Видно, мы с Барсом в это время на другом конце были. – предположил Шалда и, смущенный красноречивым



молчанием, добавил. – Массив больно большой. За всем не уследишь. Должно быть, при пересменке стибрили. Я сторож верхний, ночной, а нижний сторож – дневной.

Чуня Чуней. Только что хвостом виновато не виляет.

Мужики молчали.

– Всю ночь глаз не сомкнул, – добавил сторож потеврянно, – пойду, покемарю.

И ушел, провожаемый тягостным молчанием.

Никто не сказал ему худого слова вслед. Но и Август, и Залепухин подумали об одном и том же. Бомбить дачи – народный промысел жителей окрестных деревень. Но даже самые отчаянные из них не посмеют грабить участок рядом с домом сторожа. А может быть, не устоял Шалда, нарушил завет? Видеть каждый день такую дверь – большой соблазн. И на старуху бывает порнуха.

Если бы на месте Скрепки стоял сейчас царь, лишенный короны, вряд ли бы он испытал большее отчаяние, опустошенность и обреченность. Пропала не металлическая дверь, исчез последний кусок прежнего мира, который он невероятными усилиями вырвал из пасти всепожирающего времени.

– Ключи, конечно, в дверях были? – спросил Август с укоризной.

Скрепка достал из кармана связку из трех ключей – один от квартиры в микрорайоне и два – от двери бухгалтера Стерха. Вид бесполезных ключей, которыми нечего открывать, расстроил его до слез. Как если бы на ладони лежало обручальное кольцо сбежавшей из-под венца невесты.

– Да что в них толку, – сказал он, дрожанием голоса обнаружив чувства.

– Не скажи. Двери закрытые были? – продолжал допрос Август.

Скрепка кивнул.

– Повозятся, – удовлетворился Август, – к таким замкам ключи не подберешь. Лазерная заточка. Придется «болгаркой» резать язычки. Испортят дверь. Хорошая была дверь. Можно сказать, прекрасная.

– Забудь, – продолжал утешать ограбленного приятеля Залепухин. – Зачем тебе железная дверь? Что у тебя воровать?



Что оставалось Скрепке? Только согласиться.

– Здорово, мужики, – перепугал их голос, грянувший с неба. – Дверь потеряли?

Все трое задрали головы.

Над ними бесшумно летел ангел. Треугольное крыло его было расписано под бабочку, известную специалистам как «павлиний глаз». Ангела по дуге сносило в сторону, слова долетали все глуше, неразборчивее.

– Чего, чего? – хором закричали бескрылые земляне, приставив к ушам ладони.

Ангел вернулся, завершив очередной круг, и, показывая рукой в сторону гор, крикнул:

– На соседнем массиве. Десятая линия. Второй дом слева от главной дороги.

И улетел.

– Поехали, – решительно направился Залепухин к «Бешеной табуретке».

Август выдернул из земли вилы.

– Ты куда с трезубцем лезешь, Посейдон? – попытался остановить его хозяин машины.

– Для разговора, – отвечал тот. – Какой разговор без вил?

Они остановились у ограды, перевитой плетью вьющейся розы и дикого хмеля.

– Хозяин! – крикнул Залепухин.

Из недостроенного дома доносились шаркающие звуки штукатурных работ. Но никто не ответил.

Скрепка заглянул через колючий забор и прошептал:

– Там она. У стены стоит. Вся исцарапанная.

Сердце билось в голове.

Август постучал черенком вил по калитке:

– Хозяин!

Шарканье на мгновение стихло.

– Открыто! – откликнулся грудной, гостеприимный женский голос, и внутри дома зашаркали еще энергичнее, торопясь поскорее израсходовать раствор.

Женщина, вышедшая на крыльцо недостроенного дома была ожившей скульптурой знаменитого скульптора Мухиной. Крепкая, босая, толстопятая. Но в рваном трико и очках. Вся забрызганная раствором.

Скрепка, не поздоровавшись с ней, кинулся к двери и



принялся страстно ощупывать ее, гладить, теревить ручку и ногтем прочищать забитый глиной «глазок».

Август же, приняв позу бога морей Посейдона, приступил к переговорам:

– Будем милицию вызывать? Или без милиции обойдемся?

Ничего на это не ответив, женщина ушла в дом, но быстро вернулась. В руках она держала топор.

– Я сейчас разберусь, – пообещала она, сразу переходя на визг, – пошли отсюда, шаромыжники, пока башку не раскроила!

Вооруженный Август с достоинством отступил за калитку, бормоча: «Сумасшедшая баба».

Скрепка же обнял дверь и закрыл глаза, решив умереть, но больше никогда не расставаться с ней.

– Это моя дверь, – тихо сказал он.

– С чего это она твоя? – замахнувшись топором заверещала хозяйка. – Где написано, что она твоя? Я за эту дверь деньги заплатила. Пошел отсюда, пока башку не отрубила!

Но тут на сцену, заложив руки за спину, кланяясь и мило улыбаясь, выступил Эрнст Залепухин.

– Спокойно, девушка, – сказал он бархатым голосом. – Погоди головы рубить, дай слово молвить. Вот вы говорите: ваша дверь, вы за нее деньги платили. Так? Хорошо. А если она ваша, откройте ее.

– Я сейчас открою! Я сейчас так открою! – грозилась женщина, замахиваясь топором.

Но с каждым разом замахивалась все нерешительнее.

– Ну, так я пошел за милицией? – спросил из-за ограды Август.

– Что же вы, девушка, дверь без ключей покупаете? – ласково спросил Залепухин, – Ваня, открой дверь.

Скрепка дрожащей рукой сунул в скважину ключ. Замок щелкнул, словно скорость в велосипеде переключили. Он потянул ручку – и тяжелая дверь открылась с нежным вздохом.

– Моя это дверь, – упорствовала хозяйка.

– Наша это дверь, наша, – вежливо, но твердо отвечал Залепухин, – у нас украденная. Понесли, Ваня.



– Не дам! Моя это дверь.

– Нет наша!

– Моя!

– Наша!

– Я все поняла, – снова вскинула топор толстопята, – сговорились! Одни продают, другие забирают? Я вас поняла.

Неизвестно, сколько бы продолжался этот имущественный спор, если бы не небесный голос:

– Ваша это дверь, мужики, ваша.

Хозяйка, онемев, посмотрела вверх. Руки ее опустились, и топор, выскользнув из ослабевших пальцев, глухо ударился о настил крыльца.

Кто будет спорить с самим небом?

Женщина села, плотно припечатав доски крыльца, и, потрясенная, заплакала, просунув под очки пальцы со сбитыми, неухоженными ногтями.

– Хочешь совет? – выходя на сцену, спросил ее Август без особого сочувствия. – Никогда ничего не покупай с рук у бомжей по дешевке. Поплачь, заплачь – легче станет.

– Сколько вы заплатили? – спросил Скрепка, понимая, как тяжело расставаться с такой дверью.

– Не твое дело, – ответила она.

– Я вам могу деревянную отдать. Хорошая дверь. Новая.

– Еще чего! Пусть спасибо скажет, что без милиции обошлись, – возмутился Август, – За свою же дверь и платить? Придумал.

– Справились? – говорила, всхлипывая, женщина. – Радуйтесь, радуйтесь. Три мужика на одну бабу. Если одинокая, что бы не обидеть.

– Пошли, пошли, – подтолкнул Скрепку Залепухин. – Сейчас разжалобит – дверь оставишь.

Забегая вперед, нужно сказать, что несколько дней спустя, Скрепка все-таки приволок одинокой хозяйке деревянную дверь. Все равно лишняя. Солить их что ли? Сделал он это в традициях тимуровцев, навсегда исчезнувших из нашей жизни. Приволок, оставил у ограды и ушел быстрым, насколько позволяла негнушающаяся нога, шагом.



В тот же день они втроем вставили в проем раму, чудесно спасенной двери, и закрепили ее штырями.

Навесили дверь.

– Ну, вот, – сказал Август, – Теперь не украдут. Теперь ее украсть можно только вместе с домом.

В тот день участок Скрепки просто тонул в сорочем стрекоте.

Красивая, повторю еще раз, птица. Просто примелькалась на наших широтах, вот никто ею и не восхищается. А посмотреть на нее свежим глазом – верх изящества. Аристократка в смокинге. С большим вкусом создана эта птица.

Но что это опять отвлекаюсь на пустяки? При чем здесь сороки?

Ах, да!

Ключи.

Когда навесили дверь, сосед Август захотел удостовериться: не перекосилась ли при перетаскивании и уставке рама? Совпадают ли, другими словами, язычки замка с отверстиями в раме?

Кинулся Скрепка искать ключи – ключей нет.

На радостях где-то посеял.

Обыскал машину, дважды повторил путь до участка на десятой линии – напрасно.

– Где ты их мог потерять? – сердился Август.

Удивительно женский вопрос. Если бы человек помнил, что и где потерял.

Тогда Август прибег к самому надежному средству, сказавши:

– Черт, черт, поиграл и верни.

Но черт, должно быть, ключами не наигрался.

Кому нужны ключи без дверей?

Известно кому. Сорокам.

– Будешь теперь с открытой дверью жить, – сказал расстроенный за соседа Август. – Зачем нужна металлическая дверь без ключа?

Вопрос резонный.

Изнутри, конечно, на ночь можно закрываться на задвижку.

А вот случись куда отлучиться...



– Можно, конечно, замки поменять, – рассуждал Август. – Но пока не торопись. Воровать у тебя пока нечего. Одна пустота. А к тому времени, когда достроишься и прибарахлишься, может быть, ключи и найдутся.

* * *

Под конец этой правдивой истории автору неудержимо захотелось соврать.

Естественно, из благородных побуждений.

Автор подумал: а почему бы не порадовать возможного читателя, одарив Скрепку – недотепу, но доброго человека – внезапной удачей в духе О*Генри?

К тому же ему не терпелось опровергнуть случайно, как оговорка, вырвавшуюся из-под пера фразу – «беспольный талант».

Впрочем, определение «беспольный талант» принадлежит Эрнсту Залепухину.

Но в другом месте и по другому поводу тот же Эрнст говорил совершенно поперек:

– Беспольных талантов, друг мой Скрепка, не бывает. Есть таланты неприспособленные. Это да. Согласен. Любой талант можно приспособить. Вот у меня армейский дружок был Боря Барбарисов. И этот Боря владел самым беспольным талантом на свете: обладая совершенным слухом, он умел, пардон, выпукивать гимн. Казалось бы! Где можно употребить этот талант? Ну, где-нибудь на рыбалке, на охоте, на вольном ветру в чисто мужской компании после третьей стопки. Повеселить узкий круг близких друзей. Не выступать же на эстраде. Но вот однажды, будучи слегка на кочерге, случилось ему выступить на митинге оппозиции. Подставил он микрофон к нижним устам и исполнил гимн. С большим мастерством. И что ты думаешь? Его художественный пук понравился лидеру партии. Ему предложили стать членом. Он стал членом. И сделал головокружительную карьеру. Недавно прошел в парламент по партийному списку.

Вот и автору столь же ярко и неопровержимо захотелось на конкретном примере доказать: беспольных талантов не бывает. Любую способность, а тем более талант можно употребить с пользой для общества.

Он и подумал: а почему бы и не соврать?
Чуть-чуть.

Кому от этого будет хуже?

Да и что такое соврать, если речь идет о том, чтобы слегка подкорректировать судьбу недотерянного героя, который и без того в полной власти автора? Что случится, если слегка по-новому переплести события, подтолкнуть их в нужную сторону, на тихую тропинку? Кто, кроме автора, это заметит?

Вовсе это не вранье, а совсем наоборот — художественный вымысел.

Согласны?

«Бесполезный талант», если помните, было сказано по поводу увлечения инфантильного Ивана скрепки оригами — конструированием из бумаги различных предметов.

Но самым большим его талантом было умение молчать. Он пользовался языком лишь в случае крайней необходимости. И ни разу в жизни не произнес ни одного тоста. Даже когда слушал чужие тосты, его коробило от неловкости. Тосты ему казались верхом лицемерия.

Однако был в году один день, когда он непременно должен был подняться с бокалом шампанского в руках и что-то сказать сослуживцам. Когда тамада давал ему слово на новогоднем застолье, он, вместо тоста, обходил коллег и каждому дарил, сложенный из бумаги и раскрашенный акварелью, очередной символ восточного календаря. Доставал из полиэтиленового пакета фигурку, ставил на стол перед очередным сотрудником и бормотал невнятно: «Поздравляю». Раздавал всем — от технички до самого главного редактора.

Конечно, все восхищались искусством, которым были сделаны оригами. Но, главным образом, из-за количества безделушек. Это надо же — сколько времени потратил человек на пустяки! Сотрудников — творческих и нетворческих — в редакции в свое время было не менее сотни.

Многие сослуживцы не придавали особого значения подаркам фотолаборанта. Большинство бумажных игрушек так и оставались на столах между сложенными бутылками, недоеденными салатами и тортами с торчащими в них окурками. После застолья вместе с использованными



салфетками оригами были сметаемы в черные мешки для мусора.

Но некто Вохмин, в прошлом заведующий отделом партийного строительства и человек крайне суеверный, вбил себе в голову, что эти бумажные драконы, собаки и мыши приносят ему удачу. Он, опасаясь попасть под сокращение, коллекционировал эти обереги. К тому же Вохмин искренне восторгался искусством, с которым были сложены оригами. Всякий раз, получив подарок, он горячо благодарил Скрепку. Выждав время, выводил мастера из конференц-зала, где проходили шумные торжества, и приглашал в свой кабинет. «Ну-ка, ну-ка, – говорил он в нетерпении, доставая из ящика заранее приготовленные листы бумаги, – покажи, как это делается. Только медленно. Я внуков научу». Но, как ни медленно складывал оригами Скрепка, Вохмин ни разу не смог повторить последовательность операций. Возможно, потому что был недостаточно трезв. Но, скорее всего, причина крылась в отсутствии пространственного воображения и склонности к ремеслу.

До сокращения должности Скрепки Вохмин встречал с ним одиннадцать новогодних праздников. А цикл восточного календаря, как известно, состоит из двенадцати лет. Чтобы замкнуть круг и навсегда обезопасить себя от неприятностей, в коллекции Вохмина не хватало одной фигурки. Склонный к мистике Вохмин заволновался, полагая, что отсутствие двенадцатого животного в коллекции роковым образом повлияет на его судьбу.

И вот в один из субботних дней накануне Нового года Вохмин заглянул на дачный участок Скрепки, где тот жил безвыездно в построенном им домике.

«Я их все храню, – сказал гость, разложив на подоконнике одиннадцать оригами, – Они приносят мне счастье. По крайней мере, меня до сих пор не выгнали с работы. Всех одногодков выгнали, а меня не выгнали. Подари мне на счастье еще одну фигурку».

И он достал из папки лист.

«А чей будет следующий год?» – спросил Скрепка.

«Коровы».

Скрепка подбросил в печь полешко, вытер руки о потрепанные джинсы и быстро свернул требуемое животное.



Собственно, до этой коровы – никакого вранья. Так оно и было.

Вохмин, несмотря на мужественную внешность и афганское прошлое, действительно был суеверным человеком и искренне полагал, что бумажная корова охранит его от возможного сокращения штатов.

А вот дальше, честно говоря, автору неудержимо захотелось слегка приврать. Направить события с протоптанной дороги на сказочную, утопающую в искрящихся сугробах тропинку.

Автор не то, чтобы дал волю воображению. Он просто подумал: как бы этот мистически настроенный Вохмин мог бы отблагодарить Скрепку за двенадцать лет гарантированного счастья?

Надо сказать, что настроенная прорыночно «Новостаровская правда» в большой степени сохранила старый консервативный стиль. В ней до сих пор культивировались такие вымершие в современной журналистике жанры, как очерк и фельетон. А перед новым годом Авдотий Стерня требовал душещипательных святочных историй. Имеющих документальную основу, разумеется.

Почему бы ради святочной истории и не навестить Вохмину всеми забытого Скрепку?

Не бог весть какой вымысел.

Автор на месте Вохмина так бы и сделал. Пригласил бы Залепухина и тот шелкнул бы пару раз затвором: Скрепка за столом, перед ним одиннадцать фигурок из бумаги, а двенадцатая, корова, у него в руках.

Почему бы, честно сказать, суховатому Вохмину ни вдохновиться и ни прыгнуть выше собственного дарования? Почему бы ему ни разродиться душещипательной историей о тихом и скромном неудачнике, бескорыстно одаривающем знакомых и незнакомых людей удачей? Двенадцать историй в одной: как маленький пустяк из мятой бумаги возвращал людям веру в свои силы и тому подобная ерунда. А? Звенит?

Как только автор представил этот документальный святочный рассказ напечатанным в «Новостаровской правде», воображение его сорвалось с цепи и, восторженно виляя хвостом, понеслось, не выбирая дороги, по неведомым следам.



Автор не успевал следить за своей шаловливой рукой, получившей свободу. Только дух замирал на выражах.

Отчего бы газете со статьей о Скрепке ни попасть на стол японского посла?

Да запросто!

Послы любого государства, а японские в особенности, заботятся об имидже своего государства. Разве не так?

А раз так, отчего бы по рекомендации посла статью Вохмина ни перепечатать одной из популярных японских газет?

И почему бы прочитавшему статью самому известному в Японии мастеру оригами ни захотеть встретиться с неизвестным мастером Скрепкой?

Естественно, японский посол был бы только рад содействовать поездке нашего скромного героя в свою фантастическую страну.

Автор представил встречу двух величайших мастеров под нежной сенью цветущей сакуры и прослезился от умиления. Два гения, два титана в искусстве складывания бумаги не могли не проникнуться взаимной симпатией. Восхищенный открытиями в древнем ремесле, японец предложил нашему скромному безработному написать совместный труд: оригинальные оригами Скрепки, сопровождаемые восторженными комментариями мастера из страны восходящего солнца.

Книга вызвала бешеный интерес не только в Японии, но и во всех странах, где процветает искусство оригами. А процветает оно, как выяснилось, практически везде. Работа принесла не только финансовый успех и мировую известность Ивану Скрепке, но и...

Но тут, запыхавшийся и зарумянившийся от вдохновения, автор сказал себе: стоп!

Врать ври, да знай же меру.

Конец, конечно, чудесный. Чудесный конец. Но, мужики, не надо верить в чудо. Не надо.

Вохмину, как это ни прискорбно, и в голову не придет мысль написать святочный рассказ об увлечении Ивана Скрепки. Он пишет простыни обзоров и до такого пустяка не опустится.

А почему именно Вохмин должен написать эту историю? Свет клином сошелся на Вохмине?



И тогда автор, у которого, кстати, тоже хранились одиннадцать новогодних оригами Ивана Скрепки, презрев клятву никогда, ни при каких обстоятельствах ни строчки, ни запятой, ни точки не публиковать в газетах, решил сказку сделать былью. Ему был любопытен эксперимент: сможет ли вымысел повториться в действительности? И он столкнулся с вершины маленький камешек, с волнением ожидая обвала.

Для того, чтобы вернее направить события в нужное русло, он, обведя свою статью красным маркером, занес газету в японское посольство, попросив непременно передать послу. Кланяясь, ему обещали.

Со светлой душой вышел он на улицу и, чувствуя себя волшебником, хлопнул в ладоши и растер их до дыма.

Автор стал ждать продолжения истории.

Он ждал неделю, месяц, полгода, год.

Возможно, статья не дошла до посла. Возможно, историей о Скрепке не заинтересовались японские газеты. Возможно, величайший в мире мастер оригами вообще не читает газет. И за это достоин всяческого уважения.

Возможно даже, что вымысел автора не настолько хорош, чтобы эхом повториться на самом деле.

Странная мысль. Вряд ли. Но даже это возможно.

Как бы там ни было, а мировая слава к Скрепке так и не пришла.

Но вот о чем подумал разочарованный действительно автор. А почему, собственно, счастливым может быть лишь человек, непременно добившийся успеха? Кто сказал, что счастье – это всегда награда человеку, реализовавшему свой талант?

Почему не может быть счастливым постаревший, потрепанный жизнью маменькин сынок лишь потому, что у него есть бронированная дверь? Пусть даже ключи от нее и утеряны. Почему не может быть счастливым человек только потому, что в его хижине потрескивает печь, а за окном идет снег. Хлопьями. Большими, как пельмени.

Почему?

Разве не возможно счастье само по себе, без видимых причин? Счастье высшей пробы, которое не вызывает зависти? Счастье просто жить и быть благодарным судьбе



за такие мелочи, как капли дождя вперемешку с перезревшими грушами, барабанившие по крыше. Звон ночных цикад. Хруст льда в вымерзшей луже под ногами. Мороз. Жара. Ежевечерний ветер из ущелья...

Вы даже представить себе не можете, сколько счастливых среди людей, у которых для счастья нет ни малейших причин. Вот, кстати, два счастливых соседа беседуют через забор о почечных коликах и странном грибке, поразившем яблони массива.

Люди просто счастливы – и все.

И людям по фигу, что мы по этому поводу думаем.

Сидит человек за собственноручно сколоченным столом, складывает бумагу. И, кроме шуршания, никаких звуков. Посмотрит в окно. А там – снег идет. Хлопьями. Кстати, оригами – одно из немногих искусств, успех в котором не вызывает зависти.

* * *

После неудавшейся попытки красиво соврать, автор решил завершить историю, у которой, как и у большинства историй, нет эффектного конца.

Кладбище – вот самый честный конец любой истории. Но кому, кроме могильщиков, он нравится?

Так что не надо тянуть. Поставим точку наугад, где придется. Что есть, то и есть.

Не в Америке живем, где счастье, успех и великая мечта измеряются количеством денежных знаков.

Дачный массив, на котором круглый год обитает Скрепка, настолько обширен, что охраняют его два сторожа. Один живет рядом с главными воротами, у трассы. Другой жил у подножия гор, рядом с участком Скрепки.

Недавно этот сторож – одинокий, пожилой человек по фамилии Шалда – подавился косточкой персика. Не в то горлышко попала. А рядом не случилось никого, кто бы хлопнул его по спине, как по донышку бутылки. Вот он и умер.

Что особенно обидно, умер, отказавшись от пагубной привычки использовать самогон вместо снотворного. Пристрастие это утомило его.

– Я свой стакан давно зачехлил, – степенно отказывался от угощения Шалда, прижимая корявую лапу к сердцу.



Впереди открывалась здоровая, трезвая жизнь. А он умер.

Нелепая, конечно, смерть.

На общем собрании было решено похоронить Шалду за счет дачного кооператива, а должность покойного и его пса – старого алабая Барса – передать Скрепке.

Исторически сложилось так, что нижний и верхний сторожа разделили ответственность за сохранность массива по времени суток. Эта договоренность, говоря современным языком, была пролонгирована.

Днем «Стрижа» охраняет нижний сторож, живущий у главного входа. Его московская сторожевая Джульетта дремлет, забравшись с ногами в старое кресло. К спинке кресла на случай возможных осадков привязан старый зонт. Когда в ворота въезжает машина или входит человек, Джульетта, не поднимая головы, открывает один глаз. У нее феноменальная память. По звуку моторов и шуршанию шагов она помнит все дачные машины и всех дачников. Порой даже не открывает глаз. Чего зря трудиться: свой.

Когда же на территорию массива пытается проникнуть чужая машина или чужой человек, Джульетта поднимает тяжелую голову и говорит: «Р-р-р-аф-р-р-р». В переводе с собачьего это означает: хозяин, обрати внимания и разберись.

Вывести ее из себя и заставить слезть с кресла может только другая собака. И незнакомая, и знакомая.

Сторож обычно, лежа в гамаке, натянутом между двумя яблонями, читает серьезную книгу: «Иллюстрированный энциклопедический словарь». Он поднимает голову и, прищурив глаз, пристально смотрит на пришельцев. Обычно они не вызывают у него подозрений.

В десять тридцать нижний сторож запирает ворота и дачный массив «Стриж» переходит под ответственность Скрепки.

С пожилым, полным достоинства алабаем Барсом и вертлявой Чуней, привлекающая ногу, Скрепка неспешно идет по центральной улице.

За эту походку дачники зовут его Циркулем.

Впрочем, без зла.



Напротив, с уважением.

Циркуль – не столько потому, что одна нога не сгибается и, заноса ее для очередного шага, он выписывает ею полукруг, а, скорее всего, потому, что Скрепка добросовестно циркулирует от гор к трассе и от трассы к горам всю смену. В самый темный час слышно, как шаркает его прямая нога по неровной дороге. Остановится сторож на перекрестке, прислушается, посветит направо, налево фонариком. И дальше повлечет свою негнушующуюся ногу. В руках Скрепки посох и одновременно оружие – черенок от лопаты, что дало повод части дачников величать его также Иваном Грозным и царем-батюшкой. Надо отметить, что Скрепка давно перестал бриться. Усы с бородой скрыли безвольные губы и подбородок, придав лицу, если не грозное, то довольно-таки суровое выражение. В кармане его лежит милицейский свисток. Воры опасаются верхнего сторожа. Впрочем, больше их смущает Барс, который плетется следом и на каждом перекрестке страшно зевает, широко разевая пасть и клацаая зубами.

Клац! Как бабушкин сундук захлопнулся.

Чуня, выполняя роль разведчика, бежит впереди.

Чуня и Барс знают свое дело. А то, что Барс часто зевает, не говорит, что он лентяй. Уж если подаст голос – мороз по коже. А погонится – не убежишь.

Встретив рассвет, Скрепка идет к главным воротам и стучит посохом по ограде.

Джюльетта открывает один глаз и стучит хвостом по дерматиновой обшивке кресла.

Зевая, выходит нижний сторож.

– Как отдежурил? – спрашивает он, подавая правую руку Скрепке, левой же почесывая ягодицу.

– Нормально, – отвечает Скрепка.

Нижний сторож отворяет ворота, и, завершая дежурство, Скрепка идет по привычному маршруту, обходя с Барсом и Чуней массив с внешней стороны. Голова есть, головы нет, голова есть, головы нет. Что это такое? Это верхний сторож по-над забором идет, примечает: не появилось ли новых дыр?

Завершив обход, Скрепка кормит собак и сам пьет чай.

Вы даже представить себе не можете, как приятно за-



сыпать по утрам, когда все остальные люди спешат на работу, мрачно зевая на остановках и свирепо втискиваясь в общественный транспорт.

Большинство человечества работает не из-за удовольствия. Рабство, сколько его ни отменяли, не кончилось. Каждый и раб, и рабовладелец в одном лице. Очень это неприятное чувство – направлять самого себя на ненавистную службу.

Город, вся страна тащит себя, ухватив за шиворот к проходным. Пробки на дорогах. Шум на запруженных улицах и шум в голове. Автомобильные выхлопы. Чад.

А ты уже отработал.

Сорока невнятно стрекочет, переругиваясь с собакой. Ветер из степи в урочный час, как на службу, устремляется в ущелье, расчесывает деревья. Тихо, словно боясь потревожить твой покой, твою безмятежность гудит первый шмель. Настоявшиеся за ночь запахи степи и сада, ровный свет утра перемешиваются в тебе, как в хрустальном стакане.

Хорошо! Хорошо засыпать утром.

Проснешься к полудню, потянешься. А спешить никуда не надо. Пройдешь по саду, сорвешь с ветки яблоко, сполоснешь его в бочке с дождевой водой. И медленно съешь, наслаждаясь вкусом до слез в глазах.

Смотришь на Скрепку и не знаешь: жалеть его или заводить? Кажется, с чего бы человеку, потягиваясь, улыбаться?

Что еще можно рассказать о хромом стороже? Он подружился с дачной детворой. Делает воздушных змеев. Что это за змеи – отдельный разговор. Китайцам на зависть. Иногда в окружении малышей он запускает их на пригорке. Запустит и по шнуру отправляет вверх почту. Письмо, вращаясь, доходит до змея – он раскрывается – и из него на парашютах опускаются мыши. Мальчишки, задрав головы, бегут на место приземления.

Весело.

Мышей, конечно, жалко. Все-таки полевые, не летучие. Такой стресс.

Ключи от металлической двери Скрепка так и не нашли.



Но заменять замок он не торопится.

Зачем ключ сторожу? Привали дверь кирпичом, чтобы случайная крыса не забрела – и ладно. Особо ценных вещей нет. У него вообще, кроме себя и нескольких оригинами на подоконнике, ничего нет.

Спрашивается: зачем человеку железная дверь без ключа?

Ну, дверь без ключа все-таки лучше, чем ключ без двери.

* * *

Хватит разводить философию, зануда. Ставь точку! Кому говорят – ставь быстрее точку.

Все искусство счастливого завершения истории заключается в умении вовремя поставить точку.

Не прозевай.

Прошло несколько лет...

Ишь ты, как лихо: несколько лет.

Как ломоть колбасы отрезал.

У кого-то они действительно прошли, как корова по полю, без особых событий. А у кого-то столько всего произошло, столько всего вместилось.

Никогда больше так не пиши: прошло несколько лет. Договорились?

По-хорошему, эту историю нужно было решительно обрубить после собрания дачного кооператива, проявившего невиданное для современников человеколюбие. Какой простор открывался! Какие выводы из события можно было сделать! Поглядите, граждане, на эти милые лица. Нет, человек не стал хуже. Он просто приспособляется к новым условиям и пытается выжить. Да, мы иногда похожи на свору гиен у трупа слона. Но это ни о чем не говорит. Поглядите, поглядите на эти лица, полные сострадания...

Типа того.

Впрочем, отрубить хвост истории никогда не поздно.

Обрубишь, а человеку привалит небывалая удача.

Стоит поставить последнюю точку, как начинается самое интересное.

Пока автор сомневался – ставить, не ставить, обрубить,



не обрубать – обнаружили родственники бухгалтера Стерха. Не такие уж близкие. Но шустрые. У них были кое-какие основания претендовать на участок Скрепки. При наличии хорошо оплачиваемого адвоката, разумеется.

Чем завершится тяжба, автору даже думать было неприятно. И он, забросив рукопись в стол, попытался забыть о Скрепке и этой истории. Зачем расстраивать себя и читателей? Зачем плодить неудачников? Какой в этом смысл? Сколько можно, в самом деле, писать о бомжах! Надоело.

Его увлекла совсем другая история и совсем другой герой.

Остановите любого прохожего в Новостаровске и спросите: вы не знаете Захара Перепроданного, как найти Захара Перепроданного? Прохожий остановится, внимательно смерит вас взглядом и, сделавши значительное лицо и указав рукой на всхолмье, скажет: ступайте к небоскребу, Захар Иванович непременно на стройке.

Приятно посмотреть на это всхолмье. Сколько лет в городе ничего не происходило, да вдруг на предгорном плато как бы само собой стало расти ажурное строение. Ночью светится, как лазерная проекция. Стремительно тянется вверх бледной поганкой на навозной куче. Смотришь и снова веришь в светлое будущее. Пятьдесят этажей! Кажется, пора бы и о крыше подумать. Утром подходишь к окну – новый этаж, пятьдесят первый. Настоящий небоскреб.

Но самое ценное в нем не высота, а конструкция. Скелет невероятной гибкости и прочности. В проекте заложена гениальная идея, раз и навсегда снявшая запрет на возведение зданий повышенной этажности в сейсмической зоне. Небоскреб такой конструкции можно строить на склоне действующего вулкана. В чем заключается идея? А вот мы у архитектора Перепроданного и спросим. Кому-то он, может быть, и Захар Иванович, а кто-то с ним за одной партией сидел и иначе как Промокашкой не величал. А время от времени шелкал линейкой по носу, чтобы не задавался.

И вот автор стоит на пятьдесят пятом – нет, уже на пятьдесят шестом! – этаже, беседует с бывшим одно-



классником и одновременно разглядывает пейзаж родного Новостаровска. Только разглядывать особенно нечего: между ним и крышами города непроницаемое облако смога. И кажется автору, что махина под ним стоит на этом грязном облаке и слегка покачивается. Хочется опуститься на четвереньки и отползти от края. Ветер. Сварочные огни. Искры сыплются.

– Представляешь, как бывает. Если бы меня в тот день жена из дома не выгнала, не стояли бы мы с тобой здесь, не брал бы ты у меня интервью. А прошел бы мимо и не заметил. Выключи-ка свою подслушку. Поговорим по-человечески. Ты даже не представляешь, как я доволен своей женой. Во-первых, она не умеет готовить. Как это – что хорошего? Ты посмотри на свое пузо и посмотри на меня. У меня вообще живота нет. Во-вторых, некрасива. У меня не только поводов ревновать ее не было, но и помогаться. Вся энергия – на творчество. В-третьих, пила поперечная. Она же мне каждый день весеннюю обрезку делает. Ничего лишнего не оставила. Если бы она меня в тот вечер за дверь не вытолкала... Страшно подумать.

Захар Перепроданный выбросил окурок и долго любовался его полетом, заглядывая в рукотворную пропасть, пока тот не растворился в облаке.

– Как, спрашиваешь, идея пришла? А я тебя тоже спрошу. Случалось с тобой, что хочется отблагодарить, а кого – не знаешь? Тогда послушай. К тому дню, когда все это со мной случилось, дошел я до края. То есть до того дошел, что о смысле жизни стал задумываться. Дальше некуда. Дальше только водку пить и на весь свет обижаться. Вошел я в штопор. Безработица, безденежье. Жене не нравится, что я каждый день на кочерге приезжаю. Вот однажды она и вытолкала меня из квартиры, как пса нашкодившего. Только и успел один ботинок прихватить. Пьян был крепко, а соображаю: куда мне в пижаме и одном ботинке податься? Дождик зарядил. Укрылся я под навесом на остановке. Сiju. Подреминаю. И вот вижу – спускается с тверди небесной Бог. Спускается и рядом садится.

«Что, Захарушка, – спрашивает, – опять на кочерге? Сколько же можно?»



«Погоди, Господи, не уходи, – говорю, – подождем третьего».

«Зачем, – спрашивает, – нам третий?»

«Как зачем? Сбросимся. За «огнетушителем» пошлем».

«Ах, – говорит, – морда твоя пьяная! Все пропил. Душу пропиваешь».

«Погоди, Господи, воспитывать. Помогни лучше материально. Ибо нуждаюсь, и душа горит».

Посмотрел он на меня искоса, вздохнул и отвечает: «Хорошо, пропащая душа, помогу. Но имей в виду – в последний раз».

Тут у меня бейсболка с головы свалилась. Смотрю: Бога нет. А на месте, где он сидел, стоит картонный ящик. Открываю – доверху набит конструкциями из бумаги.

Чердак, конечно, в чаду. Слабо проветривается. Но как только я увидел ЭТО, словно молния сверкнула. Мигом протрезвел. Спасибо тебе, Господи! Коробку под мышку – и домой.

Вот из этой мятой бумаги, что подкинул мне Бог, и выросла идея практически неразрушимого небоскреба.

Ну, в отношении Бога автор сильно сомневается. Хотя, кто знает, кто знает.

Что же выясняется? Выясняется, что рано забыл автор об Иване Скрепке.

Помните ли вы картонный ящик с оригами, который несколько лет тому назад оставил Эрнст Залепухин на остановке, где спал неизвестный пьяница в пижаме?

Бейсболка прикрывает лицо, как забрало. Нога на ногу. На одной – ботинок. Шнурок не завязан. На другой – вообще тапок. Галстук на спине. Помните?

Так вот, оказывается, кто был этот пьяница?

И надо же было случиться, что в миллионном городе именно архитектору Захару Перепроданному попал этот короб, набитый, как выяснилось, не мятой бумагой, а всклень – гениальными идеями.

Без Бога тут, конечно, не обошлось. По теории вероятности такие совпадения без providения невозможны.

В это время ветер из ущелья рассеял смог. И перед



потрясенным рассказом однокашника автором открылась панорама предгорий.

Автор напряг зрение, пытаясь разглядеть среди коросты дачных массивов, облепивших склоны, крыши садоводческого товарищества «Стриж». Сердце его от страха ли высоты, от радостного ли возбуждения колотилось, как сумасшедший головой о стенку. Он представлял, как завтра же навестит всеми забытого Скрепку. Как, указав пальцем на возвышающийся над городом небоскреб, сообщит ему невероятную новость. Как сведет автора идеи с автором проекта. Как...

Его ждало новое потрясение.

Он, конечно, слышал, что в связи со строительством небоскреба прокладывается новая объездная дорога, и часть дачных кооперативов попадают в зону отчуждения. Но, поскольку у него не было дачи, эта новость его не особенно сильно взволновала.

С пятьдесят шестого этажа он увидел, что новая, широкая дорога, по которой в восемь рядов сновали муравьями машины, делала плавный вираж там, где совсем недавно тучно плодоносили яблони садоводческого товарищества с шустрым названием «Стриж».

* * *

Какое, однако, невезение.

История, брошенная автором на произвол судьбы, завершилась самостоятельно неожиданным успехом в духе О*Генри. А для, извините за выражение, счастливого конца не хватает сущего пустяка – главного героя.

Пропал Ваня Скрепка именно в тот момент, когда вновь потребовался государству.

Не как личность, конечно. Как специалист.

Потихоньку поднимались из руин заводы. Пытались производить продукцию. Для конкурентноспособности нужна была красивая тара и упаковка.

Хватились: ни одного молодого специалиста. Призвали старцев, прозябающих на пенсии. Старики и вспомнили Ваню: как бы он сейчас пригодился. Стали искать: нет Вани. Растворился в суете и неразберихе смутного времени вместе со своей бронированной дверью. Как ежик в тумане.



Одни говорят: вроде бы куда-то уехал. Куда? Да кто же его знает. Люди в наше время, как перелетные птицы. Только их не окольцуешь и пути миграций не определишь. Ну да, конечно, жили рядом. А ты знаешь, куда разъехались твои соседи по подъезду? А где живут сейчас твои одноклассники? Институтские друзья? Товарищи по работе? А всех ли родственников знаешь ты адреса?

Верно, верно. Извините.

Но автор не терял надежды.

Иногда казалось, что он напал на верный след.

Сторож соседнего садоводческого товарищества, которое обогнула новая дорога, задев лишь верхнюю линию, рассказал, что накануне сноса видел хромого человека, поднимающегося с железной дверью на спине вверх по ущелью. Собачки, спрашиваете? Кажется, были собачки. А вот большие, маленькие, черные рыжие – не скажу. Тут их, бездомных, без счета. И рыжих, и черных, и маленьких, и больших. Кто бы ни прошел – за всеми бегут, к сумкам принимают. Один кинет кусок хлеба, а другой по сотовому живодерам позвонит...

Спасибо, дорогой, спасибо.

Итак, хромой человек с дверью на спине шел вдоль горной реки, мимо зарослей барбариса, облепихи и боярышника вверх по ущелью. Не трудно догадаться куда. К сумасшедшему учителю, строящему крепость из валунов и поющему по утрам гимны.

В выходной день автор сел на горный велосипед и покатил вверх по ущелью.

Однако ущелье было перегорожено шлагбаумом.

Сонный охранник в черной форме сказал: «Нельзя». «Почему?» – робко спросил автор. Он всегда терялся, когда разговаривал с людьми в форме. Особенно незнакомой. «Нельзя и все», – веско ответил охранник, отворачиваясь. «А все-таки?» – сделал автор лицо, соответствующее идиотизму вопроса. Страж посмотрел на него с удивлением, переходящим в досаду и отрезал: «Здесь не справочное бюро».

Автор сделал невероятно любезное лицо, собираясь обаять неумолимого стража и упросить сделать для него исключение. Но в это время он заметил, как по тропинке



сквозь колючие кусты шиповника чуть в стороне от шлагбаума, позванивая ведрами, передвигается вереница женщин. Страж в черной форме проводил их взглядом до того равнодушным, что автору стало обидно за охраняемое ущелье. Тропинка проходила мимо его обязанностей. Автор, взяв велосипед за рога, выкатил его на обочину и пристроился к ягодницам, одетым как спецназ на секретную операцию. Они шли за лекарственными ягодами: облепихой, барбарисом, боярышником, шиповником. Обойдя шлагбаум, автор вывел велосипед на дорогу, перенеся через большую, глухо гудящую трубу, и покатил дальше, танцуя на педалях.

Он не узнавал ущелья. В знакомый пейзаж были грубо врезаны дворцы из «Тысячи и одной ночи». Каждый был опоясан крепостной стеной. «Частная собственность. Проход запрещен» – было начертано на воротах. Повсюду торчали стрелы кранов, и слышался шум великой стройки. Охранники и собаки провожали его подозрительными взглядами.

Капище сумасшедшего учителя пения автор не нашел. На его месте обезумевшим роботом кружил японский бульдозер, расчищая место для новой строительной площадки. С грохотом катились в ревушую реку валуны, со стоном и скрежетом падали ели.

Здесь кончалась дорога. Спрятав велосипед, автор поверху обошел сумасшедший бульдозер и поднялся вверх по ущелью. Но дальше открывалась такая дикая, такая суровая, такая жуткая красота, что стало ясно: тщетно искать человеческое жилье. Красота и современный человек не сочетаются. Ни в искусстве, ни в природе.

Туман, скатываясь с перевала, заполнял ущелье. Автор поспешил назад, надеясь найти спрятанный между валунов велосипед прежде, чем мгла скроет его. Душа автора была переполнена отчаянием и раскаянием. Он корил себя. За что? За то, что, подгоняя историю под счастливый конец, проворонил героя.

Вернувшись домой, он обзвонил дачных соседей Скрепки. Но выяснил лишь одно: никто не озаботился его судьбой. У каждого были свои заботы. Каждый переживал за свою дачу. Думал о компенсации. Можно ли их обвинять за это?



Скрепка без следа растворился в общей суматохе.

Некоторое время автор пытался искать потерянного героя методом слепого тыка. Знаете, как ищут погребенных лавиной, протыкая плотный снег длинным шупом.

На удивление много новостаровцев видели хромого человека с железной дверью на спине. Но все они могли указать лишь направление, но не конечную цель движения. Одни говорили, что хромой человек направлялся к горам, другие, наоборот, что спускался с гор, третьи утверждали: не вверх, не вниз, а как раз поперек – шел по главной улице. Вот только налево или направо?

Растворился Скрепка. Смешался с пейзажем. Как дым в тумане.

Нужно было смириться с тем неприятным фактом, что история осталась вовсе без конца.

Но каждый раз, подходя к окну, выходящему на горы, автор – утром ли, днем ли, ночью ли – видел растущий над городом небоскреб. И всякий раз он невольно думал о том, что, может быть, именно в эту минуту и Скрепка смотрит на это новостаровское чудо. Смотрит и не подозревает о своей причастности к этому событию.

Нет, думает автор в такие минуты с печальным восторгом, бесполезных талантов не бывает. Нет ничего напрасного. Рано или поздно, твою идею непременно украдут, присвоят предприимчивые люди – и она осчастливит человечество. А то, что при этом осчастливленное человечество и не вспомнит тебя, так много ли кого оно помнит, ваше человечество. Чтобы там ни было, а из пустяка, баловства, из мятой бумаги вырос небоскреб. Прямо, кстати говоря, на красной линии. Линии разлома.

Значит, не зря человек проживает свою бесполезную жизнь?

Значит, этим можно утешиться?

Значит, автор имеет право поставить в конце этой истории –

Более-менее счастливый конец.

Ноябрь 2007 – февраль 2008 гг.



ВЫХУДРА

Брезгливым людям я бы вообще не советовал раскрывать эту книгу.

Начало истории дурно пахнет.

Если вы не только брезгливы, но и любопытны, советую защемить нос бельевой прищепкой.

У вас есть выбор.

С теми, кто решительно захлопнул книгу, сердечно прощаюсь. Никаких обид. Мы еще встретимся в более ароматной среде по более приятному поводу.

Негусто нас осталось.

Прищемили носы?

Поехали!

Нам предстоит пройти через круг земного ада размером с главу.

Отчаянных людей, преодолевших природную брезгливость и нашедших в себе мужество дочитать эту в целом жизне-, можно сказать, утверждающую историю, ждут слезы умиления и душевное самоочищение. Как говорил егерь Плешивый из лесничества Красная Горка, катарсис.

Может быть, и нет.



Что же, в конце концов, книгу всегда можно сжечь.

Итак, в городе Новостаровске, ныне Баблодаре (имена и отчества героев, названия населенных пунктов, упомянутых в данной истории – подлинные), растекшимся у подножия великих гор, ранним летним утром прорвало накопитель нечистот – коллективные отходы жизнедеятельности граждан.

Случилась эта беда в разгар перестройки, что, не спору, символично.

Поскольку город располагался практически на высоте дождевых облаков, сель из человеческого навоза со скоростью курьерского поезда, наверстывающего отставание, с грохотом, чавканьем и гулом низвергся по склону на равнину, прорыв глубокий и извилистый каньон, который со временем златоусты-экскурсоводы непременно назовут долиной сказок.

По пути он слизал нефтебазу, смел институт расщепляющихся материалов, проглотил склады минеральных удобрений, скотомогильник, инфекционную больницу, археологический раскоп вместе со стареньким профессором истории и скифским золотом, стадо коров, две отары овец – и вся эта пластичная, чавкающая масса, распространяя невыносимую вонь, захлестнула санаторий четвертого отделения «Ключи», стоящий на берегу озера Чистого.

Поверьте, автор пишет об этом не из патологической страсти к мерзостям. Автор с большим удовольствием описал бы, как отражаются красные стволы сосен и рыжие обнажения коренных пород в темных от глубины водах заповедного озера. Но если ты озабочен чистотой планеты, приходится говорить именно о нечистотах. У дворников всегда грязные одежды.

Представьте себя на месте отдыхающих, беззаботно спящих в самый сладкий утренний час. Легкие шторы колышет целебный, свежий, настоящий на хвое реликтовых сосен ветерок. Ранний дрозд стучит камешками. С легким шорохом набегает на белый песок пляжного берега тихая, прозрачная, как сам воздух, волна. Пахнет грибами, облепихой. Олень вышел к водопою.

Да...



Одно дело быть погребенным снежной лавиной в горах и совсем другое – оказаться на пути селевого потока из нечистот.

Редкий бард воспост вашу гибель, согласитесь.

Были жертвы.

Большие жертвы.

Но по обычаю тех лет, чтобы не тревожить общественное мнение, количество погибших было засекречено. Впрочем, как и само происшествие. Не катастрофа, заметьте. Происшествие.

В каждой, даже очень плохо пахнувшей истории, есть свой герой.

Героя зовут Антипом. Дикий деревенский мальчишка, который даже к родителям обращался на вы. Свежий, как весенний редис.

Он родился и рос в реликтовом бору на берегу озера Чистого. Мальчишка наполовину принадлежал лесу, наполовину – воде. Бабушка говорила, что мать его – русалка, а отец – леший. А дед, вообще, старый черт.

Так оно и было.

Глаза у Антипа разные. Не в том смысле, что слегка косили. Один был зеленый, а другой синий. Словно душа его действительно состояла наполовину из леса, наполовину из озера. Да и косили они потому, что мальчишку одновременно тянули в эти две одинаково таинственные и прекрасные стихии, составляющие заповедник Раздолье.

Отец, сменив на посту деда, служил егерем, охраняя зверье заповедного леса, а мама работала инструктором по плаванию в санатории Ключи, принадлежавшему четвертому – кто понимает, цокнет языком – управлению.

Кстати, Антип – не смотри, что нос картошкой – имел прямое отношение к древним грекам.

Мама его по паспорту была Афродита.

В селе ее звали Фросей. Уважительно – Ефросинья.

В год, когда родину Антипа накрыл сель из дерьма, мальчику исполнилось двенадцать лет.

А до этого события жил он в раю, в счастливом неведении, как только что сотворенный Адам. Рай сочетался с каникулами.



Перед рассветом пацан чувствовал утренний крен земного шара и некоторое время делал усилия, чтобы не сползти вместе с матрасом с наклонной поверхности деревянного диванчика, который стоял на веранде. Но не вращение планеты, а сила более необоримая поднимала его со сладкого ложа в сумеречное утро. С берега доносился невыразимо приятный перестук весел о деревянные борта старой лодки, сладострастно шуршали камышом прохладные волны, возникающие не от ветра, а от мерного дыхания озера. Надсадный утренний кашель деда, как звук боевой трубы, веселил сердце.

Утренняя рыбалка. Утренний жор.

У человека понимающего от этих слов сладко перехватит дыхание. Человека, не испытавшего этих свежих чувств, извините, мы не можем считать ни вполне полноценным человеком, ни читателем этой книги. Без обид. До встречи на нейтральной территории интеллектуальной прозы. Привет постмодернистам.

Есть работы, которые невозможно отделить от удовольствия.

Наряжать елку – это работа?

А косить траву?

Стоя на алюминиевой лестнице снимать с тяжело провисающих ветвей яблоки.

Колоть дрова на морозе.

Сбрасывать снег с крыши.

Строгать доски для новой лодки...

Но даже среди этих приятных занятий ничто не сравнится с утренней рыбалкой.

Какая это работа?!

Впрочем, не будем тыкать пальцем, есть люди, которые считают тяжелой работой наряжать новогоднюю елку.

Тьфу на них!

Расплевался. Третья страница, а сколько уже читателей потеряно.

Среди многих работ-удовольствий больше всего любил Антип очищать сети от тины и водорослей.

Звнящий, сонный зной полдня.

Дикий пляж.



Белый песок. Раскаленный, как сковорода. Только пятки деревенских пацанов и могли выдержать его жар.

Ленивый ветерок надувает паутину сетей, развешенных на шестах для просушки.

Запах озера. Крик одинокого мартына. Чешуя, прилипшая к твоему телу. Боже!..

А рыбалка!

Впрочем, саму рыбалку после долгого воздержания от этого приятнейшего занятия автор описывать не рискует: схватит внезапно блесну на глубине выдуманная щука – и разорвется сердце от восторга и дикого счастья. К таким вещам следует подступать крайне осторожно. Постепенно. Намеками. Утробный стук о днище лодки. Дед дымит козьей ножкой, скрученной из районной газеты. Газета называется «Вперед». Куда вперед? А не важно. Вперед, а там разберемся. Запах самосада. Перегнешься через борт и видишь дно. Черные спины язей. Кажется, паришь над прозрачной глубиной. А шуршание, с которым лодка накатывает с волной на берег...

Все это и есть настоящая поэзия, которая и не требует оформления в стихах, не требует посредников. В лес, пацаны, в лес. Вот это настоящая поэзия, а не сор под забором.

Величественная дама, поведавшая, из какого сора растут стихи, скорее всего, не любила и не понимала дикую, не испорченную человеком природу. Возможно, она ее даже пугала. И прекрасная поэзия ее, как и поэзия всякого городского человека, в этом смысле ущербна и чахла.

Дама эта, судя по всему, ни разу не испытала воскрешение на вершине пика. Над облаками, где никто до тебя не топтал снег. Не погружалась в глубину также неотвратимо чернеющую, как и небо с высотой. Нет, поэзия должна ведать стыд. И расти не из сора под забором, а из экологически чистой, заповедной природы. Дикой, живой, не топтаной. Впрочем, по мере того как исчезает природа, исчезает и поэзия.

Ишь ты! Поэзия умерла. Да кто ты такой?

Молчу, молчу. Не хочу терять своих последних читателей.

Деревня-лесничество Красная горка стояла на круче. Дома в соснах.



У жителей ее был обычай теплыми летними вечерами собираться на берегу.

Свесив всей деревней ноги с обрыва, они лузгали семечки, беседовали и любовались закатом.

Стрижи сновали под ними над озерным простором, со скоростью пули влетая в норы-гнезда.

Золотые столбы мошкары, задушевно гудя, покачивались над водой.

В теплом оленьем глазу озера отражался благодный иконостас заката.

Антип с дедом плыли в старой лодке по румянному золоту в умиротворенной тишине к птичьему небоскребу, на крыше которого сидели жители Красной горки и болтали над пропастью коричневыми пятками. Шелуха сыпалась вниз облетающим цветом вишен.

Тело Антипа умашено теплым маслом заката.

Нет ничего лучше, чем быть неизвестным, в меру молодым, здоровым и при этом жить в заповедной глуши. Но мало кто догадывается о таком счастье. Сколько мальчишек умирает от скуки в нетронутых человеком местах.

Живешь в раю.

Сосновый лес. Чистое озеро. Люди без тараканов в голове. Несколько друзей. Тишина.

Этого мало?

Молись, чтобы под этой красотой не обнаружили полезных ископаемых.

Но кажется, что вот это не настоящее. Временное. Пустяк. А настоящее – там. Хочется шума, грохота, толпы, суеты, тесноты.

Какая глупость.

Ну, зачем человеку моторка, если у него уже есть весельная лодка?

Юный Антип, в отличие от большинства своих сверстников, не собирался покидать Чистое в поисках удачи и известности.

У него, как и у каждого охотника и рыбака, не было этих девчоночьих комплексов. Он жил в лесу у озера, как молодой зверь, и не представлял себе иной жизни.

К тому же, странное дело, стоило этому здоровому мальчишке покинуть свою заповедную родину, как у него



начинался жестокий приступ аллергии. Вот отчего он не любил школу, которая находилась в степном, полынном селе Белое в десяти километрах от Красной горки.

Только начинались каникулы, а Антип уже с тоской думал о первом сентябре.

Дикая, отчаянная тоска нападала на него в день, когда, скрипя песком, задевая ивы трепещущими на прохладном ветру одеждами, пройдет вдоль берега пророк Илья и за Длинным мысом помочится в воду.

Ильин день, конец купального сезона.

До него так далеко, но он непременно настанет этот печальный день. Бродит Илья вокруг сопок, погромыхивает своим посохом.

Плывет Антип с дедом по закату. Красногорцы сыплют лузгу с обрыва. Светятся за их спинами купола столов, зеленой шерстью дыбятся по сопкам сосновый бор с золотым подшерстком.

Гребет Антип, поглядывая через плечо. Золотые капли стекают с весел. Плывет и еще не знает, что это самые счастливые минуты в жизни. Болтают ногами односельчане, смеются чему-то, обсуждают закат и соседей. Не знает Антип, что эту картину будет вспоминать с тоской грешника, изгнанного из рая.

Астматики со всего Союза и социалистического лагеря слетались по путевкам на его родину подышать целебным воздухом реликтового бора. А он дышал им бесплатно круглый год. Все на его родине было целебным: воздух, вода, донный ил, произрастающие в лесу травы, грибы, ягоды. Даже картошка в огороде была целебной.

Плотным кольцом озеро окружали заросли облепихи. Особой, нигде более, кроме как на белых песках озера Чистого не встречающейся. К осени заросли начинали светиться золотом. Крупные, как початки кукурузы, гроздя ягод густо облепляли тяжело провисающие под их тяжестью ветки.

Собственно ничего целебного. Исключительная ценность озера Чистого и соснового бора заключалась лишь в том, что место это просто не успели отравить. Но люди, всю жизнь дышавшие затхлым воздухом городов, воспринимали нормальную среду как нечто чудесное,



необычное. И это заблуждение шло им на пользу. Страждущие получали облегчение. Мрачные становились добрыми. Худые полнели. Толстые худели. Глупые умнели. Умные думали: а на фига весь этот прогресс, весь этот комфорт, если в результате нужно ехать черти куда лишь для того, чтобы подышать чистым воздухом?

Нет, правда, в этой заповедной глуши даже улыбки местных жителей были целебными. Улыбнется тебе встречный увалень, баба в резиновых сапогах или сопливая девчонка – и весь день на душе приятно. А выпьешь из ведра воду только что из колодца – и ходишь хмельным.

Егерь Фома Плешивый, отец Антипа, как и большинство людей его профессии похожий на лешего, от прочих егерей отличался невероятным равнодушием к спиртному. Возможно, на весь Союз и был один такой егерь. Может быть, два. Ну, три. Не больше.

Но зато он любил книги.

Библиотека у егеря была не большая, но веселая.

Кроме специальной литературы, интересной лишь охотоведам, лесникам да собирателям целебных трав, на трех полках между лосиных рогов теснились «Золотой теленок», «Двенадцать стульев», «Похождения бравого солдата Швейка», «Четвертый позвонок», «Трое в лодке, не считая собаки», «Забавная библия», Рассказы Зошенко, О'Генри, «Недопесок» и прочее в том же духе. Отдельной низкорослой и разнокалиберной стайкой жались на верхней полке томики поэзии. Но к ним, сказать по совести, обращались редко. По вечерам егерь Фома и его сын Антип, раскачиваясь в самодельных гамаках на открытой веранде, читали веселые книги, попеременно сотрясая старый деревянный дом смехом. Егерь хохотал гулким, утробным басом, на который из леса откликался гуканьем ближайший филин. Антип заливался бекасиным бляеньем.

Дед, старый черт, с величественным и даже презрительным выражением на лице смотрел телевизор. Он сидел у открытого окна, чтобы выдыхать ароматный дым самосада наружу, чем, несомненно, слегка портил целебный воздух реликтового бора.

Антип вырос в стружках под верстаком в столярной мастерской деда. Вместе со щенками охотничьей собаки



Джульетты. Запах этих сосновых стружек, шуршание рубанка, мычание деда за работой – первое, что запомнилось Антипу. Дед мычал: «Под окном черемуха колышется...» И действительно под окном колыхалась черемуха, и через распахнутые окна в мастерскую проникал вместе с опадающими лепестками и ее печальный запах. А вообще-то у деда не было ни слуха, ни голоса, а пел он только когда оставался один. Дед был большим молчуном. Говорил только по делу, одиночными словами: «Стреляй!», «Подсекай!», «Тихо!». Иногда разговорится и выдаст: «Заходи слева!». Поразительно, как при таком скудном запасе дед научил внука плести сети, самоловки, корзины и даже делать лодки.

– Дед, как думаешь, сколько до вон той звезды? – спросит, допустим, Антип.

Дед сердито посмотрит на первую зеленую звезду, выпустит в нее клуб дыма и скажет речь:

– Какая разница? На твоём велосипеде не доедешь.

Мама телевизор слушала, лишь мельком поглядывая на экран. Как бы с осуждением. Она вязала очередной свитер со сложным рисунком, а телевизор отвлекал ее от этого занятия. У всех мужчин в доме было по несколько свитеров с одинаковым рисунком. Однажды такой же свитер появился и у директора дома отдыха, что вызвало у населения Красной горки недоумение и разного рода домыслы. Впрочем, мама Антипа, горожанка, была в лесу человеком пришлым и ни раз смущала деревенских жителей своими одеждами, разговорами и поведением. И кого бы из деревенских баб не смутил вид семейной женщины, едущей на работу на спортивном велосипеде в спортивном, плотно облегающем тело костюме. Совсем совесть потеряла, корова. Тьфу!

Бабушка, существо местное, кухонное, гремела кастрюлями и тазами, как джазовый ударник медными тарелками. Все лето она варила варенье. Процесс этот был непрерывным. Созреет клубника – варит клубничное, подойдет вишня – вишневое. Костянка, черемуха, смородина, ирга, облепиха, малина, ежевика, дикие лесные яблоки, ревень и даже паслен – все варилось и разливалось в пятилитровые банки. Погреба и в доме и в огороде были забиты этими



пыльными банками на пять лет вперед. Ягодные ароматы из кухни могли изгнать лишь грибные запахи. Основным заготовителем грибов и ягод с тех пор, как у бабушки «отказали ноги», был Антип. В лес он ходил с самолично сплетенным коробом. Таким большим, что при необходимости, допустим, в дождь мог бы послужить шалашом. Наденет его Антип на себя – и идет по лесу шалаш на кривых ножках. Напевает, под деревья заглядывает. Бабушка едва успевала обрабатывать то, что приносил из лесу внук. Она набивала деревянные бочки груздями. Отдельно сырыми, с бахромой. Отдельно сухими со сладкой ножкой. Отдельно сухими с ножкой горькой. Отдельно лисичками. Лисички были ее любимыми грибами, не считая, конечно, маслят и боровиков, поскольку среди лисичек почти не встречалось червивых, и были они, не в пример другим грибам, чистыми. К тому же делать с ними можно было все, что угодно. Хочешь – жарь, хочешь – вари суп. Можно солить, можно мариновать. А можно и пирожки печь. Или грибную икру делать.

Очень привлекательно смотрелся дом егеря из ночного леса. Весь светился, скворчал, шипел, булькал, хохотал. Бархатный баритон знакомого всему Союзу диктора заполнял собой все гулкое пространство страны и далеко разносился над озером. Чуткие ноздри обитателей ночного леса ловили запах самосада, варенья и прочих человеческих ароматов.

Да, вот так живешь и не знаешь, что ничего лучше этих дней в твоей жизни не будет. Да ничего лучшего и не надо. А живешь ты при социализме, при капитализме – какая разница, если живешь в заповедном лесу. В раю.

Есть у нас, русских детей, выросших в провинции, одна отвратительная черта. Мы стесняемся своих родителей. Испытываем за них неловкость и даже стыд перед случайными людьми из больших городов. Особенно людьми, говорящими с легким европейским акцентом. Стыдимся за своих папок и мамок перед заезжими незнакомцами, которые, возможно, великие люди, а возможно, и ногтя наших предков не стоят.

Антипу это ушербное чувство не было знакомо.



Он не просто уважал, но гордился и отцом, и мамой.

Мама у него – прикинь – была мастером спорта по плаванию.

А отец ходил на работу не с потертым портфелем в контору, а с нарезным стволом в лес. Не бумажки писать, а зверье от браконьеров защищать.

– А мне по середине, кто Вы такой, если, конечно, не господь Бог, – вежливо отвечал он застигнутому врасплох человеку с ружьем, – Вы не господь Бог? Тогда попрошу оружие. И не надо трясти липовой лицензией. Используйте ее вместо туалетной бумаги. В заповеднике охота запрещена – с лицензией или без лицензии. Мне по середине каких премий Вы лауреат и с кем пьете водку. Оружие.

Плешивый был неподкупен, что не такое уж редкое явление среди непьющих егерей. В его владения с ружьем можно было сунуться лишь по глупости да незнаю.

Ты поищи еще такого отца.

Часто Антипу снился сон. Стоит он перед важным браконьером и гудит голосом отца: «А мне по середине, кто Вы такой, если, конечно, не господь Бог. Вы не господь Бог? Оружие!»

К двенадцати годам Антип знал все, что должен знать егерь.

Он знал, какое поголовье оленей и лосей без вреда для себя может прокормить заповедный лес. Как отловить излишек для передачи животных в зоопарки или другие леса, где человек уже перебил зверье и теперь скучал без охоты.

Он знал все родники окрест. Знал, как и когда их следует расчистить и где у водопоев рассыпать соль, как на зиму заготовить подкормку и доставить ее на место.

Он знал, как вести себя с браконьерами, которые, впрочем, уважая угрюмый характер отца, в заповедник не заглядывали. Младший из рода Плешивых знал, что когда дед умрет, а отец станет таким же старым, как дед, он, Антип, займет должность егеря.

Отец и мама играли на гитаре и в особо задушевном настроении пели бардовские песни. И естественно, как



только пальцы у Антипа доросли до нужной длины и были способны обхватить деку, он тоже стал играть на гитаре и петь бардовские песни.

Отец Антипа, как и большинство хороших отцов, не доиграл в детстве. В душе, вопреки лысине, окладистой бороде, рокочущему басу и золотым зубам, он оставался пацаном.

Фамилия у Плешивых, увы, была говорящей. Отец, переживая за раннюю лысину, никогда перед чужими не снимал выцветшей солдатской панамы. Ни в общественных местах, ни перед начальством. В том числе и очень большим.

Антип же не стеснялся даже своей фамилии.

Единственно, чего он стеснялся – носить крестик, подаренный бабушкой. Никто из его сверстников крестики не носил, и Антип жил двойной жизнью. Днем по дороге в школу, избегая насмешек мальчишек, он прятал крестик в дупло березы, росшей у калитки, а, возвращаясь домой, на ночь надевал его, что бы не обидеть бабушку. Ни бабушке, ни Богу такое поведение не нравилось. Чувствуя вину, Антип избегал встречаться глазами с Богом. На бабушку, которая часто разговаривал с ним, Бог смотрел с одобрением и теплотой, а на Антипа строго и только что не вздыхал. Были бы у Бога нарисованы руки, он обязательно бы погрозил Антипу пальцем. Каждый раз, проходя мимо иконы, Антип чувствовал вину и опускал голову.

В лес он всегда ходил с крестиком.

Под благим предлогом воспитания сына Плешивый-старший вовсю предавался мальчишеским забавам. Профессия позволяла.

Он учил Антипа тому, что сейчас зовется выживанием в экстремальных условиях.

Впрочем, лесистые сопки, окружающие большое озеро, показались бы пугающе дикими городскому ребенку. Для Антипа озеро Чистое и бор реликтовой сосны не были дикой природой. Они были привычной средой обитания. Вроде сада-огорода. К двенадцати годам он был опытным рыбаком и охотником. Его, лесного, озерного человека, умевшего развести костер без спичек и не



считавшего это большим чудом, смешили газетные рассказы об ужасах, которые пережили заблудившиеся в лесу.

Он не видел этих ужасов, а видел просто придурков, забывших, что у них есть руки. В лесу, по его мнению, не то что умереть от голода, но и заблудиться вообще невозможно.

У Антипа было то, что давно потеряли люди и комнатные собачки, но что есть у всякого лесного зверя – безошибочное чувство направления. Чувство дома. Завези его с завязанными глазами в лесную глушь, покрути волчком двенадцать раз, а потомними повязку и спроси: где деревня? Он головой встряхнет и, секунды не подумав, ткнет пальцем: там. Сколько бы времени, в каком бы тумане ни кружил по лесу Антип, он всегда знал в какой стороне Красная горка.

Объяснить это невозможно.

Знал – и все.

Как знают волки, где их логово.

Отец, дед и мама передали ему все, что знали сами.

Стрелял юный отрок навскидку с обеих рук. И редкий чирок мог увернуться от дроби, вылетевшей из одностволки Антипа. Подсекал большую рыбу хладнокровно, наверняка. Поплавок потонет, а он считает – и раз, и два, и три. И только когда досчитает до пяти, коротким рывком всаживает крючок в челюсть.

Мог проплыть озеро в самом широком месте. А это четыре километра. Мог и вдоль. Где четыре, там и десять.

Плыл весело. Забавляясь. Меняя стили. Начинал брасом. Потом на спине. Со спины переходил на кроль, баттерфляй. А то и вообще крутился винтом. Плыл и пел о трех греках, везущих в Одессу контрабанду или о гусаре, не доскакавшем с донесением, потому что в него попала круглая, тяжелая пуля. Зря гусар усы крутил, кудри завивал. Песня была прерывистой, трассирующей. Половина слов растворялась в гулко бурлящей под руками воде. Стил плавания подбирался под стихотворный размер.

Прыгал Антип с двенадцатиметрового обрыва не солдатиком – ногами вперед, – как вся остальная пацанва, а ласточкой – головой вниз. Без особого напряжения он мог пронырнуть под водой до ста метров. Без ласт. Умел



бегать по дну, превратив тело в крыло. Он заслуживал прозвища Человек-амфибия. Но дед, а за ним и вся деревенская детвора звали его за это умение Лягушонком.

Был у Антипа летний друг – сын директора дома отдыха Паша Сопелкин. Сопля, если без церемоний. Летний, потому что в остальное время жил Паша в городе.

Такой хитрый пройдоха и засранец, что сразу было видно – выйдет из него большой, уважаемый человек. Крупный политический деятель.

Чтобы понять всю глубину этой дружбы, нужно было на цыпочках прокрасться в дальний угол на территории дома отдыха, где на поляне в тени сосен стоял гимнастический городок: перекладина, брусья, кольца и несколько простейших тренажеров с отягощениями, сваренных из водопроводных труб местными умельцами. Между соснами натянут гамак. Длинный, как волейбольная сетка. Впрочем, это и есть старая волейбольная сетка. В гамаке валетом, упираясь в пятки друг друга, раскачиваются, чудом сохраняя равновесие, Паша и Антип. Тихие, как два паука в засаде. Раскачиваются и высматривают особо спортивных лохов из вновь прибывших отдыхающих. Как только жертва в цветастых шортах, с махровым полотенцем на шее по пути на пляж соблазняется спортивными снарядами, Паша покидает паучью сеть. Излучая почтение и восхищение бицепсами очередного Геракла, он заводит беседу. Разговор заканчивается пари:

– Дядь, а дядь, спорим на рубль, кто больше сделает подъемов переворотом?

Вновь прибывший с умилением смотрел на непосредственного пацана и спрашивал, подняв брови:

– А у тебя есть рубль?

Паша отвечал неопределенно:

– Очко играет, да?

– Ну, хорошо. На рубль так на рубль, – бодро говорил новичок, усмехнувшись.

Не усмехнуться было невозможно.

Фигурой и лицом Паша напоминал миниатюрного Черчилля.

Геракл растирал ладони, сплевывал в них, подпрыгнув,



цеплялся за перекладину и делал, допустим, тридцать подъемов переворотом. После чего приглашал Пашу повторить подвиг.

Но поскольку в условиях пари ничего не было сказано, с кем должен соревноваться Геракл, появлялся Антип и делал тридцать три переворота.

Не больше.

Новичок распалялся, свирепел и предлагал:

– Еще раз.

– Два рубля, – принимал вызов Паша.

Геракл, багровея, делал сорок подъемов переворотом.

Антип – сорок три.

– Еще раз? – облизывался Паша.

– Не сегодня, пацаны, – отвечал, оглядываясь в смущении, новичок, встряхивая натруженные руки. – Сегодня я с поезда.

На следующий день он приводил к турнику своего знакомого.

Но сколько бы переворотов ни делал его товарищ, Антип делал на три больше.

Вечерами кто-нибудь из особо заядлых спорщиков украдкой сворачивал с тропы на неосвещенную спортплощадку и, пыхтя, тренировался.

По утру, зевая, приходил Паша и подбирал высыпавшие из карманов мелочь и сигареты. Если на турнике крутился иностранец, из его карманов могли высыпаться также зажигалка или жвачка.

Встречались среди вновь прибывших такие ушлые отдыхающие, что предлагали:

– А покрутись-ка ты сначала.

Антип прыгивал с волейбольной сетки и делал для верности триста подъемов переворотом, после чего Паша останавливал его, говоря:

– Хватит мельтешить, я со счета сбился.

Санаторный новобранец, покачав в изумлении головой, отдавал рубль, не подходя к снаряду, и говорил комплимент. Что-то вроде:

– Ну, ты, брат, и павиан.

Когда желающие на спор покрутиться на турнике временно иссякали, Паша и Антип устраивали засаду на



пляже. Сидят на деревянном настиле одной из трех эстакад, уходящих в озеро, болтают ногами.

Поджидают тюленя в лапах. Или Циклопа с маской на лбу. Что одно и то же.

– Дядь, а дядь, спорим – без трубки не донырнешь до причала, – подначивает бледнокожего из нового заезда Паша.

– А ты донырнешь?

– Вот он донырнет, – показывает на Антипа Паша.

– Без ласт?

– Без ласт. Спорим на рубль? Вы в лапах, он без ласт. Погнали пчел в Одессу?

Отдыхающий внимательно смотрел на ступни Антипа, на кисти рук и говорил:

– А зачем ему ласты? Не нужны ему ласты. Катком расплющило?

Отдыхающий всплывал на полпути, фыркая, как гренландский кит. Антип всякий раз достигал причала, но дышал ровно.

Короче говоря, Паша с Антипом и дня без мороженого не жили.

Следует добавить, что, как и большинство деревенских мальчишек, приученных хлопотать по хозяйству, был Антип немножко кулачком. Эта черта характера забавляла Пашу, между нами говоря, еще того лентяя и сибарита. Паша тратил легко заработанные деньги на удовольствия жизни – то же мороженое, а также лимонад, шоколад и кино. Антип копил на подводное ружье. Забаву, которую не одобряли старшие Плешивые, считая ее, и не без оснований, браконьерским орудием лова.

Конечно, пацаны не только лохатили отдыхающих. Были у них и чисто мужские занятия. Допустим, искать в осинниках на северных склонах Раздолья сброшенные сохатыми рога.

Иногда Антип брал Пашу на рыбалку. Крайне редко. Рыбак из Паши был никакой.

Азарт портил ему все удовольствие от ужения рыбы.

Паша, выпучив глаза, страшно спешил. Спешил, нанизывая червя на крючок. Спешил, забрасывая удочку, и червяк слетал с крючка еще в воздухе. Поплавок едва



пошевельнется, а он уже подсекает. Такая у него страстная натура.

Спешил Паша, чтобы поймать больше, но чем больше торопился, тем меньше в его садке было рыбы.

Он путал лески, свои и чужие. Обрывал крючки на чистом дне, цепляя то лодку, то Антипа, а то и подсекая самого себя. Если забрасывает удочку, а мимо пролетает ворона или чайка, обязательно зацепит.

Ему бы с удочкой на уток охотиться.

Паша в жадном нетерпении путал, рвал, пачкался червивой землей, облеплял руки, одежду и волосы рыбьей слизью и чешуей. Крупные рыбы непременно срывались.

Паша психовал и ругался.

Когда Паша забрасывал удочку, Антип падал на дно лодки и прикрывал уши руками, опасаясь, как бы Пашин крючок снова не зацепил их.

Антип никуда не спешил, рыбачил, как пилил дрова или копал картошку, основательно, со смыслом, с удовольствием. Насадит червя, сполоснет руки, вытрет их полотенцем, которое по обычаю местных удильщиков во время рыбалки шарфом висит у него на шее, и только тогда закинет удочку. Возьмет щепотку прикормки и бросит точно в поплавок. По гусиному перу он знал все, что происходит под водой у его крючка. Смотрит, улыбается. И вдруг — раз! — и удилище колесом, леска с шипеньем режет воду.

После очередной удачи Антипа, Паша начинал суетиться и мельтешить еще сильнее, опасаясь упустить время клева.

Он, конечно, тоже получал удовольствие от рыбалки.

Но сильно от этого удовольствия уставал.

Но больше всего любили пацаны посмотреть на мир и поплевать вниз со старой пожарной вышки, которая скрипела и шаталась на ветру. Да и без ветра тоже шаталась и скрипела.

Вышка стояла на вершине сопки Медвежьей. Водились в Раздолье не так давно медведи. Водились, да вывелись. Название осталось. Поднимались они к вышке светлым сосновым лесом, устланным серебряным мхом. Шли долго и время от времени оглядывались на озеро. С каждым разом оно как бы проваливалось во впадину.



И от этого чувствовалась высота. Тишина, опрятность, особая прозрачность этого места, шум хвои и запах сосны — все это обволакивало покоем, защищенностью, приводем. И становилось понятно, почему это место называли Раздольем. И звон. Тихий звон высоты. Снежная цепь далеких гор выглядела облаком. Казалось, озеро, окруженное лесистыми сопками, помещено на этом отдельно плывущем облаке. Если бы Антип или Паша не были воспитаны атеистами, они бы сказали так: это старый, добрый Бог держит в своих морщинистых ладонях Раздолье. Едва заметно покачивает и обдувает.

Вышка скрипела и раскачивалась.

Удивительно, как шорох сосновых игл обманывает глаза и играет воображением.

Корпуса санатория казались белыми парусами старинных кораблей. Бухту, в которой они бросили якоря, хотелось назвать Зурбаганом.

С внешним миром этот отдельно зависший над планетой остров соединяли Нижняя и Верхняя щель. Верхняя, прямая, поднималась из степи к Красной горке, соединяла лесничество с пастбищем и селом Белым, куда без особой охоты Антип понуро тащился в школу. Дорога обратная, хотя и поднималась в гору, была веселей и вроде бы как короче. По нижней зигзагообразной щели к санаторию была проложена заасфальтированная дорога.

С вышки была видна поляна, на которой время от времени появлялись и исчезали олени.

Надо сказать, что, вольно бегая по лесу, пацаны нарушали режим заповедника. По идее санаторий, дикий лес и населяющее его зверье должны были мирно сосуществовать, не досаждая друг другу, то есть не нарушая дозволенных границ и не вторгаясь на чужую территорию. Отдыхающие время от времени тоже ходили в лес, но только с экскурсоводами и только по тропам, согласованным с егерем Плешивым. Со смотровых площадок отдыхающие подсматривали за лесным зверьем, не выдавая своего присутствия. Самым громким звуком, не считая щелчка фотоаппарата, на туристской тропе было: «Г-с-с-с!». Этот звук издавал экскурсовод, прижимая к губам палец. Но поскольку Антип был практически



существом из леса, а Паша почти своим человеком в лесничестве – им попрощалось.

На вышке от страха ли, от захватывающей дух красоты ли, от ровного ли шелеста сосновых игл создавалось впечатление глухоты. Донесет от санатория случайным порывом ветра: «...как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен...», – и снова глухота. Страх высоты и восторг. Стоишь на этой скрипучей лестнице в небо, Эйфелевой башне, сколоченной из сосновых стволов полвека назад людьми, которых давно нет в живых, пошатываешься и думаешь: да, это мир покоится в теплых ладонях Бога.

Типа того. Как-то так.

Словно прошла тысяча лет. А все как сейчас. Ясно, прозрачно, покойно. Но никого из живущих ныне не осталось. И лишь шум соснового бора и стук дятла – прежние. Вот так же шумел бор и долбил гулкую плоть старой сосны дятел. Тысячу лет назад.

Время от времени, минуя туристские тропы, навещали летние друзья свои скрады. Пещеру у водопада, к которой нужно было по зеленой и скользкой от влажного мха стене спускаться по веревке. Человеческое гнездо на лохматой сосне.

Но, несмотря на свою лопухость и деревенскую наивность, не во все тайны заповедника посвящал Антип Пашу.

В прошлом году наткнулись они с отцом на каменистое обнажение, покрытое кустарником и пятнами бурого лишайника. И высмотрел глазастый Антип подозрительную черноту за кустами.

– Назад! Давно шею не ломал, – крикнул отец.

Но есть случаи, когда даже отца не надо слушать.

– Пещера, па.

– Осторожнее.

– Пустая. Вход волчьей ягодой зарос.

На сыром склоне у входа в пещеру рос кукольник. Как и все ядовитые цветы, он отличался особой, вульгарной красотой. Знаете, как чрезмерно накрашенная женщина.

– Из него первобытные люди яд для стрел делали, – дождавшись отца, сказал Антип.

– Да ты что! Не знал, – отец перекинул карабин с



левого на правое плечо. – А ты знаешь, как с его помощью вождей выбирали?

И замолчал.

– Как?

– Хочешь стать вождем? Прекрасно! Ешь корень кукольника. Черемицу Лобеля по научному. Садятся кандидаты в вожди на опушке друг против друга. Ноги калачиком. Жуют корень, глаза друг на друга пучат. А племя стоит кружком и внимательно наблюдает за их поведением. Представь себе. Язык горит. Горло першит и скреблет. Слюни текут, как у бешеной собаки. Судороги. Всего тебя наизнанку выворачивает и сильно хочется по большому. А ты сиди и соблюдай достоинство. Веселые были выборы. Сто раз подумаешь, надо ли мне в вожди, – сказал отец, сморщившись, будто ему не раз доводилось проходить через процедуру выборов.

– А что потом? Кого выбирали?

– Кто в кусты последним побежит, тот и вождь.

Проникнув через узкий лаз в сумрак пещеры, Антип увидел потолок, покрытый копотью. Ему даже почудился запах первобытного костра, горевшего здесь днями и ночами неизвестно сколько тысяч лет тому назад. Запах из не нашей эры.

Но не это было самое главное. Стены пещеры были исцарапаны.

Приглядевшись к царапинам, отец помрачнел и сказал, расстроившись:

– Писаницы. Звериный стиль. Пропал заповедник. Наедут археологи – все зверье перепугают.

– С чего это они наедут? – спросил Антип, которому была неприятна мысль об археологах, пугающих зверье.

– Наедут, – хмуро подтвердил отец, – большая редкость эти писаницы.

– А давай никому не скажем.

– Как это то есть?

– Могли мы пройти мимо и не заметить?

– Думаешь?

Отец снял солдатскую панаму, почесал плешь и принял решение:

– Договорились. Не заметили. Станешь егерем – на твое усмотрение.



В тот же день отец открыл Антипу еще одну тайну заповедника, мимо которой они прошли и не заметили. Бугорки и холмики между сосен, покрытые мхом, заросшие травой, которые складывались в три круга – один в другом. Древнее городище. Сто раз будешь здесь грибы собирать и не догадаешься. Тысячи лет о нем никто не знал. Пусть еще постоит неизвестным.

– Станешь егерем – на твое усмотрение, – повторил отец, перекладывая бремя тайны на совесть Антипа.

Эта тайна, должно быть, передавалась из поколения в поколение. А поскольку Плешивые были людьми непьющими, тайны хранить они умели.

Расскажи они с отцом внештатному корреспонденту районной газеты Баулькину о своей находке, их ждала бы слава, а заповедник – нашествие ученых и туристов. Мало ли какие исторические открытия скрываются за этими исцарапанными кремнем стенами, под этими буграми, складывающимися в круги. Не слова на заборе. Но егерь Плешивый был мудр. А мудрость и тщеславие несовместимы, взаимоисключающи. Славе егерь предпочитал покой и волю. Чего-чего, а покоя и воли в его суровой профессии было предостаточно. Егерь Плешивый не терпел суеты и хвастовства ни в других, ни в себе. Он, допустим, пел не только чужие бардовские песни, но и свои. А выдавал их за чужие. Да и пел он исключительно по душевному расположению и только в кругу собственной семьи.

Антип часто думал о людях, исцарапавших стены пещеры, и о других людях, оставивших едва приметные следы городища. Он даже высказал предположение, что именно от этих людей, исцарапавших рисунками зверей стены пещеры, а потом через тысячи лет оставивших бугры, складывающиеся в круги, и произошел род егерей Плешивых.

Отец хмыкнул, но не стал разочаровывать сына:

– Все может быть.

То же самое он сказал и дяде Яше Кривому, когда тот рассказал легенду о стреле с каменным наконечником.

Будто бы раз в десять лет рядом с застреленной стельной оленихой находят мертвого охотника. А из правого



глаза его торчит стрела. Вытащат стрелу, а наконечник – кремневый.

Почему из правого?

Козе понятно. Когда целится, человек левый глаз закрывает.

А почему каменный наконечник?

В том-то и дело. Никто не знает, откуда прилетает эта первобытная стрела, и кто ее пускает. Никаких следов. А стрела – вот она. Из глаза торчит.

– Все может быть, все может быть, – говорил отец.

Антип же с подозрением смотрел на старого браконьера дядю Яшу.

Левого глаза у него не было.

Дядя Яша был левшой.

С тех пор, как лишился глаза, дядя Яша на охоту больше не ходил. Нечем было целиться. Даже уток не стрелял.

Конечно, Антип считал Пашу своим другом. Но доверить тайну не мог. Друг-то он друг, но язык у друга, как ботало у блудливой коровы, как вечный двигатель – никогда не останавливается.

Ну, легенду о стреле – это пожалуйста. Почему бы и не поугасть в сумерках. А вот о кругах в сосновом бору, о пещере с писаницами Паше знать не полагалось.

Дружба, тем не менее, была крепкой, какой могла быть только в их возрасте.

Поссорились они лишь однажды, когда Паша сказал, что у них с Антипом общая мамка. До Антипа и раньше доходили нехорошие намеки на особые отношения мамы с директором санатория и очень расстраивали его.

Расстроился он и в тот раз.

Погнался за Соплей, чтобы убить его.

Загнал в озеро и едва не утопил.

То есть утопил.

Но вовремя испугался, вытащил на берег и откачал.

Как ни странно, после этого события, ставшего их маленькой тайной, они сдружились еще сильнее.

Сопля после утопления сделал правильные выводы: прятаться надо не в дикой природе, но в толпе, а язык, когда разговариваешь с детьми природы, вовремя прикусывать.



Антип никаких выводов не сделал, но очень испугался самого себя, не понимая, с чего он с такой яростью покусился на жизнь своего лучшего друга.

Сергея Антоновича Сопелкина невозможно было полюбить. Был он невысокого роста с преогромным животом. Нос наперстком. Лицо в веснушках. Рыжие волосы ниспадают бараньими рогами. Даже Паша стеснялся отца и говорил в нос при приближении красивой женщины:

– Папка, подтяни живот.

– А что живот? – отвечал, похохатывая, Сергей Антонович. – Живот как живот. У всех есть животы. Мне, Паша, без живота нельзя. Какой может быть авторитет без живота?

Сергей Антонович был человеком неунывающим и общительным. К любому незнакомцу он чувствовал душевное расположение и тут же вступал в приятельскую беседу.

О чем бы он ни рассказывал, даже о самых скорбных событиях личной жизни – разводе с женой, аварии, похоронах старого товарища – печальное повествование внезапно прерывалось заразительным похохатыванием.

Случайный собеседник вначале с испугом и недоумением посматривал на неистребимого оптимиста, но вскоре неожиданно для себя смущенно прыскал в кулак. Раз, другой, а там уж закатывался в безудержном смехе – до икоты, до рыданий, до колик в животе.

При том, что Сергей Антонович, казалось бы, ничего смешного не говорил.

Это был не человек, а ходячая бутылка шампанского в образе человека. Он постоянно пузырился едва сдерживаемым весельем.

Выступает, допустим, Сергей Антонович с докладом о внутреннем и внешнем положении. Что смешного? Однако, как ни сдерживал себя Пашин отец, пробка то и дело вылетала. С большим усилием возвращал он ее на место, делал серьезное лицо, но с нечеловеческими усилиями закупоренное веселье вновь вырывалось наружу. Предотвратить эти неконтролируемые взрывы смеха было невозможно.

Пожалуй, сравнение с ходячей бутылкой шампанского неточно. Это был действующий вулкан смеха на тол-



стенных ножках, извержения которого невозможно было ни предсказать, ни, тем более, предотвратить.

Читал ли он доклад Генерального секретаря съезду нашей партии, библию, или даже учебник химии, его пухленькое тело то и дело содрогалось в конвульсиях смеха. Вулкан был постоянно действующим.

Вся жизнь без каких-либо исключений казалась ему забавной пьесой. И в этой пьесе был он даже не актером, а случайным зрителем, которого знакомый режиссер попросил подменить запившего актера.

Его смешила не сама пьеса, а именно то, что играет в ней он, случайный человек с улицы. Смешили партнеры, кулисы, реквизит, шепот из суфлерской будки, зал.

И вот он, обыкновенный раздолбай, играет трагическую роль, подмигивая со сцены землякам в зале. Причем подмигивает в самых серьезных эпизодах, как бы напоминая, что все это неправда, выдумки, пустяки.

Паша Сопля, опровергая пословицу о яблоках, падающих с одной яблони, был человеком чрезвычайно серьезным. Если бы не физическое сходство, трудно было бы поверить, что Сергей Антонович его отец.

Жизнь санатория «Ключи» на фоне Красной горки, озера Чистого, реликтового бора была не только беззаботной и веселой, но и представлялась Антипу мимолетной, ненастоящей, как пьеса в самодеятельном театре. Возможно, из-за Пашкиного отца. Впрочем, в те годы вся страна походила на беззаботный дом отдыха в глухой провинции. Всяк развлекался на свой лад, не думая о том, что когда-то отпуск закончится.

Нет, все это брехня насчет директора санатория и его мамы. Конечно, Сергей Антонович шутник и весельчак. Смеется без причины. Но не такой же он дурак, чтобы приставать к женщине, муж которой ходит на работу с карабином? А сфера его деятельности, кстати, непосредственно соприкасается с территорией санатория «Ключи». Глупости! Вякнет Пашка Сопля еще раз – утоплю. А спасать не буду.

В то лето они вступили в пору первой, бескорыстной любви и, поскольку всегда были вместе, влюбились естественно в одну и ту же особу.



Даму с поросенком.

Лежали они однажды в своей паутине, поджидая отдыхающих из нового заезда, смотрят: бежит по дорожке пятнистый, как леопард, и вислоухий, как сеттер, поросенок в альпинистской обвязке. Бежит и хрюкает. Следом, извиваясь змеей, шуршит по земле поводок, цепляется темляком за брусчатку.

Поросенка преследует девчонка и кричит писклявым голосом:

– Нерон, Нерон! Куда ты, Нерон? Стой, Нерон! Не буду я тебя купать, грязнуля.

Но Нерон ей не верит, удирает, похрюкивая, подальше от пляжа.

Бежит девчонка по дорожке, вдоль которой с разинутыми ртами стоят урны-пингвины. Девчонка, должно быть, из заполярья. Бледная поганка. Медуза земноводная. Горожанка. Не догадалась скинуть вьетнамские шлепанцы. Далеко ли в них убежишь. На ней лиловый купальник и панама, напоминающая шапку мухомора. Тощая. Голенастая. Ноги длинные, длинные. Как летние каникулы. Как сама жизнь.

Бледная-то она бледная, поганка-то поганка. Но такая бледная поганка, о которой, сами знаете кто, непременно бы написал: «а во лбу звезда горит». То есть не заметить ее невозможно.

А тут еще и поросенок.

Бросились в едином порыве Антип и Паша наперехват поросенка.

Антип его в падении за заднюю ногу схватил. Как ни пронзительно заверещало свободолюбивое животное, а девчонка пронзительней:

– Мальчик, не делай ему больно!

С бега перешла на походку гимнастки-художницы, приняла поводок и, сделав книксен, говорит:

– Спасибо, мальчики, провожать меня не надо.

Сказала и все той же походкой, полной достоинства и некоторой надменности, пошла прочь.

Мальчики? Пацаны переглянулись, кто ее провожать собирается, и сказали:

– Воображало.



Сказали и побежали следом. Вообразать.

– Девочка, девочка, а где здесь речной вокзал? Когда отплывает вечерняя подлодка в Воркуту? – спрашивает даму с поросенком Паша. – Девочка, ты не знаешь, как пройти на проспект Муссолини?

Антип без слов закружился по дорожке колесом, перепугав странным способом передвижения Нерона. Поросяенок успокоился только тогда, когда Антип пошел на руках.

Паша, не отличавшийся спортивным сложением, забалтывал бледную заполярную поганку, как ему казалось, остроумной беседой.

Поросянка Нерона он называл волкодавом, свистел ему и призывал разорвать встречных отдыхающих, говоря: фас!

– Поросяенок лучше собаки, – защищал вкусы заполярной поганки Антип, – когда вырастет, его можно будет резать и съесть.

– Дурак! – с презрением смотрела на Антипа девчонка и, подняв Нерона, целовала его в розовый пятак: – Не бойся, Нерон, никто тебя не зарежет. Ты никогда не вырастешь.

– Вырастет, вырастет, – настаивал Антип, еще не зная, что женщинам не всякую правду нужно говорить.

– Деревенский житель, – объяснял незнакомке бестактные речи своего приятеля Паша и переходил на личности: – Антип, ты не пробовал на ушах летать?

Уши у Антипа были в прямом смысле выдающиеся. Торчали перпендикуляром. Размером со старые грузди. На вкус эстетически образованного человека размер ушных раковин великоват. За глаза отдыхающие звали Антипа Чебурашкой, Мутантом и Бестией из дикого леса.

На взгляд же лопоухого Антипа аномалией как раз были маленькие и плоские, как фабричные пельмени, ушки, прижатые к голове, поскольку из-за своей недоразвитости плохо выполняли основную функцию. Они казались уродливыми, вызывали жалость, смешанную с отвращением. Таковую же, как крошечные ручки и ножки у старика-сапожника. Карлика.

– Зато я в три раза лучше тебя слышу, – отвечал, насупившись, сверкая очами и показывая из-за спины кулак, Антип.



Честно сказать, и глаза у Антипа не вызывали эстетического удовольствия. Не в том дело, что были они слегка выпучены, косоваты и разноцветны (один синий, как озеро Чистое, другой вечнозеленый, как сосновый бор), а дело в том, что своими разноцветными глазами он видел в темноте то, что другие не видели.

Скорее всего, в давние времена человек вел сумеречный образ жизни, и глаза его были приспособлены к темноте не хуже, чем у кошки. Но когда научился трением и высеканием добывать огонь, приучился к костру, он постепенно разбаловался и утратил преимущества сумеречного существа.

Станным образом Антип избежал общей участи и сохранил ночное зрение. Возможно, потому что все предки по отцовской линии были лесными стражами. Но на всякий случай, опасаясь насмешек, о сумеречных свойствах своих несколько выпученных, косоватых и разноцветных глаз Антип никому из новых знакомых не рассказывал.

И правильно делал.

Люди склонны объявлять уродством чужие преимущества.

– Облепиха – сибирский ананас, – представил Антип даме с поросенком золотое ожерелье озера Чистого.

– Семейство, между прочим, лоховых, – ехидно добавил Паша, блеснув одновременно глубокими познаниями и остроумием. – Осторожно! Каждая веточка с колючкой.

– Фи! – состроила гримасу разочарования незнакомка, выковыряв из плотного початка ягодку и попробовав ее. – Тоже мне ананас.

– Сибирский, – уточнил Паша с двусмысленной улыбкой.

– Облепиху нужно после первого морозца собирать, – встал на защиту чести и достоинства родного кустарника Антип. – Тряхнешь – и осыплется. А сладкая! А полезная! Таблетки на ветке. Что ты! Кто ее ест – ничем никогда не болеет.

Они пришли на пляж и женщина, стоящая под зонтом у мольберта, сказала, не вынимая сигареты изо рта:

– Инга, здесь коварное солнце. Обгоришь, как медуза. Прячься под зонт.



- Ладно тебе, мама, – отвечала дама с поросенком.
- Не ладно, а помни о своем сердце.
- Ой, мама.
- Не ой, а марш под зонт.

Поскольку руки Ингиной мамы были заняты кистями и палитрой, а пальцы перепачканы красками, она по-мужски передвигала сигарету по углам рта без помощи рук. Щурилась от дыма, от солнечных зайцев на воде и казалась мрачной. Но писала она в стиле импрессионистов чистым цветом: радостные брызги, сияющие тела купальщиков, эстакаду, уходящую в небо, в облака. Что-то среднее между Ренуаром и Дейнека. Конечно, ни Паша, ни Антип в живописи не были искушены. Но кто сказал, что нужно быть непременно знатоком искусства, чтобы испытать восторг перед прекрасным? Конечно, кто спорит, в этом восторге было немножко лицемерия, но совсем чуть-чуть.

И минуты не прошло, как Паша вошел в доверие к художнице, и Инга была отпущена под его ответственность принимать водные процедуры. Нерон же, привязанный к ноге Ингиной мамы, лежал на боку в тени большого пляжного зонта и, прикрыв глаза белесыми ресницами, хрюкал от удовольствия.

Антип сошел с ума. Он прыгнул с ближайшей скалы в воду. С этой скалы никто никогда не прыгал. Мало того, Антип вскарабкался на сосну, растущую на ее вершине, и прыгнул с сосны.

Что может быть приятнее золотой изнанки волны, увиденной всплывающим из глубины ныряльщиком? Волны, прихотливый и никогда не повторяющийся узор которой, выткан солнцем и ветром. Всплывающий со дна к обратной стороне волны ныряльщик чувствует полет. Рыбы не плавают. Плавают отдыхающие и домашние утки. Рыбы летают в воде. И этот полет тем именно приятен, что позволяет обходиться без крыльев.

Насладившись подводным полетом, Антип плавал между эстакадами разными стилями с такой скоростью, что случись это на олимпийских играх да спрячь уши под резиновую шапочку, быть бы ему чемпионом. Но, оглянувшись украдкой на ту, ради кого старался, с глубоким разочарованием и досадой видел обращенную к



нему розовую спину. Ударяя ладошками о воду, она осыпала брызгами Пашу. Паша, мерзавец, оказывал слабое сопротивление, делал вид, что терпит поражение, увертывался и прикрывал лицо руками.

А когда, побив несколько мировых рекордов, Антип подходил к ним, он услышал, как бледная Инга делится с Пашей своими самыми заветными тайнами.

– В детстве папа из-за границы привез мне рубашку с моим портретом. Ой, я такая популярная была, такая популярная. Ты даже не представляешь. Мальчишки увидят, что я в рубашке во двор выхожу, сразу говорят: смотрите, смотрите, Инга идет.

Такими секретами с первым встречным не поделишься. И Антип почувствовал себя лишним.

Но на беду свою Паша увидел знакомого отдыхающего с гитарой и приволок инструмент, дабы усладить слух новой знакомой. Поскольку сам он не был музыкально одарен, эта миссия была поручена Антипу. Паша еще не знал, что человек, умеющий брэнчать на гитаре и петь слегка в нос «Девочка моя, синеглазая» и прочую чушь, для девчонок неотразим. Как пирожное. Куда идет этот мир, не при пацанах будет сказано, если мужчина в нем ценится не за каменные бицепсы и прочие мужские достоинства, а за красивый голос. Хорошо еще не за длинные ноги.

Антип спел «Перекаты», спел «Полночный троллейбус», спел «Гостиницу». На гитариста слетелись женщины всех возрастов и сословий со всего пляжа. И Паша понял, что в ближайшее время все, что ему остается, так это носить за Антипом гитару. И отобрал гитару.

– Хватит дребезжать, – говорит, – пошли лучше покажем Инге вышку.

Лучше бы Антип на гитаре дребезжал.

Увидела Инга сиренево-розовые цветы с пурпурными прожилками:

– Ой, какая прелесть!

– Не советую рвать. Особенно в дождь, – встал между Ингой и цветком Антип.

– Почему? – спрашивает Инга.

– Неопалимая купина. Ее даже коровы не трогают.



А щедрый Паша:

– Да ладно тебе коровы, пусть сорвет. Дождя-то нет.

– Нельзя. К нему даже Нерон не подойдет.

– Почему?

Антип смотрит на них, как на дурачков, и объясняет:

– Неопалимая купина!

– И что?

– Руки пожжет. Паша, дай зажигалку.

Поднес он зажигалку, неделю назад выпавшую из кармана венгра, делавшего поздним вечером на турнике подъемы переворотом, и цветок вспыхнул сиреневым пламенем.

Инга взвизгнула.

Вспыхнул и погас. И хоть бы ему что.

– Какая прелесть! – всплеснула Инга руками, сбереженными от ожога неопалимой купины, и посмотрела на Антипа с таким большим интересом, что Паше это очень не понравилось.

– Подумаешь, – говорит, – неопалимая купина. Тоже мне фокусы.

Правда, вечером, на танцплощадке, у Паши забрезжила надежда.

Танцы в санатории от всех прочих танцев отличались тем, что длились они до отбоя. Детское время. Но зато здесь никто не гнал человека прочь под тем смехотворным предлогом, что ему не исполнилось восемнадцать лет. Паша, в сравнении с Антипом, танцевал великолепно. Антип вообще не умел танцевать. Покружись-ка в лапах. Но кто действительно танцевал, так это Инга. Она извивалась струйкой сигаретного дыма. Только что в колечки не свивалась. Казалось, внутри нее вовсе не было скелета, а была лишь одна нематериальная душа. Она затмила всех, даже вновь прибывшую королеву пляжа, которая самовыражалась столь страстно и яростно, с таким мрачным выражением лица вращала бедрами, будто это был ее последний танец.

Танцевали все – старики, студенты, дети и даже один веселый дядечка в инвалидной коляске. На танцплощадку его прикатила жена. Вначале она просто кружилась вокруг него, а он живо танцевал руками, глазами и головой



нечто индийское. Потом мужчину в коляске пригласила пышная тетенька и закужила его по всей площадке, пританцовывая козликом. И все улыбались и, перекрикивая музыку, говорили друг другу комплименты. Всем хотелось любить друг друга, говорить друг другу приятные слова, а идти спать не хотелось. И директор Сопелкин своей властью разрешил нарушить режим санатория сначала на полчаса, а потом еще на полчаса.

Танцевали все, кроме Антипа и странного, очень толстого юноши Сороки.

Он стоял у входа под фонарем в полном одиночестве. Лицо у него было детское, с румянцем во все смуглые щеки, прическа, как у ассирийских царей, темная, кудрявая, до плеч, а глаза большие, коровьи, мечтательные. Выглядел он среди танцующих столь же естественно, как лось в диетической столовой. Танцующие обтекали его, как паводковые воды обтекают сваю разрушенного моста, а он стоял и читал книгу о скифских захоронениях, написанную известным профессором... Тьфу ты! Как же его фамилия?

Эх, если бы люди, собравшиеся в тот вечер на танцплощадке санатория, обладали даром предвидения. Сколько бы друзей и подруг появилось у этого неуклюжего паренька. И первым из них был бы, конечно, автор этой истории. Но, увы, увы, увы. Кто бы знал, что получится из наших сопливых одноклассников, на спинах которых мы писали мелом и приклеивали листовки: плюнь на меня.

С танцплощадки мальчишки провожали Ингу и ее маму кружной дорогой. Они шли сосновой аллеей, выискивая на небе знакомые созвездия. Созвездия пахли хвоей. Ингина мама спросила:

– Мальчики, о чем вы мечтаете? Кем хотите стать?

Паша закатил глаза, секунду-другую посмотрел на Млечный путь и солидно определил жизненный путь:

– Стану космонавтом. Я на Марс полечу, а вы будете ползать по Земле, как мураши по пляжному мячу.

Антип так красиво врать не умел.

– Я дом хочу в Красной горке построить. Первый этаж каменный, а второй деревянный. Из сосны.

– И все? – разочаровалась Инга.



– Ну, с подвалом, конечно, с мансардой. И катер еще хочу. С каютой.

– А ты? – спросил Паша Ингу.

– Ой, мальчики, вы меня не поймете. Хочу в Большом партию умирающего лебедя станцевать. А Плисецкая выйдет на сцену с цветами, приклонит колени и скажет: «Вот ваша новая прима».

История этой любви закончилась печально. Инга обгорела на солнце и облупилась. Кожа пузырилась и сдиралась клочьями. Но это полбеды. Мальчишки перекормили приму и поросенка Нерона сливочным мороженым в вафельных стаканчиках. У Нерона расстроился желудок, а Инга заболела ангиной, и мама вместо того, что бы рисовать купальщиков на пляже, носила ей в палату еду из столовой. Вскоре приехал сердитый и очень пожилой папа и увез Ингу, художницу и поросенка Нерона из чистого рая в прокопченный город, погрозив пацанам, провожающим первую любовь, кривым пальцем.

Мальчишки обвиняли друг друга в излишней щедрости, еще не зная, что уберегли будущую приму Большого театра от куда больших неприятностей.

Надеюсь, убаюканные отпускными настроениями, вы не забыли о бельевой прищепке?

А вот зря вы забыли о прищепке.

Говорят, запах нельзя вообразить. Говорят, что по этой причине запах нельзя передать словами. И вроде бы как прищепка при чтении высокохудожественной литературы не нужна.

Не знаю, не знаю.

По-моему, запах неотделим от существ, веществ, предметов и состояний.

Сиреневый запах.

Почувствовали?

Запах тухлой рыбы? Свежего сена? Навоза? Псины? Пота? Нашатыря? Запах озерной тины? Запах полыни, галой земли, хлеба. Почувствовали, почувствовали?

Только люди без воображения да серьезные ученые не могут представить запах.

Как говорится, извините за временные неудобства.



Пришемите, пришемите носы. Слова, если к ним относиться серьезно, пахнут точно так же, как и предметы, ими обозначаемые. Есть слова с запахом, слова неотделимые от запахов. Источники запаха. Даже у тоски есть запах. Не хотелось бы напоминать, чем пахло озеро Чистое после катастрофы. Но что поделаешь. Обязан.

Перед селом, кратко описанным в первой главе, случилось странное событие.

Знамение.

На территорию санатория «Ключи», окруженную прочным железобетонным забором, неведомо как миновав охрану, проникла пестрая, трехцветная корова.

Покачивая бедрами, походкой знаменитой итальянки Софи Лорен, она прогулялась по главной дорожке, пускающая слюни, попила воду из фонтана «Дружба народов». А потом, зацепив рогами марлеву занавеску от мух и с треском отодрав ее, вошла в магазин-кафе «Родничок». Вошла и потянулась влажным носом к полке с хлебобулочными изделиями. Марлевая занавеска укрывала ее, как фата невесту.

– Пошла! – закричала усатая продавщица тетя Соня.

Была она женщиной таких пышных форм, что каждый раз, взглянув на нее, директор санатория Сергей Антонович говорил с одобрением: «Тугой парус не морщинит».

На территорию санатория иногда забредали дикие олени и лоси, а один раз даже дикая свинья с поросятами, но такого ужаса продавщица еще не видела.

Корова в фате посмотрела на нее с недоумением и замычала так жалобно, так утробно, как только умеют мычать давно не доенные коровы да духовой инструмент туба.

Корова шарахнулась, повалив высокий столик с мраморной столешницей, но из магазина уходить не хотела.

– Чья это? – спросила тетя Соня. – Мужчины, прогоните ее.

– Должно быть, из Красной горки, – отвечали ей посетители, жавшиеся по стенам.

Невероятно огромные рога были у этой коровы. По форме они напоминали руль гоночного велосипеда, но значительно больших размеров. С арфу, примерно.



– Смотрите, смотрите: слюни текут. Бешеная, должно быть. Экий Минотавр!

– Не санаторий, а проходной двор, – не дождавшись помощи, сказала тетя Соня, вышла из-за прилавка и, ухватив корову за рога, пятась женственно-мощным крупом, стала тянуть ее к дверям.

Тетя Соня была крупная женщина, но и корова отличалась дородством. Скребя копытами по плитке, она широко расставила ноги и попятилась в свою очередь, сбив еще один столик.

Видимо, от переживаний у коровы случилось недержание, и на чистый пол магазина-кафе сочно зашлепали зеленые лепешки, а затем ударила мощная струя.

– Ах ты, скотина такая, – рассвирепела тетя Соня.

И, разумеется, расплакалась, отчаявшись.

В это время в дверях «Родничка», словно ангелы посланные самим небом, нарисовались Паша с Антипом. Прибежали на шум битвы.

– Пацаны, прогоните ее, – взмолилась тетя Соня.

Антип сказал:

– Это Манька Кузнецова. Еще та Приблуда. Так ее не выгонишь. Упрямая. Вся в хозяйку. Ее только по-доброму выманить можно. Дайте кусок хлеба.

Продавщица протянула ему батон «Столичный», выпеченный из муки высшего сорта:

– На. Выманивай свою Маньку.

Манька в забрызганной фате, выпучив глаза на батон, гут же вышла вон.

Антип отломил от батона кусочек, угостил корову, откусил от батона сам и пошел к выходу.

– Ты куда? – крикнул ему вслед Паша.

– Отведу Маньку в Красную горку. А то бабка Кузнецова, должно быть, волнуется, по лесу бегает. Гроза собирается.

– Завтра придешь?

– Как сложится. Мы с папкой собирались Пьяный родник расчистить.

– Пока.

– Пока.

И они ушли. Впереди Антип с батоном из муки высшего



сорта. А за ним приبلудная Манька в свадебной фате. Шли и по очереди угощались хлебом насущным.

Накрапывал дождь, обещавший перейти в ливень. Далеко-далеко, пророча беду, рычал небесный пес.

В общем, не такое уж необычное событие, не случилось того, что случилось наутро.

Подумаешь, корова забрела в санаторий. Ну, напилась из фонтана, ну, оставила лепешки в неподобающем месте. Что с нее возьмешь? Корова.

Однако, случилось.

И мы вправе считать это незначительное событие знамением, полным скрытого смысла и намеков.

Всю ночь лил дождь. Трепали по швам небеса. Пахло озоном. Спалось как в раю. Под утро ливень кончился, иссякнув. Настала абсолютная тишина. Олень по берегу вышел на санаторный пляж и пил воду.

Антипа разбудил гул неизвестного происхождения. Он вскочил с лежанки свежий, как только что сорванный с грядки огурец. Весь в пупырышках от утренней свежести.

Земля мелко дрожала.

Но это не было землетрясением.

Это не было и раскатами грома. Небо было чистым.

Не похожий ни на что гул, тревожа чуткие души лесных жителей, нарастал. Он не совпадал с безмятежностью раннего утра и поэтому пугал.

Дед и отец стояли на веранде в трусах и смотрели в сторону приближающегося гула. В той стороне был санаторий, но его заслонял Длинный мыс.

Антип зашнуровал кеды и побежал короткой тропой к Крутой Лохматке. С этой сопки открывался вид на санаторий.

Сопка пахла ливнем, грозой, сосновой смолой. Цепляясь за мокрые ветви и скользя по раскисшей почве, Антип поднимался вверх. Он остановился, когда стали видны корпуса санатория, похожие на два белых теплохода.

Ни малейшего движения.

Безмятежный покой.

Антип долго смотрел на отражение белого облака в



темной воде. Отражение слегка дрожало, и Антип думал: не это ли причина гула?

Поднял голову, а облака на небе не было.

Столбняк сковал его тело. Так всегда случается при внезапной встрече с непонятным явлением, которому нельзя найти объяснения.

Как же так? Вот оно – отражение облака. А самого облака нет.

Не может отражаться облако, которого нет.

Однако вот оно – отражается. Пухлое, белое облако. Слегка дрожит, шевелится. А над ним – пустое небо.

А гул, между тем, нарастал. Внезапно из нижней щели, kloкочущий, брызжущий ошметками и камнями, выкатил жирный поток грязи. Растекаясь и набухая, лава в несколько секунд разметала и поглотила забор, сосновую аллею, разорвала облепиховое ожерелье и захлестнула корпуса санатория. Нижний смела, а верхний обтекла, покоробив. Строения ненадолго сдержали сель, но накопившаяся масса, вспенив воду и подняв волну, с грохотом ввалилась в озеро, образовав стремительно растущий полуостров, выхлестнувший далеко за эстакады.

Волна катилась по все еще безмятежной глади озера разрастающимся кольцом. Гул не иссякающей лавы усиливался, а волна, казалось, накатывалась бесшумно. Это сочетание рёва лавы и тишины волны действовало гипнотически. В оцепенении смотрел Антип на расплывающуюся кляксу полуострова, на расширяющийся полукруг вала, и время от времени мотал головой, чтобы избавиться от страшного сна. Но самое страшное в страшном сне было то, что это был не сон.

Между тем, как волна стремительно и безмолвно приближалась, столь же стремительно отступала вода от подножия сопки, обнажая дно. В хищном нарастании волны было что-то от кобры, поднявшей голову и распустившей капюшон. Она с яростью ударила в склон, подрезав почву. словно тысяча самосвалов одновременно свалила в воду гравий – такой поднялся грохот – и нижний пласт земли, укрывавший сопку, обрушился.

Но не это было самое ужасное. Озерная волна нагнала воздушную. В реликтовый бор с силой взрыва вторгся



запах, какого никогда не бывало в заповедном лесу. Эта мерзость ударила таким резким нашатырем, таким нужником, такой хлоркой, что Антип ослеп от невыносимой рези в глазах и на некоторое время оглох. Как бритвой по глазным яблокам полоснуло. Дышать этим враждебным смрадом было нельзя – и Антип с отвращением закрыл нос рубашкой. Он бы навсегда потерял нюх, если бы не сделал это.

Следом за первой волной вторая с такой же яростью вгрызлась в основание сопки. А затем Антип сквозь грохот, плеск и гул услышал, как скрежещет земля. Это тёрлись со стоном друг о друга валуны и рвались корни реликтовых сосен. Тропинка, на которой он стоял, изогнулась. С сосен просыпался дождь, падали шишки и, подпрыгивая, катились вниз по крутому склону. Оползень.

Антип побежал к скалистому выступу, бастионом торчащему среди сосен. Едва он вскарабкался на постамент коренной породы, как лес пришел в движение. Деревья на сползающем склоне стояли прямо, лишь слегка покачиваясь и подрагивая. Они скатывались в озеро, стоя, рядами, без пыли и только внизу падали, страшно шумя хвоей. Первые – плашмя в кипящую воду, следующие – на них, образуя бурелом. Земля была влажной, сосны влажными и звуки были влажными, сочными. Даже треск расщепляемых и переламываемых стволов был мокрым, чавкающим.

Пласт земли сполз с каменного основания склона, обнажив голый скальпированный череп Крутой Лохматки.

В селевом потоке захлебнулось много отдыхающих и персонала. Но на беду среди наших было несколько туристов из стран народной демократии.

Проще говоря, из стран народного народовластия.

Что подразумевало: есть страны народовластия не народного.

Эта тавтология приоткрывала скрытый смысл, истину. Слова «демократия», «либерализм», «свобода», «социализм», как яркие рекламные этикетки, бренды, редко соответствуют качеству продукта. Есть слова, которые ничем не пахнут, потому как не имеют смысла.



Но это не ко времени, а к слову. К слову, которое в нашем случае, мы договорились, пахнет.

Прищемите носы, прищемите. Смердный ад Данте в сравнении с этим происшествием – медоносный луг в мае.

Именно из-за гибели иностранцев из братских стран социалистического лагеря «происшествие» не удалось засекретить. К тому же на носу была перестройка.

Первый в истории планеты сель из отходов человеческой жизнедеятельности затопил Атлантиду детства Антипа отбросами большого города, в котором проживало довольно много сытых людей.

Катастрофа была такого рода, что откапывать погибших из смердной массы можно было только по приказу.

Много, много смрада – и никакой романтики.

Пригнали солдатиков первого года службы. В противогазах, голицах. Штыковые лопаты с плохо отесанными, занозистыми черенками.

В отличие от Чернобыля телевидение не освещало их подвиг и звезды эстрады не ободряли героев, смотрящих на мир сквозь запотевшие стекла противогазов.

Изявила желание поддержать моральный дух спасателей группа «Веселый золотарь», но запросила за выступление такие деньги, каких не было и на ликвидацию «происшествия». И ее патриотический порыв не был оценен по достоинству.

Конечно, автор обязан во всех подробностях рассказать о героических, но безуспешных попытках спасателей. Но он понимает, каково это – с прищепкой на носу вникать в ткань и смысл высокохудожественной прозы, и вынужден из сострадания перейти на скороговорку. К тому же, если честно, описание этих событий и поступков требует не меньшего героизма, чем само спасение. А вот напрасно вы фыркаете. Никогда не фыркайте с прищепкой на носу. Вам кажется неуместным слово «героизм»? Наша великая литература при всех ее несомненных достоинствах внушила нам превратные представления о подвиге, как о чем-то возвышенном, красивом, сопровождаемом симфонической музыкой, достойном лишь поэмы, оперы, балета. Подставить себя под пулю, да еще под музыку – для этого



требуется только мужество и присутствие красивой женщины, но чтобы вытащить тонущего в дерьме человека, нужно преодолеть не только страх, но и омерзение. Вот где верх героизма и верх жертвенности. Между тем, знает ли кто из вас героя, отмеченного высокой правительственной наградой за ликвидацию прорыва канализационной системы? Не доросли мы до понимания настоящего героизма. Не доросли. И автор, воспитанный на все той же великой литературе, дрожит и бледнеет, не находя в себе сил и мужества покончить с этой несправедливостью. Кому-то дано совершать возвышенные подвиги, а кому-то – убирать за другими. Автор пасует и ограничивается лишь передачей разговора, состоявшегося между высокопоставленным гражданским лицом и капитаном тогда еще советской армии.

– Быстрее, капитан, быстрее, – торопило, отдуваясь, потное гражданское лицо.

Капитан, задушевно выругавшись, отвечал не по уставу:

– Я бы туда не пацанов направлял, я бы туда тех, кто это устроил, пригнал на пинках. Пригнал бы и заставил все это сожрать.

Вот на этом справедливом, хотя и несколько резковатом замечании мы и завершим наши размышления о героизме.

Капитан, сказавши таковые слова, так грозно посмотрел на гражданское лицо, что лицо это, хотя и было очень ответственным, испытало трепет и угрызение совести. Не без оснований. Гражданское лицо, имевшее отношение к селю, захотело окопаться и накрыть пятки головным убором.

Через неделю это лицо в неестественной позе было обнаружено в своем кабинете без признаков раскаяния. Голова запрокинута на спинку кресла. Рот открыт. Из правого глаза чиновника торчала стрела. Тростинка, выструганная из ныне не встречающегося в природе пустынного ясеня и оперенная пестрыми хвостовыми перьями сокола, вымершего столетие тому назад. Когда стрелу, проникшую через глазницу в мозг, осторожно извлекли, обнаружился грубо стесанный каменный наколечник.



Под подозрение попал буйный капитан, изыскающий мысли не по уставу. Но выяснилось, что на вооружении советской армии не было стрел с каменным наконечником.

И следствие зашло в тупик.

Можно было бы, конечно, в деталях рассказать, как верный Антип, преодолев отвращение, прибежал на место катастрофы и, зажав одной рукой нос, другой за волосы вытащил своего летнего друга из... Из того, что составляло катастрофу. После чего и подтвердилась исчерпывающая характеристика Паши Сопелкина: в этом самом не тонет.

А вот веселого отца Паши и красивую маму Антипа не спасли. Вместе с десятками других жертв их просто не нашли.

Ни один человек не заслуживает такой смерти.

Но размышлять по этому поводу мы не будем. Просто снимем головные уборы и помолчим, в досаде морща интеллигентные лица.

Уцелевших отдыхающих эвакуировали.

До жителей деревеньки Красная горка, поскольку в соответствии с названием дома ее стояли на возвышении, сель не дошел. А потому власти не считали их пострадавшими.

Веселая деревня приуныла и уже не выходила по вечерам болтать ногами над обрывом. Закаты были все также красивы, но нестерпимый смрад, исходящий от озера, портил впечатление.

Все, кто мог, покинули опоганенное озеро. Оставшиеся заматывали лица полотенцами, прятали носы в марлевые повязки, респираторы и даже покупали противогазы. Но, несмотря на марлевые повязки, многие стали быстро лысеть, часто кашлять, худеть и покрываться язвами и сыпью. Вскоре родился ребенок без ушей и без глаз, но с собачьим ртом и было принято решение о переселении.

Воспользовавшись бедой, в реликтовый бор и примыкающие к нему смешанные леса с наветренной стороны проникали браконьеры. Расстреливали в упор практически ручных животных. И совесть их не мучила. Не потому,



что у убийц без лицензий, в отличие от убийц с лицензиями, совести нет по определению. А потому что, по их мнению, животные – благородные олени и неблагородные лоси – обречены и пропадали без пользы.

Противостоящий им в единственном числе егерь Плешивый был застрелен, как доверчивый лось. В упор. Попытался остановить охоту на беременную, почти ручную лосиху и был убит.

Памятник? Какой памятник? Смеетесь? К тому времени немногих героев, жертвующих своими жизнями ради зверья и беззащитных людей, называли лохами.

Если человек тебе помог, значит – лох.

Настоящие герои безымянны, а подвиги их без свидетелей. Они не нужны ни власти, ни обществу, в котором чувство долга и чистая совесть приравнены к глупости. Никому, кроме Бога, в существовании которого они сильно сомневаются, и леса.

Нет, памятник егерю Плешивому не поставили.

Каждый настоящий лесник, егерь – исключение из человечества.

Они не имеют отношения к людям.

Они думают, живут и поступают, как лес.

Они – мысли и душа леса.

Да, для того, чтобы быть хорошим егерем, а Плешивый был хорошим егерем, очень хорошим егерем в пятом поколении, нужно исключить себя из мира людей и перейти на сторону леса.

Он не понимал мир людей, как понимал деревья и зверей.

В переломные времена страдают, конечно, и люди. Особенно те из них, кто по глупости стесняется пинать поверженных кумиров. Но никто не страдает на сломе эпох так, как лес. В отличие от людей он не может уехать на историческую родину и сменить убеждения.

Это естественно, что егерь Плешивый умер, когда умер его лес.

Он бы погиб без леса и не умирая физически, потому что не мог жить во враждебном лесу и пошлом мире людей, исключивших себя из природы.

Памятник. Кому он нужен этот памятник? Нам, кто



считает егеря Плешивого, подставившего себя под пули из-за какой-то скотины, дураком?

Но все это, конечно, пустяки. Нужно было решать, что делать с загаженным заповедником. Власти окружили райский уголок цепью санитарных кордонов и стали думать.

Ученые, как водится, к единому мнению не пришли.

Большинство склонялось к неутешительным выводам: современное развитие науки и производства не способны в ближайшее время вернуть озеро в исходное состояние, и роль ученых должна быть сведена к наблюдению за процессами, происходящими в нем.

– И никакой надежды?

– Отчего же. Лет через триста, если оставить природу в покое, возможно самоочищение, восстановление. Сукцессия.

– Триста лет? Однако долго.

– В исторической перспективе пустяк.

Среди ученых тоже встречаются оптимисты. Но, к сожалению, крайне редко. Оптимисты утверждали, что процессы самоочищения можно ускорить. Раза в три. Вернуть озеру прежнюю чистоту можно не за триста, а всего за сто лет. Правда, потребуются средства, соизмеримые с расходами на космос.

Самую малочисленную и неунывающую группу составляли ученые Хануриков и Брыскин. Они потирали руки и утверждали, что из озера и в его нынешнем состоянии можно извлечь выгоду и пользу.

Хануриков, потрясая перед отпрянувшей комиссией пробиркой с ржавой жидкостью, захлебываясь от восторга, сообщил, что им в мутных водах озера Чистого обнаружен фаг, пожирающий вредоносные микробы, вирусы и бактерии. С помощью этого фага можно исцелить все известные и неизвестные болезни. Замечательно! Революционно! Представьте себе, мы даже не знаем, чем страдает человек, но уже имеем лекарство, которым можно излечить болезнь. Очень удобно. Очень.

(Название таблеток, изготовленных по рецепту Ханурикова, не упоминаются по двум причинам. Во-первых, автор боится обвинений в скрытой рекламе. Во-вторых,



забегая вперед, он вынужден сообщить, что Хануриков, поторопившийся испытать на себе действие панацеи, покрывшись струпиями и умер в конвульсиях.)

Вторым ученым, порадовавшимся катастрофе, был, разумеется, Брыскин.

Тот самый Брыскин, что открыл энергетические свойства человеческой мочи, должной со времени избавить мир от нефтезависимости.

– В самом слове моча, господа, слышится невероятная мощь, – без пауз и знаков препинания говорил, вдохновенно встряхивая сальными власами и сияя очами, Брыскин. – Прислушайтесь: моча и мощь. А? Моча, господа, при соответствующем двигателе практически не уступает бензину. Но! При, так сказать, сгорании разлагается на совершенно безвредные и, более того, частью полезные элементы. Правда, запах... Но что такое запах, господа? Отчего мы делим запахи на приятные и неприятные. Только вкус, господа. Только вкус. Исключительно сила привычки. Принюхалось же человечество к нефтепродуктам. Принюхается и к новому топливу. Озеро Чистое, господа, в его сегодняшнем виде – резервуар первоклассного топлива, запасы которого обеспечат наше независимое государство на столетия вперед. Именно Чистое, господа. Чистая прибыль. И не надо переименовывать его в Поганое. Я не вижу причин для печали. Конечно, предстоит преодолеть сопротивление нефтяного лобби. Но рано или поздно нефть кончится, господа. Вы зря смеетесь, господа, представляя процесс заправки. Вы спрашиваете, а если водитель – женщина? Или пожилой мужчина, страдающий простатитом? На самом деле вопрос очень серьезный. Да, не каждый водитель, если он не страстный любитель пива, способен производить достаточно топлива для своего транспортного средства. Следовательно, предстоит наладить сбор мочи в промышленных масштабах. Одно дело – труба, проложенная от месторождения до нефтеперерабатывающего завода. Совсем другое – миллиарды носителей топлива, хаотично перемещающиеся по планете. Как заставить их сдавать топливо? Из числа добровольных доноров следует сразу исключить автовладельцев и членов их семей. Какой смысл отдавать свою мочу, чтобы потом по-



купать чужую. Выгоднее обойтись без посредников. Но даже если неимущая часть общества, которая, к счастью, все еще составляет большинство населения, согласна за небольшую плату сдавать отходы своей жизнедеятельности, как организовать сбор топлива, проверку его качества? Что сделают наши земляки? Понесут подкрашенную воду. И самое главное. Как организовать доставку мочи на перерабатывающий завод? Очереди с пластмассовыми емкостями? Общественные писуары со счетчиками? Нет, господа, это не пустяки, не глупости. Об этом нужно думать уже сейчас. Но на наше счастье, у нас есть озеро Чистое...

Когда Брыскин говорил о новом, альтернативном топливе, он увлеклся и его трудно было остановить.

Утверждали, что его «Запорожец» уже давно работал на моче. И судя по запаху, исходящему от машины, этому можно было верить. Да и от самого Брыскина несло не фиалками.

Что говорите? Прищепка? Ах, да.

Передохнем. Какое нам дело до разговоров о спасении озера Чистого, которые ничем не кончатся.

Хорошо просмоленная сухая лодка скользит по прозрачной бездне озера. Облитый подсолнечным маслом вечернего света, теплого, как дыхание вселенской коровы, погружает Антип лопасти весел в воду. Дышит в такт, глубоко и сладко, как дышит человек, лишь засыпая и пробуждаясь.

Дед старым лешим сидит на корме, окуривает озеро колдовским ароматом самосада и говорит одобрительно: «Благодать».

Хвоей реликтовых сосен пахнет над водой.

Нет такого инструмента, чтобы передать звуки водоворотов, возникающих под веслами, стук и трепет о днище лодки.

Отчего же нет? Есть. Этот инструмент – сама лодка, и озеро, и акустика надозерного пространства между сосновых холмов. Всплеснется на другом конце Чистого рыба, а по звуку можно определить язь ли шлепнулся



серебряным боком, шука ли розовым хвостом ударила или окунь чавкнул. Такая слышимость над водой.

Оглядывается Антип через плечо. Болтают коричневыми пятками земляки над обрывом. Вишневым цветом сыплется подсолнечная лузга. Домашний запах семечек вплетается в аромат хвои и табака. Говор и смех. Над чем они хохочут?

– Стоит столбом. Столб с намордником, – острый локоть пихнул Антипа в бок.

Он отвлекся от приятных мыслей, огляделся.

Автобусная остановка. Маленькие, озлобленные уродцы из промышленного пригорода, выросшие под клубами дыма центральной котельной окружали его.

Они смотрели с угрюмым вызовом.

Некоторые из них пили пиво из горлышек нечистых бутылок, отдуваясь после каждого глотка, некоторые, возбуждая изжогу, курили без охоты, некоторые просто стояли, нахохлившись и засунув руки в карманы. Но каждый из них, встретившись взглядом с Антипом, с презрением сплевывал себе под ноги.

Земля под их ногами была утыкана мерзкими, медузообразными плевками, смутно напоминала полночное небо.

«А ведь мне среди них жить. Может быть, всю жизнь. До самой смерти.»

От этой мысли сделалось так нехорошо, что Антип едва сдержал тошноту.

Не в силах преодолеть отвращение при виде заплыванной земли, пива, которое пьют с утра, смердящих окурков, он поднял голову. Сквозь грязный пластик навеса просвечивалась ржавчина прошлогодней листвы.

Он опустил глаза.

Сквозь пыльное стекло киоска, уронив голову на скрещенные руки, на него в упор смотрела одноглазая продащица. По белому платку полз маленький таракан.

Антип представил, как, упираясь затылком в потолок, будет раскачиваться в переполненном автобусе, дыша тем, что будут выдыхать из своих тел, покрытых угрями, эти уродцы. Держаться за поручни, испачканные человеческим потом и жиром.

И решил идти пешком.



После случившегося на его глазах селя, Антип стал брезглив.

Невероятно брезглив.

В кармане его куртки всегда лежала мыльница с обмылком.

При каждом удобном случае он тщательно мыл руки, как делают это хирурги до и после операции.

Каждый палец в отдельности.

Ему недостаточно было вымыть фрукты горячей водой. Фрукты он тоже мыл с мылом. Неизвестно, где они валялись, и кто их держал в руках.

Входя в автобус, даже летом надевал перчатки. Перчатки и респиратор.

Конечно, отчего бы и не пихнуть дылду в респираторе, в профиль похожего на циркового медведя. Надо толкнуть, чтобы не выпендривался.

Антип шел по улице на спичечную фабрику, пытаясь вспомнить, о чем он думал перед тем, как его пихнули локтем. О чем-то приятном.

В голове шумел хвойный лес.

Он думал о Раздолье, об озере Чистом, как если бы не было никакого селя.

Но локоть, ткнувший его в бок, не оставлял сомнений: сель был.

Вернуться в приятные мысли было невозможно.

Не случись селя, шел бы он сейчас по лесу. С отцовским карабином за плечом, насвистывая «Капли датского короля или королевы».

А он идет по совету дяди устраиваться на «спичку».

— Учиться — средства нужны, — сказал дядя и, помяв толстыми пальцами шуршащее щетиной лицо, добавил. — Средств нет. Дармовщина кончилась.

Бритый затылок дяди — весь в глубоких складках — напоминал морду шарпея.

Дядя как бы носил кожу на вырост.

Но голова не доросла до задуманных размеров.

Вопреки устрашающей внешности страстного любителя пива, дядя был добрым человеком. И когда озеро Чистое в одночасье сделалось Поганым болотом, он перевез семью егеря Плешивого к себе в дом. Все, что от нее осталось — Антипа и бабушку.



Дядя жил в Оторвановке, на конечной остановке трамвая номер шесть. Рельсы петлей обтекали его древний, слегка подгнивший и сильно осевший дом. Каждые десять минут очередной трамвай объезжал ветхое жилище, звеня и визжа колесами по стертым рельсам. Дом сотрясался как бы в гриппозном ознобе.

Жить здесь было нельзя.

Но дядя гордился званием горожанина и был доволен домом.

Дом стоял под полосатой трубой котельной. В дни, когда низкое давление прижимало пахнувшие печной сажой выбросы к земле, казалось, остров, окольцованный рельсами, погружался в преисподнюю. Все здесь было припудрено въедливым пеплом. Шершавая кора березы была черной от въевшейся гари. Береза-негритянка.

Простыни и занавески в доме были смуглыми.

Эта гарь въедалась даже в стекла окон. У дяди, как у шахтера, ресницы были словно подкрашены.

Семь лет в рабочем пригороде, без леса были для Антипа такими же нудными, как и уроки по химии. Посмотришь в аттестат зрелости, а что там за этой тройкой – убей, не вспомнишь. Ни одной формулы. Такая же бессмысленная нудьга, как жизнь зверья в зоопарке. Вы видели этих облезлых волков или испачканных белых медведей бессмысленно кружащихся по клеткам. О чем им вспоминать?

Дядя вздохнул, хлопнул лапой по столу и сказал легко, будто сбросил с плеч мешок с углем:

– Ничего. Средства можно достать. Средства можно заработать. Идем к нам на «спичку».

Разговор этот состоялся двадцать пятого мая, сразу после последнего звонка.

– Дядь Петь, дай огонька, – сказал Антип.

– Ты куришь? – удивился дядя и, печально вздохнув, протянул ему зажигалку.

– Вот, – продемонстрировал ее Антип, – кому сейчас нужны спички?

Крайне бестактное замечание, если учесть, что дядя всю жизнь проработал на спичечной фабрике.

– Спички всегда спички, – обиделся дядя, пряча зажигалку в карман. – Охотники. Туристы. Геологи. Домохозяйки. Деревня. Дачники. Всем нужны спички.



– Видел новые газплиты? Ручку повернешь – зажигаются.

– Нефть и газ заканчиваются, – упрямыствовал дядя, – закончатся, тогда посмотрим. Спичка спичке – рознь. Ты видел спички, которые под водой горят?

– Говорят, вы из кедра спички делаете, – не найдя, чем возразить, мрачно спросил Антип.

– Из кедра. И что? Знаешь, сколько из одного кедра спичек получается? Расход не велик. Газеты, книги тоже из деревьев делают. Вот где расход. Хотели из соломы – не получилось. Ты, может быть, вредности производства опасаться? Так у нас есть экологически чистый цех зубочисток.

– Зубочисток? – без вдохновения переспросил Антип.

– Зубочисток, – подтвердил дядя. – В любом кафе, в любом ресторане стоят такие стаканчики, а в них зубочистки. Делаются из ароматных, богатых смолами пород деревьев. Идем. Я слово замолвлю. Идем, идем. Больше идти некуда. Машиностроительный – в бессрочном отпуске. Хлопчатобумажный закрылся. Одна «спичка» и осталась.

– Я бы в лесники пошел. Или в егеря.

– Лесники. Лесов не осталось. Зверье все перебили. Кроме барахолки и нашей «спички» перспектив для тебя нет, – сказал дядя без особого сочувствия. – Понимаю: спички, зубочистки – мелко. Что поделаешь. Космонавты нынче не нужны. А спички нужны. Думай быстрее.

– В Красную горку хочу, – сказал Антип, опустив голову, совершенно облысевшую к девятнадцати годам.

– Была Красная горка, да стала дрянным бугром. Загнали твою горку – за сто лет не отмоешь.

– В армию пойду.

– И что ты будешь делать в армии? – удивился дядя. – Родину защищать? С Россией воевать? Засрали твою родину. Нечего тебе защищать.

– А из чего зубочистки делают? – спросил Антип угрюмо.

– Секрет производства. Придешь – узнаешь. Под подписку о неразглашении.

– Правда что ли?



Дядя выпрямил спину, лицо его приобрело значительное выражение, и он сказал важно:

– Наша зубочистка из арчи, хочешь знать, на экспорт идет. Нашей зубочисткой сэры и пэры в дуплах ковыряются. Между прочим, моя идея. В смысле арчи. Зубочистка, конечно, мелочь. Но многие за жизнь и на зубочистку пользы не принесли.

Довольный словами, дядя потянулся, затрещав всеми костями сразу, и так зевнул, что тут же выбился из сил.

Сел бы Антип в автобус, не побрезговал обществом, и на следующий день продолжил бы династию на «спичке». В цехе зубочисток. Но он пошел пешком.

Из таких пустяков и складывается судьба.

Сокращая дорогу на фабрику, Антип свернул в заброшенный скверик.

Обломанные клены, засыхающие сосны. Гранитный орел без головы перед давно не действующим фонтанчиком для питья, превращенным в пепельницу. Газетные скатерти на месте бывших пиршеств. Довольно много примет, по которым можно судить, что в скверике часто выгуливают собак. В центре – обелиск. Самодеятельный скульптор изваял приспущенное бетонное знамя. Когда-то оно было окрашено суриком. Древко из ржавой водопроводной трубы. Навершие styрили. Наверное, цветной металл. Слова: «Никто не забыт, ничто не забыто.» И еще одно слово нацарапано. Нехорошее.

Забыто. Все забыли козлы.

За поваленной оградкой – битое стекло, окурки, пыльные пластмассовые бутылки, бумажные стаканчики, всякий мусор. Сухой бурьян.

И слышит Антип серьезный разговор по ту сторону бетонного знамени.

Обошел оградку и видит: два коротко стриженных паренька в кожаных куртках держат конопатого толстячка в красном костюме за руки, а третий, тоже в коже, легонько постукивает пленника молотком-гвоздодером по лбу. Вдалбливает мысль. «Ты меня понял? Ты меня понял? Или расколоть орех? Расколоть?». Конопатый, прижатый рыжим ежиком к бетонному знамени, моргает под каждое постукивание и отвечает постным голосом: «Это



недоразумение, пацаны. Это недоразумение. Вы не так меня поняли». Пареньки, держащие его за руки, медленно двигая челюстями, жуют жвачку, отчего похожи на молодых, угрюмых, недавно кастрированных бычков.

Стояла откровенная эпоха, герои которой, как лесные птицы в брачный период через наряды обозначали свои роли и стремления. Это упрощало жизнь. Хорошо бы, конечно, на грудь каждого вывешивать еще и пейджик, который дополнительно сообщал бы самое существенное: «Крутая шестерка», «Беру взятки», «Милейший лох». Но и без бейджика на лице молодого человека в красном пиджаке легко читалось: «Профессиональный охотник на лохов».

Человеку в невнятных одеждах следовало бы, не производя лишних звуков, не поднимая глаз, проشمгнуть серым привидением мимо беседующих в тени бетонного знамени и сразу же забыть лица. Мало ли кто кого отоваривает. Может быть, за дело. Но в Антипе текла неутомная кровь Плешивых, потомственных егерей. Кроме того, человек с лесным воспитанием ведет себя в городе также нелепо, как и горожанин в лесу.

– Эй, – окликнул Антип ребят в коже, – вам помочь или вы вдвоем с одним справитесь?

– Это что еще за ниндзя? – удивился человек с молотком. – Снял бы намордник, показал личико.

– Испугаешься, – отвечает Антип дружелюбно, – кожаные штаны испортишь.

– Вали, гундос, – рассвирепел парень, что держал конопатого за правую руку. – Копченый, можно я загашу этого гундоса?

– Загаси, – смиренно разрешил Копченый, почесывая молотком спину.

Паренек отпустил правую руку конопатого и двинулся в сторону Антипа. Грозно затрещали под его подкованными ботинками пыльные бутылки из-под «Пепси-колы».

И никто не заметил, как в освободившейся руке конопатого появился газовый пистолет. Сунул он ствол в ноздри Копченого и, не говоря дурного слова, выстрелил.

Раз, да другой.



Копченный в доли секунды стал кирпичным. Выпучив глаза, истекая слезами и соплями, он отступил на шаг и, бездыханный, столбом рухнул в сухой бурьян.

Молния, ударившая с пустого неба, не ввергла бы кожаные куртки в такой ступор, как эти выстрелы. Молоток, вращаясь, еще висел в воздухе, а конопатый уже наставил пистолет на остоленевшего паренька, судорожно сжимавшего его левую руку, и выстрелил снова.

– Стой, козел! – крикнул окрепшим голосом красный пиджак последней, еще не подстреленной кожаной куртке.

Тот бросился бежать, но зацепился ногой за оградку. Конопатый подбежал и выстрелил в поверженного.

– Ноги! – приказал он Антипу, морща нос и вытирая глаза плечами. – У нас пятнадцать минут. Как стакан спирта выпил. Чем мне нравятся эти газовые пистолеты: целишься в пятку, попадаешь в нос.

Корчились, катались по земле кожаные куртки, хрустя бурьяном и пластиковыми бутылками, сопели, фыркали и невнятно сквернословили, обещая всех поубивать.

И Антип побежал следом за красным пиджаком по тропе, уводящей прочь от спичечной фабрики и цеха элитных зубочисток из арчи.

Они перебрались по ржавому мостику без перил через трубы, перебежали улицу на красный свет.

– Тебе направо, мне налево, – сказал конопатый, поглядывая в сторону сквера и разглаживая шишки на лбу.

– Из красного знамени сшил? – спросил Антип. – Далеко видно.

Конопатый снял пиджак, вывернул его наизнанку и снова надел, превратившись в неприметную серую мышку.

– Ты бы тоже намордник снял, – посоветовал он.

Антип опустил респиратор, и конопатый сделал совиные глаза.

– Антип?! – вскричал он. – А я чувствую – что-то знакомое. Не узнаешь? Санаторий «Ключи», ну? Паша я, Сопелкин.

– Сопля! – заорал на весь миллионный город Антип и, схватив в охапку друга детства, которого не видел семь лет, принялся яростно душить.



Через минуту они сидели на заднем сиденье частного извозчика, и Паша говорил:

– Нет, зубочистки – это не вариант. На зубочистках много не заработаешь. Есть у меня для тебя другое предложение. Сегодня деньги можно сделать только на добре и милосердии. Знаешь ли ты, сколько в нашем городе гастарбайтеров? Знаешь ли, в каких условиях они живут? В ужасных условиях, ужасных. Людям надо помочь.

Паша посмотрел в спину водителя и похлопал Антипа по ляжке:

– Потом поговорим. В «Тропикану».

Он поднес к уху мобильник:

– Ты где?... Заказала?... Закажи еще одну порцию... Уже подъезжаю.

За угловым столиком под искусственной пальмой сидела девушка, внешность которой делала слегка пошло-ватый интерьер кафе «Тропикана». Как если бы королева английская сидела в пивной при автостанции захолустного городка и стучала по столу вяленой воблой.

– Привет, – сказал Паша, коснувшись щекой ее щеки, и, выпрямившись, положил руку на плечо Антипа, – Не узнаешь?

Таким тоном, как если бы только что вылепил Антипа из местной глины.

Девушка посмотрела на спутника Паши, как смотрят при первой встрече все красивые девушки на сверстников – с вызовом и некоторой надменностью, переходящей в легкое презрение.

– Неужели не узнаешь? Маугли с Красной горки. Ну? Антип. Человек-амфибия.

Девушка пожала плечами. И непонятен был этот жест. То ли не узнала, то ли узнала, но ей это по барабану.

Антип улыбался Инге как старой знакомой. Он хотел спросить, где сейчас поросенок Нерон, но вовремя прикусил язык.

Паша между тем перегнулся через стол и короткими пальцами с розовыми ногтями почесал ей подбородок, как если бы Инга была большой породистой кошкой.

А она не ударила его по руке.

И то, что она не ударила Пашу по руке, Антипу было неприятно. Хотя какое его дело.



Подошла официантка в костюме папуаски, с корзиной яств на голове вместо подноса.

– Где у вас можно руки помыть? – спросил Антип.

– Бездна такта, деревенское воспитание, – сказал ему в спину Паша и спросил Ингу. – Ладно. Какие проблемы?

– Какие сейчас проблемы? Деньги нужны.

Паша поднял брови. Инга на пальцах показала сколько. Брови опали.

– Ты знаешь в последнее время в отношениях с близкими людьми я исповедую кодекс самураев: занял у кого-то – смерть, одолжил кому-то – смерть. Деньги я занимаю только очень чужим людям.

– Что у тебя с головой? – спросила Инга.

– А что у меня с головой?

Инга достала из сумочки косметичку с зеркальцем.

– Ах, это. Пустяки. Комары накусали. У вас тоже в подвале комары?

– Значит, не займешь?

– Странные люди. Зачем занимать? Деньги вот они, – Паша нарисовал косметичкой нимб над головой, – порхают, как бабочки. Бери сачок и лови сколько надо.

Инга перехватила косметичку, спрятала в сумочку и сказала, порываясь встать:

– Прощай.

Но Паша вцепился в ее руку.

– У меня идея, – проворковал он, и глаза его засверкали вдохновением.

– Да? – спросила Инга с сарказмом. – Смотри, комары до смерти закусуют.

– Никакого криминала. Ты меня знаешь. Я всегда сажаю картошку на нейтральной полосе.

– Какую картошку? – спросил Антип, усевшись на стул и протирая салфеткой вилку.

– В горном районе фермер договорился с пограничниками и посеял картошку на нейтральной полосе. У-у-у! Небывалый урожай...

– Какая идея? – перебила его в раздражении Инга, пытаясь вырвать руку из коротких Пашиных пальцев, покрытых белёсыми волосками.

– У тебя бабушка с дедушкой на старом кладбище?



– Да.

– Ну!

– Что – ну?

– Не понятно? Объясняю. На старом кладбище больше не хоронят. Так? А желающих похоронить родственников на старом кладбище много. За большие деньги.

– И что?

– Продай эти два участка.

– С ума сошел?

– Не с ума сошел, а за участок на старом кладбище можно купить приличную квартиру в центре города.

– А дедушку с бабушкой куда?

– Ты что не в курсе? В городе торжественно открыли крематорий. Все можно сделать за счет покупателя. Дедушку с бабушкой в новеньких гробах под музыку сожгут в печи, а тебе выдадут маленькие красивые урны с прахом. Пепел можно замуровать в стене, можно хранить дома, можно развеять над горами. За две могилы можно купить квартиру, машину, упаковаться и еще на жизнь останется.

– Да ну тебя. Кошмар какой, – сказала Инга без особого негодования и задумалась, помешивая кофе.

Удивительно, но красивая девушка не издает звуков, которые бы раздражали.

Любому на ее месте, кто бы так долго позвякивал ложечкой о стекло Антип и Паша давно бы сказали хором: «Хватит, а?»

Но она звенит, скребет и ничего – приятно.

Здравые рассуждения Паши о том, как можно за большие деньги продать мертвых бабушек и дедушек, смутили Антипа. Наверное, когда он ходил мыть руки, они договорились подшутить над ним. Разыграть. Нашли лоха.

– Помнишь, Паша, как мы Ингу в «Ключах» встретили? Ты ее еще Заполярной поганкой назвал. Помнишь? – попытался сменить Антип тему разговора.

Когда Антип вспоминали о заповеднике Раздолье, он имел в виду время до селя. Лицо его глупело и отчетливо проявлялось разноглазие. Левый глаз голубел, а правый зеленел. Он становился похожим на пришельца с планеты, которая давно вращалась вокруг потухшей звезды.



Но звезда погасла после того, как он улетел. В голове его шумел хвойный лес и плескались волны. О том Раздолье он мог говорить часами, в мельчайших подробностях. Вспомнит день, когда поймал самую большую щуку, и начинает, не спеша, перелистывать его по минутам. Как проснулся от сорочьего скандала, как готовил с дедом снасти и почему выбрал именно латунную, именно колеблющуюся блесну...

Но свидетели последнего лета не поддержали беседу.

Паша хмуро взглянул на него и отвернулся к окну. Для него санаторий «Ключи», озеро Чистое были из разряда тех вещей и событий, о которых не следует говорить за столом.

Для Инги же «Ключи» вообще ничего не значили. Разве что после них она навсегда разлюбила мороженое.

Инга помешивала давно остывший кофе.

– Ладно, мальчики, я побежала, – сделав глоток, сказала она, – до свиданья, Антип. Прощай, Паша.

– Пока. Думай. Надумаешь – звони. Сведу с покупателями, – отвечал Паша, подняв раскрытую пятерню, которую Инга проигнорировала.

Он посмотрел ей вслед добрыми глазами и сказал мечтательно:

– Была бы у меня такая задница, фиг бы я думал, где деньги достать.

От этих слов большие уши Антипа вспыхнули, как стоп-сигналы у мотоцикла, а хрупкий стул под ним зашкрипел. Сказал бы эти слова не друг детства, а любой посторонний тип, так и шлепнул бы по башке сверху вниз, как по волейбольному мячу.

– Много просила? – спросил Антип, сильно смутившись.

– Что, по-твоему, много? – отвечал Паша с некоторым высокомерием.

– Для чего ей деньги?

– Для чего деньги женщине? Сорить. Швырять на ветер. Не в первый раз. Задумала организовать театр. Театр, представь, теней. Дай. На. Где театр? Где деньги? Одни тени и полный шкаф афиш. Новый закидон: выставка-продажа работ молодых художников. Андегра-



унд. Дети подземелья. Я ей сразу сказал – никто не позарится на эти испачканные пеленки и ржавые консервные банки. Что бы ты понимал. Хорошо. На. Ни одной картины не продала. А деньги – фррр, фррр – на фуршеты, на буклеты, на аренду. По ветру, по ветру. Новый вывих – ателье, эксклюзивные модели. Я похож на дойную корову? Когда-то надо сказать: нет!

– Я бы дал.

– Не сомневаюсь. У тебя же их нет.

– Как ветерок в соснах. Юбочка дзинь-дзинь, как колокольчик. Упорхнула, а запах оставила. Точно, ветерок в соснах. Зря ты не дал. Я бы дал, – косноязычно выразил восторг Антип, проводив Ингу взглядом через окно, затененное пальмой из пластика.

Взгляд глупый, глупый.

– Кассиус Клей, он же Мухаммед Али, – трезво отозвался Паша, не повернув головы.

– Почему Мухаммед Али?

– Порхает, как бабочка, жалит, как пчела, – объяснил Паша.

На середине стола, как бы намекая, что еще не поздно вернуться на тропу, ведущую к спичечной фабрике, честной и скучной бедности, стоял контейнер, плотно набитый зубочистками. Зубочистки тонко пахли арчой.

Безмолвный привет от дяди.

Паша перевернул контейнер и вытряхнул в подставленную ладонь зубочистку. Воткнув ее между резцов, отчего стал похож на рыжую морскую свинку, он достал из кармана пиджака газету бесплатных объявлений и, нахмурившись, углубился в чтение.

Паша медленно водил средним пальцем правой руки сверху вниз, не пропуская ни одной колонки. Иногда он менял руку, чтобы достать из нагрудного кармана маркер и отметить привлечение его внимание строки.

Изучив газету, он занялся зубами, с большим интересом разглядывая уши Антипа.

– Зубочистки? Ха! – наконец сказал он.

– Не всем же быть космонавтами, кому-то и зубочистки надо делать, – застенчившись и насупившись, отвечал Антип.



И для убедительности повторил слова дяди:

– Многие и на зубочистку пользу не принесли.

– Космонавтами? Ха! Ну, ты и тундра! Вечная мерзлота, – восхитился Паша.

– А по шее не хочешь, Сопля?

Паша с осуждением покачал головой и ткнул пальцем в объявление, обведенное красным маркером:

– Запомни: доброта, милосердие, человеколюбие – наши слова. Согласен? А по шее. по зубам, по морде, сопля – не наши слова. Согласен? Ты думаешь, я кто? Паша Сопля? Нет, я святая мать Тереза. А ты хочешь быть матерью Терезой?

– Не хочу, – честно сознался Антип.

– А хочешь через год купить джип? Или ты из тех, кто всю жизнь бреются одной и той же одноразовой бритвой?

– Джип? Хочу, – отвечал Антип.

Паша развел руки:

– Тогда надо стать матерью Терезой.

– А что нужно, чтобы стать матерью Терезой?

– Прописка. У тебя есть прописка? Все. Трудоустраиваю тебя матерью Терезой. Слушай и забывай. В нашем городе – масса приезжих. Работа для них есть, а жилья нет. Между тем много земляков покидает наш город на полгода, год. И сдают квартиры. Но кто сдаст приезжему таджику квартиру? Никто не сдаст. И тут появляюсь я – мать Тереза – и снимаю квартиру. Затем вселяю восемнадцать душ. Девять мальчиков и девять девочек. Живут посменно. Девочки днем работают посудомойками и официантками в суши-барах, а ночью спят. Мальчики ночью работают на такси, а спят днем. В каждой смене свой староста. Пересменка в девять часов. Очень, между прочим, аккуратная и чистоплотная нация. Каждая смена тщательно убирает за собой жилище. Квартира приятно пахнет моющими средствами. С каждого жильца я беру более чем умеренную плату. Милосердие мое не знает границ. Через месяц затраты окупаются и я получаю чистую прибыль. Ну? Входишь в долю?

– И что мне делать?

– Зачем тебе такие большие уши? Зашиваюсь. У меня



уже пять квартир. В основном в микрорайонах. Не успеваю объезжать. Нужен напарник. Надежный, скромный, молчаливый и не очень сообразительный. Вылитый ты. Паспорт у тебя с собой? – Паша постучал пальцем по околованному объявлению. – Едем в пятый микрорайон. Человек – заметь – срочно сдает двухкомнатную квартиру на год. Хорошее слово – срочно. Ну, вступишь в долю?

– Допустим.

– Десять процентов устроит?

– Почему десять? Пятьдесят. По-честному.

– Оборзел? Зачем тебе так много? Деньги надо уважать. Любить деньги нельзя. Любовь к деньгам губит.

– Мне нужно много денег.

– Зачем?

– Надо.

– Ладно. Пятнадцать.

– Пятьдесят.

– И осиновый дырн поперек морды.

– Пятьдесят.

– Ну, ты и хам. Двадцать. Ты же будешь снимать квартиры на мои деньги. Или у тебя есть накопления?

Антип покраснел и сказал:

– Десять.

– Двадцать. Я от своих слов не отказываюсь.

– Десять.

– Договорились – пятнадцать. Слушай, Антип, а зачем тебе деньги?

– Дом хочу в Красной горке построить. Первый этаж каменный, второй из сосны.

– На Чистом? Там же дышать нечем. Зачем тебе эта помойка?

– Очищу. Куплю озеро и очищу.

– Так, так, – испытывая смутный восторг, знакомый поэтам, ученым и мошенникам, затыкал старинными ходиками Паша, искоса поглядывая на друга детства. – А это мысль! Очень даже неплохая мысль. Я в доле.

Антип поскреб лысину, соображая, что за мысль обнаружил в его словах друг детства, и спросил:

– Сопля, а у тебя есть машина?

– Нет у меня машины, – отвечал с печалью, знакомой



только бездетным отцам, Паша. – У меня, Антип, собачья болезнь. Цветоощущение нарушено. Живу, представь себе, в черно-белом кино. Говорят: зеленый, красный. А что такой зеленый, красный – не представляю. Не зови меня больше Соплей. Ладно?

– Да ты что! И где ты собачью болезнь подхватил?

– С рождения.

– А я почему не знал?

– Ну, хвастаться особенно нечем.

На перекрестке у «Тропиканы» старуха в камуфляже и солдатской панаме, из-под которой торчали седые букли, выкрикивая проклятия, истово отрещивалась от пронесившихся мимо иномарок. Устав крестить, плевалась.

Старуха схватила Антипа за руку и зашептала, оглядываясь:

– Это не люди. Это подобию. Сатана в городе. Сатана. Скоро вас всех поубивают. Сожгут и развеют. Не ходи по этому перекрестку. Не ходи.

Внезапно она рассердилась и закричала:

– Улыбаешься? Почему улыбаешься? Сатана стоит за плечами, смердит, а ты улыбаешься!

Антип отпрянул и оглянулся.

Рыжий Паша подмигивал ему, постукивая по виску свернутой в трубочку газетой бесплатных объявлений.

Из сплошного потока машин вывернул старенький «Жигуленок» и, едва не провалившись в арык, резко затормозил. Восточный человек, блеснув из-под черных усов белыми крепкими зубами, выглянул из окна со стороны пассажирского кресла и крикнул, делая ударение на последнем слове:

– Паша, Паша! Куда едем, дорогой?

– Равшан, дорогой, привет! – отвечал Паша в тон ему. – Спасибо, дорогой, нам недалеко.

– Далеко недалеко – садись.

– Скоро твой не будет, скоро мой будет, – сказал веселый Равшан, когда Паша и Антип уселись на заднее сиденье, и засвистел мотив, витиеватый, как восточный орнамент. – Два месяца и мой. Совсем хозяин буду.

– Три, – поправил его Паша. – Как мотор?



– Совсем зверь, – отвечал Равшан и снова засвистал. – Какая разница – два, три. Этот месяц не считайся. Скоро совсем мой станет. Осталось дворника, да, аккумулятора, да, и запаска выкупить. Не считай лобное стекло. И воздуха в колесах.

И он засвистал веселее и громче.

У восточного человека были очень хитрые глаза. Такие хитрые, что с ними невозможно никого обмануть. Всякий простака, заглянув в эти хитрые глаза, уже предупрежден и держится на страже. Обмануть другого значительно проще, если у тебя ясные, честные и чуть-чуть глуповатые глаза.

Такие, как у Паши. А лучше – как у Антипа.

Тайными путями, проходными дворами, закоулками, насвистывая печальный мотив, мигом домчал их веселый Равшан до места и наотрез отказался брать плату, сославшись на то, что два с половиной месяца машина принадлежит еще Паше.

– Ты что – хозяин автопарка? – спросил Антип, помахивая рукой вслед бескорыстному бомбиле.

– Я – святая мать Тереза, – скромно отвечал Паша.

– Не свисти – денег не будет, – не поверил Антип.

– Тьфу на тебя три раза за такие слова, – отвечал Паша. – Да, я святая мать Тереза, покровительница гастарбайтеров. Мне памятник при жизни поставить надо у поющих фонтанов. Представь себе, приезжает Равшан, между прочим человек с высшим образованием, сельский учитель, в наш город с мыслью подзаработать таксистом. Идет в частный таксопарк. А хозяин, буржуйская морда, пользуясь его бесправным положением предлагает гроши. Была бы у Равшана своя машина. Но своей машины у него нет. И тут появляюсь я и проявляю невиданное милосердие. Я покупаю Равшану подержанную, но еще крепкую машину. Работай, Равшан, как свободный человек. Сколько заработаешь – все твое. Условие одно: каждый вечер в течение пяти месяцев ты отдаешь мне пятнадцать долларов. Что такое пятнадцать долларов в день для таксиста? Это меньше, чем тьфу. Через пять месяцев Равшан хозяин машины, а я могу купить машины еще двум его землякам. Мать я Тереза или не мать?



– А почему пятнадцать долларов каждый день? Почему не сто долларов за неделю?

– Так у них заведено. Такая у них ментальность. Систему ломать нельзя. А потом что легче отдать – пятнадцать долларов или сто пять?

Паша остановился у типовой многоэтажки, называемой в народе хрущобой, и сверив номер дома с объявлением в газете, сказал:

– Ну, вот мы и пришли. Первый урок – бесплатно.

С этого дня и стал Антип вместе с Пашей сеять картошку на нейтральной полосе, у самой границы уголовного кодекса.

Свободный, не облагаемый – т-с-с-с! – налогами бизнес, замешанный слегка на корыстном милосердии и отчасти на невинном мошенничестве, приносил неплохой доход. Спустя месяц, Антип снял для себя двухкомнатную квартиру в центре города, а через полгода, как и обещал Паша, купил красный пиджак и джип – подержанную «Ниву» цыганской сборки. Еще через полгода приобрел дяде и бабушке новый дом в пригороде. В дачной зоне, далеко от полосатой трубы ТЭЦ.

Дядя, отсталый человек, исповедующий философию «совка» – жить надо честно, жить надо справедливо, своим трудом, нельзя въезжать на чужом горбу в рай, бла, бла, бла – полной грудью вдохнул воздух яблоневых предгорий и втайне засомневался в правоте подобных взглядов. Жить надо было не по принципу человек человеку брат, кум и сват, но по завету армейского друга: «обмани ближнего, ибо дальний приблизится и обманет тебя». Вот прожил он Прометеем, даря за копейки огонь людям, а что толку, если племянник, не изготовивший и зубочистки, заработал за несколько месяцев столько, сколько дядя не накопил и за всю жизнь. Что есть у дяди, кроме исклеванной печени? Спасибо, конечно, но на душе осадок. Поздние сожаления, напрасные соблазны. Впрочем, в глубине души дядя был убежден, что в истории бывают времена, когда быть современным стыдно. Что взять с дяди? Дядя мыслил коряво и непоследовательно.

Вообще-то дядя был человеком крайне левых убежде-



ний, борцом за справедливость, но как только появлялись деньги, ему начинал нравиться капитализм.

Не известно, сколько бы еще длился этот вольный бизнес, если бы однажды Паша не познакомился с химиком Брыскиным.

Если вы коренной житель Баблодара, то сразу догадались, о каком Брыскине идет речь. Да, да – о том самом городском сумасшедшем, что ни раз садился рядом с вами в маршрутку и, наклонив голову к левому плечу, раскрывал толстую книгу, сплошь состоящую из формул. Он жадно пожирал страницу за страницей, временами кривил губы и говорил с крайним возмущением: гм! От непричесанного человека попахивало бомжом, но среди горожан бытовало поверье, будто встреча с ним приносит удачу. Дело в том, что Брыскин был из крайне редко встречающейся среди людей породы трехцветных. Чуб рыжий, затылок черный, а виски – белые. Не седые, а именно белые.

В перестроечные годы, когда химики, как, впрочем, и не химики стали никому не нужны, Брыскин попытался накопить первоначальный капитал, работая по совместительству сразу в трех местах. Но какой в этом был смысл, если ни за одну работу не платили, или платили копейки. На таких условиях, за бесплатно он мог бы работать и на себя. Эта простая мысль сделала счастливыми годы безвременья. Именно тогда в голову ему пришла мысль делать топливо из мочи. И он погрузился в творчество.

Нет, идея замены бензина на мочу Пашу Сопелкина не привлекла.

Все же Паша, несмотря на известную остроту ума, был провинциалом и не мыслил в таких уж глобальных масштабах.

Его привлек краситель, изобретенный Брыскиным, одним из компонентов которого была все та же моча.

Знакомство состоялось в год, когда коммунальное хозяйство Новостаровска переживало жесточайший кризис. Заваленный мусором город подвергся нашествию серых крыс-мутантов. Невероятно длинношерстных и злобных.

Нужно было обладать парадоксальным складом ума Паши Сопелкина, чтобы увязать серых крыс с изобретением



химика Брыскина и увидеть за всем этим перспективы успешного бизнеса.

Появлению фирмы «Выхудра» предшествовало дорожно-транспортное происшествие, случившееся апрельским днем у перекрестка возле кафе «Тропикана», где, по уверению сумасшедшей старухи, постоянно крутился и смердел сатана.

Брыскин возвращался на своем – последнем в городе – «Запорожце» после встречи с олигархом Сорокиным.

Встреча Брыскина расстроила.

Недоумок Сорокин не захотел вложить деньги в разработку двигателя, работающего на моче. А уж казалось бы, кому как не Сорокину.

Неподвижный, темный взгляд гения дополняла горькая носогубная складка здравомыслия.

Рано или поздно его идея будет украдена и работающий на моче, экологически чистый двигатель появится. Но появится он в Европе или Америке. А, скорее всего, в Японии. Его же имя будет забыто. Над историком, который попытается восстановить истину, будет потешаться просвещенная часть общества, говоря: «Баблодар – родина слонов».

Бедная, бедная родина! Не выбиться тебе из захолустья, пока не начнешь ценить своих сыновей. Нет у тебя чувства собственного достоинства.

Опечаленный думами, Брыскин не соблюдал дистанции. И у перекрестка со всего маха врезался в зад «Ниве».

Раздался звук, от которого замирает и обрывается сердце автомобилиста. И долю секунды, бледный, окаменевший, сидит он за рулем, не веря, что это произошло именно с ним.

Потом, конечно, взрывается и с яростным словом: «Козел!» – выскакивает из подвергшейся насилию машины и ведет себя неадекватно.

Антип – именно в его зад врезался Брыскин – собиравшись сгоряча запустить помятый, с осыпавшимся лобовым стеклом «Запорожец» вместе с остолбеневшим Брыскиным в светофор. Но, к счастью, здравомыслящий Паша Сопелкин, вместе с которым объезжали они съемные квартиры, не дал свершиться самосуду.



Легко быть здравомыслящим, если покалечили не твою машину.

Толстенский Паша встал на цыпочки и, высоко-высоко задрав руку, мягко похлопал напарника по напряженному плечу. Двухэтажный Антип, который с трудом вмещался в «Ниву», расслабился, обмяк и, поплевав в ладонь, принялся любовно заглаживать царапину на машине, что-то нашептывая и неодобрительно поглядывая на нехорошего дядю.

Авария произошла не просто на перекрестке, а на перекрестке, где сходились трамвайные линии.

– Будем создавать пробку, ждать ГАИ или разберемся сами? – спросил Паша, с одного взгляда оценив ущерб и того, кто этот ущерб нанес.

У маленького, рыжего Паши и слова были пухленькие, рыжие.

Что можно получить от владельца «Запорожца», кроме собственной головной боли?

Брыскин смотрел на него учтивыми глазами статуи царского писца, которую только что извлекли из гробницы.

Трамваи уже дребезжали. Гудели машины. Нервы участников дорожного движения натягивались и скрипели, как пружинные эспандеры.

Потрясенный Брыскин молчал.

От «Запорожца» пахло чем-то знакомым и не очень приятным.

Паша предложил не держать друг на друга зла и разъехаться добрыми друзьями. Но сотрясение для пожилого «Запорожца» оказалось роковым. Пришлось из сострадания взять его на буксир.

Антип, из головы которого не выходила царапина, сурово поглядывал в зеркало заднего вида и ворчал: «Битый небитого везет». Преисполненный добродушия и милосердия Паша, размышлял, а нельзя ли из этой беды извлечь какую-никакую прибыль?

Вот так они и познакомились – гениальный неудачник и удачливые шалопаи, сеющие картошку на нейтральной полосе.

А через некоторое время появилась забавная выхудра –



зверек, которого никогда не было в природе. И, скорее всего, не будет.

Выхудра, внебрачная дочь выхухоля и легкомысленной выдры родилась в изощренном мозгу Паши Сопелкина, откуда затем перекочевала на телеэкраны.

Если ты каждый день соблазняешь платиновым мехом миллионы телезрителей, какая разница, есть ты или тебя нет?

Это было в год, напоминая, когда коммунальные службы Баблодара захлебнулись в лавине бытовых отходов – и город подвергся нашествию серых крыс. Во дворах жертвенными кострами полыхали кучи хлама. Дымы пахли мерзко. Горящей плотью. Иногда из пламени выбегала горящая крыса и стремглав бросалась в подвал, визжа от ужаса. Визжали от ужаса и жительницы домов.

Под эти визги и родилась фирма «Выхудра». Она состояла из нескольких производственных подразделений, на первый взгляд никак не связанных друг с другом.

Одно подразделение выполняло благородную задачу избавления города от крыс.

Другое производило дешевый корм для кошек и собак.

Третье, собственно, и давшее название фирме, шило дорогие шубы для элиты.

Конечно, циничный ум мог связать крысоловов, корм для домашних животных, лабораторию сумасшедшего химика Брыскина и ателье «Выхудра» в единый, местами разветвляющийся процесс.

Вы, наверное, подумали то же, что и я – о московских олигархах, покупающих за бешеные деньги шубы из серых крыс?

Но видели бы вы мех выхудры!

При ровном освещении его можно было бы назвать нейтральным, сдержанным и даже бесцветным. Всколыхнешь – как волны по ржи пробежит платиновый сумрак, затуманится, покровется как бы изморозью, и снова обесцветится, словно оттает.

Но стоит в этой шубе выйти на дневной свет, с ней происходят забавные превращения. Мех перенимает цвета и оттенки предметов, растений, людей – всего, с кем или с чем входил в непосредственный контакт хозяин



шубы. Свойство это не было банальным, грубым отражением зеркал. В нем было нечто неуловимое. Поэтическое. Если, конечно, современному читателю это слово что-то говорит. Мех перенимал невозможное – состояние погоды и даже настроение людей.

Любезничал ли хозяин шубы с дамой, беседовал ли с деловым партнером, мех выхудры, словно подчеркивая душевную общность и взаимопонимание, перенимал не только цвет одежд, но и настроение собеседников.

Сравнить эту особенность со свойствами хамелеона, перенимающего окраску среды для маскировки своих намерений, было бы не совсем верно. Скорее всего, это тонкое и одновременно глубокое отсвечивание напоминало мерцание влюбленных каракатиц. Но только отчасти. Было в этом сумрачном, взволнованном мерцании нечто душевное, некий тонкий художественный вкус, тактичность, что мгновенно вызывало расположение к хозяину шубы.

Шубы из меха выхудры настолько дороги, что по карману только московским олигархам.

Московским олигархам, собственно, все по карману.

Я тоже думал с прощительным злорадством люмпена и дикороса – крыса.

Но, попытавшись передать впечатление от меха, сильно засомневался.

Нет, не может так переливаться шерсть какой-то серой крысы.

Пусть даже и подкрашенной гениальным чудачком Брыскиным.

Почему никто в глаза не видел живой выхудры? Но это же понятно. Только покажи. Тут же уведут парочку. И прощай эксклюзив.

У каждой фирмы свои секреты. Зачем плодить конкурентов?

Московские олигархи за шубы из меха выхудры платили столько, что мастера на примерку летали к ним самолетами.

Вы смотрите рекламу? И я не смотрю.

Рекламу, не будем говорить о налоговиках и зомби, смотрят только бандиты.



Не по интересу. Нужно по работе.

Паша с Антипом обустраивали офис в квартире на первом этаже жилого дома.

На столе перед Пашей лежали варианты нового логотипа фирмы, предложенные московским дизайнером Читало.

Но смотрел задумчиво Паша не на эскизы, а на Антипа, который тщательно намыливал яблоки и время от времени пробовал рукой струю – достаточно ли она горяча, что бы погубить микробы. Паша довольно долго наблюдал за партнером по бизнесу и при этом морщился, фыркал и качал головой. Перед тем, как мыть яблоки с мылом, Антип с инквизиторским выражением на лице полчаса прожаривал на конфорке булку хлеба, безжалостно предавая огню невидимых, но мерзких тварей.

Наконец, Паша не выдержал и спросил:

– Ты бы еще в суп хлорки насыпал.

В этот момент в дверь с забавным зверьком на вывеске и табличкой «Товары не предлагать» постучали два сорокалетних мальчика в безразмерных шортах ниже колен с пивными брюшками, разбухшими барсетками-педерасточками. Большие. Добрые. Тщательно выбритые по всей поверхности шара. Глаза умные и проницательные. На самодовольных лицах написана вся пошлость рыночных отношений. Купите, говорят, пацаны, как бы зонтик. Думайте, думайте. Только чисто конкретно побыстрей думайте. Зонтик как бы дорожает. А без зонтика в наше время долго не проходишь. Погода, сами понимаете, то град, то солнечный удар. То сосулька с крыши, а то и, конкретно, огнеупорный кирпич.

И сказал Паша, когда пацаны ушли:

– Так жить нельзя. Нужна надежная крыша. Антип, у тебя есть знакомые бандиты?

Антип подумал и сказал:

– А зачем нам бандиты? Все мы немножко бандиты. Посмотри на меня, посмотри на себя. Мы частью большие, частью умные, повсеместно добрые. Зачем нам платить бандитам?

– Мысль понял, – вдохновился Паша. – Ты предлагаешь стать бандитами и крышевать самих себя?

Раскатал губу.



В городе уже были три бандита – Алмаз Черный, Алмаз Белый и Алмаз Рыжий. Они поделили Баблодар на три равные части. По честному.

Думаете просто? Попробуйте разрезать на три равные части яблоко или арбуз. А Баблодар не яблоко и не арбуз.

Но им удалось.

Разлили город, как бутылку виски на троих.

И все было хорошо, кроме одного спорного квартала.

Воловых, так сказать, Лужков.

Спорный квартал был как бы вершиной горы, на которой сходились в одну точку границы трех государств.

Так себе кварталишка: ни солидных фирм, ни частных предприятий, которым требовалась бы солидная крыша. Правильнее всего было бы объявить этот пустяк ничейной территорий. Так и сделали.

Но время от времени нейтральный статус Воловых Лужков, где и обосновалась фирма «Выхудра», нарушался и на ничейную землю тайно забредали опричники грех Алмазов. Каждый со своим зонтиком.

Паша и Антип по молодости лет думали, что они хитрее всех и бессовестно пользовались территориальной неразберихой дикого поля.

Когда за данью приходили люди Черного Алмаза, они вежливо говорили им, что уже купили зонтик у людей Алмаза Белого. Когда приходили от Алмаза Белого, намекали на дружбу с Алмазом Рыжим.

И на первых порах это наглое, жульническое уклонение от поборов сходило им с рук.

Паша и Антип не знали, что три бандита, как три одинаковых лица из одного ларца, сосуществуют мирно и часто преломляют белый хлеб, густо намазанный черной икрой, которую зовут между собой Гурьевской кашей.

Однажды с проверкой на вшивость пришли ребята от Алмаза Рыжего, а представились, шакалы, опричниками Алмаза Белого. Паша им сказал: опоздали, мы уже купили пляжный зонтик у Алмаза Рыжего.

Цоп они его за язык и на кулак намотали.

Когда у трех Алмазов случались расхождения во взглядах и пограничные конфликты, решали они их в духе рыцарей круглого стола.



Местом дипломатических встреч был ресторан на крутом берегу искусственного озера все в том же спорном районе.

Горная река, впадающая в водоем, звалась Малой Поганкой, а та же, но уже равнинная река, вытекающая из него – Большой Поганкой.

Само же озеро при этом именовалось Чистыми Прудами.

Ресторан, построенный под старинную крепость – с башнями, бойницами и даже подъемным мостом и рвом – наречен был благозвучным иностранным словом Гуано, в котором, впрочем, угадывался родной, папахивающий нужником, корень.

Алмазы были людьми интеллигентными и исповедовали принцип: «по голове сразу бить не надо, надо сначала слова говорить». Алмаз Черный когда-то дирижировал оркестром народных инструментов, Алмаз Белый заведовал пунктом искусственного осеменения крупного рогатого скота, а Алмаз Рыжий уволился из органов внутренних дел в чине майора.

Был среди них еще один Алмаз – Пегий.

Но это печальная история.

В память об Алмазе Пегом и в знак нерушимой дружбы три Алмаза на пустыре возле ресторана «Гуано» воздвигли монумент, отлитый из легированной стали, циклопических масштабов.

На массивном постаменте, упираясь лбом в мрамор, стоял бык мифологических размеров.

Примерно с локомотив. Чуть больше. Правое копыто отполировано до сияния.

В просвете его рогов могли разъехаться два пассажирских автобуса и при этом не раздавить регулировщика.

Судя по всему, бык страдал базедовой болезнью. Выпученные глаза его были полны наивного изумления перед грандиозностью замысла скульптора.

Но всего замечательнее в быке были мужские признаки. Размером с два «Запорожца».

Из проедины в брюхе быка капала ржавая жидкость.

Полая скульптура, видимо, имела изъян и заполнялась дождевой водой.



Что, впрочем, делало достоверней образ разъяренного животного.

На спине быка возвышался постамент в виде боксерского ринга, по углам которого стояли в собачьих позах четыре, скорее всего, барса, хотя и с ошейниками. Впрочем, всего более, невиданные звери походили на отошавших и облысевших львов с торчащими оладьями ушей. Они грозно скалились на четыре стороны света, охраняя существо в цивильном костюме и тexasской шляпе. У стального существа была грация кабана-секача и позолоченные крылья. В левой руке оно держало поводки, удерживающие хищников от вольной охоты, а правой, перстами, униженными перстнями, держало сложенный зонтик, которым указывало на ресторан «Гуано». Голова существа была выкована из четырех, очень похожих лиц. В стальной череп встроены восемь зеркальных, недреманных глаз, в которых вместились весь город с тяжелым облаком смрада над ним.

Замысел композиции был засекречен и известен лишь скульптору и оставшимся в живых Алмазам – самозванным князьям, собирателям дани, надстроившим над городом три крыши.

Когда переговоры заходили в тупик, окончательное решение спорного вопроса переносилось к подножию монумента.

Алмазы съезжались на площадку перед стальным быком в «Хаммерах». Черный Алмаз – на черном, Белый – на белом, а Рыжий не в масть, на берюзовом.

Съезжались и, предварительно коснувшись копыта быка, бились бампер о бампер за правое дело.

Как яйца на пасху. Хлоп – чье яйцо треснуло, тот и проиграл.

Два Алмаза бились лбами. Третий судил по-честному.

Третьим чаще всего был Алмаз Рыжий.

Обычно вопросы были принципиальные, но пустяковые. Выясняли, допустим, кому из Алмазов держать зонтик над рюмочной или кофейней.

Алмазы бились с пяти метров для забавы. Трах! Рев, запах жженой резины, скрежет. И кто кого вытеснит за круг, того и правда.



Вопросы посерьезнее требовали большего разгона.

Одно дело бодаться с пяти или десяти метров. Совсем другое с пятидесяти.

С этого расстояния Алмаз Белый с Алмазом Черным бились лбами однажды. Из-за базара на Каблуково. В смысле не из-за базара, который нужно шлифовать, а из-за реального базара. В итоге базар достался Алмазу Рыжему. Остальным Алмазам досталось сотрясение мозга.

Алмазы никогда не уклонялись от лобового столкновения. Приведись им выяснять отношения со ста метров, в городе из трех Алмазов остался бы только Рыжий.

Когда Алмазы узнали, что какая-то «Выхудра» заплела всем троим бороды в одну косичку, они очень расстроились.

Нахалов нужно было примерно расплющить.

Капиталы Паши и Антипа были вложены в становление «Выхудры» и на встречу с Алмазами они приехали в «Ниве», чем растрогали и умилили трех добрых бандитов до слез. Трех разномастных упырей на одно лицо.

– Забавная скульптура, – прошептал Паша Антипу, внимательно разглядев быка и скульптурную группу на его спине. – Мне нравится. Мы мирные люди, но наш бык со стальными яйцами уже роет копытом землю.

– Это не скульптура, – отвечал ему хмуро Антип. – Это памятник на нашей братской могиле.

Нужно было на «Ниве» по-честному биться лоб в лоб с «Хаммерами». По очереди с каждым из Алмазов.

На детской коляске против танков.

– Мужики, мы отойдем, помолимся, – сказал Паша.

– Помолись, брат, помолись, – разрешил Алмаз Рыжий.

Он сочувствовал людям его масти.

– Ты что в Бога веришь? – спросил Антип, когда они отошли к краю обрыва.

– А в кого нам сейчас верить? – ответил Паша. – Не в быка же.

День после Рождества стоял чуть пасмурный, но теплый, благостный, умиротворяющий. Редкие снежинки сверкали в воздухе, словно не собираясь падать на землю, растленную рыночными отношениями.



По берегам озера тускло сияли золотом купола двух церквушек.

Против каждой на льду темнели кресты иорданей.

Проруби, вырубленные в форме креста.

Паша смотрел на снежинку, которая медленно таяла на лысине Антипа.

– Как думаешь, сколько метров от иордани до иордани? – спросил он.

– На глаз не определишь. Может быть, сто, может быть, двести.

– Пронырнул бы на спор подо льдом?

Антип посмотрел на друга и пожал плечами:

– Подо льдом, не подо льдом – мне посередине. Было бы из-за чего. Вода только грязная.

– Сейчас вся вода святая. Значит так. У нас есть маленький, маленький, шанс. Единственный. Нырнешь?

Смерил взглядом Антип расстояние от креста до креста и перекрестился.

– Перед тем, как спуститься к иордани, дотронься до правого переднего копыта быка, – прошептал Паша.

– Зачем?

– Надо. Прошу. Заметил, как блестит? Идем.

– Господа, – слегка дрожащим, но бодрым голосом обратился к Алмазам Паша, – какая вам радость, господа, плющить своей бронетехникой нашу инвалидную коляску? А слабо пронырнуть подо льдом от иордани до иордани?

– Без ласт? – спросил самый веселый из Алмазов – Черный – и разрешил. – Нырай.

– Я буду нырять, – сказал Антип.

– Не пойдет, – возразил Алмаз Черный. – Договаривались без ласт, а у тебя, разноглазый, уши больше ласт. На одних ушах wygrебешь. Пусть рыжий ныряет.

Алмазу Рыжему не нравилось, когда ущемляли людей его масти:

– Пусть лысый ныряет. Не пронырнет, тогда – рыжий.

– У лопоухого жабры. Лопоухий, у тебя жабры? – спросил самый подозрительный из Алмазов – Белый.

Паша толкнул плечом в поясницу Антипа.

Антип посмотрел на него снизу вверх, не понимая, что от него требуется.

Паша сердито засопел и наступил ему на ногу.

Антип подошел к низкому постаменту и, перегнувшись, коснулся стального копыта быка.

Не передать, как растрогал этот жест идолопоклонства трех бандитов. Расчувствовавшись, они синхронно высморкались. Антип стоял к ним спиной и не заметил смены настроения, но Паша все видел и использовал момент до упора.

– А прырнет, – сказал он, когда ладонь Антипа легла на холодный металл, – уступите нам ничейный квартал. Что вам из-за пустяков машины гробить.

Вслед за Антипом Алмазы по очереди подошли к отполированному до зеркального блеска копыту.

Сошли на лед.

Держась за деревянные поручни ограждения, Антип пяткой разбил ледок, затянувший прорубь, и руками выловил острые и прозрачные, как стекло, осколки. В темной воде, как в зрачке вечности, отразилась трепещущая физиономия Антипа. Легкомысленная и преходящая, как бабочка, порхающая над снегами. Казалось, лысая его голова пыталась взлететь на ушах.

Вдалеке по-над плотинной-мостом за ажурной оградой дребезжал желтый трамвайчик, шли люди и по обычаю горожан смотрели под ноги. Но это уже была другая жизнь, не его.

– Паша, сходи – разбей ледок на той иордани, – попросил Антип друга, снимая куртку.

– Мы так не договаривались, – возразил Алмаз Белый. – Не маленький. Лбом прошибешь.

Его можно было понять. Алмазы заключили пари. Белый поставил на самое меньшее расстояние. Он надеялся, что Антип не прырнет и половины.

– Лбом так лбом, – согласился Антип. – Ботинки тоже снимать?

– Кто же ныряет в ботинках? – удивился Алмаз Черный.

Он поставил на середину.

И только самый добрый из Алмазов – Рыжий – полагал, что Антип утонет на второй половине дистанции.

Подстелив под ноги куртку, Антип разделся и, передавая одежду и ботинки Паше, сказал последнее слово:



– Если что бабуку с дядькой не забывай. Помрет бабка – похорони на старом кладбище. Не хочет она лежать на новом. Сыро, говорит, низина.

– Выпей, – протянул ему Алмаз Рыжий серебряную фляжку, – веселее тонуть будет.

– Не пью, – отвечал Антип с достоинством.

– Так и помрешь трезвым и скучным, – разочаровался в нем Рыжий.

Антип ничего на это не ответил. Провентилировал легкие и, сделав серьезное лицо, поцеловал оловянный крестик, подаренный бабушкой, перекрестился и, отгоняя льдинки, погрузился по грудь в прорубь.

– Не порезался? – спросил Паша.

– Иди к проруби, – ответил Антип, – только прямо иди. Получится – в монахи уйду.

И набрав в легкие столько воздуха, что Алмазы почувствовали кислородное голодание, без всплеска растворился в темной воде.

Озеро промерзло на сантиметров пятнадцать. Было видно, как подо льдом темным золотом заскользило нечто бесформенное и бесплотное. Паша поспешил впереди пятна, сверяя курс и оглядываясь. Три Алмаза, скользя модельными туфлями по льду и размахивая руками, шумно семенили следом. Каждый из них надеялся выиграть пари.

А подо льдом, чувствуя себя раком, брошенным в кипяток, бежал по дну Антип. Время от времени ему приходилось поднимать голову, сверяя направление со смутной тенью на тускло просвечивающемся потолке. Всякий раз при этом менялась форма крыла его тела, и вода, вместо того чтобы прижимать ко дну, била в грудь. Это нарушало темп и останавливало движение. Но, опасаясь отклониться от курса и миновать противоположный крест, он вынужден был вновь и вновь поднимать голову.

С этими привалами его бы хватило ненадолго. И пари выиграл бы, скорее всего, Алмаз Черный. Но внезапно в нем проснулось чувство направления к дому. Иордань лежала как раз в стороне Красной Горки. И Антип, доверившись забытому чувству, почти касаясь лбом ила, плавно и сильно отталкиваясь от дна, заскользил к родному лесничеству.



Антип бежал и молился. Но надо ли передавать его молитвы? Пожалуй, не стоит. Во-первых, вряд ли это можно назвать молитвами. А во-вторых, отношения с Ним – вещь интимная. Что ему говорит в подобных ситуациях человек, что обещает – касается только их двоих. Не наше это дело. А то, что на грани жизни и смерти каждый атеист думает о Нем, вы знаете и без меня.

А самое главное, зачем нам еще и Его впутывать в бандитские разборки?

Не надо.

– Все, прошел точку возврата, – сказал Алмаз Черный, посмотрев вперед и оглянувшись назад.

– Не видно. Должно быть, захлебнулся. На дно лег, – добавил Алмаз Белый, запыхавшийся от попыток сохранить равновесие.

Три Алмаза пошли медленнее, посматривая на часы и мобильники, и, наконец, остановились, рассуждая – не пора ли возвратиться в «Гуано», к столу, поморозили сопли и хватит.

Чем ближе подходил Паша к крестообразной проруби, тем сильнее грыз его червь сомнений: надо ли разбивать ледок в иордани?

Разобьешь, скажут – мы так не договаривались, не считается. И все зря. Скажут, сам теперь ныряй.

А не разобьешь, вдруг Антип лбом не сумеет его расколоть?

Не надо спешить. Пусть попытается. Лоб у него крепкий.

Не донырнет, уже не поможешь – разбивай, не разбивай.

Паша лег на лед, пытаясь в раструб из ладоней разглядеть в темной воде Антипа.

И когда он решил, что все сроки прошли, сокрушенная лысиной Антипа лопнула, растрескавшись и зазвенев, пленка льда, и осыпала Пашу осколками, брызгами воды и крови.

Фыркнув, как кит, Антип со свистом втянул в себя воздух, выдохнул в небо столб розового пара и сказал, отдуваясь:

– Понакидали всякой дряни. Ногу порезал.

С лысины, рассеченной льдом, стекала кровь.



И показалось Паше, что глаза Антипа поменялись местами. Тот, что был зеленым, стал синим, а синий перекарасился в зеленый.

Остаток дня Паша и Антип провели в обществе трех самых уважаемых бандитов Баблодара, в отдельной башне ресторана «Гуано», из бойницы которой был виден потрясающий дикой силой монумент – бык, роющий копытом землю, на спине которого четырехликое существо с золотыми крыльями и четыре зверя, отдаленно похожих на барсов, бдительно контролировали город.

В этот день Антип впервые нарушил запрет егерей Плешивых, хорошо пригубив хмельной бычьей крови. Пригубил и, как сказал бы автор девятнадцатого века, сделался пьян. Был трезв, рассудителен, да вдруг сделался в сиську пьян.

Темный взрыв прогремел в перебинтованной голове Антипа, мир перевернулся. А когда к нему вернулось зрение, мир был уже другим. Веселым и глупым.

– Послушай, рыжий, а ты случаем не еврей? – спросил Алмаз Черный.

– А что?

– Умный больно.

– Вы мне льстите, – отвечал, слегка расстроившись, Паша. – Увы, чистокровный кацап.

– Еврей – не национальность, еврей – образ жизни, – утешил его Алмаз Белый.

– В этом смысле мы все немножко евреи, – согласился с ним Алмаз Рыжий.

Антип переводил глаза на собеседников. Наивные, как васильки во ржи.

– Как пацаны? – спросил Алмаз Белый.

– Вменяемые, – ответил Алмаз Черный.

Алмаз Рыжий подвел черту:

– Бог тебя уважает, православный. Уважим и мы тебя. Куда нам против Бога.

Так были приняты кандидатами в интернациональную семью бандитов города Баблодара вменяемые пацаны Паша и Антип.

Главным бандиты признали не Пашу, а Антипа и нарекли его Алмазом Лысым.



Антип не возражал. Лысый, Плешивый – разница не-большая.

– Послушай, Паша, хочу тебя спросить. Вот говорят: евреи, евреи. А что за люди такие – евреи?

Паша посмотрел на него как хакер на каменный топор. На языке вертелись слова: «тундра», «вечная мерзлота», «сибирский валенок», но все они не отражали степень наивности Антипа. И Паша сказал:

– Льва Семеновича знаешь? Ну, киоскер. Вот он – еврей.

– А, – произнес Антип с некоторым разочарованием, почесав за правым ухом. – А почему он еврей?

– Ну, ты, допустим, по папе русский, по маме грек. А он еврей.

– А, – смутился Антип и почесал за левым ухом. – А то говорят: евреи, евреи. А я все думаю, что это за люди такие евреи?

Надо сказать, что в «Выхудре» Антип занимал не столь высокое положение. Он возглавлял подразделение, отвечающее за ловлю крыс.

Работа интеллигентная.

По заявкам коммунальных служб к подвалу дома, перенаселенному грызунами подъезжал весело раскрашенный фургон. На нем был нарисован рыжий человек, играющий на пионерском горне. Люди старшего поколения признавали в этом человеке солнечного клоуна Попова. Впрочем, он отдаленно напоминал и Пашу Сопелкина. За человеком на задних лапках шли миловидные, кокетливые крысы. По окосевшим глазам было видно – очарованные музыкой. Задняя дверца фургона раскрывалась сама собой и также автоматически опускались сходни.

Крысы лезли в фургон, отпихивая друг друга, как журналисты к фуршету.

Их привлекал запах.

Для человеческого носа он был отвратителен, но на крыс действовал сильнее, чем корень валерианы на кошек.

Запах, синтезированный гениальным Брыскиным, был одним из секретов фирмы «Выхудра».



Когда в фургон набивалось достаточное количество крыс, двери его сами собой закрывались. И машина с тонированными стеклами, так и не обнаружив присутствия человека, отъезжала. Как только веселый крысолов отъезжал, из подвала выползала увечная, старая крыса с испорченным нюхом и, дергая острым носом во все концы света, скандально визжала. Так визжала бы на ее месте челночница, опоздавшая на поезд.

Что происходило с крысами дальше?

Не знаю.

И никому не советую совать нос в производственные тайны фирмы «Выхудра», если не хотите иметь дело с Алмазом Лысым.

– Послушай, Паша, какая мне в голову мысль пришла. Предложи Инге заведовать ателье.

Паша зевнул, чтобы скрыть досаду, и ответил сердито:

– Предлагал.

– И что?

– В этом проекте она могла бы быть модельером элитных шуб. Могла бы заведовать ателье. Могла бы ничего не делать и быть лицом фирмы. Мисс Выхудра. Как звучит! Отказалась.

– Почему? – удивился Антип.

– Дура, – яростно и кратко объяснил Паша.

Он замкнулся, но обида изнутри распирала, распирала его и, наконец, он лопнул, как перекаченная велосипедная камера:

– Черти что о себе воображает. Нерон тоже о себе много воображал.

– А что с ним случилось?

– Что может случиться с поросенком? Вырос.

– Съели?

– Друзей в городе не едят. Друзей в деревне едят. За чем съели? Отдали, наверное, в деревню.

– Зря она от ателье отказалась. Хочешь, поговорю? Я тут недавно встречал ее, – замялся Антип, не сумев скрыть особой радости и чувствуя себя счастливым предателем.

Но Паша не заметил или не захотел замечать его чувств:



– Поговори. Только зря. Она теперь с нами не дружит. Она с Сорокой дружит.

– Да? – встрепенулся Антип. – С Сорокой? Как дружит?

И сделал такое равнодушное, такое отвлеченное лицо, что Паша долго с подозрением косился на него и при этом время от времени фыркал.

– Тесно дружит. Основательно. Рассказывала: спит Сорока на кровати, которую выкопали из скифского захоронения. Из могилы, короче. Не знаю, что уж там за кровать. Я с Сорокой не дружу. Он мне свою спальню не показывал. А ей показывал. Говорит, спальня напоминает могилу скифского вождя. Очень стильно. Ей понравилось.

Не выдержал и, скривив губы, посоветовал с крайним цинизмом:

– Не надумал ли ты жениться? Теперь и в деревне нормальных баб не найдешь. Подумай. Может быть, лучше купить резиновую женщину?

Между тем, в девственно сумрачном мозгу Антипа постепенно рассвело.

И глаза его, как ни раз случалось в переломных ситуациях, как бы поменялись местами. Тот, что был синим, стал зеленым, а зеленый – синим. Он поднялся и, нависнув над Пашей, замахнулся, чувствуя неудержимое желание шлепнуть по рыжей голове, как по волейбольному мячу, но преодолел искушение, скорректировал удар. Хлопнул ладонью по собственной лысине.

В рассеянии, с легким головокружением вышел он от Паши, спустился к парадному выходу, постоял на крыльце под роскошной выхудрой и без видимых причин так пнул алебастрового льва, что тот растрескался, пустил белую пыль, а мгновение спустя у него отвалились уши.

Нечего лосю делать на клумбах городского парка. Возвращался бы ты, сохатый, в заповедник из этих жилых склепов.

Вернулся бы. Да возвращаться некуда.

Вот, значит, что это было. Его использовали как поросенка Нерона, чтобы произвести впечатление на Сороку. Поросенка, с помощью которого ищут трюфели.



А кто они такие с Пашей, чтобы с ними дружить по серьезному?

Мелкие мошенники.

Сорока тоже мошенник.

Но у него денег больше.

Ну и ладно, ну и тыфу! Как говорил дядя со спичечной фабрики: «Бабье. Был бы «калашников» – всех бы перевоспитал».

Нет, это он говорил об олигархах.

А он-то уши на просушку развесил. Зачем звала?

Скверик, в который неделю назад его позвала Инга, состоял из прохладных сквознячков, запаха кофе, колыхания зеленой массы хвойных и лиственных деревьев, теплых пятен света. Эти пятна невесомыми, озорными душами детей и птиц скользили по лицам, столикам кафе, дорожкам, перелетали с ветвей на ветви, хихикали и щебетали.

– Зачем звала?

– Какой ты невоспитанный, Антип. Просто ужас. Никогда не задавай дамам подобный вопрос.

Они сидели за столиком открытого кафе. Ветерок играл Ингиными волосами, скатертью и салфетками. Невидимый за деревьями город обтекал сквер, словно река во время ледохода обтекает остров. В просвете аллеи были видны лишь растрескавшиеся колонны бывшего Дома пионеров. К ним вел такой же растрескавшийся асфальт дорожки, по которому важно, как чиновник после бизнес-ланча, шла ворона.

Антип молчал, чувствуя неловкость от молчания. Но о чем говорить, не знал. Он думал: какая прекрасная фамилия у Инги. Инга Пельмень. Вкусная фамилия. Сочная.

– Вот, допустим, я бы тебе сказал: выходи за меня замуж.

– Инга Плешивая, – сказала она, не поднимая головы, как бы прислушиваясь к звукам настраиваемого рояля, и повторила торжественным аккордом: – Инга Плешивая-Пельмень.

И странно: она молчала, а чудесные эти слова порхали над столом, как бабочки, гонялись друг за другом, нападая и увертываясь.



Залюбовавшись кружением этих бабочек, Антип улыбался, уложив голову в большую ладонь.

– А сколько тебе лет? – спросила Инга.

– Неважно. Совершеннолетний.

– Если женщина старше мужчины даже на два года, это очень важно. Сначала она будет чувствовать его молодость, а потом он – ее старость.

– Неважно.

– А о чем мы с тобой будем говорить?

– Мало ли о чем. Поговорить всегда есть о чем. О погоде, допустим.

– Сколько можно говорить о погоде?

– О погоде можно говорить всю жизнь. С утра одна погода, к вечеру другая. Каждый день новая.

Она посмотрела на него серыми, нездешними глазами перелетной гусыни.

– Ты не замечал, какой милый, трогательный, ностальгический вид приобретают заброшенные здания? Особенно старинные.

Антип ладонью развернул голову в сторону Дома пионеров.

– Посмотри на эти стены в пятнах, колонны. С этими чудесными разводами, подтеками, трещинами, плесенью. Правда, мило? Посмотри: в растрескавшейся каменной вазе сама собой выросла дикая трава. Замечательно. Не кажется тебе, что это здание написано великим живописцем? Итальянцем. А может быть, фламандцем. В этой ветхости, обреченности, необратимом разрушении скрыта невыразимо печальная красота. Но отчего-то жаль себя. Тебе не жаль?

Антип не любил врать на голодный желудок. Его не взволновала плесень на стенах Дома пионеров. Но ему не хотелось выглядеть совсем уж кубометром дров в ее глазах. И он, чуть наклонил голову набок: вроде бы, да. А брови говорили: ну, плесень, и что?

– А мне очень жаль. И себя, и этот исчезающий дом. У тебя с ним ничего не связано, а я провела здесь лучшие годы. Лучшие годы – это когда человек не просто мечтает, но верит, что его мечты непременно сбудутся. Оно исчезает. Навсегда. Необратимо. А вместе с ним исчезают



твои надежды. Ты сам исчезаешь. Скоро на его месте построят очередной куб из стекла и бетона. Зеркальный шкаф. Еще один супермаркет. Но, посмотри, как равнодушно смотрят на эти милые развалины нынешние мальчики и девочки. У них с этим домом ничего не связано. У них еще впереди свои руины. Как думаешь, им также будет жаль, когда придет очередь сносить куб из стекла, бетона и пластика?

И сама себе ответила:

– Ничего они не почувствуют. Это первое поколение, лишенное поэзии. Поколение, пораженное ржавчиной пошлости.

– Вот, – сказал Антип, – а ты говоришь – не о чем говорить. Ты будешь говорить, а я буду слушать и тупо кивать головой.

Инга внимательно посмотрела на большие, просвечивающиеся в контросвете уши Антипа и улыбнулась:

– Ты похож на льва без гривы. Что ты больше всего любишь, Антип?

– Больше всего я люблю три вещи – пельмени от Беккера, пельмени «Сибирские» и пельмени «Три богатыря».

В просвете аллеи, уводящей в противоположную сторону от обреченного на снос Дома пионеров, выглядывало старое здание, классическую половину которого занимал районный отдел милиции, а другую, переделанную – казино. Гусь с хвостом павлина. Станный этот симбиоз давно никого не удивлял в городе Баблодаре.

– Нет, мне дома не жалко. Мне деревья жалко, – сказал Антип, стесняясь своих деревенских слов. – Люди дом построили, люди дом сломали. Построят новый. Но какое право ты имеешь рубить лес? Ты его сажал? Я бы за каждое дерево судил, как за убитого человека. Посади, вырасти – и руби на здоровье. Нет, претя в лес.

– Ну да, конечно. Первый этаж каменный, второй деревянный, – посмотрела ему прямо в глаза Инга. – Кстати, о деревьях. Я знаю, как помочь твоему Раздолью.

Как и у большинства творческих людей и деятелей высокого искусства города Баблодара, большая часть жизни Инги Пельмень уходила на попрошайничество.



Конечно, никто не говорил: пойду просить милостыню у жирных котов.

Творцы, живущие попрошайничеством, называли это более изящно: искать спонсоров.

В поисках денег под очередной проект Инга добилась встречи с Сорокой, баблодарцем, входящим в сотню самых богатых людей планеты. Она представилась журналисткой. Свободной журналисткой. Что было недалеко от истины, если исключить слово «свободная». Ее статьи о художественной жизни Баблодара регулярно появлялись в «Вечерней газете».

Офис Сороки подавил ее своей прозрачностью.

Непроницаемо темное с улицы здание изнутри было словно просвечено рентгеном. Прозрачным было все — столы, стулья, пол, перегородки кабинетов, кабина лифта, корпуса компьютеров. В прозрачных стенах-аквариумах плавали прозрачные рыбки. Даже растения были прозрачными.

И только люди темны и непроницаемы.

Кроме Инги, в волнении предвкушая встречу с олигархом Сорокой, в прозрачном холле на прозрачном стуле сидел массивный господин, которого отчего-то хотелось назвать прокуратором Иудеи. Лицо вырублено из холодного мрамора. Глаза излучают смертельную радиацию власти.

Господин был невозмутим. Но носок туфли, стоимость которой приближалась к месячному жалованью министра, выбивал нервную дробь.

Это бы Демокритов, сравнительно недавно купивший должность главы департамента по борьбе с коррупцией.

Место стоило больших затрат. Необходимо было как можно быстрее окупить вложение с тем, чтобы должность начала приносить прибыль.

Бескомпромиссный Демокритов лютовал.

Современный чиновник, он ездил на взятке, кушал взятку, пил взятку, спал на взятке и со взяткой, жил во взятке, боготворил взятку.

По убогим понятиям человека, не включенного в систему откатов, господин Демокритов был весьма богат. На случай внезапной эмиграции он имел несколько домов за



рубежами родины. Извините, Родины. Счета в зарубежных банках. То есть хранил собственные яйца в различных корзинах. На личном вертолете в обеденный перерыв он летал в санаторий, записанный на тещу, охладить свое большое тело в свежести горного озера. Имел он небольшую авиакомпанию, записанную на престарелого отца, сухогруз, плавающий под флагом незначительной державы. На жену был записан коньячный завод, на дочь – сеть аптек, на сына – строительная компания.

Господин Демокритов, надо отдать ему должное, досконально разбирался в коррупционных схемах.

Но скромный борец с коррупцией знал, что такое богатство, и не считал себя даже состоятельным человеком. Рядом с олигархом Сорокой он выглядел просто бомжом.

Демокритов очень рассчитывал на новую должность.

Был он порядочным и честным, потому что знал правила системы и не брал больше положенного.

Надо сказать, в системе, которой верно служил господин Демокритов, все, кто давал и брал взятки, были людьми достойными. Те, кто не мог или не хотел давать, сидели в тюрьме. А не воруй, если такой жадный. Ты что – хочешь преуспеть и не иметь ничего общего с системой? Так не бывает, брат. Если ты не берешь, значит не можешь дать. Логично? В стране, где все держится на коррупции, это выглядит покушением на государственный строй. Систему от этого корежило и она с омерзением выплевывала уродов.

На коленях Демокритова лежал, подпрыгивая в нетерпении, портфель из кожи недавно вымершего животного.

В портфеле, словно птенец, проклевывающийся из яйца, просился на волю проект окончательного уничтожения коррупции.

Суть его была гениально проста. Чтобы раз и навсегда покончить с коррупцией, ее необходимо узаконить. Блистательно! Должности покупаются, а взятки даются по тарифной сетке официально через банк. Со всеми налоговыми отчислениями. А?

Но прежде чем дать ход проекту, господин Демокритов счел нужным ознакомить с ним господина Сороку.

В прозрачный холл вошли три Алмаза, добропорядочные



баблодарские бандиты. С достоинством поклонившись господину Демокритову, они скромно расселись на прозрачных стульях и принялись синхронно выбивать чечетку. На честных и мужественных лицах читалось легкое недоумение: чем они могли обидеть уважаемого Сороку?

Человеку, впервые попавшему в прозрачное здание, начинало казаться, что пространство сошло с ума. Мерешились непривычные для трехмерного мира измерения и новые смыслы, где отражения были реальнее оригиналов, а время текло по желанию двадцати четырех прозрачных часов.

Инга сидела на прозрачном стуле за прозрачным столом и листала журнал, не вникая в его смыслы.

Сама себе она казалась прозрачной и боялась, что случайному взгляду откроются ее темные мысли.

Под ногами просматривались насквозь пять прозрачных этажей со снующими на разных уровнях людьми, и пять прозрачных этажей просматривались над головой. Она просто висела в воздухе посередине майского города.

Инга сидела и обдумывала, с чего начать разговор с хозяином этого прозрачного мира, воздушного замка, который, казалось, вбирал в себя весь Баблодар.

– А что Сорока? Все ищет могилу своего родственника – скифского вождя? – услышала она за спиной голос.

Этот голос, как кусок сочного, ароматного мяса, скворчащего на сковороде, брызгал веселой, энергичной иронией.

И второй голос, глуховатый, словно одетый в броню, отвечал из-под забрала:

– Только что из экспедиции. Весь Алтай, Беловодье обшарили.

– Нашел скифскую столицу?

– Трудно найти то, чего нет. Так, пустышки. Парочка разграбленных курганов.

– Найдет. С его деньгами можно найти даже то, чего нет. Найдет и отстроит скифскую столицу. И назовет Сорокоград. Неплохо, кстати, звучит.

Голоса невидимых людей, постепенно удаляясь, становились невесомыми и прозрачными, превращаясь в неразборчивое журчание лесного ручейка. Инга машинально



листала журнал, страницы которого тоже становились прозрачными.

Как и у всех творческих людей, мышление у Инги было ассоциативным. Услышав внезапный, как порыв ветра, разговор невидимых людей, она вдруг вспомнила большие, розовые уши Антипа, просвеченные заходящим солнцем Раздолья.

На нем отцовская тельняшка, на левой руке синий якорь, нарисованный химическим карандашом. Якорь за день чуть смылся, расплылся, стерся и побледнел. Каждый вечер Антип его подрисовывал и реставрировал.

– Клянись, что никому не скажешь, – говорил Антип в нос и оглядывался на заходящее солнце, отчего уши его, просвечиваясь с обратной стороны, окрашивались совсем уже зловещим цветом.

– Клянусь, – отвечала он легкомысленно.

С сомнением посмотрел на нее Антип и потребовал:

– Ешь землю.

– Зачем? В земле болезнетворные бактерии.

– Так надо. Ешь.

– А можно за меня Нерон съест землю?

Землю есть Инга не стала. И Нерон не стал. И, тем не менее, Антип выболтал ей главную тайну Раздолья. Никто ему при этом не втыкал под ногти иголки. Когда человек стоит перед выбором – хранить тайну или произвести впечатление на первую любовь – тайна, увы, приносится в жертву.

Закон этот не знает исключений.

Лучшему рыжему другу Паше Антип ничего не рассказал о буграх, заросших соснами, а даме с поросенком выболтал все без принуждения.

Инга тайну не оценила. Снисходительно выслушав Антипа, она тут же о ней и забыла. Но спустя много лет, голоса прозрачных людей напомнили ей мальчишку из дикого леса и его шепот о буграх, заросших соснами.

Когда мальчишка делится с девочкой тайной, это равнозначно признанию в любви. Но девочки понимают это, только повзрослев.

Впрочем, в этом прозрачном мире Инга думала не об Антипе.



Для чего нужна была могила скифского царя впавшему от пресыщенности в детство олигарху Сороке? Зачем ему нужно было строить на месте погребения город, столицу новой империи?

Это было неважно.

Человек, которому некуда девать деньги, хочет построить город, создать империю. Что в этом странного? Чтобы он ни сделал, сколько бы нефти ни выкачал из земли, сколько бы миллиардов ни заработал, о нем забудут, как забудут о каком-нибудь чиновнике или бомже. О всех забудут. А город не забудут. Даже если город не назовут его именем или переименуют, не забудут, кто и почему его построил. Даже если он не станет столицей новой империи. Ну, верит человек, что в его вялых венах полуславянина, полуеврея течет надменная, властная кровь скифского вождя. На здоровье. Детская мечта. Может состоятельный человек позволить себе детскую мечту? Может. Если денег хватит.

Неважно.

Главное, у Инги был повод для разговора.

И чувствовала она то же самое, что и рыбак, готовящий спиннинг, не отрывая глаз от кругов, расходящихся после щучьего всплеска.

В середине прозрачного здания висел темный, непроницаемый куб.

Впрочем, стены этого черного ящика изнутри были прозрачны.

Хозяина не видел никто. Хозяин видел всех.

Странная причуда олигарха легко совмещалась с его внешностью. Большой, стареющий ребенок. Толстый и сутулый, но как-то по-мальчишески. Волоокый, с румянцем на смуглых щеках. В его лице невероятным образом сочетались иезуитские черты с наивными и томными глазами Антуана де Сент-Экзюпери.

Несомненно, только человек с такой внешностью и будет искать захоронение скифского царя для непонятных целей.

Когда Инга вошла в непроницаемый куб, и внезапно темный пол под ногами сделался, также как стены и потолок, прозрачным, она, не имея привычки ходить по воздуху, растерялась.



А Сорока подумал: удивительно прозрачная женщина. Еще он подумал, что к современной моде, тяготеющей к совершенному раздеванию условно называемой прекрасной половины, можно относиться по-разному.

Можно ее осуждать.

Можно ею восхищаться.

Но есть в ней одно несомненное достоинство: честность.

В том смысле, что при современной моде с ее открытостью трудно утаить недостатки женщины.

Только физические, увы.

У сидящей перед ним со вкусом раздетой женщины физических недостатков не было. Она была, в смысле тела, совершенна.

Должно быть, подумал Сорока, дура.

Сорока не любил предисловий, послесловий и комментариев, его интересовал только смысл. Он был вспыльчив и нетерпелив. Между его мозгом и языком не было расстояния. Он как бы мыслил языком. Казалось, он вовсе не думал, а сразу говорил, досадую на собеседника, который, давно сказав все, что нужно было сказать, продолжал нудно пережевывать мысль.

– Мне приятно ваше общество, милая, но вашу газету я не читаю. И не буду читать даже по приговору суда. И рекламу в ней размещать не буду. Что вас привело ко мне? – прервал он Ингу и посмотрел на нее влажными коровьими глазами.

– Вы даже не представляете, каково это – писать для газеты, которую никто не читает, – поддакнула Инга, пытаясь дерзким взглядом очаровать и разоружить олигарха.

– Отчего же? Представляю, – не отвел глаз Сорока. – По первой профессии я журналист. Это извиняет мой цинизм. Договоримся сразу: не надо обо мне ничего писать – ни плохого, ни, тем более, хорошего.

– Я и не собиралась.

– Для чего же вы здесь?

– Хочу поделиться важной для Вас информацией.

– Журналисты – самый неосведомленный народ. От всех информацию просто скрывают. Им же втюрявают



всякую лабуду. Последнее дело узнавать информацию от журналистов. Я узнаю информацию из первоисточников.

– Вас не интересует не разграбленное захоронение? – спросила Инга сдержанно. – И древнее городище, не потревоженное археологами, Вас тоже не интересует?

– А кто Вам сказал, что подобное меня вообще интересует? – вопросом на вопрос ответил Сорока, выдавая себя.

В его влажных коровьих глазах загорелись холодные, волчьи искорки охотника.

– Не всем журналистам втюривают лабуду.

– Слушаю.

– Это все. Я знаю человека, который может указать место.

– Где же этот человек?

– Прежде чем говорить с ним, я должна знать, заинтересованы ли Вы в подробной информации?

– Да, – коротко ответил Сорока и, подчеркнув номер, протянул ей визитку. – Если информация будет достоверной, ваши старания будут оценены. Жду звонка. Приведите мне этого человека. Я предпочитаю иметь дело без посредников, с первоисточником.

– Ты знаешь, как помочь Раздолью? – переспросил Антип. – Раздолью помочь невозможно.

– Слышал что-нибудь о Сороке? С его деньгами можно очистить не только озеро Чистое. Всю планету можно очистить.

– С чего бы твоему Сороке чистить Чистое?

– Этот Сорока немножко сумасшедший. Ищет скифскую столицу.

– Зачем ему скифская столица?

– Сумасшедший.

– При чем здесь Раздолье?

– Когда мы еще были детьми, ты рассказал мне о городище, помнишь? Насколько я могу припомнить, то, о чем ты рассказал, очень похоже на то, что ищет Сорока.

У человека, подумал Антип, много чего лишнего. Зачем мне, допустим, отросток слепой кишки, соски, язык. Особенно язык.



Сначала рассеяно, а затем все более внимательно он слушал Ингу.

Это был именно тот случай, когда для спасения Раздолья, можно и нужно было открыть тайну, которую хранил реликтовый бор и несколько поколений егерей Плешивых.

– Сведи меня с ним, – сказал Антип.

– Это не так легко сделать. Но я попробую.

Она смотрела на большие уши Антипа, и дикая мысль веселила ее: кто знает, может быть, и в ее венах течет надменная кровь скифской царицы?

В ночь перед поездкой в Раздолье Антипу снились знакомые запахи, тревожные шепоты и веселые тени – синие, зеленые и золотые.

Его раскачивало на качелях. Неразборчивый шепот сменялся шорохом листьев и снова шепотом. Пушистое, пахнущее зверем бессловесное существо толклось рядом, пытаясь о чем-то предупредить.

Над невидимыми соснами, озером, медоносами, лесным зверьем, повторяя их очертания, стояли запахи. Чистые, целебные запахи над пустотой. Дыханье деревьев, трав, зверья и детворы, дыхание заповедного леса, которого нет.

Пряные, терпкие ароматы, от которых трепещут ноздри зверей и детей, легкие прикосновения холодных цветных теней и теплого света.

Запахи и тени едва колышет ветерок. Легкий, как дыхание спящей девочки. Он перемешивает ароматы, зной и прохладу, туманные массы зеленого, синего и золотого, радость и тревогу. Сквознячки, вздохи, ветерок без причины, словно порханье невидимых крыльев – то ли бабочек, то ли ангелов.

Колышутся разноцветные, шуршащие массы запахов с горьким привкусом полыни и дыма.

Тревожный покой.

Стучит по отсутствующей сосне дятел.

В темной бездне озера бьется сердце.

И кто-то, лохматый, пахнущий дико, шепчет: не открывай глаза, не открывай глаза.



Аким знает, что нельзя открывать глаза, и знает, что откроет. И увидит то, что нельзя видеть – пустоту.

В борт старой лодки плещется вода.

Антип проснулся, но глаза не открывал.

Скажет Сорока, проси, что хочешь. Скажу, очистим Чистое – мне дом в Красной Горке, первый этаж каменный, второй деревянный, и должность егеря. И все, спросит Сорока? И все, отвечу.

Для поисков скифских захоронений у Сороки был «Хаммер». Но не тот городской «Хаммер», похожий на роскошный, приплюснутый рояль, на котором любят ездить бандиты Баблодара и девицы с надменными лицами элитных проституток, а его боевой вариант чрезвычайно агрессивного вида и раскраски. С бронированным днищем, пуленепробиваемыми стеклами. С лебедками спереди и сзади.

Увы, без пулемета на крыше.

Машина для вселенского хама, отрада настоящего мужского сердца. Садись в нее, а нижняя губа оттопыривается сама собой и надменно свисает до колен. Мощь!

– Сворачивай с асфальта. Налево должна быть полевая дорога, – сказал Антип.

– Где ты видишь асфальт? – спросил водитель, внешностью и благородной осанкой напоминающий великого пианиста Рихтера. – Ты это называешь асфальтом?

Дорога напоминала реку во время ледохода. Остатки растрескавшегося покрытия вольно разбросаны серыми льдинами, местами собраны в торосы, местами торчат из промоин. Полевая дорога, которая должны была ответвляться налево, не просматривалась. Она растворилась в сухих степных дикоросах.

Антип сидел рядом с водителем. Сзади, рядом с возбужденным Сорокой, дремал незаметный человек – черный археолог Лапотянский, продавший душу Мамоне. Он давно забыл об интересах науки и работал исключительно на Сороку. За всю дорогу черный археолог не проронил ни слова. На вопросы шефа он или медленно кивал головой, заводя глаза в бок, или пожимал плечами и при этом заводил глаза вверх. Иногда, как бы помимо



воли, улыбался – чуть желчно. Безрезультатные экспедиции в поисках скифской столицы обеспечивали существование Лапотянского настолько, что он уже не мечтал об открытиях и известности.

Антип смотрел на темно-синие горбы сопок, вздымающиеся над равниной далеким островом, и ноздри его раздувались, как у охотничьего пса. Он вел себя так, как вел бы себя охотничий пес, разве что не скулил от нетерпения и не размахивал хвостом.

И то только потому, что хвоста у него не было.

Это чувство знакомо каждому, кто после года службы в армии возвращается на побывку в родные места.

То есть мало кому это чувство сегодня знакомо.

В это чувство вмещалось сразу и шуршание днища просмоленной лодки о влажный песок, и запах самокрутки деда, звон ведра, опускаемого в колодец, и запах утреннего бора, и переключка петухов с чайками, и вкус жареных грибов, и мамин голос, и отполированное многими поколениями предков ложе приклада старой двустволки, и осенний туман, пахнувший смородиной и сгоревшей ботвой – и еще много, много прекрасных вещей, встречи с которыми напрасно ждала заповедная душа Антипа.

– Таковую красоту г...м завалили, – вернул Антипа в действительность из далекого детства водитель.

Прошу прощения. Расчувствовался. Прищепку, прищепку! Где моя прищепка?

– Очистим. Найдем, что ищем, – обязательно очистим, – мрачно сказал, похожий на ассирийского царя, Сорока, душу которого щекотало предчувствие очередного разочарования.

– Очистите – Вам памятник из золото надо поставить. Я первый на памятник месячную зарплату перечислю, – не упустил случая подпустить леща водитель.

Впрочем, сделал он это, обнаружив тонкий талант царедворца – умение лизать седалище начальства с чувством собственного достоинства.

Водитель Володя при посторонних старательно корчил из себя крепостного Ваньку.

Десять лет тому назад военный пенсионер Володя



возвращался из магазина в свою холостяцкую берлогу. В руках четыре пачки пельменей, под правой мышкой бутылка «Особой». Бывший омоновец. Побывал во всех горячих точках. Три ранения. Сорок восемь лет. Не женат. И не собирается.

Видит возле песочницы шесть уродов окружили толстого парня, чем-то похожего на корову-рекордистку. Парнишка прижимает к груди, как младенца, ноутбук с надкушенным яблоком, а его пихают локтями в бока, показывают лезвие в рукаве и уговаривают отдать компьютер по-хорошему.

Военный пенсионер Володя ставит пельмени и бутылку водки на скамейку рядом со старушкой и приказывает ей:

– Бабулька, сидеть! Охранять!

Как уже было доложено, формой головы и благородной осанкой Володя напоминает пианиста Рихтера. Телом – боксера Валугева. Но это только форма. Содержание куда как круче.

– Все понимаю, но уж больно жестоко вы с ними разобрались, товарищ подполковник, – говорил через минут десять капитан в отделении милиции и, загибая пальцы, перечислял. – Две сломанные ноги, черепно-мозговая травма, четыре ребра, три руки, ключица, челюсть, я уж не считаю вывихов. Как успели за полминуты?

– По-другому работать не умею, – с достоинством отвечал Володя, нежно массируя правый кулак, – стреляю без предупреждения.

Военный пенсионер Володя сохранил начинающему частному предпринимателю Сороке ноутбук, но потерял пельмени и то, ради чего пельмени покупались – «Особую».

Выпустили их затемно. Оказалось, живут в домах напротив.

– У тебя чего-нибудь пожрать есть? – спросил подполковник Володя.

– Заходи, чего-нибудь найдем. Вот картошка, вот мясо. Садись, будем картошку чистить.

– Ты кто по званию?

– Рядовой.



– А я подполковник. Садись и чисть.

Начинающий предприниматель Сорока садился и чистил.

Военный пенсионер подполковник Володя вышагивал по кухне и читал курс молодого бойца:

– Запомни, будешь с ними вести себя по-человечески, с тобой всегда будут поступать по-свински. Интеллигентность прячь, как кальсоны при дамах. Нельзя, чтобы интеллигентность торчала, как кальсоны из-под штанов. Веди себя с ними, как свинья, и они будут относиться к тебе по-человечески. Если к кабану относиться по-свински – порвет.

Станным образом во дворе дома, где жил Володя, да и соседних дворах вскоре исчезли хулиганы. Как иногда без причины исчезают тараканы.

Хороший мужик Володя. Поговорить не о чем.

Постучи по башке двадцать пять лет кирпичами, какой разговор?

Начнешь о братьях Карамазовых, – где служили, в каком полку, в каком звании? В Грозном не бывали?

Зайдет в пятницу:

– Поехали на рыбалку?

Какая там рыбалка. Добраться до первой лужи, запалить костер, накрыть поляну и нажраться.

Но именно Володя воспитал из тьюфяка Сороки, который разговаривал, ругался и спал исключительно с ноутбуком, мужика, которого стали уважать даже хамы и сенаторы.

Когда Сорока стал Сорокой и ему понадобился первый телохранитель, он вспомнил о военном пенсионере Володе, который стреляет без предупреждения.

Сейчас телохранителей у Сороки – армия. Но ближе всех к телу Володя. Володиной зарплаты хватило бы на весь преподавательский состав местного пединститута. Пожалуй, и на стипендии отличникам останется.

– Однако, запашок, – сказал водитель-телохранитель, закрыв окна и включив кондиционер.

Пахло паленой курицей.

От озера по холмам, словно ржавчина поднимался рыжий сухостой. Как бы кайма после отлива.



По озеру плавали облака пузырящейся гадости.

«Хаммер» поднимался по заросшей молодым осинником дороге в Красную Горку. Гибкие прутья хлестали по бамперу, скребли по днищу и медленно, но не до конца, распрямлялись за машиной.

Сердце Антипа билось, как буйный помешанный в палате без окон. Стучало оно, отчего-то в голове, в ушах и глазах.

Дома лесничества, как и дорога к нему, зарастали лесом. Тесовые крыши прогнили и обвалились. Шифер и железо были сорваны мародерами – и набухшие от дождей и талых снегов потолки обрушились. Черные проемы окон с выломанными рамами делали избы, неровно заросшие диким хмелем, похожими на коричневые, замшелые черепа. Машина проехала по упавшему под тяжестью хмеля плетню, – сухие ребра тальника страшно затрещали, – и машина остановилась, упершись носом в колодец с протухшей водой.

«Хаммер» стоял у дома егеря Плешивого.

Но дома не было.

Черные головешки большого кострища уже не пахли гарью. Пожар случился давно. Возможно, ударила молния. Возможно, туристы-экстремалы разожгли костер в горнице.

От дома остался только сарай.

Из многолетней листвы на его крыше образовалась почва и проросла молодыми побегами осины и клена. Их корни свисали с потолка бледными нитями.

Антип подошел к краю обрыва.

Внизу, прикованная ржавой цепью, засосанная песком, догнивала лодка деда.

От озера пахло нехорошо, но от лесничества еще хуже. Кладбищем.

В тот момент, когда под широкими колесами бронированной машины затрещали ребра родного плетня, Антип почувствовал дребезжание в нагрудном кармане. Он достал мобильник. Вызова не было. Телефон, закрытый изрядно облысевшими холмами, был недоступен городу. А тревожное дрожание не проходило. Казалось, вызов шел не на телефон, а на сердце. Очень неприятно было



это трепыхание в грудной клетке, напоминающее тремор вызова.

И только вернувшись в город, он узнает, что именно в это время до него пытался дозвониться дядя Прометей, сообщить, что умерла бабушка.

– Долго будем любоваться? Провоняешься. И так дышать нечем, – крикнул Володя, приоткрыв дверцу. – Садись. Поехали дальше.

– Дальше пешком, – сказал Антип зло.

Он без причины ненавидел попутчиков, как ненавидит мальчишка далеких родственников, съехавшихся на похороны отца.

– Оставайся, – приказал водителю Сорока.

– Ну да. Так я одного и отпустил, – отвечал Володя, демонстрируя несокрушимую преданность олигарху. – Предупредили бы, куда едем, я бы респираторами запасся. От меня-то какие секреты? Чего стоим? Не надышимся? Начинай движение, Дерсу Узала.

Он подождал, пока Антип сделает несколько шагов вверх по склону и рявкнул:

– Отставить! Куда без намордника?

И, откинув сиденье, вытащил четыре противогаза.

Любил Володя эффекты.

Откуда они у тебя? – спросил Сорока без особого удивления. – Как догадался? Или кто-то проинформировал?

Какой там догадался. Не с моими мозгами. Три года лежат на всякий пожарный.

Что еще лежит?

Все, что надо.

Отравленное городскими отходами озеро Чистое с прилегающими лесистыми холмами сразу после катастрофы было окружено колючей проволокой, а на дорогах, ведущих к нему, выставлены санитарные кордоны.

После некоторого раздумья жители Красной Горки были переселены в степное село Белое, куда, впрочем, западным ветром доносило новые ароматы заповедника.

Охота и рыбалка были запрещены под угрозой уголовного наказания, о чем и доньше предупреждали покосившиеся, а частью упавшие и проржавевшие таблички, издырявленные крупной дробью.



Но кто запретит диким водоплавающим кормиться на грязном Чистом?

Утром, скажем, они садятся на поганое озеро, а на ночевку летят в степные озера, где их и поджидают охотники.

Когда, условно называемый тоталитарным, режим пал и на смену ему пришла молодая, и по причине молодости глупая свобода, санитарные кордоны сняли. Не эс имя, конечно, условно называемой демократии, а потому что охране нечем было платить. Колючая проволока вместе с алюминиевой исчезли как бы сами собой. Вместе со столбами и бетонными пасынками. И у части предпринимателей первой волны города Баблодара, бывшего Новостаровска, возникли некоторые идеи по поводу брошенных территорий.

На рынках оголодавшего города появились бензовозы, в цистернах которых плескались такие жирные и большие карпы, что их едва можно было протиснуть в люки.

Очень вкусные и очень дешевые.

– Уж не из Поганого ли? Глистастые, небось? – спрашивала, допустим, старушка человека с вилами, сидящего в грязном халате верхом на бочке.

– Проходи, бабка, не хочешь – не бери, – отвечал коричневый человек, похожий на бога морей Нептуна.

Но старушка не уходила, а, тихо бурча под нос, занимала очередь.

Некто господин Шлямбур, бывший преподаватель научного коммунизма местной партийной школы, организовал фирму по экспорту лягушек в одну из изысканнейших европейских стран, где также любят подавать к столу виноградных улиток и прочую дрянь. Естественно, местные, в том числе и господин Шлямбур, этим деликатесом брезговали, однако самые продвинутые деятели авангардного искусства пробовали и говорили с понятной гордостью, что мясо наших амфибий удивительно нежное и не идет ни в какое сравнение с тощими иностранными лягушками.

Говорят также, что водой из озера предприимчивые фермеры орошали плантации бахчевых культур в близлежащих знойных степях. Сахаристые, сладкие, они поль-



зовались у горожан особым спросом. Минуя таможенные барьеры, караваны с этой солнечной ягодой отправлялись к сопредельным северным соседям и даже достигали Москвы.

Но кто по-настоящему сделал большие деньги на ничейных землях бывшего заповедника, так это, понятное дело, эколог Зеленьюк, о чем мрачно свидетельствовали облысевшие, побелевшие от оползней склоны холмов. Господин Зеленьюк выиграл грант международного фонда на спасение Раздолья. Тьфу, а не деньги. Но они позволили зацепиться и развернуться. Начал Зеленьюк с очистки реликтового бора от сухостоя, который, впрочем, после обработки неплохо продавался на строительных рынках. Затем незаметно перешел к сплошным вырубкам. Реликтовая сосна выдавалась, разумеется, за сибирскую. Нашелся зеленый по фамилии, представьте себе, Козлик. И этот зеленый Козлик уперся рогом и стал судиться с экологом-лесопромышленником Зеленьюком, обвиняя его во всяких пустяках. Он, Козлик, забыл, что на дворе рынок, и, если у человека много денег, он ни в чем не виноват. Суть местной демократии в том, что человек с большими деньгами не может быть судим по определению.

Редкий гуманист, увидев, что стало с заповедным Раздольем, вспылал бы любовью к человеку и человечеству.

И хорошо, что лицо Антипа скрывал противогаз, не то бы Володя, имеющий привычку стрелять без предупреждения, давно бы заломил ему руку за спину.

Вошедший в раж Зеленьюк обстриг бы Раздолье под ноль, если бы не вмешались темные силы. Во время посещения одной из делян он был раздавлен внезапно упавшей сосной. Автор вычеркнул вводное слово «к счастью», полагая, что вы и без того подумали об этом.

Вскарабкавшись на седловину, три страшных, как ангелы смерти, существа спустились по увалу в распадок.

Володя оттянул маску, спросил на выдохе:

– Далеко еще, Сусанин?

И маска, чмокнув, снова прилипла к лицу.

Антип, не оборачиваясь, махнул правой рукой вдоль



распадка и показал два пальца. Потом левой нарисовал параболу и показал палец. И, наконец, вывернул правую руку и ткнул пальцем в землю.

Человек гражданский снова бы оттянул маску и спросил недовольным голосом: «Чего, чего?» – но Володя все понял: идти еще далеко.

Лес, по которому они шли, был больным лесом. Всякая сорная растительность чувствовала себя неплохо, но реликтовые сосны засыхали. Рыжие мертвецы стояли среди выцветших, больных собратьев в тяжелой, пыльной тишине. Будто объявили минуту молчания, но длится эта минута уже несколько лет. Почва под ногами была такого рода, что определить ее можно было лишь одним словом – прах.

Через три часа мертвые деревья стали попадаться реже. Видимо, до этих мест редко доходили гниlostные туманы отравленного озера. Антип снял маску.

– Вот за этим седлом, – сказал он, посмотрев вверх. – Там такие сосны. Такие сосны. Настоящие. Корабельные. Гудят, как телеграфные столбы. М-м-м...

На перевал он взбежал первым и онемел, увидев сверху долину.

– Отгудели, – тяжело дыша, констатировал водитель-телохранитель подполковник запаса Володя.

Горельник. Черные стволы торчали вкривь и вкось.

Но пожар открыл то, что столетиями скрывала вечно-зеленая хвоя. Сейчас любому неискушенному глазу был хорошо виден большой холм, а вокруг него – тремя расширяющимися кругами – холмы поменьше.

– Оно, – сказал Сорока, запустив во влажные от пота ассирийские кудри растопыренные пальцы обеих рук, – оно! Именно так я это и представлял.

Но я – пас.

Описать олигарха Сороку в эти мгновения под силу только Александру Сергеевичу: «Его глаза сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен. Он весь, как божия гроза».

Примерно так и выглядел Сорока.

Но черный археолог Лапотянский, поднявшийся на седловину позже других, не проявил эмоций. Стоя за



спиной Сороки, он презрительно улыбался, заводя потухшие глаза чуть вверх и немного вбок.

Растроганный, взволнованный олигарх положил потную ладонь на плечо Антипа.

– Очистим твоё Чистое. Обязательно очистим. А вот это, – он обвел бугры с торчащими головешками, – накроем стеклянной пирамидой. А вокруг пирамиды кругами, кольцами построим город. Прозрачные здания...

– Город? – встрепенулся Антип. – Зачем строить город в лесу? Не надо строить город в лесу. Город нужно строить в степи, в полупустыне. А потом сажать деревья. А в лесу нельзя. Здесь уже есть деревья. Тем более заповедник. А куда денутся звери? Олени, лоси, рыси, белки? Целебные травы, грибы, ягоды? Нельзя, нельзя строить город в лесу.

– Где ты лес увидел? – фыркнул телохранитель. – Какие грибы, какие ягоды на помойке? Заповедник. Ха!

– Это ничего. Лес нарастет. Сосновые семена как раз после пожара и прорастают.

– Пусть растёт, – разрешил Сорока, в глазах которого полыхал пожар восторга. – Пусть растёт. Город нужно строить именно здесь. Только здесь. На семи холмах. Ничего. От дома к дому переходы пророем, мосты с крыши на крышу и с вершины на вершину перекинем. А на улицах пусть растут сосны, а старушки и лоси будут ходить по улицам – грибы, ягоды собирать.

Сумасшедший, подумал Антип.

А Володя возмутился:

– Какие старушки, какие грибы, какие лоси? Как я на машине проеду?

Сорока посмотрел на него, улыбаясь. Издалека-издалека. Как смотрит только что проснувшийся младенец на мамкину грудь. И ответил невнятной скороговоркой:

– По крышам, Володя, по крышам. Эстакады над лесом. Можно каждую отдельную горку по основанию просверлить и дорогу закольцевать в один уровень вокруг озера. Просветы стеклянными галереями накрыть. А город нужно строить здесь. Именно здесь. Не строить. Достаивать. От сердцевины. Его тревожить не будем. Пусть спит.



Накроем прозрачным колпаком – и пусть спит. Он будет спать, а город расти, расти, расти. И десяти лет не пройдет, отмоем Ключи. Будет у нас свой Баден-Баден.

– Не надо, – пал духом Антип, – не надо ничего сверлить, не надо в водоохранной зоне ничего строить.

– Не будем, – легко согласился Сорока, – мы спустим на воду плавающие санатории. Представь! Озеро Чистое. Берега в сосне. И белое морское судно. А? За тысячи километров от ближайшего моря.

– Канализация, – мрачно сказал Антип.

– Что?

– Город. Канализация. Пропало Раздолье.

Володя с каменным лицом слушал двух Маниловых и думал: придурки. Один про заповедник, другой про город. Какой город? Какой заповедник? Помойка.

На обратном пути, оттянув противогаз, Володя шепнул на ухо Антипу:

– Проси, дурак, что хочешь. Он сейчас на все согласится.

Антип посмотрел на него сквозь запотевшие стекла и махнул рукой.

О чем просить? Какие егеря в городе?

– Ой, дурак, ой, какой дурак, – расстроился Володя.

Очень нехорошо было на душе Антипа. Он чувствовал то, что чувствует обманутый предатель. Досаду и страх расплаты. Из глубины большого леса Он уже натягивал лук, выцеливая каменным наконечником сверкающий глаз Антипова противогаза.

Бабушку Антип похоронил на Старом кладбище.

Она умерла в тот момент, когда «Хаммер» Сороки крушил пуленепробиваемыми колесами упавший плетень ее огорода в Красной Горке. Дядя сразу же позвонил Антипу, но тот был в зоне недоступности.

Чтобы не волновать дядю, он не сказал ему ни о странном вызове, поступившем напрямую в сердце, ни о том, за сколько долларов купил он для бабушки у молодого наркомана могилу его знаменитого отца.

Говорить об этом вообще никому не стоило. Даже себе.



И перед бабушкой неудобно. Как ей там, в чужой могиле? Неловко, поди.

Удивительно, как мало мы думаем о людях, которые нас любят, пока они живы.

То есть мы о них вообще не думаем.

Живет человек. Тихий. Незаметный. Как гвоздь, на котором висит икона. Ты о нем редко вспоминаешь, когда не видишь. Не обращаешь внимания. Он дряхлеет и иногда, встретившись с ним взглядом, ты с тоской думаешь: вот человек, он еще ходит, ворчит, по инерции копошится на кухне, но того человека, каким ты его знал, уже нет. Одна оболочка.

И вот человека не стало.

Ниточка оборвалась.

И ты чувствуешь, что с ним не стало большей части тебя. Ведь он занимал в тебе какое-то место.

Вот и все, сказал себе Антип, оставшись один после всех похоронных хлопот. Вот и все. Во всем мире не осталось больше ни одного человека, который любил бы меня. Уже никогда его не испугает тревожное дрожание в груди, никто не позвонит ему напрямую от сердца к сердцу. Больше никогда я не попробую бабушкиного супа.

И вспомнив бабушкин суп, заплакал.

В любом горе, при любых несчастьях человек жалеет, прежде всего, себя.

Бабушка была тихим, незаметным существом. Колдуньей. Очень доброй колдуньей. Есть такие розовые, седые старушки без морщин, похожие на детей.

Она открыла ему тайны неприметных, невзрачных грав.

Сорняков по-нашему.

Антип, благодаря бабушке, был одним из очень и очень немногих современных людей, которые знают, что сорняков нет.

Сорняки – совершенно лишнее, ничего не значащее слово.

У каждого растения есть свое имя – это раз. Совершенно бесполезных или исключительно вредных растений не бывает – это два. Нет растений, которые должно посыпать всякой гадостью с самолетов.



– Господи, зачем ты дал лентяю машину! – вздыхала бабушка, смотря с Красной Горки из-под руки на «кукурузник», опыляющий поля в степи.

Нет, пацаны, в природе сорняков нет.

Кроме, разве что, нас, шалопаев.

Но мы этого не знаем.

На свою беду.

Бабушка относилась к лесу серьезно. Она рассматривала его как продолжение своего огорода. И в этом же духе воспитала внука.

Антип до встречи с летним другом Пашей ни разу не ходил в лес просто так погулять.

Если он отправлялся в лес с отцом, то или расчищать родники, или рассыпать соль у водоемов, или, если дело было зимой, подсчитывать следы животных. В его обязанности входила заготовка ягод и грибов, шавеля и дикого чеснока. Помимо всего прочего, с ранней весны до поздней осени он работал на бабушкину аптеку. Собирал почки до того, как они распустятся. Когда начиналось сокодвижение, снимал с молодых ветвей кору. В период бутонизации заготавливал листья трав. Срывал по науке только нижние, чтобы не навредить растению, потому что следом наступала пора цветов и соцветий. Потом наступало время плодов и семян. А поздней осенью с притороченной к армейскому ремню саперной лопаткой Антип шел в лес выкапывать корни, корневища и луковички.

К двенадцати годам Антип уже знал, что сорняков на земле нет.

Вот на поляне раскачиваются на прямых ребристых стеблях пурпурные головки. Казалось бы, тыфу. Бурьян, сухостой. А это кровохлебка. Кровь останавливает. Рядом – дылда двухметровая. Ололен, земляной ладан, кошачья трава. Короче, валериана. А вот блошница. Не нравится название? Скажи – душица обыкновенная. То же самое. Грозди желтых корзинок раскачиваются. Деревенские зовут это растение нехорошо – глистником. Оно же приворотень. Оно же дикая рябинка. Пижма. Слышали что-то, да? А это что за кошей бессмертный, похожий на хвощ? Это эфедра. Сердечная трава. А вот тысячелистник обыкновенный. Почти ко всем названиям лекар-



ственных и целебных трав добавляется – обыкновенная. Для скромности. Не целебных трав нет. Все целебные. Даже те, что ядовитые. И волчий корень, и болиголов, и белена – все целебные. Возьмем зверобой. Почему он зверобой? Потому что им травоядные животные белой масти травятся. Почему белой? А кто их знает, только травятся. Значит, плохое растение? Очень даже целебное. По-другому – хворобой. Ты же сама сказала, что ею коровы травятся. А ты не заводи в хозяйстве корову белой масти.

После бабушкиных уроков Антип мог собирать травы с закрытыми глазами, по запаху.

Чердак пах аптекой. Что это так приятно пахнет?

Богородская трава, она же – чабрец ползучий.

– Тимьян, благородная трава, – говорила мама. – Тимьян на жертвенном огне сжигали. Его дым и есть фимиам, который курили богам.

– А у нас в деревне богородской травой раньше окуривали коров после отела, – скромно потупив глаза, добавляла бабушка.

Мама одарила ее взглядом, каким боги с Олимпа смотрели на простых смертных.

– Ее шмели, пчелы и бабочки-огневки любят. – делится своими наблюдениями Антип.

– Первое средство от астмы, – поддакивает бабушка.

Мальчишкой Антип знал тайны привычных, обыкновенных трав. Одуванчик – от веснушек. Полынь – от всего. Даже трава-мурава, которые все, кому не лень, топчут и шиплют, от десяти болезней поможет выздороветь. Может быть, и больше.

Семья егеря Плешивого, если и вправду люди – то, что они едят и пьют, сильно отличалась от остального человечества.

Допустим, они никогда не пили чай как таковой. с привычной заваркой. А пили чай, заваренный на мяте, душице и зверобое. В крайнем случае – лист смородины. Если и пили кофе, то кофе из корней одуванчиков. Из всех напитков больше других любил Антип ежевику с медом. Но не отказывался и от напитков из кровохлебки и мяты, сока из ревеня, кваса с чабрецом, какао из



шиповника. А кто сейчас пробовал крапиву с молоком? Мясо мариновалось с полынью.

Все, что произрастало в заповедном лесу, вместе с грибами и ягодами проходило через кухню бабушки и формировало плоть членов семьи егеря Плешивого.

И в этом смысле они были плоть от плоти раздолинского леса и озера Чистого, отдельной ветвью человечества.

Только к тому бабушкиному миру и был приспособлен Антип.

Антип с мамой и бабушкой моют в емкости грузди, скребут ножами. Щенок Полу-унтя ловит кузнечиков в мураве. Отец сидит на березовом чурбане, играет на гитаре. Пахнет грибами и дымом соседской бани. А бабушка говорит: «Не пора ли и нам баню затопить?»

— Что дальше? Что будет дальше?

Антип проснулся. Нет ни Красной Горки, ни отца, ни мамы. И бабушки теперь нет.

А баня давно сгнила.

Осталась гитара. Да на ней давно никто не играет.

Жалко, что дед не приснился.

Кто там за окном орет?

Три часа ночи.

Есть еще время увидеть деда.

Чтобы наверняка приснился дед, Антип стал вспоминать, как они с ним сидели на теплых досках крыльца и плели корзины. Антип на нижней ступени. Дед на верхней.

Час плетут — молчат, другой плетут — молчат.

И так хорошо молчат, так ладно. Лозины перестукиваются. Пальцы гудят. Тугие, как будто их накачали насосом. У соседей дрова пилят. Курица хвастается на всю Красную Горку: яйцо снесла. Невиданное достижение. Из кухни скворчит и вкусно пахнет: бабушка жарит карасей в сметане. Мартын на озере хохочет.

Посмотрит Антип через плечо, отстают дед. Хочется ему первым закончить корзину, да нельзя — обидится дед.

Обидится и скажет, повертев в руках Антипову корзину:



– Монькин лапоть.

Или:

– Разве бабушку попутать.

Или:

– Груздь в щель плашмя протиснется.

А скорее всего скажет одно слово:

– Спрячь.

Может быть, добавит:

– Бракодел.

Идет дождь, а он карабкается по мокрой березе. Береста белая, без бородавок. Скрипит. Листья шуршат под дождем, как веники в парной. Лезет Антип, пыхтит, а береза все не кончается. А карабкается он за лодкой, которая подвешена к самой вершине. Карабкается и думает: поди, воды набралось по борту. Как я ее спускать буду?

Глупый сон. Но красивый.

С березы видны крыши Красной Горки. Выглядывают они меж сосен. Сосны темные, а лапки у них светлые. Светятся. Озеро Чистое с островами. Вода темная, а каменные острова и сосны на них светлые.

Грустно просыпаться после такого сна, так и не увидев деда.

Одинокий голос обкурившегося пацана вопиял в ночи:

– Что дальше? Что будет дальше?

Небольшая пауза и снова:

– Что дальше? Что будет дальше?

Антип, не включая свет, вышел на лоджию.

Голос резонировал в пустом колодце двора, поднимался вверх. Но до звезд не долетал. Глох в облачности, из которой сыпал мелкий и редкий снег. В сиреневую непроницаемость тумана втыкались световые мечи автомобильных фар, но, так и не проткнув ее, исчезали.

Далеко внизу хрустел под ногами одинокого человека снег.

Все окна в доме напротив темны.

Антип раскрыл створку пластикового окна и слушал этот вопль заблудившегося существа, полный тоски и страха замкнутого пространства:

– Что дальше? Ну что будет дальше?

А действительно – что будет дальше?



Чем бы в него кинуть, чтобы заткнулся.

В безмолвии ночи где-то вверху, может быть, в самом небе с треском распахнулось старое окно из лиственницы, которое не успели еще заменить на стеклопакет.

– Слушай сюда! – заполнил холодный колодец ночного двора уверенный и спокойный баритон. – Я скажу тебе, что будет дальше.

– Что будет дальше? – вскричал в надежде обкурившийся пацан.

И Антип тоже замер в надежде.

– Слушай сюда. Промежуточная цель человечества – бессмертие. Мы уже близки к цели.

– А что будет дальше?

– Дальше – поиск планет, пригодных для проживания. Усек? Бессмертие, определение планет, пригодных для проживания, колонизация вселенной.

– А что будет дальше?

– Что будет дальше, тебе никто не скажет, пока не достигнуто бессмертие. Не наше это дело. Дело бессмертных определять новые цели. Иди спать.

Створки с треском захлопнулись.

Ошарашенная тишина.

Слышно, как шуршат снежинки.

Удаляющийся хруст льда заглушил этот шорох. Обкурившийся отрок уходит в непроницаемый туман ночного неба.

Он ушел в небо, и двор погрузился в безмолвие.

Антип вслушивается в шорох снежинок и думает: что же дальше, что будет дальше?

Для чего живет он, Антип, которому не грозит личное бессмертие?

А даже если бы он и был бессмертным – для чего, что дальше?

Пустота, тоскливая пустота окутала туманом его душу.

Антип не чувствовал родину.

Смертный ты, бессмертный – смысла нет.

На этой планете, на другой – будет та же пустота, та же свалка. На этой, на другой планете он будет жрать и ходить в туалет. Дерьмо – вот единственное, что произво-



дит человек. А машины, города, стеклопакеты – их делают лишь для того, чтобы человеку удобнее было превращать жратву в навоз. Ваше бессмертное человечество производит и будет производить только одно – свалку. Мусор.

Что он хочет?

Он хочет жить в реликтовом бору на берегу озера Чистого в доме, где первый этаж каменный, а второй деревянный. Он хочет сидеть у теплой печи и чистить карабин, время от времени посматривая в ночное окно, где тревожно лает пес.

Дом, лес, озеро, лодка. Жена. Дети. Все. Больше он ничего не хочет. И больше ему ничего не надо.

А если Раздолья больше нет, зачем ему бессмертье, зачем ему колонизация вселенной? Живешь ты при социализме, при капитализме – какая разница, если живешь на помойке?

Зачем ему город, из которого изгнали ночь и времена года? Здесь можно родиться и состариться, так и не узнав, что бывает ночь, весна, лето, осень, зима.

Антип вернулся в постель. Долго ворочался. Вздыхал.

Ему захотелось обкуриться и ходить по ночным дворам, вопрошая темные окна:

– Что дальше? Что будет дальше?

А когда уснул, ему приснился бор, накрытый облаком хвойного аромата.

Золотой иконостас заката, отражающийся в темных и прозрачных водах озера Чистого.

Он плывет на просмоленной лодке вдоль гудящих столбов мошкеры к Красной горке.

Жители лесничества болтают коричневыми пятками над обрывом, лузгают семечки, и золотая шелуха вводит в заблуждение снующих стрижей.

Земляки машут ему руками и кричат вперебой:

– А что будет дальше? А что будет дальше?

Что будет дальше. Свалка будет, мужики, помойка.

Когда, прошу прощение за хамскую лексику интеллектуалов, простой человек, не имевший ранее вредной склонности к философии, теряет родину и начинает



задумываться о смысле жизни, у бедняги два одинаково приятных пути: сойти с ума или спиться.

В городе Баблодаре было много людей, потерявших родину, а еще больше таких, кому родина изменила, как неверная жена с первым прохиндеем, но с ума здесь сходили редко.

Сходить было некуда. Психушка, известная среди горожан под красивым именем «Три карты», не меняя названия, на три четверти стала супермаркетом. Психи же занялись частным предпринимательством и ушли в политику.

Второй путь был проще.

Дело в том, что город умирал от давней хронической скуки, и поэтому в нем на душу населения было открыто невероятное количество увеселительных заведений.

На первом этаже или в подвале каждого дома были оборудованы круглосуточные места для веселья: просто бары и стрип-бары, рестораны с варьете и просто рестораны, с лабухами, пабы и просто пивные, кафе, рюмочные, массажные кабинеты с саунами и сауны с массажными кабинетами, винотеки, ночные клубы, казино.

Увы, в городе Баблодаре не было публичных домов. Но зато имелось невероятное количество особняков без вывесок. Стоит себе дом с колоннами, бывший, допустим, Дворец пионеров, детсад, общество слепых, спортзал или клуб спичечной фабрики, переливается в ночи цветным дождем мишуры, а вывески нет. И окна плотно зашторены. Что за дом, почему без вывески? Кому надо знать, тот знает.

От веселья до веселья десять шагов. А такого расстояния недостаточно, чтобы внезапно задумавшаяся душа населения додумала мысль до конца.

В одном из питейных заведений Баблодара, а именно в тесном кубрике «Подводной лодки», лежащей на дне одного из подвалов, за столиком сидели два посетителя – маленький, трезвый и сердитый, с большим и веселым.

– Может быть, хватит? – спрашивал с кислой миной маленький.

– Хорошая бы из тебя теща получилась, Сопля, – отвечал большой, нежно хлопая по плечу товарища.



– С чего жрать-то, не понимаю? – не унимался маленький.

– Раздолье поминаю, – отвечал большой, уронив лысую голову на грудь и громко сопя.

– Помянул и хватит. Вон уже уши красные. Развесил, как переходящие знамена.

– Э, нет. Каждую сосну в отдельности надо помянуть.

– Пойдем, Антип, не будь совком.

– Буду совком. Как мне не быть совком, если я совок? Я, Сопля, совок. О, я еще тот совок! Такой же совок, как мой отец, мой дед. Покойники. Выпьем, кстати, помянем. Пей, Сопля, пей. Не выпьешь – шелбан в лоб. Ну, хлоп да об лоб.

Большой выпил и, подперев ладонями уплывающую голову, сфокусировал взгляд на собеседнике:

– А ты назови хотя бы одного не совка, которого бы я уважал, как отца и деда, совков. Назови. А-а-а, молчишь. Нет такого человека. Да, я совок. И горжусь этим. Выпьем, Сопля, за совков.

– Не буду я пить.

– Почему?

– Не хочу. А во-вторых, мне сегодня в ночь вылетать в Лондон.

– На посошок! Я тебя провожу. До самого Лондона.

– Не проводишь.

– Почему?

– Потому что ты уже улетел. Надеюсь, за неделю не пропьешь фирму?

– Не знаю, – подумав, честно отвечал большой.

И, уронив голову на грудь, заснул.

Маленький посмотрел на часы, на большого и что-то прошептал в крайней досаде. Он подозревал хозяина заведения и долго что-то шептал на ухо. Хозяин стоял бумерангом, счастливо улыбался, делал брови домиком, кивал головой и повторял:

– Будьте спокойны, Павел Сергеевич. Не беспокойтесь, Павел Сергеевич. Присмотрим, Павел Сергеевич.

Маленький еще раз посмотрел на часы, вздохнул и растворился в гомоне кабака.



Большой спал за столиком, улыбаясь. Две слезы катились наперегонки по щекам.

Пацаны и девчонки собрались в лес за дикой вишней, а его, мелюзгу, не берут с собой. Зачем нам этот ефросиненок? Обидно. Гремят ведрами, бидончиками.

Он – чуть выше отцовского унта – канючит: возьмите меня, возьмите. У меня корзинка есть.

– Ты еще маленький, не дойдешь. Отстанешь да заблудишься, кто будет отвечать, – говорит Настя. – Мы к Чертову болоту пойдем. Там комары, как воробьи. Всю кровь из тебя выпьют. Ягоду не донесешь. Мы тебе ягоды принесем. Зачем тебе зря ноги бить?

Так жалко себя. Так обидно. А обиднее всего, что это Настя говорит.

Они уходят. Счастливые, большие люди. В счастливые места, полные ягоды и комаров, а он остается, как Бобик на цепи. С маленькой корзиночкой в руках.

– Мама, мама, они меня в лес не берут. Скажи им, чтобы взяли.

– Что там, в лесу, хорошего? Одни комары. Уходят, ну и ладно. А мы с тобой на велосипеде в Ключи поедem. Хочешь в Ключи?

– На раме? На багажнике?

– А где хочешь.

– На багажнике. А ты не обманываешь?

– А когда я тебя обманывала?

Счастливо вздохнув, Антип проснулся.

Он промокнул ладонями глаза и, обнаружив за столиком незнакомые лица, махнул рукой официанту, не видя его. Но официант сразу нашелся. Антип засунул руку наугад в первый попавшийся карман, вытащил жменю асигнаций и, бросив их в пепельницу, сказал:

– Все, что закажут.

После чего попытался заснуть. Но не вышло.

Ему наливали. Он пил. Ему подносили зажженную самокрутку. Он курил.

И так ему стало нехорошо, что он понял – умирает. Поднялся и пошел в больницу. Сдаваться докторам.

Почему-то он сразу решил, что сдаваться нужно в



больницу, переименованную в народе из «Трех карт» в «кремлевскую».

И была у него столь убедительная внешность и прикид, что охранникам в голову не пришло поинтересоваться, кто он, собственно, такой? Что за хрен с горы?

Охрана не шелохнулась. Сразу видно: большой человек. То ли сенатор, то ли бизнесмен, то ли бандит. Охрана помнила об ужасной оплошности, допущенной предшественниками. Вот у такого же уroda они попросили пропуск. «А вы меня не узнаете?» – мрачно удивился урод. На следующую смену они уже не вышли, так и не узнав, что это был за урод. Если у проходной останавливается машина стоимостью в сто твоих годовых зарплат, а из нее вываливается пьяный урод, облетающий мятыми долларами, как клен листьями, только дурак будет требовать у него пропуск.

Антип принадлежал к поколению, которое разучилось трепетать перед людьми в форме и смущаться, внезапно встретившись с тяжелым взглядом профессионального лидера.

Надо трепетать и заискивать.

Но не трепетали, обормоты.

Простые эти парни относились и к жизни просто, как к фурушету. Что ты топчешься? Подходи и бери.

Подходили и брали.

Вырос Антип большим, лысым и добрым.

Доктор тоже был простым парнем – большим, лысым и добрым, как снеговик. На нем был халат и колпак цвета словых лапок. Нежно-зеленый. Он давно перестал удивляться привычкам и обычаям новых людей и смотрел на посетителей усталыми глазами забойщика скота, работающего в две смены.

Маленькое ухо доктора напоминало свернувшийся калачиком эмбрион.

Уловив чуткими ноздрями веселый дух конопли, доктор понял, что перед ним уважаемый человек. Бандит, скорее всего. Или олигарх. А может быть, депутат. Все уроды на одно лицо.

Врач с долготерпением и вниманием слушал больного.

– Доктор, я тебя об одном прошу.

– Слушаю, – глядел дежурный врач на Антипа добрым взглядом наемного убийцы, поймавшего цель в перекрестие снайперской винтовки.

– Положи меня в палату, где лежал Сталин. Или на худой конец Брежнев. Или Андропов. Хочу умереть в палате, где лежал вождь всех народов.

– Нет проблем, – отвечал доктор, – все они лежали в одной палате.

– Палате №6? – блеснул невиданным по нынешним временам интеллектом Антип.

– В палате №1, – отвечал доктор.

– 0001, – уточнил Антип.

– На что жалуемся? – спросил доктор.

– Доктор, у меня нет родины, – пожаловался Антип затрепетавшими губами, и глаза его наполнились горячей влагой.

– Тяжелый случай. Неоперабельный, – посочувствовал доктор, не шелохнувшись.

– Одно дело человек родился в реликтовом бору на берегу, допустим, озера Чистого. Другое дело – на помойке. Родина на помойке не бывает. Помойка родиной не может быть. Понимаешь, доктор? Родина должна приятно пахнуть. Согласен? Хочу служить родине егерем. А родины нет. Скажи, доктор, по какому праву человек приходит в лес и делает там все, что захочет? Скажешь, ему разрешили. Кто разрешил? Другой человек. А как к тебе в дом придет медведь и устроит берлогу в погребе? А лось в горнице навалит гороха? По какому праву? А другой лось разрешил. Что сделаешь? Известно что делают люди, когда в доме мышь скребется. А какой вред от мышки? Был бы в лесу хозяин, который бы и к человеку, как к мышке – я тебе поскребусь, я тебе поскребусь! Зачем тебе город в лесу? Строй в степи, там места много. Ах, ты в лесу хочешь жить, в приятном месте. Сажай в степи деревья.

Антип закрыл глаза и с гримасой омерзения вдохнул воздух.

– Чувствуешь, доктор, запах? Все приняхались, а я чувствую. У меня все есть. Я упакован, как фараон в



гробнице. А дышать нечем. Скажи, доктор, зачем человеку все, если дышать не чем? Человеку нужно только то без чего нельзя жить. Согласен?

– И без чего же человеку нельзя жить?

Антип тряхнул головой и стал загибать пальцы:

– Чистый воздух в чистом лесу – раз. Чтобы пах, доктор, сосной. Чистая вода – два. Прозрачная до самого дна. Чистая женщина – три. Чтобы любила тебя, готовила чистую пищу и рожала здоровых детей.

Антип всхлипнул. Посмотрел сосредоточенно на пальцы, наморщил лоб и добавил:

– Чистая работа. Все.

– Да вы утопист, батенька, – строго сказал доктор, разделяющий эти допотопные взгляды. – На что еще жалуемся?

– Доктор, у меня нет любви, – уронил голову на грудь Антип. – У всех есть. У меня нет.

– Отчего так? – живо заинтересовался доктор.

Антип, не поднимая головы, в отчаянии развел руки.

Доктор вызвал дежурную сестру.

– Верочка, положите больного в палату, где лежал товарищ Берия, – вежливо попросил он.

И Верочка, которая по молодости лет не знала, кто такой Берия и почему он товарищ, пришла в легкое замешательство.

– Это тот, что отпросился домой на выходные?

Доктор кивнул головой:

– До утра. Больной тяжело болен. У больного нет родины и любви. С этим диагнозом живут многие и доживают до преклонного возраста. Ему надо хорошо выспаться. Раз уж пришел человек лечиться, почему бы и не полечить. В конце концов, вся наша жизнь – история болезни.

В ночь, когда Паша летел над черной планетой в город Лондон обтолковать с тамошними торгашами поставку баблударских шуб, а Антип с безнадежным диагнозом – потеря родины и любви – храпел в больничной палате, фирме «Выхудра» пришел конец.

Это только Паше казалось, что все нити он держит в



своих руках, и все тайны знает только он. Отчасти, так оно и было. Каждый выхудровец знал только свой участок работы. Сводил все к целесообразности Паша.

На самом деле фирма держалась на сумасшедшем Брыскине.

Он был как осиновый кол, подпирающий покосившийся сарай.

Дрын подгнил, подломился – и сарай рухнул.

С Брыскиным случился инсульт.

Очень не вовремя случился.

У человека, наконец-то, благодаря сотрудничеству с «Выхудрой», была своя лаборатория. Были деньги, на которые можно было купить необходимые приборы и реактивы. И были ночи для создания альтернативного топлива, способного избавить человечество от нефтяной зависимости.

Но когда он был в шаге от вершины, с которой открывался весь мир, темная кровь вдохновения хлынула в голову – и лежит он дурак дураком на кафельном полу лаборатории среди осколков разбитых колб и пробирок, хлопает глазами и не помнит, как его зовут. От лужиц пролитых смесей поднимается, мягко говоря, пряный туман испарений. Гениальное озарение сопровождалось таким взрывом восторга, что хрупкий организм Брыскина не выдержал. Не успев крикнуть «Эврика!», Брыскин сломался.

Всю ночь химик пролежал на холодном кафеле.

Но ему было уже все равно где и на чем лежать.

Время заполнила пустота. Планета перестала вращаться.

Чья это рыжая рожа склонилась над ним? И что ей, рыжей роже, нужно от него?

Рожа принадлежала Паше.

И нужно было роже от впавшего в утробное состояние химика Брыскина формула красителя, превращающего серых баблодарских крыс в чудо генной инженерии – царственную выхудру.

Облом, братан.

Формулу эту Брыскин держал в гениальной голове, как и все свои открытия.



Только от головы этой мало что осталось.

Отчего бы ему не держать эту формулу в сейфе?

Отчаяние было написано яркими рыжими красками на рыжем лице президента фирмы «Выхудра».

Вот только не надо переживать за Пашу Сопелкина. Паша найдет, как и из чего делать деньги.

Но жаль пушистого зверька, не существующего в природе. Очень жаль.

Паша приглашал к Брыскину лучших докторов со всего света.

Доктора разводили руками.

Гениальное озарение в ключья разорвало мозг Брыскина.

И ушел Брыскин, так и не осчастливив человечество дешевым топливом из мочи.

А вслед за ним навсегда исчез с экранов телевизоров забавный пушистый зверек.

Нет ничего печальнее лица клоуна без грима.

Именно таким было лицо Павла Сергеевича Сопелкина на похоронах химика Брыскина.

Но было бы большим лицемерием сказать, что Павлу Сергеевичу было жаль Брыскина.

Напротив, он был очень зол на покойника.

Какое свинство с его стороны – умереть в тот самый момент, когда «Выхудра» вышла на международное сотрудничество, какая неблагодарность, какая глупость.

На могильной плите сверкали золотые буквы: «Гений Брыскин».

Вообще-то родители называли Брыскина Евгением.

Гением он стал по вине рассеянной паспортистки.

Эта ошибка и определила его судьбу.

Если каждый день к тебе обращаются: Гений, Гений, Гений – как-то свыкаешься, что ты гений.

Но Брыскин не верил в свою гениальность.

Он знал, что все его открытия и озарения за пределами человеческой природы. Они исходили от ангела.

Ангел стоял за его спиной.

Он представлялся Брыскину неким химическим соединением. Газообразным существом с плотностью и прозрачностью воздуха.



Запах ангела-покровителя был похож на запах тимьяна, богородской травы, с легким привкусом конопли и нашатыря.

Ангел был невидим, но его можно было почувствовать по легкому и прохладному дуновению прозрачных крыльев.

Бывало, возился Брыскин в своей лаборатории с любимой мочой, переливал реактивы из пробирок в колбу и вдруг – глаза его переставали щипать жгучие испарения.

Это он. Ангел явился. И душа Брыскина замирала от предчувствия озарения.

Ангела можно было обнаружить, выпустив в его сторону струю дыма.

У него было лицо юноши, длинные волосы и крылья до земли.

Но ангел терпеть не мог табака и, обидевшись, надолго покидал Брыскина.

Брыскин Бросил курить. Ангел вернулся и озарил Брыскина таким откровением, что человеческий организм не мог пережить восторга.

Это была одна из самых счастливых смертей на Земле.

После смерти Брыскина и последовавшего за ней краха «Выхудры», пути Паши и Антипа разошлись.

Паша уехал в Москву. Настала пора заняться серьезным бизнесом.

Антип остался в Баблодаре и на все оставшиеся деньги посвятил год поиску любви.

Каждый вечер он встречался с новой девушкой.

– Нашел любовь? – звонил ему изредка Паша.

Антип тяжело вздыхал:

– Ты знаешь, совсем думал – нашел. Повертел, понюхал – нет, не «Жизель». Опять облом.

– Поди, по кабакам ищешь? Поищи в деревне.

– А ты знаешь деревню, где нет телевизоров?

Пока Паша завоевывал Москву, а Антип без устали искал большую любовь в кабаках Баблодара, Сорока купил заповедник Раздолье и приступил к раскопкам древнего городища.



Параллельно начались работы по очистке озера Чистого.

Проект отличался простотой и остроумием.

В ста километрах ниже Раздолья растекалась ровная, как разглаженное покрывало, полупустыня. Под ней остались каверны, пустоты, образовавшиеся на месте выкачанной нефти. Предполагалось, используя старые, напрасно ржавеющие трубы, закачать испорченную воду озера Чистого в эти земные пазухи. Затем вывести отложения обнажившегося ложа. Куда? В пустой карьер, оставшийся после выработки урановой руды. Дыра была такая, что в ней можно было уместить едва ли не все Раздолье. Чтобы родники и тающие снега снова заполнили озеро, по подсчетам специалистов, должно было пройти не менее пяти веков. Никто не собирался ждать так долго. Было решено направить две горные речки, пересекающие Баблодар в одну трубу. Их стока было достаточно, чтобы заполнить озеро до прежнего уровня за три года.

Никто не возражал, никого не смущали, кроме злобно-го эколога Козлика, последствия осуществления проекта для полупустыни, пока не прошел слух: Сорока намерен построить столицу новой империи.

Что?! Какая империя? Что за бредовые идеи в независимой стране, ставшей на путь демократии? Совсем оборзел пацан! Думает, раз хапнул много денег, ему все можно? Он что думает титул монарха себе купить? Это же покушение на государственный строй!

И схватили Сороку за жирную задницу.

Потому что любого, кто раздобыл во времена перемен, легко можно схватить за задницу.

Сороку судили за экономические преступления и дали пятнадцать лет очень строгого режима.

Заочно, разумеется.

Потому что Сорока к тому времени жил на собственном острове в одном из теплых морей очень далеко от Баблодара.

Работы же по очистке озера Чистого прекратились, не начавшись.



Расстояние – смерть. Все реже перезванивались старые друзья. Однажды Паша позвонил, а Антип не ответил.

Вне зоны досягаемости.

Говорят, среди охотников за привидениями видели двухметрового человека с невероятно оттопыренными ушами.

Ах, да. Вы не баблодарец.

Охотниками за приведениями в Баблодаре зовут убийц комаров.

Они выходят в одиннадцать часов вечера на набережную искусственного озера в центре города, где стоит ресторан «Гуано».

Набережная эта играет великую роль. Историческую миссию. Она воспитывает из прогуливающих селян, недавно получивших прописку, горожан. Неспешно кружат они хороводом вокруг озера, беседуют о приятных вещах, раскланиваются со знакомыми. Сколько раз встретятся, столько раз и раскланиваются. Стайки парней преследуют стайки девушек. Старички и старушки бегут трусцой, отставая от тех, кто никуда не бежит. Но у них еще есть силы обогнать тех, кто сидит на скамейках под кленами и вязами, лузгая семечки. Приятные привычки трудно искореняются.

Велосипедисты, собаки с намордниками, гитаристы, ожерелье фонарей отражается в темной воде.

Ресторан «Гуано» накрыт марлевым пологом от крыши до основания и светится изнутри янтарем.

В одиннадцать часов вылетает первый комар и заводит свою гнусную песню, а откуда-то издалека – то ли из глубин озера, то ли из глубин космоса – отвечает ему хоровой гул возмездия. Словно одновременно кружат над городом сотни бензопил в сопровождении вселенского органа.

Это они – охотники за приведениями.

Безмолвные и безжалостные, как сам рок, истребители комаров, не обращая внимания на праздную публику, приступают к массовому убийству кровососущих насекомых и отравлению не успевших разбежаться сограждан.



Надо сказать, что травить баблодарцев было в обычае коммунальных служб города. Дворники мели тротуары, поднимая смерчи пыли, всегда в час пик, когда жители спешили на работу. Особенно неистовали «пылюганы» у автобусных остановок. Дороги же, особенно в дождь, поливались водой, подозрительно пахнувшей канализационными стоками.

Охотников за комарами зовут еще пришельцами. Лица посланцев иных миров скрывают очки, похожие на глаза стрекоз, и респираторы с тремя ртами. Каски, наушники, логотип. За спинами сверкают хромированными деталями рюкзаки-баллоны, сделанные в иных краях. В руках страшное оружие возмездия. Охотник за приведениями останавливается у фонаря, поднимает черную трубу и со зловещим, душераздирающим гулом выпускает струю белого газа. Ему со всех сторон вторят соратники, часть из которых идет тяжелой поступью по кромке берега, исполняя симфонию смерти.

Эколог Козлик не любит охотников за приведениями. И не только потому, что ему не нравится дышать отравой.

Под этот гул однажды ночью спилили березовую рошу, расчищая место для еще одного супермаркета. Полгода круглыми сутками жители окрестных домов стояли дозором. А когда они решили – наша взяла – пришли ночью ребята с бензопилами. Многие слышали этот гул, но подумали: опять комаров травят. На утро нет роши. Одни пеньки, как блины, под самый уровень земли. И не одной веточки, ни одного листика.

Паша позвонил и в другой раз, и в третий.

Задумался: а есть ли жизнь в Баблодаре?

Приехал в родной город и, рискуя отравиться, отправился в час комара к ресторану «Гуано».

– Эй, киллер лопоухий, сними-ка намордник.

Лопоухий на него трубу направил и окатил вонючим облаком.

Нет, не Антип. Антип и мухи бы не обидел.

Паша не знал, и никто не знал, что большой человек с оттопыренными ушами стоит сейчас на коленях у костра



в первобытной пещере, смотрит на огонь и, раскачиваясь, монотонно повторяет: «...Господи, прости, Господи, спаси...»

Молитва должна быть краткой.

Даже Богу трудно осмыслить фразу, в которой больше пяти слов.

Краткость же позволяет молящемуся грешнику обращаться к Богу значительно чаще.

Впрочем, в молитве слова не имеют большого значения.

Значение имеет только искренность.

До Бога, если он есть, доходят не слова, а чувства.

На этом и следовало бы поставить точку.

Но у любой истории невероятное количество вариантов возможного завершения. Никому неизвестно, когда и где взмахнет крылышками бабочка, изменяющая течение времени.

Возможно все.

Даже то, что невозможно.

К тому же с некоторых пор автор зарекся заканчивать истории на печальной или двусмысленной ноте.

Моему участковому это не нравится.

Он так и сказал:

– Зачем эта безнадега, зачем этот скулеж и чернуха? И без тебя известно, чем все заканчивается.

Небесное тело упало днем.

Мало кто заметил это событие.

Упало бы ночью, заметили не больше.

Никто не смотрит в наше время на небо.

Звук падения ничем особым не выделялся из прочих шумов земного происхождения. Не совсем трезвый пастух утверждал, что был он похож на шум промчавшегося на вираже состава с пустыми цистернами из-под нефти. Отставному летчику он напомнил рев двигателей истребителя вертикального взлета, пареньку на горном велосипеде – гул лавины, учительнице музыки – раскаты органа.

Возможно, все они были правы.



Возможно, и пастух услышал бы орган, если бы хоть раз слышал его.

Многое объясняется также расстоянием, на котором находились от падающего тела наблюдатели.

Тело упало в тухлые воды озера Чистого, расплескав их, как если бы в тарелку с вчерашним борщом упала вставная челюсть.

Упало и упало.

Мало ли что сверху падает на наши головы.

Но к вечеру дно озера стало светиться.

Это был ровный, веселый свет, который становился уютнее по мере наступления темноты.

Как бы свет настольной лампы за зеленой шторой.

При этом слышалось тихое жужжание и потрескивание, отдаленно напоминающее стрекот цикад.

Сквозь смрад застоявшихся вод струился запах сирени.

Через неделю рассеянный по всему озеру свет сосредоточился и стал, сначала смутно, а затем все яснее, проглядывать контур упавшего тела.

Оно напоминал картофелину топиамбура из серебра. Размером с троллейбус.

Через месяц зарывшееся в донный ил небесное тело стало гаснуть и таять. При этом серебряный свет переходил последовательно в золотой и янтарный. Звук из ровного стрекота переродился в гудение, а затем в прерывистое дребезжание слегка треснутого колокола.

Звук этот, пройдя через толщу вод, был мягким, нежным. Он резонировал в легких, вызывая сладкое замирание и восторженные спазмы, знакомые юным поэтам, влюбленным пятиклассницам, первовосходителям, ученым, первыми проникающими в тайны мироздания, а также алкоголикам перед выпивкой.

Да, это дребезжание сладко отзывалось в легких и костях.

Человеку, пронизанному этим дребезжанием, казалось, что скелет его состоит из золота. Вот это какой был звук.

Когда же, вспыхнув в последний раз и распространив



над Раздольем пузырь невидимого взрыва, вещество небесного тела истаяло, так и не дождавшись исследователя, воды озера приобрели невероятную прозрачность.

Это мгновенное явление, похожее на вздувшийся и вскоре лопнувший дождевой пузырь, названо взрывом лишь по силе воздействия на человеческие души. От этого тихого взрыва не шелохнулась ни одна травинка, ни одна хвоинка. Но такой свежестью повеяло, таким детством, что отшельник, живший в прокопченной пещере, не сумел сдержать слез. И ничего слаще этих слез не было в мире. Это был не плач, это была молитва души. Молитва истинная, без слов. Умиротворенная душа его испускала тихий, благодатный звон. И представилась ему картина из детства. Холмы, покрытые реликтовыми соснами, копы света, беспечные люди, болтающие босыми ногами над обрывом, подсолнечная шелуха, как облетающий цвет яблонь. Живые столбы мошкары стоят над озером, заполненным закатом, и капли заката стекают с влажного весла. И ты, и дед, дымящий самосадом, и лодка и люди на обрыве – все Раздолье – в теплых ладонях Бога.

В этом месте следует отложить книгу, подойти к окну и долго-долго смотреть на небо. Если, конечно, небо видно из вашего окна.

Из моего оно почти всегда закрыто ядовитым облаком смога.

Вы пережили обещанный катарсис?

Душа ваша просветлилась?

Ах, вы считаете, что у истории слишком красивый, слишком пушистый хвост.

Говорите, пахнет выхудрой? Сильно сомневаетесь, что молитвы бандита-отшельника и небесное тело, упавшее в озеро, как-то связаны между собой?

А сейчас быстренько, быстренько прищепите нос прищепкой.

Да, чудесное очищение озера Чистого и заповедника Раздолье действительно произошло.



Но произошло оно лишь в голове у Антипа Плешивого.

Его койка стоит в общей палате у зарешеченного окна, за которым по утрам и вечерам ветер из ущелья колышет сирень.

Антип самый тихий из восьми пациентов, лежащих в палате без номера в больнице, известной у баблодарцев под названием «Три карты».

Жизнь продолжается. Население города быстро растет за счет селян, не страдающих отсутствием аппетита.

Унитазы, не смолкая, поют свои торжественные гимны.

Накопитель, между тем, рассчитан на значительно меньшее число горожан.



СОДЕРЖАНИЕ

Человек без имени	3
Место сбора при землетрясении	148
Железная дверь без ключа	248
Выхудра	356

Николай Веревошкин

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ИМЕНИ

и другие истории о счастливых неудачниках

(Повести)

ИБ № 40

Редактор *Т. Веревошкина*

Художник *Н. Аймбетов*

Техн. редактор *К. Мухамедин*

Подписано в печать 14.07.15. Формат 84×108¹/32.

Гарнитура «Times New Roman». Усл. п.л. 25,0.

Тираж 2000 экз. Заказ № 653.

Республика Казахстан. ТОО «Алаш» баспасы».

050009, г. Алматы, проспект Абая, 143,

E-mail: nurlan.tu@mail.ru.

Отпечатано с файлов заказчика в

ТОО Полиграфкомбинат Республика Казахстан,

050002, г. Алматы, ул. М.Макаева, 41.

ISBN 978-601-7338-15-2



9

7 8 6 0 1 7 3 3 8 1 5 2

Николай Веревоцкий

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ИМЕНИ

В конце позапрошлого года
впервые вручалась Русская премия

Напомню, что эта премия присуждается за лучшее
произведение литературы, написанное на русском языке
писателями из Закавказья, Средней Азии и Казахстана

Мне выпала честь возглавлять жюри премии, тогда же я
познакомился с замечательной повестью совершенно нового для меня
автора из Казахстана Николая Веревоцкого "Человек без имени"

Эта представленная в рукописи повесть (ее журнальный вариант
позже был напечатан в "Дружбе народов") произвела на меня
столь сильное впечатление, что никаким колебаниям насчет премии
просто не оставалось места. И, вручая ее тем декабрьским вечером в
"Президент-отеле" лауреату, я подумал, что завидую тем любителям
настоящей литературы, которым еще предстоит открыть для себя
этого писателя. Сейчас "Дружба народов" печатает новое сочинение

Николая Веревоцкого. Я его еще не читал, прочту, прочту уже
в журнале — как рядовой читатель "ДН", но почти уверен,
что оно не обманет моих ожиданий — столь крепкой,
уверенной и оригинальной рукой было написано прежде.

И если это именно так, мне станет некому
завидовать, разве что самому себе.

Очень на это надеюсь.

Чингиз Айтматов
"Дружба народов",
№ 6, 2007 год